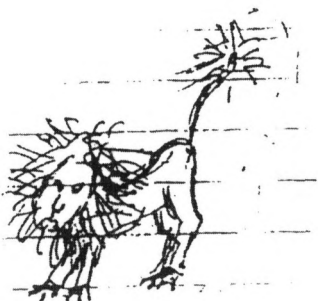


ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ЕВГЕНИЙ АБДУЛЛАЕВ
МИХАИЛ АГУРСКИЙ
НАТАН АЛЬТЕРМАН
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
СВЕТЛАНА АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД
ЛЕВ БЕРИНСКИЙ
АЛЛА БОССАРТ
ЮЛИЯ ВИНЕР
МИХАИЛ ГОРЕЛИК
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
МАРК ЗАЙЧИК
ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ
ЮЛИЙ КИМ
БОРИС КРУТИЕР
СВЕТЛАНА МЕНДЕЛЕВА
ИВАН МИЛЫХ
ЕЛЕНА МИНКИНА
ВАДИМ МУРАТХАНОВ
ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР
ВЛАД СОКОЛОВСКИЙ
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ
АЛЕКС ТАРН
ВЯЧЕСЛАВ ШАПОВАЛОВ
И ДРУГИЕ

N40



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2011' 40

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
и Юрия Исааковича КАННЕРА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

9878

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

40 2011

Иерусалимский журнал, № 40, 2011

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ и antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрун

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва;** Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Корректурa: **Бина Смехова, Галина Культясова, Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксютинa, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Владимир Попов, Илан Рисс**

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Фонд
«Русский мир»



Российский Еврейский Конгресс



Министерство культуры и спорта

העמותה לקליטת עליה בחיפה

רח' י. ל. פרץ 2 חיפה 33041



ט. פ. ד. י. 9878

Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2011. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

Юлий Ким

МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ КИНО *

ТАК ЭТО ВЫ Ю. МИХАЙЛОВ?

Меня спрашивают:

– Так это вы Ю. Михайлов? Ну, который сочинил «Журавль по небу летит» и про бабочку, как она «крылышками бяк-бяк-бяк»? А зачем «Михайлов»? При чем «Михайлов»? Почему «Михайлов»?

Казалось бы, чего проще ответить на это:

– Да, был у меня такой псевдоним.

Но тут мне стало жалко «Ю. Михайлова». Все-таки человек прожил приличную жизнь – целых шестнадцать лет – и возник и прекратился не случайно. Псевдонимы обычно бывают краткосрочные (Чехонте) или пожизненные (Горький), а у меня все-таки получился долговременный. Решив объяснить сей казус, я начал эти записки, а там и пошло-поехало, и вышла целая история, и даже с рассуждениями.

А так-то весь сюжет помещается в одной фразе: с 1969 по 1985 год все, что я сочинял для сцены и экрана, шло под именем «Ю. Михайлов». Но здесь речь идет, главным образом, о кино, так как фильмы, особенно по телевизору, смотрят все и предмет разговора общепонятен. Да и знают «Ю. Михайлова» больше по кино. Хотя начинал он в театре. Но – по порядку.

ПЕРВЫЕ ПЕСНИ ДЛЯ КИНО

В 1954 году я поступил в Московский педагогический институт им. Ленина, где только ленивый песен не писал, и таким образом оказался среди бардов первого призыва. Хотя всерьез-то я сочинял стихи, а песни – так, для смеху, «как бы смеяся и играя»:

В Ленинграде нонче тёпло,

На зиму пародия.

Одна тетенька утопла:

На Неве разводия.

Уж как я на поезд сяду,

Сам себе да на уме.

От Москвы до Ленинграду

720 киломе-е-е-е!

И так далее в том же роде, и оказалось, что между делом придумал я и свою первую песню для кино, сам того не подозревая.

Была у нас в институте процедура – предварительное распределение. Эдак за полгода до диплома вызывали студентов к начальству и предлагали подписать бумагу о своем согласии ехать трудиться в про-

* Главы из будущей книги.

винцию. Поскольку к концу института таких энтузиастов оставалось немного, вот и нажимали на нашего брата пораньше, иной раз угрожая даже лишить диплома, что было чистым блефом, но действовало.

Этот день я помню. Перед дверью парткома столпилась наша группа, главным образом девицы: институт-то педагогический. Почти никто ни в какую провинцию не собирался, отчего настроение царило тоскливое. Вызывали поодиночке. Друг мой Паша, смолоду сердечник, пошел туда с полным набором достоверных справок, категорически отвергающих для него какие-либо отъезды из столицы. Вышел он не скоро, с белым лицом: бумагу не подписал, за что и был подвергнут жестокому разносу с глухими угрозами. Глядя на Пашу с ужасом, в роковую дверь двинулась восьмимесячным пузом вперед студентка С. Вышла в слезах: и пузо не подействовало! Настала очередь моя.

В большом кабинете белым днем клубились сумерки и могильная тишина. За барьером из столов восседал весь синклит: ректор, проректор, партком, комсомол и деканат. Две предыдущих жертвы довели их до свинцовой злобы ко всему живому.

– Куда будем распределяться? – с фальшивой бодростью спросила меня замдекана (античная литература).

Уже известно было, что нас, словесников, с нетерпением ждут на Северном Кавказе, в Сибири и на Камчатке. О последнем пункте я имел самые смутные представления (кто не знает Северного Кавказа?). Кроме того, Камчатка, приравненная к районам Крайнего Севера, твердо бронировала за мною жилплощадь здесь и обещала большие надбавки к жалованью там. Добавим и то, что почти ничто не держало меня в столице – напротив, давно хотелось новых впечатлений, словом, с легкой душой ответил я на поставленный вопрос:

– На Камчатку.

Это надо было видеть, как озарился кабинет, дотоле мрачный, как казарма. Общий вздох облегчения чуть не вынес двери. На мгновение я почувствовал себя спасителем Отечества. Подписал бумажку и торжественно выплыл в коридор, а затем поплыл в общежитие и там немедленно сочинил песенку «Рыба-кит» о неведомой Камчатке, употребив всю имеющуюся в запасе морскую терминологию, а именно «сейнер» и «лот».

Желание мое исполнилось, я прибыл к месту своего назначения, откуда убыл лишь через три года. На Камчатке запас терминологии значительно вырос, и я, например, не уверен, что вам, дорогой читатель, известно выражение «через канифас» и его смысл. Вот и хорошо. Что до легкомысленной песенки про кита, так она на удивление живо прижилась среди суровых камчадалов, и в моей забытой Богом Анапкинской средней школе был даже ансамбль «Рыба-кит», взявший второе место на смотре самодеятельности в райцентре с романтическим названием Оссора. Артисты мои выступали в тельняшках и кирзе, пели о сельдяной путине в Тихом океане и уступили первое место только прекрасной композиции про космонавтов. В Москву я привез с собой море (Берингово) песен и стихов. Тогда уже началось и стремительно ширилось великое магнитофонное дело. Оно мигом подхватило мои песенки, размножило и разнесло. И клюнули на моего «Кита» – сначала пи-

терский знаменитый ансамбль «Дружба» Броневицкого, затем целый выпуск товстоноговских студентов и наконец – Ленфильм.

В картине «Семь нот в тишине» (режиссер Вит. Аксенов, 1967) песню про кита решили снять прямо на Камчатке прямо в исполнении одноименного ансамбля моих подросших к тому времени учеников – прямо на тех самых клубных подмостках, где мы этого кита когда-то ловили под звуки небольшого, в пять октав, пианино (представьте, я сам его настраивал, кто бы мог подумать!).

И приехала группа на Камчатку снимать моих артистов – но оробели «киты» перед камерой, наглухо зажались, и ничем их было не разжать, даже спиртом. Пришлось идти на подлог: строить на Ленфильме сельскую сцену с плакатом «Привет рыбакам Камчатки!» и выводить на нее замечательных питерских театральных студентов – в тельняшках и кирзе. Они и сбацили «Кита» моего – так, как мои подлинники камчадалы не сбацили бы в жизнь. И, как теперь выражаются, пипл охотно схавал эту рыбку, не заметив подделку, хотя интеллигентность «камчатских» фейсов не вызывала сомнений в их петербургском происхождении...

Это – первая моя песня для кино.

Вторая также была придумана тогда же, в 59-м, и называется она «Губы окаянные, или большой привет Толкуновой». Я сочинил ее по поводу очередного лирического переживания и никакого серьезного художественного значения ей не придавал.

Через двадцать лет оказалось: я ошибся. Песенка была принята к исполнению в прелестную ленту Никиты Михалкова «Пять вечеров» (по Володину). На экране Любшин поет мои «Губы» визуально, а вокально это делает за него Сережа Никитин. А через некоторое время в «Кинопанораме» восходящая звезда Игорь Скляр взял гитару и объявил: «Русская народная песня!» – и запел про окаянные губы нотка в нотку. Я сидел в изумлении. На втором уже куплете загредел телефон. Предупреждая ехидные вопросы друзей, я сразу сказал в трубку:

– Русский народ слушает.

Малолетней дочери моей Наташке это понравилось. На следующий звонок уже откликнулась она:

– Дочь луского налода слусает вас.

Ну а *специально* для кино, на заказ, я первую песню сочинил в 63-м. Режиссер Теодор Вульфович, в обиходе Тэд, снимал на Ленфильме картину «Ул. Ньютона, 1», в своем роде уникальную: кроме нее, пожалуй, еще лишь «Нам двадцать лет», хуциевский фильм, настолько же насыщен приметами нашей юности, времен хрущевской оттепели. Только у Вульфовича в объективе оказалась знаменитая «Маяковка» 60-х годов: так называлась первая самовольная, т. е. неформальная, т. е. свободная тусовка нашего поколения. На площади Маяковского вечерами регулярно собиралась интеллигентная молодежь почитать стихи, попеть под гитару – словом, как сказал сам поэт, «свободный труд свободно собравшихся людей».

(Власти, разумеется, недолго терпели это своеволие. Тем более что из «Маяковки» произрастали отъявленные диссиденты, вроде

Буковского и Делоне.) Так вот, потолкаться на площадь являлись и герои нашего фильма – юные физики, не чуждые лирики. Одного из них играл молодой оператор Параджанова, в будущем найкраший мастер украинского кино Юрий Ильенко.

Сценарий написал будущий известный драматург Эдик Радзинский. Эпизодическую роль играл уже и тогда известный Ролан Быков. В своей крошечной роли участников студенческой пирушки выступали и мы с Юрой Ковалем, будущим блестящим прозаиком... нет, всё, невозможно вот так перечислять имена. Напишешь «Юрий Коваль» – а ведь это целая страна, галактика, вселенная. Мое перечисление становится какой-то инвентарной описью: «Вселенная № 1», «Вселенная № 2»...

Возвращаюсь к своей первой песне, написанной на заказ.

«Она должна быть о дороге, лейт-тема на всю картину», – объяснил Тэд. Я призадумался. Раньше я был как Шуберт в стихах Самойлова: «запоется – запоет», а теперь как же? А теперь надо найти верные ориентиры. Я выбрал тон мужественной романтики, что-то вроде известного «Глобуса» или «Бригантины».

*Нам дальний берег неведом,
Маршрут нам незнаком.
К паденьям или победам –
Известно будет потом.
Но если быть домоседом,
То как же стать моряком?*

*Пускай петух прогорланит
Последний привет земли.
Больных и слабых на берег!
Вперёд, мои корабли!*

и т. п.

Картина вышвыривания больных и слабых ужаснула режиссера. Он попросил чего-нибудь полегче, я опять запаниковал, и тогда друг мой Юра Коваль, чья залиvistая удалая песнь «Когда мне было лет семнадцать» уже была принята к исполнению в этом фильме, посоветовал:

– А ты поройся в своих камчатских песенках, у тебя же их полно. Может, чего найдешь.

И я нашел две развеселые канцоны, сочиненные просто так, для дружеского застолья. За основу пошла следующая:

*На северной, на узенькой,
На еле видной параллели
Звучат зимой, как музыка,
Бураны, бури и метели.
Гуди, пурга,
Гони снега,
Нам это не беда:
Есть выходной,
Спирт питьевой
И пресная вода!*

Припев образовала другая, вполне нахальная:

*Поплавал я на океане Тихом,
Вот и хватит, милые, с меня.
Прощайте и не поминайте лихом,
Вот и до свидания!*

(Таким образом автор прощался с Камчаткой. Знал бы, несчастный, какой ностальгией заплатит он за это хамство!)

Мотивчики склеились друг с другом, как родные. Осталось подобрать слова, приличествующие случаю, то есть дорожные. Так она и состоялась, моя первая, заказная. И, между прочим, запел ее народ. И было дело, через несколько лет, на краю дикой камчатской тундры, в походном домике местных пастухов я проснулся от того, что из «Спидо-лы» молодецким комсомольским голосом грянул ансамбль «Дружба»:

*Негаданно-нечаянно
Пришла пора дороги дальней.
Давай, дружок, отчаливай,
Канат отвязывай причальный!*
*Гудит норд-ост,
Не видно звёзд,
Угрюмы небеса...
И все ж, друзья, не поминайте лихом,
Поднимаю паруса!*

Причем в фильме «Ул. Ньютона, 1» песню эту в кадре поём мы с Ковалем – такие красивые и молодые!

Поплыли дальше.

Как пишут в таких случаях, мой дебют в кино не остался незамеченным. Понемногу стали поступать предложения посочинять еще что-нибудь.

К 69-му году моими песнями были оснащены три фильма и два спектакля. Магнитофон распространил мою гитару во все концы, я уже выезжал с сольными концертами в другие города Отчизны, как вдруг...

Впрочем, не совсем вдруг. К тому времени я уже был довольно активным диссидентом. Как раз на период 65–70 гг. приходится начало, пик и конец широкого общественного движения против режима. Движение было по форме лояльным, по существу антисоветским. Первый ропот пробежал по рядам еще в 63-м году, при Хрущеве, когда судили Бродского. Затем грянул арест, а там и суд над Синявским и Даниэлем, оба получили соответственно семь и пять лет лагеря за свою прозу. Тут-то и посыпались протесты, одиночные, групповые и коллективные, причем уже не только по поводу позорного судилища, а и вообще – «против возрождения сталинизма в нашей стране».

Среди многих «подписантов» (а также «сочинянтов и распространянтов») был и я. Помню даже одну романтическую ночь, когда с компанией друзей и единомышленников на подмосковной даче до утра печатали мы фотокопии с небольшой листовки моего сочинения и исполнения: я написал ее квадратными буквами для конспирации (!) – а наутро мы с Володией Лебедевым, ныне известным журналистом, разбросали весь тираж (штук сто) по почтовым ящикам раз-

ных редакций, поминутно оборачиваясь. Слежки вроде не было. Однако на следующую ночь на дачу нагрянули с обыском – но ничего не нашли. Так мы до сих пор и не знаем: действительно они опоздали или просто решили поугадать молодых подпольщиков?

Кроме прочего, водилась за мной и еще одна крамола. Сочиняя вполне приличные песни для кино, я иной раз придумывал и неприличные (не для кино), например, монолог пьяного Брежнева:

*Мои брови жаждут крови,
Моя сила в них одних.
Как любви от свекрови,
Ждите милости от них.*

И хотя со сцены я воздерживался, но в дружеском кругу – позволял. А так как друзья иной раз кроме бутылки прихватывали с собой и магнитофон, то помаленьку и накопился материал для статьи 190 прим УК РСФСР (до трех лет лагеря). Ясное дело, терпеть меня в рядах советского учительства было невозможно, и весной 68-го моя педагогическая карьера завершилась (о чем я искренне сожалел), а осенью, уже на Большой Лубянке, т. е. в самом что ни на есть центре нашей Госбезопасности, мне рекомендовали прекратить публичные выступления с гитарой. Было, однако, дадено понять, что против моей работы в театре и кино они не возражают – справедливо полагая, что там и без них найдется на меня управа. Так что в начале 69-го ситуация для меня была такая: или я тружусь с режиссерами – или я борюсь вместе с диссидентами, совмещение обоих занятий исключалось. Я выбрал первое и с тех пор если и помогал правозащитному движению, то сугубо нелегально. Решиться пойти дорогой Галича я не смог и, как сказал поэт, «я не уверен, хорошо ли это».

Так или иначе – выбор был сделан. Друзья мои об этом знали, в театрах и на киностудиях – тоже, тем не менее никакие контракты с антисоветчиком Ю. Кимом были невозможны. Для «Ю» требовалось другое продолжение.

Это хорошо понимал Леня Эйдли́н, с которым тогда мы работали над спектаклем по фонвизинскому «Недорослю» в Саратовском ТЮЗе. Я сочинил туда 23 номера, включая увертюру. Леня приехал в Москву на пару дней, чтобы, в частности, поговорить и о псевдониме. За прочими хлопотами мы совсем забыли проблему, и только уже на вокзале, провожая режиссера в Саратов, я хлопнул себя по лбу:

- Леня! А псевдоним-то? Совсем забыли!
- Надо подумать.
- Да чего тут думать, давай сейчас. Иванов?
- Есть писатель Иванов, Анатолий. И пародист Иванов.
- Петров? Сидоров?
- И Петров есть, и Сидоров.
- Семенов?
- Юлиан.
- Антонов?
- Сергей.

– Михайлов?

– Михайлов... Михайлов... Михайловский – был, а Михайлов? Нет, не припомню.

– Я тоже. Ну вот пусть и будет – Михайлов, Ю.

Ну, вот он и стал. И пробыл шестнадцать лет. Время его назначило, время его и отменило.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЮЛИЯ КИМА

В творческой биографии Ю. Михайлова числится и еще немало фильмов, здесь не упомянутых, но мы ведь и не задаемся целью рассказать обо всех его трудах. Поэтому расскажем об одной из его последних работ и простимся с ним навеки: хороший был работник, добросовестный. Лента Захарова по сценарию Горина о Свифте мне и сейчас представляется смутной, загадочной, исполненной сложных символов и смыслов, – сильно подозреваю, что загадочность формы доминирует у авторов над таинственностью содержания. Грубо говоря, в том же стиле можно было выразиться проще. Но вот эта странная тоскливая нота отчаяния и одиночества мудреца и фантаста авторам удалась, а другие два автора, т. е. мы с Ген. Гладковым, ее из всех сил поддержали, и я не знаю музыки пронзительнее, чем «Шествие» в начале фильма. Я присутствовал при ее возникновении. Может быть, Марк Захаров войдет в историю искусства как лучший извлекающий музыки из Ген. Гладкова. Он принес портативный магнитофон, и оттуда послышались какие-то дикие шотландские звуки. «Вот что-то в этом роде...» – загундосил постановщик, и маэстро, присев за рояль, начал прикидывать то так, то эдак, а Марк подавал соответствующие реплики: «Ну-ка, ну-ка... вот-вот... Нет, не туда... Поострее, поострее... Нет, помягче бы... Ну-ка, ну-ка...» То есть буквальное понукание.

Я знал, что они нередко соединялись для подобного звукоизвлечения, но видел лишь однажды. Конечно, полученный результат затем всячески трансформировался, но все-таки в основе лежал.

Со «Свифтом» (мы его любовно именовали «художественный Свифт») была тяжкая цензурная история. Стелла Ивановна Жданова, важная телевизионная чиновница, всячески желавшая Захарову добра, никак, ну никак не могла выпустить произведение в эфир. И ведь ничего антисоветского, какой-нибудь конкретной идеологической претензии предъявить было невозможно – до того авторы запудрили идейную враждебность сочинения каким-то а-ля феллиниевским абсурдом, – но она была! Она чувствовалась в каждом кадре, и вот монтировал-перемонтировал эту ленту режиссер по ждановским поправкам, а дух оставался неистребим. Уже и Брежнев скончался, и сменил его Андропов, обладатель развитого чутья на все враждебное. А что будет со «Свифтом», было ну совершенно неясно. И вдруг по телевидению объявляется ретроспектива фильмов Захарова, которая не может кончиться иначе как демонстрацией его новейшего произведения! Что такое? И мы узнаем: на каком-то приеме Андропов сказал Захарову: «Мне очень нравятся ваши фильмы».

Ген. Гладков воскликнул:

– Ну что бы ему добавить: «А особенно песни»?

Всего три слова, а мы бы горя не знали.

Он не добавил. Но «Свифта» мы увидели.

Ю. Михайлов прекратился в 1985 году. Это непосредственно связано с моей борьбой за мир.

Бороться за мир на Земле я начал давно, еще в школе, пионером, оттачивая стихотворное мастерство на американском империализме. В институте я уже обличал все человечество и окончательно утвердился на пацифистских позициях. Трудясь на Камчатке, я со своими «Китами» сочинил, разучил и поставил на клубной сцене целую песенную композицию, как солдаты пяти армий идут разоружаться, каждый отряд под свою песню, и, побросав огромные черные деревянные автоматы в одну кучу, обнимают друг друга за плечи и поют известную общую песнь: «Если бы парни всей Земли...»

Карибский кризис 62-го года вызвал к жизни первое мое драматическое произведение в стихах – «Министр»: там сидящий в дурдоме некий (конечно, западный) военный министр жмет на воображаемые кнопки и стирает *их* с лица Земли, но затем в ужасе видит журавлиный треугольник смертоносных летающих тарелок, которыми *они* успели ответить, и помирает от безумия и страха. Настоящая «маленькая трагедия», пятистопный ямб, в рифму. Как положено. Пока писал, очень переживал. Однако сочинение не пригодилось никому по своей малохудожественности, и противостояние сверхдержав продолжалось.

В 75-м году удалось добиться кое-каких результатов. Мы с Марком Розовским инсценировали для Миши Левитина антивоенную книгу Курта Воннегута «Бойня № 5» – и он поставил полученный продукт в центре милитаризма, на сцене театра Советской армии. Главный герой – американский офицер, у которого поехала крыша после кошмарной бомбардировки Дрездена в феврале 45-го года; как и Воннегут, он ее пережил, будучи военнопленным. И действие происходит в госпитале, впрочем, все время вылезая из него в разные стороны, преимущественно в немецкий концлагерь. Спектакль получился поэтому сам по себе несколько сумасшедший, что вполне соответствует режиссерскому стилю М. Левитина. Однако пацифистская нота в нем была выражена довольно отчетливо, несмотря на маскировку под психическое заболевание. Это смущало военных цензоров, хотя они, в общем-то, изо всех сил желали нам успеха. После очередного просмотра воцарилось неловкое молчание. Требовалась очень точная формулировка. И ее нашли сами же авторы постановки:

– Вот до чего доводит американская военщина своих лучших людей.

Армейские политуправленцы облегченно вздохнули. Спектакль приняли, дело мира дошло до того, что в космосе состыковались «Аполлон» с «Союзом». Но разрядка оказалась временной, надо было действовать дальше.

В 79-м году мы поклялись со Жванецким, что сочиним каждый свое в защиту мира. Тем более не успели мы поклясться, как началась Афганская война. Видно, Жванецкий махнул рукой от безнадёги, во всяком

случае, он обещания не сдержал, не то что я. В 80-м году готова была антивоенная пьеса в стихах, пятистопный ямб, как положено, – «Ной и его сыновья», где Ной имел еще и фамилию – Таммер и был вовсе не библейским старцем, а Генеральным секретарем ООН. В отчаянии глядя, как мир приближается к ядерному самоубийству, он приносит в жертву трех своих сыновей, чтобы человечество наконец опомнилось. Настоящая «маленькая трагедия». С одной финальной песней:

*Все в мире снова темно и грозно.
Как докричаться до глав правительств?
Договоритесь! Еще не поздно!
Пока не поздно – договоритесь!*

В тщетных усилиях пристроить сочинение на чьи-нибудь подмостки я читал его по клубам, в виде, так сказать, моноспектакля. В первой сцене Ной обзванивает руководителей сверхдержав с напрасными уговорами. В эпизоде, где Ной разговаривает с Председателем, я, честно, Брежневу не подражал и не причмокивал на шипящих, но зал дружно узнавал и покрывал меня антисоветскими аплодисментами. Через некоторое время по следам моих выступлений пошли ребята в штатском, интересуясь, кто позволил и не записывают ли на магнитофон, а если да, то не дадите ли послушать. Пришлось мне приостановить борьбу за мир. Но тут завлит театра Станиславского Володя Оренов сагитировал главного режиссера, Товстоногова-сына, на благородное дело. «Ной» оброс песнями и был прочитан-пропет перед труппой и принят к постановке.

Главного героя репетировал сам Сергей Шакуров. Стройный, величественный, он и правда воплощал в себе всю мудрость и горечь Первого Человека Земли. Он не ходил, а шествовал, не говорил, но рек. Темная мантия ниспадала. Красивая седая голова была подчеркнута ослепительным воротником. Пятистопный ямб в его устах звучал как шекспировский. Глядя на него, я испытывал то же смущение, что при записи своей песенки в инструментовке Шнитке.

Однако срок окончания репетиций быстро приближался, а спектакль был еще сырой, центральная роль еле разработана, Сергей Каюмыч знал текст менее чем наполовину – все это его крайне раздражало; он, с одной стороны, не хотел показывать полуработу, с другой – решительно не поспевал. А через два дня – сдача городу. Так назывался показ нового спектакля соответствующему городскому и партийному начальству на предмет разрешения к эксплуатации. И вот за два дня до экзамена Шакуров приходит в театр – на костылях, страшно довольный. Одна нога в гипсе: он, видите ли, вывихнул ее на корте, пижон. До сих пор думаю, что симулировал. Хотя он, конечно, уверяет в обратном. Но как он шествовал на этих костылях! Как будто добился главного успеха всей жизни. И тыкал своим гипсом под нос каждому встречному, особенно режиссеру-постановщику и автору. Катастрофа! Летят планы, графики, а с ними премиальные и наградные. Что делать?

Спасенье было одно: на всем земном шаре единственный человек, который знал текст наизусть и мог (это правда), прочесть его с выражением, был автор, т. е. Ю. Михайлов. Он пошел навстречу. Мантию

чуть перешили с Шакурова на него, туфли пришлось впору, как и ослепительный воротничок. Осталось ему, то есть мне, научиться величественно вещать и шествовать. С этим дело обстояло плохо, зато я знал текст назубок. Уж не говоря о том, что пел я (а там было что) существенно лучше Народного артиста. Более всего, однако, меня беспокоила сложная партитура перемещений по сцене, так как они сопрягались с поочередным включением прожекторов, и к такой-то реплике я железно должен был находиться в такой-то точке, и нигде больше. Вот это-то запомнить было для меня жизненно важной задачей. Сцену расчертили на квадратики и поставили номера. При этом я должен был еще и переживать за человечество, следить за дикцией и общаться с профессиональными актерами по полной программе системы Станиславского, то есть, не теряя сквозного действия, решать сверхзадачу. Через три репетиции я был готов к сдаче городу. Участие автора ошеломило собравшихся начальников, и спектакль разрешили. Тем более что Председателя мы на всякий случай переименовали в Премьера (что, впрочем, публику не обмануло). Шакуров выздоравливал неохотно, и я все первые спектакли так и отыграл. Мастерство мое, мне казалось, крепло от представления к представлению, и, кроме сквозного действия, мне очень понравилось держать паузы. Я их закатывал по минуте, пока не начинало казаться, что я забыл текст. Ни в каких чеховских спектаклях таких пауз не держали, чтобы не сказать «не выдерживали». Словом, я уже подумывал, а не пойти ли мне в актеры, как мою самонадеянность хлопнули по носу. В один из спектаклей забежали ко мне за кулисы выдающиеся актрисы театра «Современник» Алла Покровская и Екатерина Васильева и закричали хором:

– Юлик! Какое счастье смотреть на тебя! Какой ты молодец!

Я засмутился. Да ладно мол, чего там.

– Нет, нет, что ты! Ты же себя не видишь, а мы видим! Ты такой непрофессиональный, такой непрофессиональный, это прелесть!

– Ну да! А сквозное действие? А как я паузы держу?

– Плохо держишь паузы, и не держи, брось, зачем тебе? Мы же этих профессионалов наизусть знаем, как пойдет, как скажет, как паузу возьмет, а ты такой непосредственный, такой непрофессиональный!

Так что уж я и не знал, чем же мне гордиться. Паузы на всякий случай подсократил, но сверхзадачу оставил.

После одного из спектаклей меня в кабинете главного режиссера познакомили – ну просто с английским лордом. Иначе не скажешь – до того породист и внушителен этот гран-премьер, до того глубок его красиво надтреснутый голос и неторопливы жесты. Ни за что в жизни не угадаешь с первого взгляда, что перед вами сидит крокодил Гена. Конечно же, это Шерлок Холмс! Говорят, в Великобритании он получил премию за лучшее в мире исполнение роли их национального литературного героя.

Итак, Василий Борисович Ливанов, собственной персоной, сидел в кабинете, когда я вошел туда, отрясши власы от пудры, изображавшей трагическую седину несчастного Ноя. Завидев меня, знаменитый артист поаплодировал мне немного, расхваливая мой гражданско-художественный подвиг, а затем предложил обдумать киносценарий

про Ноя, с ним, с самим Ливановым в главной роли. И позже, когда уже мы работали у него дома, подарил мне готовый кадр из будущего фильма, где он, такой седой, элегантный, в белом смокинге, предстает во всю мощь присущего аристократизма – ну не чудак ли Шакуров, отказавшийся от такой роли? Правда, это был кадр из какого-то всеми забытого кино, где Ливанов играл эпизодического сенатора, – но для меня – кадр из нашего будущего триумфа! Уже и Джигарханян согласился играть, уже и Ген. Гладков был приглашен в маэстры, но тут вдруг СССР начал стремительно разворачиваться лицом к Америке, и актуальность, по крайней мере политическая, стала таять на глазах. И скончалась благородная идея, и черт с ней, лишь бы не было войны.

Тогда же узнал я, что Ген. Гладков и Вас. Ливанов одноклассники, да еще вместе с известным лошадиником и шекспироведом Дм. Урновым. Их объединяли общие воспоминания о совместно проведенной юности, изобиловавшей многочисленными веселыми приключениями, как правило, подшофе. Не забуду, как на пятидесятилетии Ген. Гладкова, собравшись с гостями в банкетном зале «Баку», все трое, наперебой вставая с бокалом в руке, по очереди рассказывали одну новеллу за другой, где самой бледной была повесть о том, как сидели в ночной пижаме на премьере симфонии Шостаковича в Большом зале Консерватории рядом с автором, стремясь заснуть у него на груди, – банкетный зал погирал от хохота целый вечер. Может быть, самое пикантное в этом было то, что у каждого из трех мушкетеров в бокале была стерильная минералка – и только! Все трое были в завязке! Кажется, лишь англоман Урнов мог позволить себе кружечку-другую пива, всё.

(Кстати, со словом «непьющие» связано одно социально-грамматическое наблюдение. Рассказывают, будто, вступив в должность главрежа Ленкома, Марк Захаров быстро оказался перед необходимостью дисциплинарных мер по поводу пьянства. И вот, выступая на общем собрании насчет загулявшего электрика, приложив широкую ладонь к груди, мастер сказал умоляющим голосом: «Товарищи! Поверьте! *Непимь* – это тоже очень интересно!»)

Именно так: слово «непить» он произнес как одно, и это верно! Непитие есть состояние, прямо противоположное всем известному, и оно характеризуется множеством собственных признаков, присущих только ему, например: вечная ясность взора, особенная энергичность жизни и особенная восприимчивость к живописи. Это Ю. Михайлов подтверждает на собственном опыте. Противоположное состояние в нем, как правило, обостряло восприимчивость к музыке и балету.)

И вот однажды, ранней весной 85-го года пришел на спектакль «Ной и его сыновья» Булат Окуджава. На это подвигло его предложение «Литературной газеты» написать обо мне очерк. Кроме всего, он вообще хорошо ко мне относится. Время от времени свою взаимную любовь мы выражаем¹ в стихах и песнях. Но здесь, повторяю, кроме прочего, было и задание. Булат, конечно, знал уже, что я выступаю на сцене драматического театра им. Станиславского в главной роли своей же пьесы, где еще и пою песни собственного сочинения в

¹ Писано в 1996 году. – Ю. К.

защиту мира. Последнее обстоятельство и вызывало в нем основной интерес, так как давно уже он мне сообщил:

– Вообще-то, я театр не люблю... – и поморщился, словно в этом исключительно театр и повинен.

Вот и теперь ничего нового для себя он на сцене не увидел и не услышал, кроме, разумеется, песен, которые похвалил. Весь мой гражданский азарт его совершенно не тронул, и еще слава Богу, что он не сказал мне по поводу «Ноя» вслед за Марком Анатольевичем:

– И чего это тебе вздумалось воевать с американским империализмом?

Однако дело есть дело, и через некоторое время в «Литгазете» появился очерк Б. Окуджавы «Запоздалый комплимент», где он и награждает меня этим комплиментом, запоздалость которого можно отнести на счет прессы, но никак не на его: мы-то виделись с ним не раз, и комплиментов я от него уже наслушался. И вот в этом-то очерке Булат и написал: дескать, Ю. Михайлов да Ю. Михайлов, ну не могу, ни язык, ни перо не поворачиваются дорогого и всем известного Юлика Кима называть каким-то Ю. Михайловым, да еще с этим неопределенным «Ю.» – Юрий? Юлий? Юзеф? Юстиниан? Вы как хотите, а для меня он Ким, и все тут, и приблизительно с половины статьи прекратил употреблять мой многолетний псевдоним, а использовал только девичью фамилию. После чего было глупо подписываться иначе. Наступили времена, когда антисоветскость уже перестала быть объектом уголовного преследования, хотя еще и не стала заслугой перед обществом.

Так с середины 85-го года в титрах фильмов с моим участием вновь появился Ким и не перестает до сих пор. Первой такой работой стало кино Володи Бортко «Без семьи», куда вовлек меня друг и композитор Дашкевич, и мы насочиняли туда довольно много песен, из которых большинство про кочующий театр, а самую из них лучшую (и самую грустную) спел Иосиф Кобзон, к полной для меня неожиданности пополнив список моих исполнителей.

Следует сразу отметить, что в новейшие, то есть свободнейшие, времена гораздо реже увидишь в титрах Кима, нежели Ю. Михайлова – в застойные. Скорее всего, это связано с бурным расцветом меня как драматурга, а с 88-го года и как гастролера, в том числе и зарубежного. Я снабдил своими текстами комедию Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов», которая, к моему удивлению, опровергла мои пессимистические прогнозы по поводу неизбежного провала, до того мне не понравился сценарий, совершенно надуманный, – но ведь вот что значит талант постановщика (и, конечно, маэстро Ген. Гладкова). Уж не говорю об актерах: там звезды одна на другой, зачастую буквально (все-таки пародия на вестерн): то Караченцов метелит Фараду, то Ярмольник Мишулина. И все это под аккомпанемент могучего голоса Ларисы Долиной, озвучивающей главную героиню. Да-а, есть еще голоса на Руси, немыслимой красоты и силы, и в первую очередь я думаю о Высоцком, Шевчуке и Градском, а в самую первую очередь – о Ларисе Долиной. И только с грустью

качаю головой, когда вижу это непонятное ее пристрастие к довольно серенькой попсе. Тем более что она грандиозно спела жестокую пародию на оную попсу в фильме Миши Козакова «Тень» по Шварцу.

КАК Я СТАЛ КИНОДРАМАТУРГОМ

«Тень» Евгения Шварца – вещь для постановки трудная. Оттого, мне кажется, что драматург не решил главнейший вопрос: в чем же родство между светом и тьмой, почему это светлая душа непременно порождает темного двойника и почему это казнить хорошего обязательно означает погубить и плохого? Как говорил один важный начальник, «не вытекает».

Связь между двойниками Шварц трактует только как соперничество. Но она глубже: не только тень без света, но и свет без тени не обходится. Поэтому кажется мне, что Шварц просто разработал известный андерсеновский сюжет, как, например, «Золушку», и предоставил зрителю самому искать смысл метафоры. Ведь он и «Дракона» писал *только* как антифашистскую вещь, и понадобилось время, чтобы она прочлась и как антисоветская.

Во всяком случае, сколько я ни приставал к Козакову, в чем состоит существо связи между Ученым и Тенью, он мне толком так ничего и не объяснил, и я попытался хоть как-то об этом сказать в песне, но дальше общих мест не пошло.

В фильме, конечно, первым делом восхищает работа Кости Райкина, он играет и Тень, и Ученого, причем в таком разительном контрасте, что даже когда они сидят и беседуют друг с другом в одном кадре, ничего особенного в этом не видишь: сидят абсолютно разные люди – так он сыграл. Но, возможно, вернее было бы, если бы он играл вариации одного и того же человека.

Какие еще картины? «Расстанемся, пока хорошие» Мотыля; это с Ген. Гладковым. «Собачье сердце» Бортко, с Дашкевичем. За то же время я – это для сравнения – сочинил десять пьес. Однако успел я войти в искусство кино совсем с другой стороны: я стал кинодраматургом и за мной числятся четыре киносценария, из них два не вполне справедливо, хотя именно их-то зритель и знает.

Оснащая песнями чужие пьесы, естественно приходишь к мысли: а не попробовать ли и самому? Таким образом стал я драматургом, причем сначала записался в их организацию: есть в Москве такой профком московских драматургов, я в нем состою с 74-го года. А уж потом сочинил свою первую пьесу, а там и все остальные. Некоторые даже идут на сцене.

Участвуя в экранизации чужих пьес («Мнимый больной», «Сватовство гусара», «Обыкновенное чудо»), натурально начинаешь думать об экранизации и собственных драматических произведений. Правда, если быть точным, меня к этой мысли привел Михаил Юзовский, известный наш киносказочник, с которым я к тому времени успел немного и посотрудничать («Засекреченный город», «Там, на неведомых дорожках»). Но сначала об исходном материале.

Пьесу «Иван-царевич» я написал по предложению театра им. Маяковского. Главного режиссера Андрея Александровича Гончарова совсем заел городской отдел культуры с требованием поставить детский спектакль. Это был общепринятый оброк с каждого взрослого театра Москвы – иметь в репертуаре хотя бы один детский спектакль (на мой взгляд, оброк совершенно справедливый). Театр Маяковского, хотя и играл «Золотой ключик», но уже так давно, что декорации истлевали прямо на глазах, не говоря о самом представлении – его играло уже третье поколение актеров театра. Требовалось обновление. Мэтр Андрей Александрович терпеть не мог ставить детские спектакли и вообще тратить на них время и средства. Но начальство пристало с ножом, и кормить его неопределенными обещаниями было уже просто несолидно. Вдохнув, А. А. порылся в своем прошлом опыте и обнаружил там когда-то удачно поставленные им в театральном вузе фрагменты из сказки А. Н. Островского «Иван-царевич». Отчего бы не потрянуть стариной? Правда, сочинение это, помнится, фрагментарно вообще, и конец не дописан, да и середина тоже – а на это у нас есть Ким-Михайлов, нехай напишет с десяток песен, вот и заполнятся эти ниши. Явившись по первому зову (нас давно уже связывали дружески-производственные отношения), я обнаружил: сто лет тому А. Н. Островский решил дать бой Оффенбаху, заполнившему собой все лучшие сцены России. А мы чем хуже? Али сами не можем? – возмутился писатель и уселся за *взрослую* сказку-оперетту со всякими фривольными и сатирическими куплетами насчет чиновничества. За основу он взял все, что было придумано русским народом про Иван-царевича, и составил подробный конспект будущего зрелища. Собственно, этот конспект и есть все, что осталось от замысла. Действо предполагалось в пяти частях. Происходило оно на Руси, в Индии, в Кощеевом царстве, и в царстве Кошек, и еще черт-те где. Действующих лиц было штук сорок. В середине третьего акта я уже не помнил, о чем речь и кто есть кто. Этот ветвистый скелет оброс плотью ровно на 20%: лишь первый акт был написан Александром Николаевичем да вчерне начат второй, но тут стало известно, что Директор императорских театров Гедеонов денег на постановку не дает, и творческий пламень классика съезжился и угас. (О, как это напоминает наши дни!) Прошло сто лет. Над «Иван-царевичем» склонился я. Склонившись, я увидел: если взять написанный первый акт, то никакими песенками остальные четыре (вернее, их отсутствие) не заполнишь. О чем я и сообщил заказчику. И тут же и предложил перевести замысел Островского на рельсы современной детской сказки в духе Шварца, то есть взять у великого драматурга лишь мотивы для самостоятельного сочинения, которое я, будучи членом профкома драматургов, и берусь исполнить. Андрей Александрович, как это раньше говорилось, великодушно повелеть соизволил. Я исполнил. Главное, чем горжусь: об Кошечу Бессмертного героям руки марать не пришлось – он сам себя кокнул. Я его писал, имея перед собой Ролана Быкова в виду. Такой шустрый, маленький и всемогущий завхоз. Вся челядь в парче и бархате, а он – в телогрейке и кепочке, почти урка. Но – телогрейка золотая, кепочка серебряная. Фикса во рту. Ходит, посмеивается, никому не верит. А. А. мою сказку похвалил

и, согласно традициям, описанным у Булгакова в «Театральном романе», начал делать поправки. Для начала он превратил Бабу Ягу в Соловья-разбойника, а Кощея в клоуна и потребовал заменить мое главное достижение – Кошеево самоубийство все-таки на Иван-царевичев подвиг. Свои требования он объяснял, что ему виднее, на что откликаются дети. Я мог бы сослаться на свой педагогический опыт, но он тогда сослался бы на свой, а он профессор. Вы спросите, где моя творческая принципиальность, – я отвечу: очень хотелось, чтоб в театре Маяковского это пошло. В итоге мои переделки хоть и ухудшили произведение, но достойно, если такое возможно. Судите сами: Кошей мой стал в конце концов погибать не от своей руки, а от волшебного слова, которое Иван-царевич не знал, а зритель – знал: Кошей в какой-то момент пробалтывался, словно не замечая, что на него смотрит полный зал детей. И когда царевич, махая шашкой, добирается до Кошеевой смерти, а заветного слова не знает – весь зал хором начинает ему подсказывать: «Сво-бо-да! Сво-бо-да!» Однажды это звучало в исполнении полутора тысяч детей, пришедших на эту сказку в огромный питерский дворец культуры. Родители сидели замерев, а их чада посреди брежневского застоя во все горло орал в восторге: «СВОБОДА!!!» Ну и накликали.

Ставил сказку Женя Каменькович, устроил отличный цирк под музыку Ген. Гладкова – и пошло, пошло по всей Руси великой и по Союзу, а там и превратилось в мюзикл, а вскоре дошло и до кинематографа. Миша Юзовский начал снимать фильм по «Царевичу», озглавив его «После дождичка в четверг», где моего любимца Кощея сыграл мой любимец Олег Табаков, с присущим блеском. Правда, играл он не завхоза, как мне мерещилось, а скорее первого секретаря обкома. Так вот: сценаристом в титрах был назван «Юлий Ким» – но это соответствует правде лишь наполовину, и я, как говорится, пользуюсь случаем об этом объявить во всеуслышание, тем более прошли годы. Сценарий по моей сказке написал сам постановщик, Миша Юзовский, но поставить себя в титры наотрез отказался, сказав мне: «Так надо». (Почему «надо», я не понял, но гонорар мы поделили поровну.) Множество деталей в этом кино принадлежат исключительно его фантазии, как то: карлик, бегающий на цепи, золотые маски Кощея на многочисленной челяди, опохальщик при шахе. Ибо от огромной толпы экзотических лиц, придуманной классиком, оставил я одного только шаха Бабадура, капризного и довольно безобидного эгоиста, на роль которого призван был Семен Фарада. А при нем, по мысли Миши, должен быть опохальщик.

Так, после долгого перерыва, я появился на экране. Являясь соавтором сценария (а формально и полным автором), я устремился на съемки по призыву Юзовского, благо происходили они на Ялтинской студии в мае. Что такое Крым поздней весной – не мне вам рассказывать, тем более вы это знаете, а я нет. Я приближался к месту съемок в предвкушении роскошного отдыха с морскими и солнечными ваннами, прихватив с собой малолетнюю дочь, свободную от школы на майские праздники. Время от времени, мечтал я, мы будем показываться на съемочной площадке, путаясь под ногами занятых людей, и я буду знакомить свою Натусю с буднями советского кинематографа,

а после краткой экскурсии – на казенной машине в отель, а там – в бассейн с морской водой с подогревом. Ну и конечно, Ботанический сад, домик Чехова... В Симферополе нас встретила казенная машина с администраторшей, которая, всячески нас поприветствовав, сообщила по дороге, как бы походя, что опохальщик при Фараде захворал.

– Ничего, я сыграю, – легко сказал я, а дочь немедленно мной загордилась.

Я был пойман на слове, и таким образом Крым остался по ту сторону моей жизни. Два раза был подогретый бассейн. Это все. Остальное время прошло в каторжном труде киноактера, участника массовки: тебя час гримируют, потом три часа ждешь, когда снимут, потом три часа снимают, а там ждешь, когда гример освободится для тебя, сто лет разгримировываешься – вот и вечер настал. Фарада, войдя в роль, смотрел на своего опохальщика сверху вниз. Он стал почему-то называть меня «пахан» и покрикивать, даже между съемками. А так как роль была бессловесная (кабы знать-то!), то и возражать-то мне было нечем, а только поглядывать время от времени с классовой ненавистью. Малолетнюю дочь тоже приспособили к толпе каких-то полуголых гурий в шальварах, и она пару кадров в этом кино действительно собою украшает. Слава Богу, самомнение ее от этого не увеличилось и в киноактрисы она не подалась.

Следующей экранизации подверглась другая моя сказочная пьеса. В 75-м году завлит театра Советской армии Анатолий Смелянский внезапно сделал мне царское предложение – написать для одного театра соответствующую сказку о русском солдате, так что название возникло задолго до текста: «Иван-солдат». Написав его на листе бумаги, я было надолго задумался, но оказалось, что ненадолго: выручил Высоцкий. Он тогда всю сочинял свои замечательные песни-сказки, и вот, в размышлении о солдатском сюжете, я и вспомнил известную Володину песню о «бывшем лучшем, но опальном стрелке», который нагло заявил царю в глаза:

А принцессы мне и даром не надо. / Чуду-юду я и так победю.

Я, помню, даже засмеялся вслух от удачной мысли. В минуту передо мной сложился и развернулся весь мой сказочный сюжет, да что ж тут особенно думать, когда все уже расписано: в некотором царстве имеется Иван-солдат, пребывающий в опале у царя. За что? Ну, это дело простое: царская опала может быть по любому случаю, желательно вздорному. На царство нападает чудо-юдо. Оно должно быть страшное, военное, непобедимое, чтобы больше чести было солдату с ним управиться. Как я его назову? А что там у Шекспира по этому поводу? Воплощение вечного солдата, пожизненного воина – Фортинбрас. Вот и моя чудо-юда пусть так именуется. У царя, само собой, дочь, принцесса, – почему Иван от нее отказывается? Во-первых, потому что, когда общая беда, солдат идет на бой не ради награды, а по долгу чести; во-вторых, у него своя Маруся. Вот и Маруся. А принцесса пусть тоже будет – Марина? Нет, слишком современное городское имя, Мария лучше, но слишком значительно для принцессы нашей. Мария-Луиза – вот что в самый раз: и Мария, и не очень значительно. Даже пусть – Мария-Луиза-Тереза. Самое то. Ну а там уж сами

собой произросли и Фома-богатырь, и Ванька-шут, и Василий-князь. Последний, конечно, явился из Толстого. Хитрый царедворец, князь Василий Курагин из «Войны мира», с него и написан мой сказочный подлец, не зря же я восемь раз проходил в школе это произведение с моими старшеклассниками камчатской и обеих московских школ.

В месяц написал я пьесу, радовался и всем показывал, и Высоцкому подарил с дарственной надписью на машинописном экземпляре – как первоисточнику (он, правда, так мне ничего и не сказал). Самому Эрасту Гарину читал, размахивая руками и подпрыгивая, – увы. Сказочка моя ни Советской армии, ни Гарину, ни вообще кому бы то ни было, кроме близких и родственников, не показалась и улеглась в архив дожидаться своего часа, и он настал через двенадцать лет.

Тот же Миша Юзовский взялся за моего очередного Ивана, поступив с ним так же, как и с предыдущим: сам написал сценарий и по-прежнему отказался появляться в титрах из соображений, мне до сих пор неведомых. Однако на сей раз я активнее встречал в сценарный процесс, и на экране благодаря нашим совместным усилиям сказочка сильно отличается от первоисточника.

Здесь мы уже сознательно запланировали роль для меня, и я как киноартист продвинулся в своей карьере еще на одну ступеньку: получил три реплики! Там вокруг бездыханного героя собирается международный консилиум, где роль китайского врача играю я с помощью восточной внешности. Я выхожу из покоев страдальца, крупным планом надвигаюсь на зрителя и говорю трагически:

– Плёхо, осень плёхо!

А музыку писал Рома Гринблат. Это, кажется, его последняя работа в кино. Заказы ему нечасто перепали, а он любил писать для театра или экрана. Но сказать, что он для этого землю копытом рыл, никак невозможно. На редкость ленивый был организатор своих побед. Хотя на первый взгляд – весьма преуспевающий творец: и тебе член парткома Союза композиторов в Питере, и член иностранной комиссии, и заслуженный деятель искусств Латвии. Но несмотря на все на это, никаких особых льгот он со всего этого никогда не имел, за границей и в новейшие времена почти ни разу не был, да нет, никакой не преуспевающий, жил себе как жилось и на свой счет пальцем не шевелил, а только привычно пекся о сыне и матери. И ждал, когда придет очередная музыкальная идея. Потому что в историю он вошел как мастер авангарда, один из лучших последователей Шенберга, и даже я, невзирая на свое невежество, чувствовал легкость и изящество этой его непонятной музыки. Он разговаривал со мною о ней с удовольствием, не обращая внимания на мою необразованность, и я, ни аза не смысла, все-таки с наслаждением его слушал, и это наслаждение, вместе с пониманием, передавалось мне потом, во время его симфонических премьер. Он для них надевал черный бархатный пиджак и смотрелся полным парижанином. Живя в привычном холостяцком бардаке, он все время сохранял личную опрятность – и это при неизменной папиресе в зубах и бесконечных окурках по всей квартире, где любая емкость означала пепельницу.

Бывало, расчистив на кухне стол, он не спеша и подробно отбивал специально закупленную вырезку, брал на кончик ножа сначала соль, затем перчик и аккуратнейше потряхивал их на расprostертые мясные блины, а затем лопаточкой укладывал их на разогретую сковородку, а там и переворачивал в должный момент, а в другой поддевал и сбрасывал с лопаточки на чисто вымытую тарелку и подавал на стол. Где уже, разумеется, громоздился хлеб в корзинке и было ноли-то в тонкие стопарики с золотым ободком...

Быстро летело время за неторопливой трапезой. Кухня постепенно заполнялась до потолка табачным дымом, и ранее утро, бывало, заставляло нас не за пошлой пулькой, а за шибко интеллектуальной игрой в словесный «Морской бой», которой он предавался с азартом картежника...

Не хочу и думать, что нет его на свете уже. Просто уехал в Германию, как собирался, и не пишет...

ТЕПЛОЕ ПРОЩАНИЕ С Ю. МИХАЙЛОВЫМ

А вот третья экранизация пока еще не состоялась. Хотя сценарий есть (сам сочинил!). В какой-то степени его можно рассматривать как теплое прощание с Ю. Михайловым.

Этот последний возник в 69-м году, вы помните зачем: для прикрытия бывшего диссидента Ю. Кима в его трудах на поприще кино и театра. Ну а что же наш диссидент?

Перестав быть явным антисоветчиком, я присоединился к многомиллионной массе скрытых. Отойдя от движения правозащитников, я все равно оставался рядом, как старый друг, как горячий сторонник, а изредка и как помощник. Их лица, характеры и судьбы, подчас трагические, прошли передо мной во множестве и оставили неизгладимый след. Время от времени я посвящал им песни, а с началом перестройки почувствовал не просто желание – необходимость сочинить настоящую песнь о наших диссидентах.

В обществе отношение к ним было и остается пестрым, от насмешливо-презрительного до вежливо-уважительного, и как должно о них еще толком не сказано и не спето. Между тем наше диссидентство для истории России значило не меньше, чем восстание декабристов, а если учесть, из-под какого чудовищного пресса сталинщины вышло наше общество в 60–70-е гг., то еще вопрос, кому понадобилось больше мужества для сопротивления режиму: тогдашним дворянам или теперешним интеллигентам.

Большое видится на расстоянии – но тем, кто близко наблюдал этот ежедневный риск, это постоянное напряжение, эти обыски и слежки, допросы и увольнения, аресты и суды, лагеря и ссылки, тем, кто оплакивал друзей и товарищей, изгнанных или замученных, – тем оценить великое дело наших правозащитников легче, чем другим.

В 88-м году театр «Третье направление» поставил спектакль «Когда я вернусь» по песням Галича. Тогда театр числился при клубе им. Чкалова. Профсоюзное начальство, к тому времени уже довольно свободное от партийной опеки, с легкой душой приняло спектакль, но тут

неожиданно заупрямилась клубная директриса, и ясно было, что неспроста, что не сама упрямится, а кто-то оттуда (палец вверх) Галича не пускает. Называлась даже фамилия, типа Михеев. Из московского горкома. Мы, друзья и авторы театра, так и вскинулись – и кинулись к телефонам: Лановому звоним, Ульянову звоним, директрису на Михеева настраиваем: дескать, вечера памяти Галича повсюду идут, и на них его записи во всеуслышание звучат, и в ведущих журналах огромные подборки его текстов лежат – но все без толку: уперся Михеев, не дает разрешения играть спектакль. А театр-то на хозрасчете, в репертуаре только Галич, жить становится не на что. Среди прочих попыток спасти положение была и моя: я написал письмо А. Н. Яковлеву, который в горбачевском Политбюро сидел на идеологии. Дескать, тщательный анализ показывает: вы, Александр Николаевич, ближайшая инстанция, способная разрешить. Написал, отослал и забыл, давно уже привыкнув к безнадежности подобных обращений.

Дней через десять у меня дома раздался звонок:

– Здравствуйте, с вами говорит Михеев из московского горкома. Ну, что там у вас с Галичем?

И спектакль немедленно пошел, и с большим успехом.

И мы с Олегом Кудряшовым, руководителем театра, поняли: пришла пора сказать слово о наших правозащитниках. Олег предложил идею песенно-документальной композиции, взяв за сюжетную основу типичный судебный процесс над диссидентами. Хорошая идея. Сразу же обозначаются действующие лица: прокурор – воплощение государственной ненависти к инакомыслию, адвокат, честный профессионал, в финале его выгоняют из коллегии (действительный факт); судья – образец партийного фарисейства; колоритные заседатели, свидетели, публика, наконец, сами подсудимые. В основе текста – подлинные документы, стенограммы, воспоминания, газеты. Так и построить: обвинение, допрос, выступления свидетелей, прения сторон, последнее слово, приговор. Так и назвать: «Суд». И все действие прослоить подлинными песнями эпохи: Галич, Высоцкий, Окуджава, Визбор и другие.

Я же сделал Кудряшову контрпредложение: пусть он сам эту композицию и составит, ему виднее – ведь себе же, под режиссерскую руку. А я тем временем попробую на ту же тему – но по другой сюжетной канве. Возьму я типичную московскую компанию друзей. Как жили не тужили, как собирались друг у друга на кухнях, выпивали, спорили о судьбах России; как однажды даже составили и подписали некоторое открытое письмо, где осудили возрождающийся сталинизм, а там и пошло одно за другим: первая слежка, первые предупреждения, первый обыск, увольнение с работы, вынужденная эмиграция, выход на площадь, арест, суд, лагерь – обычный сюжет 60–70-х годов. Так и назвать: «Московские кухни». И не то что прослоить – а просто почти все спеть под Галича, Высоцкого и других, но все-таки написать эти стилизации специально к спектаклю.

Разговор был в конце мая 88-го, с тем, чтобы осенью посмотреть, что у кого вышло. В сентябре мы встретились. Олег собрал и обработал огромный материал, но пьесы пока не было – у меня же была готова почти половина мюзикла. Прослушав, Олег взялся ставить мой

вариант, а свой отложил до другого случая. К зиме я закончил, и в 89-м году «Московские кухни» пошли в Москве, затем в Питере и в Омске. Но мне все мало. Все кажется, можно поставить эту вещь и пронзительнее, и глубже, и не потому кажется, что пьеса получилась лучше прочих, а потому что уж очень тема особенная, о многих дорогих людях речь идет, хочется, чтобы знали и помнили.

Иногда я устраиваю этакий моноспектакль и сам читаю и пою за всех персонажей – и каждый раз чувствую досадное бессилие выразить все, что там мною же и заложено – например, «Вечную память» на четыре голоса. И конечно, мысль об экранизации не покидает меня. Мы с Мишей Юзовским начали прикидывать, не получится ли чего с моим моноспектаклем, сделали пробы. Обилие корейцев, изображающих московских диссидентов, привело меня в уныние. А тут еще забрезжила возможность полнометражного игрового музыкального кинозрелища – так что затея с кино-моно завяла на корню. Правда, и с полнометражным мюзиклом тоже не процвела. Хотя дело дошло аж до киносценария. Вот несколько картинок из него.

Московская кухня на рубеже 60–70-х годов. Компания давних друзей заинтересованно и горячо толкует о судьбах России (вот уже лет двести длится этот разговор!):

– *Россия, Россия, Россия – ну просто шизофрения!*
 – *Россия-Россия-Россия – какой-то наследственный бред!*
 – *Ведь сказано было, едрёна мать: умом Россию не понять, В Россию можно только верить. Или нет.*

– *А я поверить рад бы, но из газеты «Правды»*
Не вижу, во что же мне верить, сэр:
Религию ликвидировали, крестьянство дегradировали,
А вместо России – Эресе – Эфесе – Эр?
Но я не могу любить аббревиатуру,
Которую я не в силах произнести!
 – *Отдай народу землю, отстрой ему деревню,*
И завтра всё воскреснет на Руси!
 – *Никита так и начал, да бес его подначил!*
 – *А этому, с бровями, вообще на всё начхать!*
 – *Земля землѣй, но ты сперва подай мне главные права,*
Вот вам что делать и с чего начать!
 – *«Отдай народу землю?» Да он её пропьѣт!*
 – *Как будто раньше меньше пили, что ли?*
 – *Сначала давайте условимся, что такое народ.*
 – *Ну, это не просечь без алкоголя.*
 – *А раньше, между прочим, меньше пили!*
 – *Ребята! Кончайте вы этот базар!*
 – *Зачем Столыпина убили?!*
 – *Всѣ!*
 – *Всѣ!*
 – *Всѣ!*
 – *Всѣ!*
Всѣ Достоевский предсказал!!!

Дискуссия помаленьку превращается в беспорядочный гвалт, как вдруг все затихает: встает со стаканом в руке особенный гость нашей вечеринки – Костя-Колыма, недавний зек сталинского еще призыва, 58-я статья, десять лет лагеря за антисоветскую агитацию (свернул сигарку из газетки, не заметив портрета вождя), человек матерый и авторитетный. Он поднимается молча, но внимание сразу к нему. И тогда к разговору о России добавляет и он:

*Кто бы дал мне карандашик – написал бы я слова
 Про норильские металлы и карельские дрова.
 Как не ударники-шахтёры и не люди были там,
 А неслыханное племя: сто шестнадцать пополам.
 То ли твари, то ли звери, то ли жалкие скоты –
 Это были ваши деды либо матери-отцы.
 Эх, родная полста восьмая, «агитация-террор»,
 Голос чёткий, суд короткий и бесконечный приговор.
 Кто придумал это племя и развёл по всей Руси,
 Тому самой лютой казни сто лет думай – не найти...*

И негромко начал колымскую, каторжную:

*Не собирай посылку, мама,
 На почту больше не ходи:
 Твой сын уходит наконец-то
 В объятья вечной мерзлоты...*

Кто-то тихонько подыграл на гитаре:

*Теперь никто его не тронет,
 Последний хлеб не украдёт,
 В тайгу прикладом не погонит,
 Не плачь: теперь он отдохнёт.*

Гитару остановили... Но сам собой возник кларнет, а за ним потянулись струнные... Компания слушает, не шелохнется:

*Не собирай посылку, мама,
 Она сыночку не нужна:
 Последний раз он в небо смотрит,
 А там – колымская луна.
 И ничего ему не надо:
 Ни слёз, ни камня, ни креста,
 А лишь бы люди все на свете
 О нем забыли навсегда...*

И доносится издали или из-под земли незримый многотысячный хор, сливающийся в этом последнем «а-а-а» в мучительный плач, вой, горестный и невыносимый... Слушает компания, некоторые плачут. А потом, словно эхом откликаясь:

*Ни камня, ни креста...
 Ни дикого куста...
 Ни знака, ни следа...
 Душе понять непросто,*

*Что здесь не пустота,
Что здесь не тишина,
А немота Огромного погоста...*

*В любом из здешних мест,
Куда ни обернёшься,
Ставь свечу и крест,
И ты не ошибёшься...*

*Вечная память.
Вечная память.
Память во веки веков...*

Самое важное место в «Кухнях» – кульминация, эпизод на суде. Итак, взяли одного из нашей компании на Красной площади с плакатом «Свободу народу!». И вот судят за антисоветскую пропаганду. Он, однако, виновным себя не признает. Дают ему последнее слово. И он – этак словно задумавшись, словно пристально во что-то вслушиваясь:

*Стаканчики гранёные –
О чём звенели вы?
Головушки учёные –
О чем шумели вы?
Какая вас нелёгкая
На площадь погнала?
Какая даль далёкая
На помощь позвала?..*

И, словно завороченные, начинают ему подпевать – судьи, зрители, и друзья, и стукачи, и конвой, и вся Россия – подчеркиваю: *вся!* – как Пугачев у Пушкина, «с каким-то диким вдохновеньем»:

*Какая даль далёкая –
А счастья не видать!
Какая степь широкая –
А смерть – рукой подать!
Душа болит и мается
От бедности своей,
И только в песне ей гуляется
Как вздумается ей!
Эх, раз!
Да ещё раз!
Кострома-Калуга!..*

Все поют в этом хоре, все: и близкие, и далекие, и знакомые, и нет, и все те, кого я вспомнил в этих записках, – и Владимир Сергеевич, и Геннадий Игоревич, и Марк Анатольевич, и Николай Георгиевич, и Боярский, и Миронов, и Караченцов – все, вплоть до Сергея Иосифовича включительно. Такой уж получился хор.

Кроме «Московских кухонь», я написал еще один сценарий по «Бригадиру» Фонвизина. Есть надежда, как уже сказано, воплотить на экране и нашего с Дашкевичем «Клопа» – словом, мы с кино еще навеки не расстались.

Юлий Ким

*ПИЩА ДУХОВНАЯ**

- Остап: Вы сидите на моём стуле.
Ляпис: Я сижу на вашем стуле?
Остап: Наследство прабабушки. Пришли большевики, всё отняли, разбазарили, теперь мы, потомки, собираем, буквально по крохам.
Ляпис: Вы уверены, что не ошибаетесь?
Остап: Ну как же. Ореховый гарнитур, середина девятнадцатого века. Работа мастера Гамбса. Родная вещь.
Ляпис: От души вам сочувствую. Всеми силами готов способствовать. Но – сами понимаете: вещь всё-таки антикварная.
Остап: Я заплачу, конечно. Скажите сколько.
(Ляпис пишет на бумажке, подаёт.)
Понятно. На жалость вас не возьмёшь.
Ляпис: Попробуете силой?
Остап: Не мой репертуар. Может, взлом?
Ляпис: Швейцарская сигнализация.
Остап: Описание имущества за долги?
Ляпис: Всё схвачено.
Остап: Остаётся банальный шантаж.
Ляпис: У вас что-то есть на меня?
Остап: Может быть, может быть.
Ляпис: Послушайте, мы раньше нигде не встречались?
Остап: Может быть, может быть.
Ляпис: Точно! Москва, Лефортовская тюрьма. Вы там косили под племянника маршала Жукова. У вас хорошо получалось! Как это? «Попались бы вы мне под Берлином!» Гениально!
Остап: Не увлекайтесь, пожалуйста.
Ляпис: Слушайте, чем вы занимаетесь? Такое время – а вы гоняетесь за табуретками. Это нерационально. Всё, я вас беру к себе, на рекламу, в отдел продаж – куда хотите, две штуки баксов на первое время...
Остап: А, собственно, вы-то – чем занимаетесь?
Ляпис: Я? Хо-хо. Я... Я кормлю голодных людей!

* Не так давно мы с композитором Геннадием Гладковым соорудили мюзикл «12 стульев» по просьбе театра Драмы в Екатеринбурге. В силу обстоятельств из либретто выпал фрагмент, который мне всё равно нравится. Вместо него пошёл другой, который тоже нравится, хотя и поменьше. Нам с Гладковым захотелось перенести действие в наши дни, поэтому Ляпис-Трубецкой из мелкого халтурщика превратился у нас в крупного издателя, который принимает Остапа Бендера в роскошном офисе на антикварной мебели.

ЗОНГ ЛЯПИСА С ХОРОМ

Ляпис: Раньше мы такого и не ждали никогда,
Наступила не жизнь, а житуха:
Сами не сумели – заграница помогла
Наконец-то набить наше брюхо.
Наши землеробы позабылись по углам,
И тогда, как струя под напором,
Отовсюду хлынули все флаги в гости к нам,
Я бы даже сказал, с перебором:

Хор: Английские бифштексы, немецкие сосиски,
Канадские корнфлексy, турецкие ириски,
Пришёл к своей Маруське буквально от сохи –
И нюхаешь французские духи!

И пепси, и коку, и пасту с маргарином,
Голландскую молóку и кофе с героином,
Картошку из Мадрида, из Кубы алычу...
И всё что хочешь – ешь не хочу!

Ляпис: А назавтра заново обычное житьё,
Служба-дружба, интриги и склоки,
Нужно что-то большее, чем вечное питьё,
Что вкуснее бифштексов и коки.
И тогда на сцене – появляюсь я,
Главный сеятель пищи духовной,
И рукою щедрой предлагаю я
Всем голодным набор превосходный:

Духовные сосиски, духовные сардельки,
Духовные ириски-барбариски-карамельки!
Включаешь телевизор, вернувшись от сохи,
И нюхаешь духовные духи!

Хор: Духовные конфетки, духовные креветки
Духовные колготки, сковородки и салфетки!
Духовные стриптизы! Духовный ора-секс!
Оно покруче будет, чем бифштекс!

Ляпис: Да! Да! Это я! Я! Производитель и поставщик всего
этого ежедневного хавала для жаждущего пипла!
Дуринину с Манцовой читали? Это я! Степениду
Разину слышали? Это тоже я! Звёзды на лбу, Каме-
ди Клаша, Русская параша – а? И всё это я! И на
вечные вопросы «Что? Где? Когда?» отвечаю ис-
черпывающе: это я – ваше всё! Везде! И всегда!

Хор: «Убийство под диваном!»
«Мочение в сортире!»
«Чего между собой жена и муж не поделили!»
«Любовь с утра до ночи в однокомнатной квартире!»
«Расцвет зоофилии при Второй Екатерине!»
Пища духовная – криминально-альковная!
Каждому треба
Заместо хлеба
Полное ведро ширпотреба!

Ляпис: Ну? Идёшь ко мне в рекламу?
Остап: Ляпис. Сам понимаешь, я человек не брезгливый. Но, честно говоря, меня чуть не стошнило.
Ляпис: Так. Значит, всё-таки брезгливый. Это не ко мне. Свободен. Стула не получишь.
Остап: Всё-таки попытаюсь.
Ляпис: Даю минуту. Я вас слушаю.
Остап: Вы писали «Марш железнодорожников» по заявке МПС.
Ляпис: Слушаю вас.
Остап: Там у вас плагиат: «Союз наш надёжный железнодорожный сплотила навеки великая Русь». Это чужой текст. Подсудное дело.
Ляпис: Ну и что? Против меня было тридцать пять дел, я все выиграл.
Остап: Тут важно, чей это текст.
Ляпис: А чей это текст?

(Остап пишет на бумажке, показывает.)

Понятно. Вопросов нет.

(Подает Остапу стул.)

То-то я всё думал: до чего складно у меня получилось. Ну, пока. В Бутырке увидимся.

(Остап ушёл. Телефон.)

Да. Да. Я. Записываю. Компания «Аэрофлот». Юбилей. Торжественная песня. Три куплета. Это будет две штуки евро. За каждый куплет! Минуту. Не уходите.

(В другой телефон.)

Эллочка! Срочно отзовите текст «Железнодорожного марша», на доработку. И больше не возвращайте. Гонорар тоже.

(В прежний телефон.)

«Аэрофлот»? Готово. Уже диктую:

«Укажи мне такую обитель. Я такого угла не видал. Где бы русский народ-победитель. Аэрофлотом бы там не летал». Да. Пожалуйста. На мотив «Марсельезы». Заходите ещё.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

* * *

Рифмующий легко и смачно,
поющий смачно и легко —
куда ты скачешь, вечный мальчик,
неуловим, как Сулико?

Мы все вокруг тебя стареем,
тебя лишь время не берёт.

Твои веселые хорей

(Читатель рифмы ждет «Корея»?)

Ну на, возьми ее скорее!),
как санки, мчат тебя вперед.

А мы, заложники матраса,
сидим и смотрим из щелей

на эту солнечную трассу,
на твой божественный бобслей.

Прости нас, слабых и безвольных,

за наш обломовский режим,

за то, что рифмую глагольной

мы часто, видит Бог, грешим,

за то, что ты один на сцене,

а мы лишь вслед тебе глядим...

На то ты, Юлик, чистый гений.

А гений — он всегда один.

Алла Боссарт

* * *

У ртутного столба есть разных миллиметров,
и градусов шкалы вокруг нуля полно.

Ну а твоя судьба — не ждёт попутных ветров,
крыла её светлы и с небом заодно.

И обходя моря, и горы, и уголья,

и южные моря, и Эрец-Исраэль,

хамсин или туман — ты при любой погоде

свободен, как нисан, а значит — и апрель.

Щебечут какаду кудрявые прогнозы,

их тьмы и там и тут — ни счастье, ни перечесть.

А у тебя в саду — благоухают грозы,

и яблони цветут, и новых песен есть.

Игорь Бяльский

* * *

Если бы я был Василием Жуковским, непременно сочинил бы в честь Юлия Кима балладу «Певец во стане русских кознов». Но у Жуковского певец напоминает воинам о великих русских полководцах, а я назвал бы имена Высоцкого, Галича и Окуджавы.

Ибо это именно они, великие барды прошлого столетия смотрят сейчас на Юлика и молча одобрительно кивают. Ибо Ким без сомнения принадлежит к этой светлой компании.

*Юлик, дорогой, ты талантлив, умён и весел – живи и пой!
А стишок я всё-таки написал:*

Люди есть на свете – мало их,
Божьим даром щедро удостоенных,
Юлий Ким, конечно же, из них,
он певец во стане русских кознов.

Над его талантом потрудились
гены и России, и Кореи,
так они отменно совместились,
что удачу празднуют евреи.

И когда бряцает он на лире
среди Кима любящих людей,
то теплее делается в мире,
и смягчает сердце у блядей.

Оставайся, Юлик, так же светел,
ты родился истинным поэтом,
и твои три четверти столетия –
мелкая херня на фоне этом.

Игорь Губерман

* * *

Суета, и томление духа,
Да на месте бессмысленный бег –
Вот и вся она, наша житуха,
Всё, чем русский горазд человек.

И не встретить в ней однажды я Кима,
И не выпей бы с ним я тогда,
Так, глядишь, и прошла б она мимо,
Не оставив в культуре следа,

Но свалилось, незнамо откуда,
С запредельных каких-то небес
Вдруг необыкновенное чудо
Из необыкновенных чудес.

Юль Черсаныч, талант многоплодный,
Выдающийся русский поэт,
Ты дубиной любви народной
Почитай уж полвека огрет.

Где б ты ни был – везде тебе рады.
Даже в самом медвежьем углу,
Лишь свои ты заводишь рулады,
Как тебя приглашают к столу.

Я люблю тебя с позднего детства,
Что в трудах и лишениях прошло,
А теперь мы живем по соседству
В белокаменном нашем Гило.

Я – всё больше и больше старея,
Обрастая седой бородой,
Ты – всё больше и больше еврея¹,
Таки кто же из нас молодой?

Игорь Иртеньев

* * *

Герой любого праздника,
Любого зала перл,
Певец с лицом проказника,
О чём бы он ни пел.

Так мало вместе выпито,
Так много спето врозь.
Ему там, на Олимпе-то,
Так холодно небось!..

И я хочу его обнять
Разок за столько лет!
Но держит в строгости меня
Здоровый пиетет.

Светлана Менделеева

¹ В данном случае – деепричастие.

* * *

Я с утра посылаю всех к чёрту,
я весь день пожимаю плечом.
Вижу цифры, но Ким-то при чём тут,
когда ясно, что он ни при чём?

Мимо Хайфы и Харькова мимо
он пульсирует сквозь облака –
От Москвы до Иерусалима
плотность Кима весьма велика.

Вечно будучи кавалергардом,
бомбардиром и рыбой-китом,
он на зависть бардессам и бардам
не спешит обрастать животом.

Просто, видимо, Кимом любясь,
время малость умерило прыть.

Я люблю Вас, люблю Вас, люблю Вас
и любовь не намерен таить.

Григорий Певзнер

* * *

*Ну, ребята, – всё, ребята,
Нету ходу нам назад,
Оборвались канаты,
Тормоза не тормозят.
Вышла фига из кармана,
Тут же рухнули мосты,
А в условиях океана
Негде прятаться в кусты...*

Юлий Ким, 1988

Ну, Черсаныч, – всё, Черсаныч:
Снова нету нам житья.
То, как зверь, завою на ночь,
То заплачу, как дитя.

Вышел месяц из тумана –
В страхе спрятался в туман.
Вышла фига из кармана –
Оттопырился карман.

Оседлала всю Расею,
Что украла – не вернёшь.

Фига жрёт и тут же серет,
Вот что значит нестерпёж.

У неё персты проворны –
Всё стащили в свой общак!
Где ж вы, ленинские нормы?
Где вы, Дубчек и Собчак?

Фига Лондон заселяет
И на лондонском суде
Свету белому являет
Представленье о себе.

Вор на воре, плут на плуте,
Ловкачи, на тате тать...
Где ж ты, «Хроника событий»?
И кому тебя читать?..

Не печалуйся, брат Черсаныч, такое у нас не впервые. Ведь и Блоку было в радость дышать воздухом революции. *«Пальнём-ка пулей в Святую Русь – / В кондовую, / В избяную, / В толстозадую!»*. А как пальнули, да как заполыхало родное Шахматово – затосковал Александр Александрович. Дивился прыткости новой власти: *«Чего нельзя отнять у большевиков – это их исключительной способности вытравливать быт и уничтожать отдельных людей»*. Тогда, в 1919-м ещё казалось, что отдельных. И тоскливый термин *культурное одичание* изобрёл в ту пору он, Александр Блок, а вовсе не в нынешнюю пору твой друг Владимир Сергеевич Дашкевич.

Но от «Двенадцати» Блок не отрёкся. И был, пожалуй, прав. Ведь возникла же на том пепелище новая цивилизация – наша с тобой, Черсаныч, цивилизация, великая цивилизация, по правде говоря.

Даст Бог, и теперь обойдётся. А на вопрос «что делать?» сам же Блок и ответил накануне мучительной своей кончины. Вот как сформулирован его завет живым: *«спокойно и медленно созидать истреблённое семьёю годами ужаса»*. У нас с тобой, правда, не семья, а побольше, но остальное – в самую точку. Созидать. Спокойно и медленно. Истреблённое.

Потому желаю тебе, печальный мой красавец, прожить ещё как минимум семьдесят пять годов, посвятив их этому хорошему занятию.

Дмитрий Сухарев

Тригорий Канович

*МЕСТЕЧКОВЫЙ РОМАНС**

*А идише маме! Ты одолела столько бед!
А идише маме! Лучше тебя на свете нет.*

Из народной еврейской песни

1

Я давно собирался написать о маме с тем радостным усердием и той необременительной обстоятельностью, с которой и подобает вспоминать о родителях – самых близких и дорогих людях. Но, к стыду своему, почему-то благое это намерение всё откладывал и откладывал или писал урывками, как бы невзначай, ограничиваясь отдельными эпизодами в рассказах о земляках и родственниках. Желая как-то сгладить усиливающееся чувство вины, я вдруг спохватывался и принимался что-то набрасывать, даже во сне, но назавтра все приснившиеся, как мне казалось, достойные слова безжалостно стирало наступившее за окнами утро.

И вот теперь, на склоне лет, я всё-таки решил, что дальше медлить не имею никакого права и надо не угрызаться, а поторопиться хотя бы отчасти искупить свою вину перед мамой – ведь, не приведи Господь, можно и не успеть...

Поторопиться-то я и на самом деле решил. Но, перебирая в мелеющей памяти всё, что я до преждевременной кончины мамы о ней узнал, не очень ясно себе, честно признаться, представлял, с чего следует начать моё повествование. Ещё не приступая к работе, я отдавал себе отчёт, что мой рассказ не будет ни последовательным, ни цельным, ибо и сама её жизнь не была ровной и гладкой.

Наверно, подумал я, лучше всего начать с той давней поры, когда меня ещё на свете не было, с той неразгаданной доселе загадки, как же маме удалось войти невесткой в дом моей властолюбивой и привередливой бабушки Рахели Минес-Канович, которую в нашем местечке даже мужчины побаивались. Недаром с лёгкой руки местечкового доктора Ицхака Блюменфельда земляки наградили её странным и жутковатым прозвищем – Роха-Самурай.

Бабушка Роха считала своего старшего сына Шлеймке-Соломона самым завидным женихом в крохотном, затерянном, как булавка в необъятной вселенной, местечке Йонава и оберегала его от роковой ошибки. По её убеждению, такого красавца не было не только в Йонаве, но и во всей Литве, от границы с Латвией до рубежей враждебной Польши, откуда в законопослушную Йонаву неведомо какими путями нет-нет да забредали незваные гости – вольнолюбивые хасиды в чёрных долгополых лапсердаках. Они нестройным хором распевали молитвенные песнопения и ловкими, словно гуттаперчевыми ногами на мощённой булыжником мостовой выписывали в

* Первая часть повести.

своих причудливых плясках невиданные в здешних краях иероглифы во славу Господа Бога, завещавшего всему роду-племени Израилеву неустанно и повсюду плодиться и размножаться.

Из рассказов и запоздалых признаний мамы, которая любила то и дело возвращаться в свою далёкую, почти вымышленную молодость и никогда не упускала случая юркнуть в прошлое, как белка в облюбованное и запасливое дупло, складывался рваный, извилистый сюжет моего повествования. Его исходной точкой были трудные отношения нежеланной Хенки Дудак с моей бабушкой Рохой и обстоятельства, связанные с замужеством моей мамы и моим появлением на свет. С них-то, подумал я, и следует начать.

– Может, ты, Довид, знаешь, где по вечерам пропадает наш дорогой сыночек Шлеймеле? – не скрывая тревоги, допытывалась бабушка Роха у своего сумрачного, как поздняя литовская осень, мужа Довида, склонившегося над сапожной колодкой.

Довид в раздумье потеребил жидкую рыжеватую бороду и равнодушно, как будто в комнате кроме него живых существ не было, продолжал тыкать шилом в носок чьей-то поношенной туфли. По своему обыкновению, на вопросы, не имеющие прямого касательства к его ремеслу, он предпочитал не отвечать или, если уж удосуживался ответить, то только взглядом слезящихся печальных глаз или наклоном головы.

– Чего ты молчишь? Разве Шлеймке не твой сын?

Осенней печали в глазах деда нисколько не убавилось, но за стеклами очков в поблекшей роговой оправе тускло вспыхнул скудный ломтик улыбки.

Слов Довид понапрасну не тратил. Деньги, заработанные шилом и молотком, уверял он, грешно утаивать от жены, будь добр, выложи всё до последнего гроша. Но слова? Кому интересны слова? От них только недоразумения и неприятности. Скажешь ближнему своему правду, он не только не поблагодарит, а, глядишь, ещё разобидится и может даже сгоряча влить тебе оплеуху. А соврёшь – как бы своей брехнёй самому себе прямо в душу плюнешь. Лучше всего молчать. Господь Бог на небесах не зря в тряпочку помалкивает. И нам, грешным, велит держать язык за зубами – всё равно на всех слов не нападёшься! Если уж с кого-нибудь брать пример, то с Него, а не с соседки Тайбе, у которой весь день рот не закрывается.

– Ты, Роха, пошевели мозгами – что было бы, если бы Всевышний каждый день отвечал на вопросы тех, кто Его спрашивает? Одна наша Тайбе свела бы Его с ума!

– Совсем ты, старый пень, спятил! – гневилась на него бабушка Роха. – При чем тут Бог? Я тебя не о Нём спрашиваю. То, что Господь Бог обитает на небесах и что Он не говорун, я и без твоих премудростей знаю. Господь сидит у себя дома, на золотом престоле, в окружении ангелов и херувимов, они ведут с Ним благую беседу, а Он краешком глаза ещё успевает присматривать за всеми нами, грешниками, – не слишком ли мы своими неразумными поступками изгадили Его творение – землю? Ночью Отец небесный по местечку с девицами не валандается и в потёмках на берегу Вилии не целуется с ними взасос. Оставь Господа в покое. За день Он устаёт не меньше, чем сапожник. Лучше ответь на мой вопрос, где обретается наш ненаглядный сынок Шлеймеле?

Мама с задором и пылом рассказывала о монологах свекрови, о свёкре и от этих бесконечных, приперчённых остроумными подробностями и колкостями перепалок отогревалась от невзгод и стужи военных лет и молодела на глазах. Она как бы переносилась отсюда, из разорённого Вильнюса, в ту затерянную, как булавка во вселенной, уютную Йонаву, на берег полноводной Вилии, обвенчавшей не одну влюблённую парочку своим тихим благословенным журчанием.

– А тебе, мудрец, ни разу не приходило в голову, что твой сынок может в один прекрасный день привести к нам в дом белобрысую гойку с крестиком на груди? Приведёт свою кралю, подтолкнёт локтем к тебе и выпалит: «Знакомься, татеню: Морта (или Антанина). И благослови!» Что мы будем тогда с тобой делать? Благословим? Выгоним? Или вместе с его братьями Мотлом и Айзиком и его сестричками Леей и Хавой отправимся в костёл к твоему старому клиенту – настоящему Вайткусу? Ксёндз их при нас обвенчает, окропит молодожёнов святой водицей, а мы у них и у прихожан попросим прощения за то, что мы, паршивые евреи, когда-то в древности железными гвоздями, ещё не поступившими в продажу и пользование, распяли их доброго боженьку Езуса?

К угрозам своей благоверной Довид относился со стойким и обидным спокойствием. Ни гойки, ни еврейки его давно не интересовали. Целыми днями его продолговатая голова, сверкающая овальным озерцом пролысины на макушке и поросшая по краям редкой, рыжего цвета растительностью, была забита мыслями о чужих каблуках, подошвах, о дратве, о ценах на кожу, о мучившем его треклятом кашле. Желая успокоить пожароопасную жену, дед с трудом выкарабкался из своего надёжного закутка молчания и, набравшись храбрости, сказал:

– Каждый нормальный мужчина в его возрасте по закону должен, Роха, найти ту, которую ищет. Иначе как бы мы плодились и размножались? Иногда поиски пары затягиваются. А иногда находишь сразу.

Насытившись наступившим молчанием, он медленно вытер заляпанным фартуком остро наточенное шило и добавил:

– Я тебя нашёл сразу, без долгих поисков, хотя вокруг меня вертелось столько всяких! Глаза разбегались. Найдёт и наш сынок свою Рахель. К этому делу сторожа с дубинкой не приставишь!

– К какому это ещё делу?

– Ну, к этому самому... к поцелуям и к прочему... – замялся он. В отличие от гневливой, вспыльчивой жены, из гортани которой не раз осиным роем вылетали ругательства, проклятья, скабрёзности, лексикон деда Довида был чист и благопристойен, как пасхальная ермолка. Никогда не пользовался непотребными выражениями, от которых, как он убеждал всех заказчиков-сквернословов, душа человека зарастает чертополохом. – Ты что, забыла, как мы сами... с тобой до рассвета... под мостом через Вилию... на весенней травяной постельке... Сплошное удовольствие, которое не забудешь. Короче говоря, сама вспомни, как и мы безгрешно притирались плотью друг к дружке.

– Как тебе не стыдно! – возмутилась бабушка. – Плотью друг к дружке! Тьфу!

– Говорить правду не стыдно, – смягчился дед. – Твоя свекровь, моя покойная мама, тебя, Рохеле, тоже в невестки не хотела. Очень

даже не хотела. Ты, мол, и зла, как ведьма, и ростом не вышла, и груди у тебя плоские, для кормления младенцев неподходящие, и на лице бородавка ягодой-малиной расцвела, и попка словно стульчик.

Он задохнулся от перебора слов и замолчал. Сколько языком ни мели, Роху всё равно не переделаешь. Не о сапожничьей дочке для сына мечтала его благоверная – о принцессе, о внучатой племяннице Ротшильда, на худой конец о наследнице йонавского мельника Менделя Вассермана Злате или о падчерице аптекаря Ноты Левита Хане, чтобы он Рохе, страдавшей от дюжины разных болезней, нужные лекарства со скидкой давал...

Каждый Божий день эти смешные, эти щемящие воспоминания о временах минувших призрачными облаками клубились в нашей коммунальной квартире на проспекте имени генералиссимуса Сталина, куда вильнюсский горисполком одним махом вселил три обездоленные семьи, вернувшиеся с безотрадной чужбины на родину. По вечерам возвращенцы всласть вспоминали довоенную жизнь, воскрешали в памяти то, что вытесняло из головы пережитые беды и новые, накатывавшие и с каждым днём усиливавшиеся страхи и тяготы. С голых, наспех перекрашенных стен, на которых не было ни картин, ни зеркал, казалось, гурьбой спускались в коммуналку пропавшие в войну земляки и соседи. Изо всех углов, заваленных нераспакованными баулами и вещмешками, из чудом сохранившихся фотоальбомов и разрозненных пожелтевших снимков, как из расстрельных рвов и ям, группками и поодиночке выныривали на свет Божий убитые отцы и матери, братья и сёстры. Мёртвые спешили на долгожданную встречу со своими живыми родственниками, с теми, кто чудом уцелел на чужбине. Тут удивительно переплетались разные судьбы, неизбывное горе и несбыточные надежды, смыкались прошлое и современность. Она сулила новые непредвиденные испытания и кишела грозными и непредсказуемыми опасностями. И всё-таки этого притягательного прошлого, которое испокон веков служило утешением и воодушевляло в бедах еврейскую душу, этого прошлого было куда больше, чем смутного будущего. Все обитатели нашей общаги с торопливой радостью погружались в былое, как в подогретую летними лучами реку Вилию, продолжавшую спокойно течь в их исстрадавшейся, измученной невосполнимыми утратами памяти и манила на свои кустистые берега – берега их первых свиданий и первой любви.

По вечерам на проспекте имени генералиссимуса Сталина за общий стол усаживались воскресшие в этих воспоминаниях обе мои бабки и оба деда, все тетки и дядья, и вместе с ними все канувшие в небытие земляки и соседи. Далёким эхом откликались их голоса, манера речи, которую с удовольствием копировала и воспроизводила неугомонная заводила и пересмешница – моя мама. Эти голоса и речи, бывало, не умолкали до самого рассвета.

Раз за разом моя мама умело откручивала, как ручные часы, назад время, чтобы только оказаться подальше от выстуженных аулов, разбросанных в бескрайней казахской степи, насквозь продутой рёвом голодных шакалов, от заметённого ядовитой угольной пылью Зауралья, от чужого, затаившегося Вильнюса.

«Человек жив до тех пор, пока он помнит то, чего ни при каких обстоятельствах не должен забывать», – любила повторять моя мама.

– Ты зря волнуешься. Твой любимчик сам разберётся, какая ему нужна вторая половина, – откуда-то из дальней дали в самодеятельном актёрском исполнении мамы ко мне доносится голос деда с хрипотцой и высокий, пламенный альтист бабушки Рохи, которая постоянно донимала его своими страхами и которую он всегда побаивался.

– Шлеймеле – рохля. Его играючи может обвести вокруг пальца любая девка. Хорошо, если ему попадётся порядочная барышня из порядочной семьи, а не блудница, которая нас, чего доброго, ещё байстрюком наградит.

Томясь от неизвестности, бабушка была готова устроить за Шлеймеле круглосуточную слежку, подговаривала младшего, Мотла, и старшего, Айзика, не спускать с царя Соломона глаз, и если они его застукают с какой-нибудь гульливой местечковой дивой, то пусть без промедления докладывают, чтобы мать знала, за кем тот приударяет. Братья вынужденно согласились (попробуй не согласиться, Роха такую бурю поднимет!), но ябедничать и доносить на Шлеймке всё же не стали.

Чтобы всё-таки вычислить зазнобу сына, неугомонная Роха прибегала ко всяким сыщицким ухищрениям. По субботам в синагоге она тщиалась что-то выведать у своих состарившихся товарок, охочих до сплетен. Оглядывая своим зорким оком богомольцев и богомолоч, сыщица прикидывала, у кого из них на выданье дочери и на какой из них мог остановить свой выбор её писанный красавец-сын. Невест в Йонаве было предостаточно: бедняжки-бесприданницы и обладательницы хорошего приданого, непоправимые дурнушки и девицы со смазливими, но глупыми мордашками. Ни одна из них, по разумению разборчивой и требовательной Рохи, не годилась в жены её сыну. Разве что дочь мельника Менделя Вассермана Злата, но та училась на зубного доктора то ли в Германии, то ли во Франции, приезжала в местечко только на каникулы и с неотёсанными местечковыми увальнями – фи! – не водилась.

Каково же было разочарование Рохи, когда она от балагулы Пейсаха, который каждого жителя Йонавы знал в лицо, наконец-то выяснила, кто же эта счастливица, к которой на берег любви бегают её любимчик.

Дочь сапожника Шимона Дудака – Хенка! Вот на кого Шломо – её царь Соломон – положил глаз.

– Шлеймке, я слышала, что ты на всю оставшуюся жизнь уже себе пару подыскал? Это правда? – Роха-Самурай из хитроумного сыщика мгновенно превратилась в дотошного и неумолимого следователя.

Мой отец Соломон, он же Шлеймке, Шлеймеле, ни лицом, ни повадками от своего родителя не отличался. Вместо того чтобы внятно, без увёрток ответить на её вопросы, он только губами пожевал пропахший сапожной мазью и борщом воздух. В отличие деда, молчаливость которого была горестно-похоронной, его отпрыск своё молчание сдабривал жизнерадостной или снисходительной улыбкой. Мол, что поделаешь – среди евреев тайны долго не живут. Как ни скрывай, а тот же балагула Пейсах Шварцман или бакалейщик Хаим Луцкий о них всё равно пронюхает и раструбит на весь мир. Евреи на то и евреи, чтобы обо всём на белом свете узнавать

раньше других. Иначе на случай, не приведи Господь, погрома, как вовемя защититься от головорезов?

– Можно уже договариваться с раввином? Ставить хupu? Приглашать гостей? – язвила Роха, осыпая своего писаного красавца вопросами и перекрывая ему путь к почётному отступлению.

– Ну что ты, мама...

И весь ответ.

– Что, на этой толстушке Хенке Дудак свет клином сошёлся? Может, за ней в местечке очередь выстроились и ты боишься, что окажешься крайним?

– Хм...

– Что ты хмыкаешь? Я с тобой говорю серьезно, а ты только «хмы» да «хмы». У тебя что, язык в задницу утянуло?

– Утянуло, – дерзко ответил Шлеймеле, повернулся и отправился к своему работодателю – знаменитому Абраму Кисину – отрабатывать жалованье.

А Роха долго не могла прийти в себя от его неслыханной дерзости и своеволия. У неё из головы никак не выходила эта пигалица, эта коротконожка, эта вертихвостка Хенка Дудак. Где были его глаза, когда из всех дочерей Шимона Дудака, второго сапожника в местечке – вечного конкурента Довида Кановича, он выбрал именно её? Мог же годик-два повременить, пока подрастет её сестра – красавица Фейгеле. У Фейгеле уже сейчас, в шестнадцать лет, есть то, что у понаторевших в брачных союзах сводниц называется «иди сюда». А что у Хенки? И потом – кто же на базаре отоваривается у первого же воза? Умные люди сначала все возы обойдут, всё осмотрят, перещупают, приценятся, а потом уж, хорошенько почесав в затылке, полезут в карман за кошельком.

– Не горюй, Роха! Жизнь всё расставит по местам и без нашего вмешательства. Выслеживай, не выслеживай – тому, что суждено случиться, того не миновать, – гнул своё незлобивый Довид. – Разве наши, Роха, родители поступали иначе?

– Уж если ты такой умный, может, подскажешь мне, где наши молодожёны будут жить? – сходила козырным тузом Роха. – У нас шестеро душ в двух комнатах, у Дудака шестеро душ: четыре невесты и два жениха – Шмуле и Мотл. Допустим, Шлеймке и Хенка сыграют свадьбу, куда мы их, Довид, положим? На чердаке? В сенях с мышами? Может, уступим им свою постель, а сами будем ночами напролёт разгуливать в обнимку под звёздами?

– Не беда. Если они действительно любят друг друга, то проживут какое-то время врозь: он – у нас, на Рыбацкой, она – у толстяка Шимона, на Ковенской. Шлеймке отделится от Абрама Кисина и станет самостоятельным мастером, снимет где-нибудь квартиру...

Бабушка Роха не дала ему договорить.

– Врозь? Не пора ли тебе, Довид, свои мозги в починку отдать? Интересно, как же они, живя врозь, исполнят завет Господа Бога – плодиться и размножаться?

– Не волнуйся! Исполнят, исполнят, – отрубил Довид.

Бабушка Роха ещё надеялась, что Шлеймеле передумает. Поухаживает за ней, нацелуется и бросит. Но он не передумал.

Когда мой отец впервые отважился привести мою испуганную маму на Рыбацкую улицу, чтобы познакомить с будущими свёкром

и свекровью, бабушка Роха осмотрела её с головы до пят, как опытный покупатель тёлку, привезённую на продажу из глухой деревни в местечко или в уездный город, и хмуро пробормотала:

– А ты, деточка, смотришься лучше, чем я думала. Не красавица, но и не уродина.

Хенка покраснела и опустила голову.

– Как я понимаю, вы оба уже всё решили... – сказала будущая свекровь не с дружелюбной укоризной, а со скрытой угрозой. – Я хотела сказать: вы уже решили за всех нас, будете вместе жить без всякого, как водится у порядочных людей, родительского благословения. Сказали сами себе «мазлтов», обменялись кольцами, налили по бокалу вина, прокричали «лехаим» – и в постельку!

Довид безмолвно стоял в сторонке, держа в руке неразлучное шило, как будто с минуты на минуту собирался проткнуть им свою долголетнюю спутницу.

– Да, – твёрдо сказал жених. – Давно миновали те времена, когда в таких делах верховодили родители – брали своих детей за рога и спаривали их, как скотину.

– Хорошие были времена, – неожиданно пропела бабушка Роха. – Правда, Довид?

– Хороших времён, сколько я помню, Роха, никогда не бывает, – уклонился от ответа её осторожный муж и шилом поскреб щетину на небритой щеке. – Но во все нехорошие времена нет-нет да попадаются отдельные приличные люди.

– Хенка хорошая, – подхватил его мысль йонавский царь Соломон, никогда не отличавшийся особой смелостью. – Она хорошая, – повторил он. – Можете быть уверены.

Похвалы и заверения сына не убедили мою неприступную бабушку. Петух на то и петух, чтобы во дворе перед курочками-дурочками заливать соловьём. Она требовала от своего отпрыска других, более веских доказательств.

– Между прочим, что ты, деточка, умеешь делать, кроме того что покорять сердца парней? – с полицейской строгостью продолжала она свой допрос, не обращая внимания на странные подмигивания и несуразные ужимки Довида – мол, хватит, Роха, терзать человека. Его так и подмывало напомнить ей, что и она если что-то до хуны и умела делать, так это только картошку в мундире варить и Богу молиться.

– Я умею любить, – ответила мама, обескуражив не только неуступчивую Роху, но и своего жениха. – Когда любишь, можно всему научиться.

– Умеешь любить? А варить, стирать, гладить, мыть полы, убирать ты умеешь? – бабушка Роха захлебнулась собственными перечислениями и внезапно осипла.

– Все, что я делаю, я делаю с любовью, – сказала Хенка с простодушным достоинством, посмотрела в упор на стариков, застывших в каменных позах, и выпалила: – Я буду и вас обоих любить.

Довид обомлел и чуть не проколол шилом свою впалую щеку, а бабушка громко и подозрительно начала сморкаться, но почему-то принялась утирать не глаза, а свой холмистый нос.

– Поживём – увидим, – промямлила она. – Если живы будем.

2

Непреклонная Роха уговаривала сына, чтобы тот повременил со свадьбой. Для новобрачных, дескать, у них в доме нет ни одного свободного места. Все кровати в хате заняты, сквозь ее изъеденные древоточцем стены слышны не только гудки паровоза и громы хане пролетающего через Йонаву поезда, но и каждый пук и храп. Как же он, Шлеймеле, в такой тесноте будет выполнять свои мужские обязанности? Пусть, считала она, потерпит немножко, встанет на ноги, обзаведётся заказчиками, начнёт больше зарабатывать и присмотрит за небольшую плату угол – то ли у этого индюка – домовладельца Эфраима Каплера, которому Довид, продли Господь его годы, всю жизнь чинит туфли и штиблеты, то ли у другого воротилы – коннозаводчика Клеймана, сдающего в аренду квартиры. А пока пусть поживёт со своей Хенкой врозь.

– Врозь?! – выпучил глаза жених.

– Если Хенка тебя действительно любит, а я по её глазкам вижу, что любит, то она, по-моему, не станет против этого возражать. Никуда твоя сдобная булочка не денется – подождёт. Ничего с ней не случится. Таких парней, как ты, не бросают и на других не меняют, – подольстилась Роха к нему.

– А никто пока и не собирается ставить хупу и приглашать рабби Элизера. Мы поженимся, как только я вернусь после армейской службы.

– А что – разве литовцы в свою армию женатых не берут? Их оставляют, чтобы истосковавшиеся жёны к другим за запретными ласками не бегали?

– Берут и женатых.

– А зачем им солдаты-портные, да к тому же евреи? Ведь штыком штаны не латают.

Шлеймеле рассмеялся.

Неуступчивая Роха, может быть, скрепя сердце, и благословила бы их союз: ведь сумасбродная Хенка способна на всё – сбежит с ним из Йонавы куда глаза глядят или забеременеет до свадьбы. Чтобы не лишиться Шлеймеле, Роха пошла бы на уступки, согласилась бы даже потесниться в доме. С помощью Мотла и Айзика можно было бы перетащить в сени древнюю – чуть ли во времена египетской неволи сколоченную и вросшую в землю двуспальную кровать, которая если теперь и годилась для чего-нибудь, то разве что для куриного насеста. С другой стороны, может, не спешить, выждать, авось, армия разлучит Шлеймеле с Хенкой; два года службы – не шутка. На сдобную булочку могут позариться многие. Может, эта коза не дотерпит до его возвращения и вскружит голову другому парню.

Но древняя двуспальная кровать осталась стоять на месте. Шлеймке призвали в армию и отправили в неблизкий от Йонавы город на Немане, в уездный Алитус. К удивлению всех евреев местечка, он попал в кавалерийский полк, не то к уланам, не то к драгунам, а ведь Шлеймке не мог похвастать высоким ростом и ни разу в жизни не вдевал ногу в стремя.

– Командованию видней, кому, где и кем служить, – успокаивал Роху старший сын Айзик, главный советник и утешитель семейст-

ва. – Ничего плохого, если наш братец Шлеймке кроме того, что он умеет шить, ещё научится и скакать на лошади.

– Зачем? – борясь со страхом, спрашивала не Айзика, а самого Господа Бога бабушка Роха. – Зачем еврею скакать на лошади? Где ты, Айзик, видел еврея на коне? Я знакома с балагулой Пейсахом Шварцем миллион лет, но ни разу не видела его на коне, хотя у него в конюшне трое здоровых битюгов. Он всё время берёт их под уздцы и ведёт к Вилии. Все нормальные евреи платят, чтобы лошади куда-нибудь их возили, а не для того, чтобы носиться на этих лошадях, как угорелые, по Литве. Вей цу мир, вей цу мир, он ещё грохнется, разобьёт голову и станет калекой.

Бабушке Рохе снились страшные сны, она вскакивала с криком и бродила по дому, шепча молитвы. Успокоили её не сыновья, не Довид, нередко путавший имена своих отпрысков, а быстроногий местечковый почтальон Казимирас, который через месяц после призыва Шлеймке принёс ей от него письмо из Алитуса. В серый конверт была вложена бережно обёрнутая в бумагу маленькая фотокарточка – её писанный красавец в военной форме и фуражке верхом на каурой лошади.

– Генерал, – пролепетала моя бабушка, трижды поцеловав снимок, и заплакала.

Наверно, такую же фотографию Шлеймке прислал и Хенке. Не мог не прислать. Уж ей он, надо думать, в первую очередь отправил. Чего же она тогда к ним на Рыбацкую улицу не пришла, чтобы похвастаться и поделиться своей радостью? Мол, смотрите, Роха, каков наш Шлеймке! Бравый улан! Видно, у бедняжки ума не хватило. А ведь радость надо стараться делить на всех, от этого её не убывает, а только прибавляется.

Но Хенка на Рыбацкую улицу так и не явилась, хотя уверяла, что будет их всех любить.

Роха норовила где-нибудь её подкараулить, выследить, но ту как ветром сдуло. Сколько она о Хенке ни расспрашивала своих товарищей, соседей, знакомых богомольцев и лавочников – те только пожимали плечами, никто ничего не ведал о старшей дочери Шимона Дудака. Тогда изнывающая от любопытства бабушка Роха решила больше не искать обходных путей и, не церемонясь, во дворе синагоги уточкой подплыла к самому Шимону Дудаку с придуманным заманчивым предложением для Хенки. Её, Рохи, старый знакомый – хозяин москательной-скобяной лавки реб Ешуа Кремницер якобы ищет для своего внука Рафаэля хорошую еврейскую девушку – няньку. Может, безработную Хенку заинтересует такой заработок. Ведь лишняя копейка семье из восьми ртов никогда не помешает.

– А Хенки нет, – простодушно ответил доверчивый Шимон, который в местечке был более известен своим бархатным, низким баритоном, чем шилом. Сидя за колодкой, он частенько израненным бездорожьём ботинкам и сапогам напевал весёлые песни о раввинах и послушных их учениках, об изворотливых свахах и сводниках. Порой Шимон затягивал по-русски куплет из лихой песни о могучей реке Волге и разбойнике, сбросившем в неё свою любовницу-персиянку. Довид эту песню привез из Витебска, куда в начале кровавой мировой войны евреев Литвы с пограничной полосы как «германских шпионов» выселил русский царь.

– Как нет? Где ж она?

Бабушка нисколько не сомневалась, что дочь не могла уехать, не сказав отцу, куда она отправляется. У него Хенка наверняка всё выведает.

– Хенка отправилась в армию, – то ли с тайной тревогой, то ли с опаской ответил вечный конкурент моего деда Довида.

– Что – литовцы уже вздумали и евреек в свое войско забирать? Конец света!

– Хенка, как бы это сказать, туда по своей воле отправилась, – пока Шимон говорил, робкая улыбка всё время не сходила с его усталого лица, разглаживая своим тусклым светом распахавшие лоб морщины. – Вашего сына Шлеймке провести пожелала. – И, как бы оправдывая её поступок, добавил: – Дочь бакалейщика Луцкого вслед за своим ухажёром жестянщиком Генехом аж в Америку пустилась. Вы можете мне сказать, кому там, в Америке, срочно потребовался жестянщик? И не откуда-нибудь, а именно из нашей Йонавы? Я слышал, что и ваша Лея тоже в ту сторону поглядывает.

– Вы про Лею слышали, а я, её родная мать, про это ничего не слыхала. От кого же, позвольте полюбопытствовать, вы слышали? Кто же тот сокол, который высмотрел, в какую сторону света направлен её полёт?

– Люди говорят.

– Люди говорят, что земля вокруг солнца вертится. И вы, Шимон, им верите? Почему же я не верчусь, вы не вертитесь, раввин Элизер со свитками в руках в синагоге вместе с богомольцами не вертится? – Роха от слов Шимона сникла. Она и мысли не допускала, что кто-нибудь из детей уедет и навсегда оставит её наедине с молчуном Довидом. Правда, Айзик намекал, что в Литве не останется, что хочет попытать счастья в другом месте. Но чтобы старшая Лея наладилась уехать? Да ещё в Америку? В это Роха отказывалась верить.

– Лучше, Шимон, скажите мне, как долго Шлеймке и ваша дочь Хенка собираются вдвоём на одной лошади скакать в этом Алитусе? – Роха вонзила свой вопрос, как наконечник копья, в улыбочивое лицо Шимона, но тот про совместную скачку никакого понятия не имел и, смачно, во весь рот зевнув, ответил:

– Одному Богу известно – сколько. Может, всю оставшуюся жизнь.

Новость ошеломила Роху. Она была не в силах побороть в себе недовольство и завистливое восхищение упорством любящей Хенки и даже – что было редкостью – решила поделиться с мужем слухами о намерениях Леи и о поездке Хенки в Алитус.

– Что ты на это скажешь?

– А что тут сказать? – буркнул Довид – Дети как птицы. Посидят на ветке, почистят перышки, почирикают-почирикают и улетят на другое дерево. Ветка покачнётся, покачнётся и затихнет. А что касается Хенки, то она – отчаянная девчонка. Все сделает, чтобы своего добиться.

– Кроме меня, твоей законной жены, ты готов всех на свете укрывать под своим тёплым крылышком, каждого погладить по головке и поддержать, – не преминула его поддеть жена. – Сей-

час – ты только, пожалуйста, на меня не обижайся – за таким сокровищем, как ты, я никуда бы не поехала... Ни в Алитус, ни в Шмалитус. Пожалела тогда тебя, недотёпу.

– Что поделаешь, Роха! Нет ничего слаще, чем ошибки незрячей молодости... Может, мы и впрямь купили бы с тобой билеты на разные поезда, но мы, дорогая, сели в один и тот же вагон и, кажется, были счастливы. Теперь уж придётся нам вместе трястись со всеми нашими грехами и пожитками дальше, пока Господь не распахнет перед нами свои небесные врата. А Хенка, видно, своего добьётся, нашего сыночка не упустит. И хочешь – не хочешь, будет у нас в доме праздник.

– Ишь, какой приткий – будет праздник! Может, они там, в Алитусе, побалуется-побалуется и ещё разбегутся. Тогда, Довид, и в самом деле в нашем доме будет праздник.

– Чует моё сердце, Роха, не разбегутся, – он вытер потертым рукавом рубахи лоб и, глядя на неё с испуганным обожанием, тихо, словно посвящая её в какую-то тайну, добавил: – Первым делом я тебе, Роха, сошью новые туфли из хромовой кожи на высоком каблуке. Потом пойдём к дамскому угоднику Генеху Шарфштейну и закажем крепдешиновое платье, потом Нахум Ковальский сделает тебе красивую причёску, а то ты все время ходишь взлохмаченной, а Гедалье Банквечер смастерит мне двубортный костюм, и мы с тобой выпьем на свадьбе по чарочке за их счастье...

– Что я слышу? – выплеснула наружу свой ехидный восторг Роха. – Господь Бог совершил чудо!

– Чудо? – окатил её удивлённым взглядом муж.

– На шестидесятом году после полной немоты ты первый раз заговорил не как сапожник, а как муж! И что это, дорогой, на тебя нашло?

– Ты что из меня делаешь бесчувственное чучело?! Без сердца и без мозгов! – возмутился необидчивый Довид.

– Раньше из тебя, Довид, нельзя было такое вытянуть даже клещами. Туфли из хромовой кожи, крепдешиновое платье, причёска... Что же ты столько лет молчал?

Она подошла к нему и неуклюже обняла его.

– Может, ты хоть на старости мне первый раз и в любви объяснишься?

– Могу, – храбро сказал он, – это, видит Бог, мне ничего не стоит, – и усмехнулся.

– Ладно, ладно, – пожалела она мужа.

Милосердный Шимон дал дочери деньги на дорогу в Алитус, но предупредил, чтобы она в чужом городе не задерживалась и зря родителей не волновала.

– Поезжай, поезжай. Птица, которая всё время торчит на ветке, может разучиться летать, – сказал он.

Сын его конкурента и одногодки Довида Кановича – Шлеймке – ему нравился. Чернобровый, статный, глазастый! Тихоня и не лодырь. Кому такой зятьёк не придётся по душе? Тем более что у Шимона четыре невесты на выданье – велика ли радость, если они все засидятся в девках. Что за толк в высохшем колодце, из которого нельзя напиться? За Хенку Шимон был спокоен.

3

В Алитусе Хенка попала в косой стремительный дождь и вымокла до нитки. Она добежала до какой-то темной подворотни, спряталась под деревянным навесом и, воровато оглядываясь по сторонам, с весёлым отчаянием принялась выжимать сатиновую блузку и юбку. Когда сквозь отрепья туч, которые бросились наутек от ветра, выглянуло скарредное литовское солнце, приезжая молодница чуть подсохла, приободрилась и вышла из своего укрытия. Совершенно не ориентируясь в хитросплетении улиц и переулков, она наугад отправилась на поиски своего улана. Если до того, как солнце начнет клониться к закату, рассуждала Хенка, не удастся найти расположение части, в которой служит её Шлеймке, она постарается устроиться на ночлег в местной синагоге. В каждом местечке для забредшего странника в молельне всегда найдётся дряхлая кушетка с бессовестными клопами, жёсткой подушкой и рваным матрасом. Хенка заночует в Божьем доме, а утром выпытает у какого-нибудь прохожего еврея, как пройти к армейским казармам.

За всю свою двадцатилетнюю жизнь Хенка из местечка ни разу никуда не выезжала, если не считать прочно забытый Витебск. Туда в четырнадцатом году её, маленькую девочку, вместе со всеми неблагонадёжными евреями изгнал из Йонавы русский царь Николай, имя которого у всех её родичей надолго осталось в памяти как олицетворение ненависти к изгнанникам Моисеева вероисповедания. Моя бабушка со стороны матери, бывало, в сердцах бросала своему непокорному мужу Шимону:

– Что ты с таким презрением смотришь на меня, как царь Николай на пейсатого.

Алитус был больше, чем Хенкино родное местечко. Улицы были шире, дома выше, витрины богаче. В Йонаве Хенка знала все проулки и закоулки – каждую лавку, каждую мастерскую и парикмахерскую, почту, казарму, плац для строевой подготовки воинов местного гарнизона и даже полицейский участок.

Ах, если бы сейчас на пути ей попался такой полицейский, как Гедрайтис, который помог бы тут не заблудиться! – вдруг вспомнила она йонавского блюстителя порядка, частого гостя в их доме на Ковенской и чуть ли не друга семьи.

Перед праздником Пасхи Гедрайтис в полной форме и с неразлучным резиновым хлыстом обычно вваливался к сапожнику Шимону, чтобы попробовать мацы и медовой настойки, а главное – поговорить с ним на чистейшем идише о Деве Марии, о распятом Иисусе Христе, об апостолах. Гедрайтис, потомственный католик, наотрез отказывался верить, что все они евреи.

– Не может быть, не может быть. Не верю. Сапожники среди вас есть, портные есть, ростовщики есть, но апостолов среди вас нет. Все апостолы – наши. И прошу их не присваивать.

– Евреи, евреи, – равнодушно бубнил Шимон, не желая ссориться с Гедрайтисом, который из уважения к хозяину всегда с ним говорил не по-литовски, а на маме-лошн. – Такие же, представь себе, евреи, как мы.

– Еврей не может распять еврея, – похрустывая мацой, настаивал флегматичный и незлобивый Гедрайтис. – Литовец может.

Поляк может. Немец может. Еврей – никогда в жизни! Обмануть – да, не моргнет глазом, перехитрить – да, донести на своего собрата – да. Но распять?..

– Разве так важно, кто по происхождению Господь Бог и его апостолы? Ты мне лучше скажи, где для приколачивания бедного Иисуса к кресту эти еврей-злодеи покупали гвозди? – спросил с ехидцей Шимон, терпеливо следя за тем, как гость уплетает мацу. – У реб Ешуа Кремницера или, может, в Укмерге у Шмуэльсона? И захихикал.

– Ты, Шимон, мастак не только ботинки чинить, но и языком, как молотком по темечку... Умеешь! Умеешь! Только берегись! Даром что сапожник! – сказал Гедрайтис и, прощаясь до вкусной мацы будущего года, обнял старика крепкими крестьянскими лапищами.

Никаких знакомых в Алитусе у Хенки не было. Безуспешно поплутав со своим парусиновым чемоданчиком по незнакомому городу, она всё-таки решила обратиться к какому-нибудь прохожему с еврейской внешностью за подсказкой, как ей, пока не стемнеет, добраться до желанной цели – солдатских казарм.

Возле магазина, на вывеске которого красовалась безразмерная дамская туфля на высоченном каблуке и крупными буквами на идише и на литовском значилось «Меир Либерзон. Лучшая обувь в Европе», а чуть ниже «Европы» для привлечения желанных покупателей более мелким шрифтом было выведено: «Дёшево и надолго», Хенка вежливо остановила черноволосого узкогрудого мужчину в длинном сюртуке, из-под которого свисали белые нити *цицот*, и спросила, не подскажет ли ей, нездешней, где тут служат уланы.

– Уланы? – вытаращился он на неё в полном недоумении. – А кто они такие?

– Солдаты, – смутилась Хенка. – Только не пешие, а конные.

– А зачем хорошенькой еврейской девушке так уж понадобились конные литовцы? – с ехидной усмешкой поинтересовался незнакомец и кончиками пальцев прикоснулся к помятой черной шляпе.

Хорошенькая еврейская девушка приняла легкое движение его руки за прощальный жест и торопливо ответила:

– Я ищу своего друга. Его недавно призвали в армию и отправили сюда, в Алитус, проходить обязательную службу.

– Он еврей?

– Еврей, еврей... Портной.

– Первый раз слышу, чтобы портного, да ещё еврея, призывали в кавалерию. Всадников сроду у нас не было, – выдохнул он и несколько раз подряд опрыскал улыбкой свои впалые, тронутые болезненной желтизной щеки. – Он тебя там ждёт?

– Нет. Просто я давно его не видела. И очень захотела увидеть.

– Это желание похвальное. А ты хоть по-литовски кумекаешь?

– Слушала, как заказчики из окрестных деревень с моим отцом-сапожником разговаривали, и кое-что запоминала. Мекаю, как коза, – призналась Хенка. – Больше не с кем было говорить. Евреев у нас в местечке больше, чем литовцев.

– Как же ты тогда надеешься его найти?

– Подкараую.

– Что ж, может, тебе повезёт. Казармы далеко за городом, на берегу Немана. Я бы тебе помог до них дойти, но не могу. Спешу в

аптеку за лекарствами. У меня жена больна. Очень больна. Уже третью неделю с постели не встаёт. А ребятки – мал мала – в доме одни без присмотра. За ними глаз да глаз нужен.

– Спасибо. Я буду за вашу жену молиться, чтобы она скорее выздоровела.

– А я за тебя буду. Как тебя зовут?

– Хенка Дудак.

– Милая Хенка, Бога грех просить только за себя, Его нужно просить за всех сразу, а уж Он, Всевидящий, из множества выберет самых достойных Его милости. Другим же придётся постоять за ней в очереди, – сказал незнакомец, и улыбка солнечным зайчиком скользнула по его редкой щетине. – Сейчас пойдёшь прямо, у мастерской жестянщика повернёшь направо, пересечёшь площадь, метров через сто возьмёшь налево, потом обогнёшь костёл, а оттуда, никуда не сворачивая, напрямик спускайся к Неману. Если заблудишься, приходи к нам: улица Кудиркос, восемнадцать. Зовут меня Гилель Лейзеровский. Запомнишь?

– Да.

– Храни тебя Всевышний!

Хенка на Всевышнего не очень-то надеялась и за помощью к Нему, в отличие от своих родителей, с утра до вечера беспокоивших Господа своими просьбами, никогда не обращалась, прислушиваясь к своему сердцу, которое и советовало ей, и вело её, и оберегало.

– Меня тогда в Алитусе вела любовь, она была моим самым верным и лучшим путеводителем, – рассказывала мама мне, студенту-филологу, с насмешливой гордостью много лет спустя. – Правда, и любовь иногда может завести Бог весть куда. Но меня она не подвела – помогла не заблудиться и в конце концов дойти до цели.

Хенка с парусиновым чемоданчиком в руке, битком набитым гостинцами, принялась долго и безуспешно расхаживать по запретной зоне, заглядывая в каждую щель высокого забора, поверх которого по всему периметру была протянута колючая проволока. Вход на огороженную территорию охранял коренастый розовощекий часовой, похожий на только что вернувшегося с пахоты крестьянина, переодетого в солдатскую униформу. За широкими проходами в ограде виднелись двухэтажное здание штаба кавалерийского полка, нестройная шеренга безликих, однообразных каменных бараков, конюшни и просторный пустовавший плац для ежедневной выездки породистых армейских лошадей.

Бесконечные хождения Хенки взад-вперёд, настойчивое и бесплодное подглядывание в щели насторожили часового, томившегося от безделья и скуки. Чрезмерное любопытство молодой женщины, с виду – вылитой еврейки, вызвало у стража справедливое подозрение, и он, недолго думая, оставил свой пост и вразвалочку, с какой-то высокомерной ленцой двинулся ей навстречу.

Когда часовой поравнялся с нежданной гостьей, он оглядел её с ног до головы, словно пытаясь отгадать, зачем она сюда пожаловала и что у неё за таинственный чемоданчик в руке. С той же подчеркнутой строгостью он спросил у неё:

– Ko cia, panele, iesko?¹

¹ Что барышня тут ищет? (лит.)

Хенка напряглась и с большим трудом выловила из ничтожного запаса слов на том же неподатливом государственном языке ответ:

– As ieskot chaveras. Slomo Kanovich.²

Хенка ухитрилась исказить все литовские слова кроме личного местоимения «я» и точного имени и фамилии того, кого искала.

Часовой поморщился от её неумения изъясняться на языке его охраняемого от врагов государства, но поборол недовольство и с натушной вежливостью обратился к ней с вопросом, ответ на который мог бы рассеять все его сомнения:

– Jis cia tarnauja?³

Чутье ей подсказало, о чём он спрашивает. Быстро закивав своими черными кудряшками, она бросилась открывать чемоданчик, осторожно извлекла из-под гостинцев потертый бумажник с фотографией, обернутой газетной бумагой, и протянула её часовому.

Охранник глянул на снимок, узнал полковую лошадь и уже дружелюбней сказал:

– Palauk!⁴

И зашагал к проходной.

Хенка с нетерпением ждала охранника и думала о том, что если Шлеймке согласится, то она, чтобы чаще с ним видаться, останется в Алитусе. Устроится на работу продавщицей, лучше всего в галантерейный магазин, или подрядится в приличный дом нянькой, снимет по дешёвке чердак, сгодится ей и комнатуха в подвале с одним оконцем, и она со своим возлюбленным прослужит в этом чужом городе весь положенный в армии срок. Если же он не согласится, Хенка в Йонаве заработает на поездки в Алитус и будет каждую субботу его навещать. Только бы он не стал её отговаривать, только бы согласился. По субботам евреев-солдат вроде бы отпускают в синагогу на молебен. Тогда-то они все сообща – она, Хенка, её избранник и хороший человек Гилель Лейзеровский с выздоровевшей женой и ребятишками – будут молиться и просить Господа Бога, чтобы ему легко служилось и чтобы он, упаси Боже, не упал на скаку с лошади. Что с того, что ни Хенка, ни Шлеймке не умеют молиться, как предписано в священных книгах, хотя родители всячески стыдили и осуждали их за невежество, а в гневе даже с горечью спрашивали, кто же они, в конце концов, – евреи или выкресты? И хоть каждый из них не раз старикам объяснял, что молиться можно не только вслух, зазубренными словами или по молитвеннику, а молча, сердцем, те их только высмеивали и ждали неизбежной и справедливой кары небес.

Время, вдруг остановившее свой бег и не сулившее желанной удачи, как бы глумилось своей медлительностью над Хенкой: часовой словно сквозь землю провалился. Она стояла, ждала и, шепча что-то невнятное, как деревенская знахарка, пыталась своими самодельными и жаркими заклинаниями ускорить встречу с другом и вырвать его хотя бы на час-другой из казармы.

Когда уже казалось, что от долгого ожидания пора было отчаяться, удача всё-таки улыбнулась ей. В сопровождении часового

² Я ищите друг. Шломо Канович. (лит.)

³ Он тут служит? (лит.)

⁴ Подожди! (лит.)

из проходной вышел подтянутый, загорелый Шлеймке в зеленой гимнастерке, которая делала его выше и стройней, и Хенка – вместо того чтобы броситься ему навстречу – от нахлынувшей радости застыла на месте.

Шлеймке быстрым, молодцеватым шагом направился к ней, обнял, поцеловал и стал ей медленно и осторожно вытирать ладонью слёзы.

– Ладно, ладно, – приговаривал он. – Ты не умеешь плакать – только носом хлюпаешь. Лучше пойдем к реке. До вечерней переключки я свободен. Мой командир – капитан Куолялис спросил меня: «Кто эта женщина, которая тебя там за нашим забором дожидается». И я, не моргнув глазом, сказал: «Это моя жена! Приехала из Йонавы». Он мне поверил, и я за отличную службу получил от него увольнительную до вечера. Я ему, Хенка, правильно сказал? – с мальчишеским озорством добавил Шлеймке. – Ты на самом деле согласна быть моей женой?

И он захохотал.

– Я согласна, – сквозь слёзы ответила Хенка и, уронив чемоданчик, повисла у него на шее.

Они спустились к Неману, нашли на берегу лужайку, уселись друг против друга. Хенка открыла чемоданчик, достала оттуда скатёрку, разложила гостинцы – пирог с изюмом, марципановые корочки и круглое, блестящее, как пуговики на гимназическом мундире, монпансье, грецкие орехи, две мельхиоровые рюмочки и запеленатую в кухонное полотенце бутылку непчатого пасхального вина. На дне парусинового чемоданчика, кроме съестного, белели и несъедобные подарки – собственноручно вышитый Хенкой носовой платок с замысловатым вензелем и вязаные зимние варежки из овечьей шерсти.

– Ты бы ещё картофельный кугель привезла! – ласково пожурил он её.

– А кугель я тебе тут приготовлю.

– Где? В казарме?

– Я решила остаться в Алитусе. Найду работу, сниму в городе какой-нибудь дешёвый угол, дослужим вместе и вернёмся вместе. Какая разница, где работать?

– Вот это да! Решила остаться из-за кугеля? Ты что, с ума сошла?

– Из-за кугеля, из-за кугеля... Тут картошка вкусней, чем в нашем местечке, – Хенка сощурила искрившиеся хитрецей глаза, нарезала пирог с изюмом и налила в рюмки сладкое праздничное вино.

– За тебя! – сказала она и первая чокнулась с ним. – И за то, чтоб и твоя лошадь тебя любила! И берегла...

– За тебя, Хенка.

Он выпил залпом и стал её дотошно расспрашивать о своих родителях, братьях и сёстрах, о её собственной семье, и она терпеливо и подробно рассказывала ему обо всех местечковых новостях.

– Слава Богу, все живы-здоровы. Ни свадеб, ни похорон. Правда, евреев ещё прибавилось. Моя подружка, ты её знаешь, Двойра Каменецакая, родила двойню – мальчика и девочку. Счастливица! Ты не сердись, но я тоже хотела бы так...

– Как?

– Так. За один раз и навсегда отделаться. Пусть в муках, но зато удачно.

– Ты и скажешь!.. А если будущий твой муж двойней не удовлетворится?

– Я, конечно, глупости говорю. Лучше посидим и помолчим. Здесь так хорошо!

Внизу спокойно и величаво нёс к Балтийскому морю свои воды Неман. Из реки выпрыгивали и кувыркались в воздухе любопытные рыбёшки, соскучившиеся в донной темноте по свету. Из густых приречных кустов вспархивали неугомонные птицы. Солнце, кончившее свой трудовой день, спешило за край горизонта на ночлег.

Шлеймке всё чаще поглядывал на часы.

– Когда ты, Хенка, приедешь домой, передай моей маме, чтоб не беспокоилась. Меня тут никто не обижает, лошадь моя спокойная. Дай Бог, чтобы все наши евреи были такими же спокойными, как она... Нечего тут тебе на два года оставаться и менять насиженное гнездо на чужую дыру. Если сможешь, приезжай ко мне по субботам, будем сидеть у реки, кушать пирог с изюмом, сосать леденцы, ходить в синагогу и просить Бога, чтобы Он нам простил наши грехи и благословил нас на долгую совместную жизнь. А мы постараемся отблагодарить Его послушанием и трудами...

– Слушаюсь, мой господин.

Больше она не проронила ни слова, завернула в скатёрку оставшиеся гостинцы и проводила его до проходной. Наклоном головы попрощалась с часовым и, чмокнув Шлеймке в щёку, медленно направилась в сторону города.

4

Семья Хенки жила бедно. Шимон до поздней ночи не расставался с молотком и шилом. Чинил всё, что приносили, – и то, что давно пора было выбросить на свалку, и то, что ещё поддавалось ремонту. И брал недорого. В местечке шутили, что Дудак самый сговорчивый чеботарь на свете. Ходили к нему в основном его неимущие собратья. А нищему Авигдору Перельману, который год с лишним успел проучиться в Тельшайской ешиве и которого доктор Ицхак Блюменфельд за то, что тот отрёкся от религии, и за склонность наставлять всех на путь истины и по каждому поводу мудрствовать награждал кличкой Спиноза, Шимон Дудак обувь чинил даром.

– Бог тебе, Шимон, за меня сторицей заплатит, – говорил Авигдор. – Он все мои долги аккуратно записывает в свою книгу должников и аккуратно и вовремя возвращает их тем, кому я задолжал. Вернет Он, Шимон, и тебе. Честное слово, хотя за Бога грех ручаться! Как поступит, так поступит. Ведь Он – наш Главный Бухгалтер. Подсчитывает наши годы и наши долги.

– А если вернёт, то, скажи на милость, чем? Деньгами, векселями? Благодатью? – насмешливо спрашивал Шимон, поглаживая свои пышные панские усы шершавым указательным пальцем.

– Долголетием. Хорошими мужьями для дочерей. Их у тебя вон сколько – четверо! Внуками.

Шимон гордился дочерьми (одна краше другой), но они были не его богатством, а каждодневной изнурительной заботой. Только

Хенка перевалила за двадцать и пополняла скудную семейную казну случайными заработками. Она и к Шлеймке ездила в Алитус на свои деньги, заработанные в придорожной корчме Бердичевского «К Ицику на огонёчек!», которую сам хозяин заведения возвышенно называл первым в местечке рестораном. Хенка на дымной кухне весь день стряпала, чистила и натирала картофель, жарила латкес, пекла пирожки с мясом и капустой, пироги с изюмом, а потом перемывала всю посуду и убирала замусоренное объедками и окурками помещение. И если бы не наглецы-извозчики, которые промышляли ночным извозом и в подпитии начинали приставать к ней, норовя уцепить то за налитую молодым соком грудь, то за выпирающую стульчиком попку... Если бы не их похотливые, как у мартовских котов, взгляды и предложения – прокатиться с ветерком, подышать свежим воздухом где-нибудь в деревенской глуши, отдохнуть с пивком под гармонь на природе, – она, пожалуй, и дальше кухарила бы в этом вертепе, хотя от тяжелой работы и валилась с ног...

Ицик Бердичевский, тертый калач, известный в Йонаве своей мёртвой хваткой, был доволен Хенкой – послушна, сноровиста, повариха что надо. Он уговаривал её остаться, обещал защитить от бесстыжих посетителей своего заведения, повысить жалованье, но его увещевания не подействовали, и она ушла.

Хенка долго искала приличную работу. А где женщина, не кончившая даже начальной школы и умеющая только варить и печь, мыть полы и стирать белье, где она могла эту приличную работу найти? К Шлеймке она больше не ездила, у отца денег не просила, писала своему кавалеристу письма на искалеченном идише, состоявшем из одних признаний в любви и жалоб на судьбу-злодейку, и терпеливо ждала, как Мессию, местечкового почтальона Казимири-са. Зная наперед, что Роха к ней никакой симпатии не питает, даже откровенно недолюбливает, она все-таки забегала на Рыбацкую улицу за крохами каких-то сведений о Шлеймке. Когда же Хенка после свидания со своим кавалеристом вернулась из Алитуса, то, не жалея превосходных степеней, вдохновенно рассказывала, как он выглядит и как ему служится. Роха не без основания подозревала, что Хенка немножко привирает, но не перебивала её. Ведь медовое слово всегда течёт через чуткие уши в благодарное сердце.

– Что он пишет? – спросила моя мама у будущей свекрови.

– Что пишет? – глаза старухи вдруг увлажнились. – Всё, что его брат Айзик нам с Довидом по листочку читает, то и пишет. А что, скажи, можно писать таким тухлым старикам, как мы? Скучаю, пишет. Чувствую себя хорошо, пишет. Только пища, о Господи, пишет, некошерная – сосиски свиные, мясо свиное, супы из грибов со свиными ножками. Ничего не поделаешь. Куда еврею деться, если и воздух тут везде некошерный. А ты что – болтаешься без дела? Сбежала от этого проходимца Бердичевского?

– Сбежала.

– Это ты хорошо сделала. Там, где мужики бражничают, там честные девицы вряд ли сберегут в целости свой веночек. Ты хоть понимаешь, о чём я с тобой говорю?

Хенка кивнула.

– Понимаю. Потому и сбежала. Теперь ищу другую работу. Ищу, ищу, но не могу найти.

– В няньки пойдешь? – вдруг, без всякого предисловия, выпалила Роха, ошелобив Хенку. – Работа чистая, не тяжёлая, будешь весь день цацкаться с мальчиком из благородной семьи, сидеть с ним где-нибудь под деревом в тенёчке, птичек слушать или прогуливаться по парку. Мальчик хорошенький, не капризный, и мама у него красивая, грамотная, по-французски говорит так, как мы с тобой на идише, но не очень хочет с карапузом возиться.

– А чей мальчик? – воспряла духом Хенка. Она не ожидала, что Роха-Самурай, эта злюка, эта воительница со всеми заранее негодными невестками проявит о ней такую заботу. Хенка корила себя за то, что не сдержалась и посмела спросить, чей это мальчик. Надо было дожидаться, пока Роха сама назвала бы имя его родителей.

– Это богатые люди, очень богатые, – она отдышалась, глубоко вздохнула и продолжала: – Когда-то – в это я сама уже почти не верю – в ту далекую пору я выглядела не так, как сейчас, старая ведьма, а была, как говорили, зазывная молодница, довольно хороша собой, мужчины на меня заглядывались, и слюнки у них текли... Это сейчас я морщинистая старуха с потухшими, как угли в печи, глазами. Только, пожалуйста, не возражай. У меня нет времени спорить с твоими неискренними утешениями. Так вот тогда – порой мне кажется, что всё это происходило не при сапожнике Довиде, а при царе Давиде, – за мной ухаживал молодой реб Ешуй, родной брат Ешуа Кремницера, деда этого мальчика. Через десять лет после нашего знакомства он неслыханно разбогател на торговле лесом, сплавлял его по Неману и по морю из Литвы в Россию и внезапно умер от какой-то загадочной, нездешней болезни. Теперь лесом торгует его оборотистый племянник Арон, отец ребенка. Запутала я тебя своими рассказями. Ты хоть что-то поняла из моих слов?

– Так этот мальчик – внук реб Ешуа, владельца москательнскобяной лавки, что недалеко от синагоги и полицейского участка?

– Да, он самый. От своей покойной жены Голды он, конечно, не раз слышал про наши шуры-муры с его братцем. Так что я вполне могла стать не сапожничихой Рохой Канович, а богачкой Рохой Кремницер. Попробую замолвить за тебя словечко.

– Спасибо.

– Не надо меня благодарить. Я это делаю не столько ради тебя, сколько ради Шлеймке, своего сына, который собирается на тебе жениться. А ты сама, Хенка, как думаешь – женится или не женится? Да или нет? Отвечай прямо, без увёрток.

– Думаю, что женится, – не отводя от Рохи чёрных, сверкающих отвагой глаз, прямодушно ответила та и, вдруг спохватившись, твердо сказала: – Если женится, то вы уж не пожалеете...

– Дай-то Бог, – уклончиво сказала Роха. – Мне твоя честность и прямодушие нравятся. Ненавижу криводушных.

Из соседней комнаты доносились размеренные удары сапожничьего молотка о колодку, и их монотонный стук успокаивал Хенку.

– Если я устроюсь к реб Кремницеру, то на первую же получку куплю два билета – вам, Роха, и себе. И мы вместе на автобусе поедem в Алитус к вашему сыну. Я уже там все дорожки знаю. Вы обязательно поедете со мной.

– Я? – растерялась Роха. – Я всю свою жизнь никуда не ездила. Никуда. Как родилась в Йонаве, так здесь и умру. Вот если бы жен-

щин в молодости призывали в армию, я могла бы увидеть другие города – Алитус... Укмерге... Зарасай. Даже, может, Каунас. Во всех городах, наверно, есть солдатские казармы. Но Вседержителю было угодно, чтобы я отпущенные мне годы провела в другой казарме – на Рыбацкой улице, в этом доме с дырявой крышей, с голодными мышами и кучей детей, которых я должна была поставить на ноги.

– Он очень обрадуется, когда увидит вас.

– А если его не отпустят и мы с тобой зря туда потащимся? – усомнилась Роха.

– Говорят, что перед матерями всюду должны открываться все двери и ворота.

– Может, только врата рая. Главное, чтобы он был здоров. Литовцы нашего брата не шибко любят.

– Но они не звери. К тому же к Шлеймке хорошо относится сам начальник над всеми тамошними солдатами и лошадьми, – сказала Хенка и засмеялась.

– Посмотрим. Сначала тебе надо жалованье получить, – резонно заметила бабушка Роха. – Топать обратно от Алитуса до Йонавы пешим ходом – это уже, деточка, не для меня. А Кремницеру-деду я скажу, что к нему на днях в лавку зайдёт одна такая барышня по имени Хенка.

– Да я прямо завтра и схожу к нему. А вдруг повезёт, – Хенка поклонилась и под победный стук молотка Довида, как под торжественную музыку, вышла.

Реб Ешуа Кремницер, дед того мальчика, для которого подыскивали няньку, – большеголовый, крупного телосложения набожный старик в больших роговых очках и бархатной ермолке – стоял за прилавком, как изваянный из какого-то благородного камня, и раскачивался из стороны в сторону то ли для того, чтобы в такую рань не уснуть, то ли для того, чтобы Господь Бог развеял томившую его скуку и послал в лавку больше покупателей, чем вчера.

Увидев первую посетительницу, Кремницер обрадовался её раннему приходу, истолковав его как желанный отклик небес на его молитвы.

– Чем, барышня, могу служить?

Хенка смешалась и не сразу нашлась, что ответить.

– Разве Роха, жена сапожника Довида, с вами обо мне не говорила? – произнесла она с огорчением.

– Нет, не говорила. Роху я знаю уйму лет. Она вообще любительница почесать языком. На прошлой неделе пришла и, как всегда, в пух и прах разнесла этот отвратительный, недоделанный Божий мир и при этом не преминула мне напомнить, как мой брат Исаяя вовсю приударял за ней в молодости, напоследок купила дверной замок, и поминай как звали...

– Видно, она не успела или просто забыла вам сказать кое-что обо мне, – объяснила обескураженная Хенка. – Тогда извините, пожалуйста. Я лучше приду к вам после того, как Роха с вами поговорит. – И попятилась к дверям.

– Пойдите! Куда вы так спешите? Сами скажите, чего Роха от меня хотела? – остановил её скучающий реб Ешуа Кремницер и вытер шёлковым платком свой большой морщинистый лоб. – Ведь порой разговор с хорошим человеком тоже приносит его собеседни-

ку не меньшую прибыль, чем проданный товар. О чём, позвольте спросить, всё-таки намеревалась со мной поговорить моя старая знакомая – многоуважаемая Роха?

– Обо мне. И о вашем внуке. Простите, не знаю, как его зовут.

– Рафаэль.

– Очень красивое имя, – сказала Хенка.

– Чем же вас заинтересовал мой двухлетний внук? – реб Кремницер был олицетворением самой вежливости и внимательности, свойственной каждому удачливому торговцу. Он спустил от удивления на мясистую переносицу массивные очки и близорукими, подслеповатыми глазами уставился на раннюю посетительницу.

– Роха сказала мне, что ваша семья вроде ищет для маленького внука няньку...

– Да. Это правда. Я даже на дверях лавки объявление повесил. Но пока никто не отозвался. Негоже останавливать на улице каждую молодую женщину и предлагать ей что-то в этом роде, – сказал реб Ешуа Кремницер и окатил её с ног до головы сочувственным взглядом. – Как я понимаю, вы предлагаете нам свою кандидатуру. Не так ли?

– Мы с Рохой подумали – может, я вашему Рафаэлю в няньки сгожусь... – Хенка поёжилась от собственной смелости и прикусила язык.

– Так, так. У вас есть опыт такой работы? Вы когда-нибудь этим занимались?

– Так вышло, что я всех своих младших сестёр вынянчила. Мама моя все время тяжело болела, подолгу отлёживалась в постели, а я возилась с малышками, кормила их, мыла, водила гулять, укладывала спать и убаюкивала, рассказывала им сказки, которые сама же и придумывала.

– Что я могу вам сказать? Честь и хвала такой дочери и сестре! А этих сестёр у вас, милая, много было?

– Трое. Я в семье самая старшая. Мама родила шесть дочерей и четырех братьев. Но не все выжили. Остались только три девочки – Песя, Хася и Фаня и Мотл со Шмуликом.

– Что же, видно, вы прирожденная нянька. Я переговорю с Ароном и Этель, моим сыном и невесткой. Зайдите через день-два, и я сообщу вам, что мои дети решили.

Хенка две ночи не смыкала глаз, все смотрела с топчана в оконце и торопила рассвет.

5

На третий день она встала раньше всех в доме, причесала чёрные вьющиеся кудри, надела своё лучшее платье с крупными ярко-желтыми, на ситцевом поле, ромашками и припустилась бегом к закрытой на амбарный замок москательной-скобяной лавке. Реб Ешуа Кремницера она узнала ещё издали – он степенно шёл из синагоги, держа под мышкой упрятанные в бархатный, с вышитым магендовидом, чехольчик молитвенные принадлежности. Казалось, богобоязненный лавочник ещё продолжал молиться, и ему доставляло ничем не замутнённую радость беседовать без лишних свидетелей с Господом Богом о чём-то сокровенном.

Чем ближе он подходил к лавке, тем сильнее сжималось в комок Хенкино сердце, как брошенный ломоть хлеба, который клевали налетевшие со всех сторон птицы.

– Вы что, тут на крылечке и ночевали? – шутливо упрекнул её реб Ешуа Кремницер.

– Доброе утро, – сказала Хенка. То, что реб Ешуа с ней так тепло поздоровался, обнадежило её.

– Сейчас открою лавку, и обо всём потолкуем. Как видите, на старости я торгую всякой мелочью – защёлками, задвижками, замками, гвоздями, а эту рухлядь – он ткнул в покрытый ржавчиной собственный дверной замок – никак не соберусь заменить. Забываю. Ничего не поделаешь. От старости ещё никому живым не удалось убежать, хотя скоро я от неё, треклятой, всё же сбегу. А куда от старости убегают, вы, наверно, знаете. К праотцам. Заходите!

Выслушав его не очень ободряющие нравоучения о старости, Хенка вошла следом за ним в лавку.

– Вчера за клею для своего мужа Довида заходила, так сказать, несостоявшаяся жена моего брата Исайи – сапожничиха Роха. Она за вас головой ручается: вы, мол, и честная, и опрятная, и добрая, и на все руки мастерица...

– Спасибо, – выдохнула Хенка, хотя такое начало скорее напугало её, чем обрадовало.

– Как я вам и обещал, я поговорил с моими детьми – непоседой Ароном и Этель. Они пожелали с вами познакомиться. Вы знаете, где мы живем?

– В самом центре, где памятник. В двухэтажном доме напротив почты.

– Если вы понравитесь им так же, как, скажем, мне, старику, то они заключат с вами на три месяца договор, чтобы убедиться в вашей пригодности, а потом уж, может, на следующий, более длительный срок. По пятницам, субботам и во все наши еврейские праздники вы будете свободны. Понятно?

– Да.

– Еда бесплатная, жалованье хорошее. Условия, по-моему, хорошие.

– Хорошие. А вы, скажите, тоже там... – она вдруг захлебнулась словами, – тоже там будете, когда я туда приду?

– Где?

– Дома.

– Зачем вам при этих переговорах нужна такая развалина, как я? Я ведь только дед. Моё слово не решающее. У меня только совещательный голос.

– Мне почему-то хочется, чтобы и вы там были, – сказала Хенка с какой-то щемящей искренностью. – Пожалуйста...

– Постараюсь.

– А когда лучше всего прийти?

– Если хотите, чтобы и я был при вашем разговоре, лучше всего приходите в субботу. После утреннего богослужения. Мой брат Исайя, да святится его имя в небесах, говорил, что утром на мир нисходит благодать. Пока вездесущее зло протирает залепленные сном глаза, из предрассветной мглы восходит, подобно солнцу, и добро. Оно, мол, заглядывает и к нам, в Богом забытую Йонаву.

Как и советовал реб Ешуа, в субботу, когда солнце поднялось над черепичными крышами Йонавы, Хенка подошла к двухэтажному особняку напротив почты, огороженному железной решетчатой оградой. У закрытой калитки она несколько раз, словно боясь обжечься, осторожно позвонила в колокольчик. Вскоре из дому навстречу ей вышла высокая статная женщина в домашних туфлях и в лёгком цветастом халатике нараспашку. Над её густыми русыми волосами, видно, колдовал не самозванный брадобрей, не местечковый маг – парикмахер Наум Ковальский, а какой-нибудь волшебник в Каунасе. Они были уложены с завидным изяществом, и от них шел пронзительный запах редких и дорогих духов.

– Вы – Хенка?

– Да.

– Проходите, пожалуйста, – Этель была заученно приветлива и доброжелательна.

Хенка прошла через палисадник, обсаженный ухоженными карликовыми деревцами, в прихожую, сняла туфли, сунула ноги в тапочки и скользнула в салон.

То, что предстало перед её глазами, ослепило её. Ни в одном доме в Йонаве она такой огушительной роскоши никогда не видела. Пол был устлан дорогими персидскими коврами, на стенах висели писанные маслом картины: длиннородый, благообразный старик в ермолке – прадед Рафаэля реб Дов-Бер, чуть не женившийся в Италии на какой-то богатой флорентийской еврейке испанского происхождения; Масличная гора и Стена Плача в Иерусалиме с прикинутыми к ней богомольцами; коровы-пеструхи с кукольным пастушком на лугу. Салон был обставлен мебелью из финского дерева: стол, шкафы, этажерки.

– Садитесь, милочка. Меня зовут Этель, – хозяйка холёной рукой, украшенной разновеликими перстнями, показала на мягкое кресло. – Мой муж скоро кончит бриться и сразу же выйдет к нам. К нам присоединится и мой тесть, ваш рекомендатель. А пока я вам принесу что-нибудь попить. Что вы, милочка, пьете?

– Воду.

– Воду все пьют. А ещё?

– Иногда морковный сок, а на Пасху сладкое вино, медовуху, – зардевшись, ответила Хенка.

– До Пасхи ещё далеко. Будет вам морковный сок. Хорошо? – Этель улыбнулась и удалилась.

А Хенка осталась наедине с длиннородым старцем Дов-Бером на картине, с неистовыми богомольцами, припавшими к священной и спасительной Стене Плача в Иерусалиме, с коровами-пеструхами и с безобидным беззаботным пастушком на огромном холсте в толстой раме и вдруг почувствовала себя ничтожной и одинокой. И ей до спазма в горле вдруг захотелось как можно скорей распрощаться с хозяйкой, исчезнуть отсюда, вернуться в свою хату, к сёстрам, к безотказному и неслышному, как тень, отцу и к любвеобильной маме. Но тут из другой комнаты появился элегантный, одетый с иголки Арон, похожий на манекен из магазина «Летняя и зимняя одежда для всех», а вслед за ним вошла душистая, как цветущая сирень, Этель с морковным соком в фужере на серебряном подносе и её тесть – почтенный реб Ешуа.

– Вот вам морковный сок! Пейте, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома.

Хенка скорее из вежливости чуть-чуть отпила из фужера.

– А теперь к делу, – начал Кремницер-младший. – Мы слышали о ваших достоинствах и не сомневаемся, что вы справитесь со своими обязанностями и со временем полюбите нашего Рафаэля.

– Я надеюсь, – сказала Хенка.

– Замечательно. А что касается условий, то вам их, кажется, уже сообщили. Будете за свой труд получать в месяц восемьдесят пять литов плюс бесплатная еда. Вас такая сумма устраивает?

– Да.

О таких деньгах она и не мечтала.

– Значит, по главному пункту мы с вами вроде бы договорились. – Арон крепким рукопожатием поздравил её со вступлением в должность. – С едой, по-моему, тоже ясно. То, чем мы будем питаться, будете и вы за общим столом есть безо всяких ограничений. После полугода службы – двухнедельный оплачиваемый отпуск. Во все еврейские праздники вы свободны. Не исключаются и другие льготы и поощрения. Когда вы можете приступить?

– Хоть сейчас, – пролепетала Хенка. От слов Арона Кремницера у неё слегка закружилась голова. Казалось, всё, что она слышит, ей только снится, и через мгновение этот прекрасный сон кончится и сказанные слова разлетятся, как напуганные ястребом голуби.

– Сейчас так сейчас. Проснётся Рафаэль, и мы вас с ним познакомим. Он у нас славный малый, но засоня. А пока он спит, я расскажу вам о его игрушках, которые станут вашими верными помощниками. Я всегда ему что-нибудь привожу. Игрушек у нас в доме накопилось столько, что хватило бы на легион его сверстников. Когда Рафаэль подрастёт, мы вас попросим, чтобы вы их раздали детишкам из нуждающихся семей. Таких семей в Йонаве предостаточно. Вы нам поможете?

– Конечно. Мне ещё самой нравятся игрушки, – сказала она и впервые в этом уютном доме грустно и доверительно улыбнулась, испытывая к нему и зависть, и смешанное с испугом восхищение.

– Кстати, всех медведей, клоунов, гномиков, все машинки, шарманки, свистульки, пастушеские рожки вместе со стадами плюшевых овечек и козочек я привез ему из Европы. Вы сами скоро увидите весь этот зверинец, этот музыкальный и автосалон Рафаэля, а пока часик-другой погуляйте с ним по здешнему парку.

– Хорошо.

– Мы с вами не прощаемся, Хенка, – сказал он, впервые обратившись к ней по имени.

Громкий титул «парк» местные жители скорее в насмешку, чем всерьёз, присвоили заброшенному, заросшему густым репейником и чертополохом пустырю за кирпичным двухэтажным зданием волостной почты. По обе его стороны росли в два ряда хилые, с обломанными ветками клёны, которые, как шутили в местечке, свою тень дарили ещё усталому от похода в Россию войску маршала Наполеона, которому так и не удалось взять Москву. Кое-где под клёнами стояли наспех сколоченные, некрашенные скамейки, на которые чаще, чем сами жители местечка, стайками садились съёжившиеся от своей малости и бесприютности вечно голодные воробы.

Не успела Хенка опуститься на скамейку и порадоваться негаданному успеху, как её стали одолевать сомнения. Долго ли она прослужит у Кремницеров, не уволят ли её раньше срока? Одно дело нянчить своих безграмотных, как она сама, сестёр, а другое – избалованного Рафаэля. Его, конечно, с детства учат не идишу, а французскому. Ведь Арон Кремницер учился на агронома в Париже. И Этель не овец в деревне пасла и не кухарила в ресторане у Ицика Бердичевского. Что им стоило выписать няньку из Парижа или на худой конец из Каунаса? Единственное, что Хенка может предложить им вместо учености – это свою любовь к мальчику. Безмолвный язык любви понимают все, даже кошки и собаки.

Утешив себя мыслью, что сразу от её услуг всё-таки не откажутся, что она сможет до увольнения хотя бы за три трудовых месяца неплохо заработать, Хенка поднялась со скамейки и направилась к проснувшемуся Рафаэлю.

Мальчик ей очень понравился. Как и его папа, он был элегантно одет – короткие вельветовые штанишки на бретельках, голубая, в едва заметную полоску, шелковая рубашечка с галстучком в горошек, на ногах – лёгкие кожаные ботиночки на застёжке. Он был причёсан на прямой пробор, его черные гладкие волосы отливали речным блеском, словно ему только что помыли голову.

– Знакомься, Рафаэль, – словно к взрослому, обратился к сыну сановный Арон. – Будь джентльменом – протяни тётке ручку.

Мальчик не шевелился, смотрел на Хенку, как на большую говорящую куклу, с которой ему не совладать.

– Ну чего ты боишься? Тётя будет каждый день тебе песенки петь, рассказывать сказки, водить в парк, ты с ней будешь птичек кормить, – уговаривал его Арон.

После долгих раздумий Рафаэль спрятался за отцовскую спину, но изредка продолжал с подозрительным любопытством оттуда поглядывать на незнакомку.

– Ручаюсь, он скоро к вам привяжется, – успокоила Хенку Этель. – На первых порах мы его все вместе будем нянчить. Не волнуйтесь, пожалуйста, всё наладится. От любви ни дети, ни взрослые не шарахаются.

Всё и в самом деле наладилось. Опасения Хенки, что её вскоре уволят, оказались напрасными, и заслуга в этом принадлежала хозяйке – добродетельной Этель. Диковатая Хенка не только прижилась у Кремницеров, но и подружилась с Этель, которая была не намного старше новоявленной няньки и к тому же не могла похвастать большим числом знакомых сверстниц в Йонаве. Все они жили либо за границей, либо в Каунасе. Она, правда, иногда встречалась со своими подругами, когда сопровождала Арона во время его недолгих поездок в Каунас или в Германию, где Этель Левинсон и родилась в семье потомственных коммивояжеров. Йонаву Этель считала вынужденной ссылкой. Арон Кремницер, удачливый лесоторговец, давно хотел перевести дело в какой-нибудь портовый город – Марсель или Киль, но его отец реб Ешуа наотрез отказался расстаться со своими замками, гвоздями и защёлками. Могилы отца и матери добровольно, да ещё ради мамоны, не оставляют.

Привык к няньке и Рафаэль. Вначале, только завидев её, он, бывало, бросался наутёк, по-детски, бесхитростно прятался там, где

никакого труда не стоило его найти, а когда Этель и Арон уходили и Хенка оставалась со своим подопечным наедине, капризничал, куksился и горько плакал. Но однажды, на исходе второй недели её службы, в их отношениях произошёл неожиданный переворот. Рафаэль притащил из детской куклу – длинноносого ушастого клоуна с обвислыми усами, в смешном картузе с нарисованными на козырьке якорями, и, спешно вручив свою игрушку ей, громко возгласил:

– Енька! Енька! Пи-пи!..

И пальцем ткнул в низ живота, в свой краник.

Хенка взяла его за ручку, отвела в туалет, посадила на горшок и, когда через минуту струйка иссякла и он снова закричал: «Енька!», нянька поняла, что с этого исторического «пи-пи» начинается их настоящая дружба.

Целыми днями она возилась с ним, придумывая всякие игры и развлечения. Чтобы рассмешить его, Хенка принималась изображать то мекающую в огороде козочку, то квакающую в болоте лягушку, то кукарекающего в соседнем дворе петуха, то чирикающего в палисаднике голодного воробышка. Рафаэль слушал и заливался счастливым смехом.

После дневного сна Хенка выводила его на прогулку – то по запущенному парку, где Рафаэль отчаянно гонялся за нищенствующими воробьями или живописными бабочками-однодневками, то по осиротевшему, давно не плодоносящему яблоневому саду возле местечкового костёла со стреловидным куполом, вонзенным – не в память ли о распятом Христе? – в синее небо, то забредали на Ковенскую улицу. Там Хенка непременно останавливалась и, не смея войти с мальчиком внутрь, издали показывала ему родную скособочившуюся хату, из которой доносился стук неугомонного молотка.

– Тут, Рафаэль, живут мои родители, – просвещала она малыша.

Рафаэль таращил глазёнки на оконца, словно затянутые болотной тиной, и, вцепившись в руку няньки, тянул её назад – домой, к своей маме.

По пути Хенка обычно заглядывала с карапузом к его деду и её благодетелю реб Ешуа Кремницеру в пустую лавку, в царство замков и задвижек, и Рафаэль после краткого визита выходил оттуда с целым коробом ласк и поцелуев.

Прогуливаясь за ручку с Рафаэлем по местечку, Хенка в один прекрасный день столкнулась с Рохой-Самураем. Та торопилась к резнику с белым гусем, беспечно прикорнувшим в большой плетёной корзине перед скорой и беспощадной казнью.

– Писем нет? – спросила Хенка.

– Что-то наш кавалерист давно нам не пишет, – пожаловалась Роха. – Может, он тебе пишет?

– Нет. Если бы написал, я от вас не скрыла бы. Тут же прибежала бы и рассказала. Может, он на маневрах?

Рафаэль приблизился к плетёной корзине, собираясь, видно, разбудить гуся, продолжавшего перед смертью безмятежно дремать в корзине, как в колыбели.

– Рафаэль! Не смей его трогать! – воскликнула Хенка. – Он ущипнёт тебя своим клювом. Потом пальчики будут долго болеть.

– А что это за штука – манервы? – напуганная непривычным словом, обеспокоилась Роха.

– Военные учения. Солдаты учатся быстро вскакивать в седло, срезать шашками на скаку голову у огородного чучела, изображающего врага, а также быстро и точно стрелять в цель из винтовки.

– Седло, шашки, стрельба, – вздохнула Роха. – Все это, по моему, не еврейский гешефт. – Она потрепала Рафаэля по русым волосам, снова вздохнула и сказала: – Какой славный мальчишечка! И надо же – уже он наследник бакалеи и москательно-скобяной лавки, а главное – огромных угодий соснового леса где-то в Жемайтии за Расейняй! А что, спрашиваю я частенько Господа Бога, достанется в наследство моему внуку? Только молоток, шило, шпильки, сапожный клей, колодка и все наши беды.

– Я думаю, что никто, даже наш Господь Бог, не знает, что, кому и когда достанется.

Обречённый на казнь у резника гусь проснулся и одним своим глазом высокомерно уставился на Рафаэля, который от страха притулился к тёплому боку своей няньки.

– Через полторы недели я получу свое первое жалованье, и мы с вами, Роха, сядем в автобус и поедем к Шлеймке в Алитус, – сказала Хенка приунывшей бабушке Рохе.

– На манервы поедем? – съязвила бабушка.

– Да, – засмеялась Хенка и быстро удалилась с заскучавшим Рафаэлем, извинившись перед сгорбившейся Рохой и заносчивым, не догадывающимся о своей печальной участи гусём.

6

В доме Дудаков на Ковенской был объявлен праздник – Хенка принесла первую получку. Восемьдесят пять литов! Подумать только – восемьдесят пять литов. Почти девяносто! Бывает, что сапожник Шимон столько не зарабатывает и за три месяца! Хенка переплонула его! Песя, Хася, Фейгеле, берите с сестры пример!

Хенка испекла свой любимый пирог с изюмом, сделала медовые пряники – тейглевх, оттушила картошку с греческим черносливом, купленным в бакалее, принадлежавшей тому же реб Ешуа Кремницеру, в которой царствовал приказчик, лысый, как камень, Рувим Биргер, и устроила пир горой.

Когда радость домочадцев чуть поблекла, счастливица сообщила им, что завтра уезжает на весь день с Рохой-Самураем в Алитус, чтобы встретиться со Шлеймке, от которого давно не было никаких вестей.

– С этой бабой-ягой?! – ополчился на Хенку Шимон. – Не спешишь ли ты, доченька, тратить на эту ведьму свои денежки? Ты же ещё пока не стала её невесткой.

– Роха помогла мне устроиться нянькой в дом Кремницеров. И потом она не баба-яга, а несчастная забитая женщина. Весь дом на её плечах. Роха, как та ослица, которую однажды впрягли в перегруженную повозку и забыли выпрячь. Никто другой, а ты, отец, сам мне сказал, что её главные помощники Айзик и Лея собираются вроде бы поднять крылышки и вообще уехать навсегда из Литвы.

– Ну и что? – не сдавался отец. – Есть ещё у них твой Шлеймке и Мотл. И Хава. Может, Лея и Айзик и уедут. Кто их знает. Что им тут в нашем местечке делать – латать, латать и ещё раз латать, лудить и

ещё раз лудить, брить бороды, стричь волосы, стоять на крылечке, глядеть весь день до отупения на прохожих и ждать клиентов? А там, в этой Америке, говорят, только выйдешь на улицу, а на мостовой доллары валяются. Нагибайся и собирай!

И вдруг Хенка выпалила:

– Если и Шлеймке надумает отсюда уехать, то и я за ним. Куда угодно.

– Ещё вопрос, возьмёт ли он тебя с собой?

– Возьмёт, возьмёт.

– Ты сначала с нашим раввином и с ним под хупой постой, а потом уж за него ручайся.

Хенка не стала портить праздник. Всё равно отца не переспоришь. Для него хупа – самая надёжная крыша на свете.

Однако трудней всего было уговорить Роху. Она отказывалась ехать к сыну на чужие деньги в Алитус и для отвода глаз придумывала разные причины.

– Увидишься, поговоришь с ним пять минут и только расстроишься, что пора уже обратно ехать. Когда долго не встречаешься с тем, с кем разлучен, то любишь его ещё крепче.

– Вы уж, Роха, меня извините, но вы говорите глупости. Долгая разлука пожирает любовь, как моль висящее в шкафу ни разу не надёванное платье. Вам ничего не надо делать, только сесть в автобус. Я всё для встречи уже приготовила. Пирог готов, и тейглекс готовы, и немецкий шоколад в чемоданчике, и пара шерстяных носков на зиму. Сама связала. Так что жду вас завтра в восемь утра на автобусной станции. Только не опоздайте!

– А если Шлеймке ещё на этих манервах? Приедем, а его нет, – упиралась бережливая Роха, которой всегда было жалко на что-нибудь тратить собственные деньги и стыдно расходовать чужие.

– Ладно. Я лучше приду за вами на Рыбацкую улицу. Так будет верней.

Автобус, как всегда, опаздывал, и Хенка боялась, что Роха его не дожждётся и сбежит.

Когда он подрулил к остановке, будущая невестка помогла своей грузной спутнице подняться в полупустой салон и усадила её в первом ряду возле окна, чтобы Роха могла увидеть то, чего никогда не видела – деревенскую Литву: зелёные поля и холмы, речки и лесочки, придорожные распятая и вросшие, как деревья, в суглинок взъерошенные хаты.

Всю дорогу старуха не отрывала взгляда от запорошенного пылью окна, за которым проплывала незнакомая и непостижимая для неё, невольной домоседки, бедная страна.

– Ничего не скажешь – красивая земля, – тихо, словно делаясь с Хенкой каким-то секретом, прошептала Роха. – Только люди такие же, как мы, бедняки.

– Да уж, небогатые, – согласилась Хенка.

– А почему литовцы, если они такие же бедные, как мы, нас не любят? Что им евреи плохого сделали? Обшиваем их, тачаем им сапоги, бреем, стрижем, часы чиним...

Автобус трясся и подпрыгивал на неровной, ухабистой дороге. Роху подбрасывало на рытвинах, она горестно вздыхала, ойкала и обеими руками хваталась за Хенку.

Ответа на вопрос Рохи Хенка не нашла. Она сама не раз задумывалась, откуда эта извечная взаимная неприязнь.

– Может, оттого, что евреи всюду чужие, а чужого птенца даже голубка заклёвывает. Раз чужой, значит, нехороший... – сказала Хенка. – И вообще, от бедности никто не добреет. Видно, так уж на свете заведено и всегда будет так, как было.

Роха насупилась и ни о чём больше Хенку не спрашивала. Мысль о том, что после совместной поездки в Алитус быстроглазая дочь Довида дожждётся от Рохи согласия на брак с её царем Соломоном, эта мысль вдруг затмила мелькающие за окном красоты. Но не слишком ли рано Хенка радуется?

До Алитуса они доехали молча.

– Вы после этой сумасшедшей тряски ещё живы? – осведомилась Хенка.

– Как видишь, жива, хотя у меня все косточки растрясло. А от станции до казармы далеко?

– Не далеко, но и не близко. Пойдём туда медленно, с остановками. Где-нибудь по пути отдохнём.

Роха никогда ещё не была в таком большом городе, и всё вокруг привлекало её внимание – и массивные дома, и широкие, выложенные плиткой тротуары, и броские вывески, и нарядные жители.

– Мы не заблудимся? – спросила она Хенку.

– Не заблудимся.

– Я бы не хотела тут жить.

– Почему?

– У нас в Йонаве я знаю каждого – и литовца, и поляка, и еврея, – задумчиво сказала Роха. – Знаю, кто женится и кто разводится, у кого дома кошка и у кого во дворе на цепи злая собака. И меня все знают. А тут? Нет, я ни за что не хотела бы тут жить.

Так, рассуждая о преимуществах родной Йонавы перед чужим Алитусом, они добрались до желанной цели.

Хенка слушала её и всматривалась издали в фигуру часового. Ни выправкой, ни ростом он не был похож на того коренастого солдата, который охранял вход в казарму в прошлый раз. Путая падежи и коверкая глаголы, Хенка объяснила долговязому неприветливому охраннику, что их сюда привело:

– Mes is Jonava.⁵

Долговязый стражник пренебрежительно оглядел их сверху до низу и без всяких объяснений, только по лицам, нехарактерным для большинства его сородичей, и по уродливому акценту догадался, к кому эти женщины прибыли.

– Jus pas eilini Saliamaona?⁶

Хенка и Роха, как по команде, закивали.

– Atspejau. Jis cia pas mus vienintelis zydas.⁷

Из всей его речи Хенка и Роха поняли только слово «жидас», знакомое им чуть ли не с колыбели.

– Tuojaу surasime!⁸ – сказал он и скрылся в дежурке.

⁵ Мы из Йонава (лит.).

⁶ Вы к рядовому Салимонасу? (лит.)

⁷ Он у нас тут единственный еврей (лит.).

⁸ Сейчас найдём! (лит.).

Через некоторое время вышел и сам рядовой Салямонас.

– Шлеймке! – крикнула Роха, как будто ему грозила смертельная опасность, и бросилась к нему.

Хенка стояла в сторонке и с удовольствием наблюдала, как та своими жилистыми руками мяла и комкала сына, словно праздничное тесто.

– Ей-богу, встретиться ты мне на улице, я тебя, сынок, ни за что не узнала бы. Ты весь какой-то не такой. В военной форме и на еврея-то не похож, – не то нахваливала, не то подначивала его истосковавшаяся по сыну Роха. – А я еще, дура, ехать не хотела. Спасибо Хенке – насилу вытащила.

Рядовой Салямонас гладил её по седой взлохмаченной голове, по давно покоробившемуся лицу, как будто старался стереть врезавшиеся в него глубокие морщины, благодарил тёплым взглядом Хенку, прижавшую к своей полновесной груди, как грудного младенца, парусиновый чемоданчик.

Догадливый охранник, которому до призыва в армию в родной деревне под Рокишкисом или Купишкисом ни разу не доводилось видеть трёх евреев сразу, таращился на них с изумлением.

– Давайте спустимся к Неману. Мы в прошлый раз так хорошо провели там время, – предложила Хенка. – Что мы стоим, как вкопанные?

– К великому сожалению, я не могу с вами пойти, – сказал Шлеймке. – Я сегодня дневальный.

Роха и Хенка растерянно переглянулись.

– Я сегодня отвечаю за чистоту и порядок во всей казарме. И через пять-десять минут обязан туда вернуться. Иначе я рискую попасть на гауптвахту. То есть в солдатскую каталажку.

– В тюрьму? Господи! – простонала Роха. – Я сюда свои кости еле доволокла, чтобы с тобой хоть часок побыть, а выходит, нам надо сразу отправляться обратно. Знали бы – не поехали бы. Письма не пишешь, не предупреждаешь. Сиди и думай, жив ты или нет...

– Виноват... – опустил покаянную голову Шлеймке. – Но вы же всё равно не можете мне ответить.

– Да, мы, безграмотные, писать не умеем, но наказывать нас за это молчанием не надо, – с укором сказала Роха. – Вернёшься домой – может, ты и нас, дурёх, научишь... Ладно – увиделись с тобой, и слава Богу, – промолвила она и обратилась к Хенке, великодушно уступая ей первенство во всём – в любви и в жалобах. – А ну-ка, быстренько выгружай все свои дары!

– Шлеймке, возьми всё, что мы привезли, заодно и чемоданчик. Мы ещё с мамой к тебе приедем, тогда его и заберём, – сказала Хенка, пытаясь как-то сгладить свою вину перед сникшей Рохой за то, что так неосмотрительно уговорила её пуститься в далёкий путь.

Автобуса в Йонаву пришлось ждать долго, и неудачницы не знали, как убить время. Они бесцельно бродили по незнакомому городу, пялились на витрины и вывески лавок и магазинов, заглядывали через открытые двери в парикмахерские, откуда пахло дешёвым одеколоном и где лихо ножницами и бритвами орудовали мастера-евреи, одетые в сверкающие белизной халаты. Забрали они и на городской рынок, уставленный крестьянскими телега-

ми, и там глазами выискивали среди покупателей собратьев-единоверцев, которые в Алитусе попадались реже, чем в Йонаве.

Хенка вдруг вспомнила своего недавнего «поводыря» Гилеля Лейзеровского, его больную жену и кучу детей...

– В прошлый раз хороший человек мне помог найти Шлеймкин полк. Пусть Господь Бог за доброе дело одарит его таким же добром, да ещё с добавкой.

– Он, может, только на небесах одаряет, но не на земле. На земле хозяин не Господь Бог, хотя Он её и создал, а всякие господа и господинчики, – сказала Роха-Самурай.

Хенка порывалась остановить какого-нибудь еврея, расспросить, где эта улица Кудиркос, и навестить Гилеля Лейзеровского, но не решилась, грешно было ещё больше утомлять Роху – опечаленная старуха и так еле держалась на распухших ногах.

На автостанции они присели на скамейку и стали покорно ждать рейса в Йонаву. Никогда ещё обе не чувствовали такую близость друг к дружке, как на этом пропахшем бензином и машинным маслом, захламленном окурками, обрывками бумаги и битым стеклом островке. Их объединяло даже молчание, ибо думали они об одном и том же – о любви, которая всё равно куда сильнее обиды на судьбу, не всегда благоволящую к тем, кто любит. Кто мог знать, что Шлеймке в этот день будет так занят на службе?

– Спасибо, Роха! – вдруг сказала притихшая Хенка.

– За что? – глухо отозвалась нахохлившаяся старуха.

– За реб Ешуа Кремничера. Если бы не вы, что бы я сейчас в местечке делала? Улицы подметала бы, мыла бы полы у мельника Менделя Вассермана, сидела бы дома и под стук молотка до дыр просиживала своё платье? Спасибо вам и за то, что вы отважились сюда со мной поехать. Несмотря ни на что, я считаю, что мы с вами поехали не зря. Шлеймке будет легче служить.

– Это я тебя должна благодарить. По правде говоря, я о тебе раньше была не очень-то хорошего мнения. Не стану кривить душой, но я не собираюсь бить себя в грудь и просить у тебя прощения. На то я мать. Ты понимаешь, о чём говорю?

– Понимаю, – с каким-то несвойственным ей надрывом сказала Хенка. – Если когда-нибудь рожу и выращу такого сына, как ваш, я тоже буду желать ему в жёны не дурнушку, не нищенку, а красавицу и богачку. Мне тоже будет больно, если чужая женщина заберёт его у меня навсегда.

И тут подошёл автобус, не дав им договорить.

7

Путь домой показался им намного короче. Погружённые в свои раздумья, они и не заметили, как очутились в Йонаве.

До синагоги они шли вместе.

– Ты, конечно, к нему ещё поедешь. Но я больше трястись туда и обратно не в силах, – сказала Роха, обернувшись к Хенке перед тем, как с ней расстаться на перекрёстке.

– Конечно, поеду.

– Когда в следующий раз вернёшься оттуда, ты, конечно, придёшь к нам и всё без утайки доложишь. Пусть вблизи на тебя по-

смотрит вся моя орава и послушает, как служится среди литовцев их братцу-кавалеристу.

Хенка долго смотрела в согбенную спину удаляющейся Рохи и до самой Ковенской улицы перекатывала в памяти её чистосердечные слова про «смотрины», сказанные ещё не надёжной сторонницей, но уже не заядлой противницей.

На работу Хенка вернулась в приподнятом настроении. Приглашение Рохи как бы заглушило чувство горечи от неудавшейся поездки в Алитус. Тепло её встретили и Этель с Рафаэлем.

– Енька! – закричал карапуз, побежал к ней и обвил пухленькими ручками её колени.

– Как там ваш солдат? – спросила Этель, которой нянька доверяла свои сердечные тайны.

– Хорошо. Годик ему ещё остался.

– Год быстро пролетит, – сказала Этель и пристыдила сына: – Рафаэль, перестань тянуть Хенку за подол. Настоящие мужчины себя при дамах так не ведут. Мама закончит разговор, и Хенка будет в полном твоём распоряжении.

– Соскучился малыш, – защитила его Хенка. – Да и я по нему соскучилась. Мы с тобой, Рафик, сейчас снова поиграем в кошки-мышки. Ты будешь котик, а я – мышка. Я буду от тебя убегать и прятаться, а ты будешь за мной гоняться и, когда я куда-нибудь спрячусь, ищи меня по всем углам.

– Как бы мышка ни пряталась, от зоркого Рафаэля она никуда не скроется, – подыграла Этель и спросила: – А у твоего кавалериста есть уже какая-нибудь гражданская профессия?

– Да. Он портной.

– Так это же, милочка, великолепно. Без портных и короли, и нищие ходили бы голышом либо в шкурах, как звери. В Париже портные зарабатывают бешеные деньги. Мсье Жак Левит, мой тамошний кутюрье, кстати, он родом из Литвы, в прошлом году сшил мне жакет и брюки и не постеснялся со своей землячки содрать очень даже приличную сумму. Может, и вы когда-нибудь скажете Йонаве «адьо» и переберётесь жить во Францию.

– Да, но Шлеймке не знает ни одного слова по-французски.

– Иголка научит.

– И я никакого другого языка не знаю, – засмеялась Хенка. – Куда уж нам, неучам, в Париж. Дай Бог тут, в местечке, как-нибудь по-человечески устроиться.

Ей стыдно было признаться, что она и на идише пишет с ошибками, без точек и без запятых, потому что начальную школу так и не кончила – надо было помогать измотанной постоянными родами матери ставить на ноги младших сестёр и братьев. Разве может понять, подумала Хенка, эта добрая обеспеченная женщина, которая шьет себе жакеты и брюки не у старика Гедалье Банкве-чера в Йонаве, а у мсье Жака Левита в Париже, что такое тюрьма бедности? Что это за неволя, из которой так трудно, а порой и до самой смерти невозможно вырваться на свободу?

Этель не стала с ней спорить о тяготах жизни и грамотности, но огорошила её неожиданным и заманчивым предложением:

– Это не беда, что ты не доучилась. Было бы только желание доучиваться. У меня масса свободного времени. Не знаю, куда его

девать. Чтение любовных романов надоело. Я берусь тебя кое-чему научить. Учю же я каждый день своего капризного Рафаэля. Будет у меня не один ученик, а двое...

– Ну что вы, что вы! Спасибо. Вы только со мной намучаетесь. У меня такая тупая голова! В ней всё время сквозняки гуляют, они сразу всё выдувают из неё. А потом, простите, с кем я тут буду разговаривать по-французски, если вы отсюда с господином Ароном и вашим тестем уедете? С балагулой Пейсахом Шварцманом, с дамским парикмахером Рувимом Герцманом или с жестянщиком Лейзером Фердсманом, которые на идише-то говорят с ошибками?

После такого потешного, в рифму, перечисления знатоков французского языка в Йонаве Этель разразилась громким хохотом и долго не могла его унять.

– Ну и насмешила же ты меня! Давно так не смеялась.

– Енька, Енька, – нетерпеливо пропищал Рафаэль и снова вцепился в подол няньки, которая оставалась для него большой заводной куклой. И кукла приступила к своим обязанностям. Пока мальчика не укладывали спать, она успешно исполняла роль преследуемой мышки, а он – грозного охотника-котика. А назавтра Хенка перевоплощалась в хитрую лису или пугливого зайца. И так изо дня в день она была вынуждена изображать какого-нибудь обитателя зверинца, о котором слышала, но в котором никогда не бывала.

Но так уж вышло, что дом Кремницеров стал для Хенки не только местом службы, но и школой.

Деловитая Этель не терпела пустословия и по возможности стремилась как-то разнообразить свою бесцветную и монотонную жизнь невольной затворницы. Она с удивительным прилежанием и самоотверженностью взялась за обучение Хенки письму и счету на обоих языках. Этель выписала из Каунаса учебные пособия, купила карандаши и тетради, составила порядок проведения уроков: два часа в день – с Хенкой и ещё полтора часа после обеда – вместе с проснувшимся Рафаэлем – французский. Так, в живом и непосредственном общении и во взаимных разговорах, как учительница надеялась, они смогут усвоить гораздо большее количество незнакомых слов. Как подтрунивала над собой Этель, она неожиданно, к немалому своему удовольствию, превратилась из бездельницы-матроны в общую няньку.

– Как ты не на идише, а по-французски скажешь своему кавалеру «Шолем алейхем, мой милый», когда снова встретишься с ним в Алитусе? – бывало, спрашивала Хенку Этель.

– Бонжур, мон шер ами!

– Bravo! У тебя отличный слух и произношение. С этими словами ты уже во Франции не пропадешь.

Похвалы радовали Хенку. Но что за прок в восхвалениях, если чужой язык не понадобится ни ей, ни Шлеймке. Ведь в Париж, по бродившим в местечке слухам, порывается уехать не Шлеймке, а его рискованный брат Айзик. Но Хенка не хотела обижать Этель и лишать её развлечений. Богатые тоже нуждаются в жалости и страдании. Все люди по-разному одиноки. Муж Этель, неугомонный Арон, постоянно отсутствовал – ездил в портовые города: то в Мемель, то в Осло, то в Копенгаген, то в Марсель, то в Киль. А

тесть Этель, набожный реб Ешуа, который относился к невестке с откровенным предубеждением за её вольнодумство и отказ посещать вместе с Рафаэлем синагогу, каждый день возвращался усталый из неприбыльной москательной-скобяной лавки и уединялся в своей комнате. По вечерам он менял обычные очки в роговой оправе на окуляры с увеличительными стеклами, доставал из старомодного, как и он сам, шкафа, подарочное издание «Танаха» в тиснёном золотом переплёте и перед тем, как отойти ко сну, переселялся до полуночи из семейного двухэтажного особняка на священные страницы Книги книг. До рассвета он как бы выходил из литовского подданства и перебирался в Иудейское царство, праточество всех мёртвых и живых евреев.

– Сколько осталось твоему солдату служить? – поинтересовалась как-то после урока Этель.

– Чуть меньше года.

– Уже немного.

– Для кого, прошу прощения, немного, а для кого много, – сказала Хенка.

– Прости, что я тебя допрашиваю. Но меня очень интересует, что вы будете делать, когда он вернется?

– Жить. И если он не передумает, поженимся. Он будет шить, а что я буду делать, и сама не знаю. Рафаэль подрастет, и я стану вам не нужна, – Хенка вскинула голову, поправила волосы, глаза её расширились, как будто она пыталась разглядеть будущее: – Буду нянькой своего мужа, его верной служанкой, его кухаркой...

– Всю жизнь?

– Может, и всю. По-моему... – Хенка вдруг осеклась. – До сих пор не знаю, как я должна к вам обращаться?

– Зови меня Этель. Этя. Этка. Как тебе удобнее. Я не барыня.

– По-моему, – продолжала Хенка, – не так важно то, что человек делает и на каком языке говорит.

– А что важно?

– Может, я сейчас глупость скажу. Но я так думаю.

– Скажи! Я тоже нередко говорю глупости. От глупости никто не застрахован.

– По-моему, самое важное, чтобы тебя любили. И чтобы ты кого-нибудь любил. На свете много чего – и народов, и языков, и богатства, и красот всяких, а вот любви – меньше всего.

– Вот это да! – выдохнула Этель.

Она не могла взять в толк, откуда у малограмотной дочери местечкового сапожника в её двадцать лет такие мысли, такая выстрадавшая убеждённость? Что она видела на своем веку? Париж, Лондон, Берлин? Что читала? Шекспира, Шиллера, Сервантеса? Кто равнодушием или злобой успел ранить её душу? Этель слушала Хенку и проникалась к ней ещё большим уважением, сравнивала её взгляды со своими несбывшимися мечтами и надеждами. Уже в первые дни Господнего творения на земле меньше всего было любви, а больше – вражды и ненависти, зависти и лицемерия. Любви не хватает на белом свете и доселе, недостает её и в этом тихом и с виду благополучном местечке, где Этель вроде бы катается как сыр в масле. Побольше бы любви, обыкновенной любви, безгласно повторяла она неподвижными, плотно сомкнутыми устами.

Когда Хенка собиралась, как обычно после службы, уходить домой, Этель попросила её задержаться:

– Останься! Может, сегодня ты не откажешься, и мы вместе поужинаем. Ты ведь до сих пор как следует мои поварские способности не оценила.

– Ещё как оценила.

– Посидим, потолкуем.

Хенка смутилась, ведь ужинать она привыкла не у Кремницеров, а дома, но приглашения не отклонила. Да и как его отклонишь, если тебе оказывают такую честь, хотя по договору Хенка имела право кушать то, что едят и сами хозяева.

– Сейчас я накрою стол на три персоны, позову тестя, и мы устроим пир. Мой тесть очень интересный собеседник и широкой, щедрой души человек.

Стол был накрыт вышитой полевыми цветами скатертью. Этель аккуратно расставила приборы – тарелки с золотистыми каёмками, вилки и ножи с костяными ручками, такие до службы у Кремницеров Хенка и в глаза не видела.

Этель осторожно постучалась в комнату тестя. Но вскоре вернулась оттуда одна.

– Реб Ешуа последнее время себя неважно чувствует, – сказала Этель. – У него грудная жаба и больная печень. Но он всё же обещал ненадолго выйти. А сейчас я принесу первое блюдо. Ты ведь, кажется, ещё ни разу мои вечерние яства не пробовала...

– Я знаю, что вы прекрасно готовите, Этель.

– Арон говорит, что я лучший кулинар во всём каунасском уезде.

– Он говорит правду, – польстила ей Хенка.

Пока Этель возилась на кухне с первым блюдом – салатом оливье, из своей комнаты в длинном атласном халате, перепоясанном широким поясом, вышел ссутулившийся реб Ешуа Кремницер.

– Что-то мне, детка, неможется. Видно, без доктора тут уже не обойтись. Давит грудь, колики в правом боку, – пожаловался он Хенке. – Если я слягу, то кто вместо меня торговать будет? Ведь только в субботу со спокойным сердцем можно закрыть лавку, только в святую субботу, на еврейские праздники и в семидневный траур по хозяину-покойнику. Но пока я ещё, слава тебе Господи, не покойник, ещё копчу небо.

– Что вы, реб Ешуа, говорите! Живите до ста двадцати лет!

– Сойдемся с тобой на девяноста. У меня нет возражений.

– И я согласна, – подхватила Хенка.

– Торговец приучен всегда делать скидку. Я, деточка, не жадный. Надо не жадничать и другим оставлять хотя бы пару лишних годочков сверх того, что им выделил наш милосердный Господь Бог. – Реб Ешуа Кремницер мало ел, охал, кряхтел, ёрзал на стуле и наконец встал из-за стола.

– Спасибо, Этель. Было очень вкусно. Но переедать на ночь вредно.

– Вы же ничего не ели, – упрекнула его Этель. – Как вы будете здоровы?

– Ел, ел. Как всегда, было очень вкусно, – реб Ешуа перевёл дух и, глядя исподлобья то на примолкшую за трапезой Хенку, то на озабоченную его здоровьем невестку, промолвил: – А что, если я

попрошу нашу милую нянечку, чтобы она мне, своему рекомендателю и заступнику, оказала услугу и на недельку заменила меня?

– Как заменила? Где заменила? – не сразу сообразила Этель.

– Постояла бы за меня за прилавком. Господь свидетель, я забочусь не о прибыли и не боюсь убытков. Мне просто кажется, что я скорее выздоровею, если моя лавка будет открыта и кто-нибудь по-прежнему будет в ней торговать и торговаться. К больным продавцам покупатели не ходят. Кому охота вместе с амбарными замками и дверными защёлками приобрести в придачу ещё какую-нибудь неизвестную болезнь.

– Может, завтра вам станет лучше... – сочувственно предположила Этель.

– Может. Но я, Этель, на это «завтра» никогда в жизни не надеялся. Будущее – самый ненадёжный еврейский банк. Евреи вкладывают в него все свои надежды, а потом оказываются полными банкротами...

– Справишься с ролью продавщицы? – спросила Этель у Хенки. – С моей стороны никаких возражений.

– Не знаю. Я никогда ничего не продавала. Если не справлюсь, уволите меня.

– Научись! – обнадежил её реб Ешуа. – Ты же не земельные участки будешь продавать, не дома, не корабельный лес, а мелочь: замки, защёлки, краски, клей. Я давно сбыл бы кому-нибудь свою лавку за бесценок, но я хочу общаться с людьми. Хочу, чтобы они ко мне приходили, называли меня по имени, чтобы я им отвечал, потому что пока глаза видят в зеркале не только самого себя и уши слышат не только свои собственные стоны, ты ещё жив и, может, кому-то нужен. Ты, Хенка, не бойся, я уверен, что всё у тебя получится.

– Я не боюсь. Бояться надо, когда рождаешь, а не тогда, когда что-то продаешь.

– Это во-первых. Во-вторых, это же не навсегда. Реб Ешуа поправится, и ты к нам вернешься, – ободрила няньку Этель.

Хенка, как и Этель, надеялась, что старик победит свои недуги и вернётся в лавку. Но её не оставлял страх – а вдруг, не приведя Господь, реб Ешуа возьмёт и преставится. Тогда рухнет всё. Арон Кремницер с почестями похоронит отца на местечковом кладбище, поставит памятник из чистого мрамора, продаст кому-нибудь, тому же самонадеянному пузырю Каплеру, москательню-скобяную лавку и бакалею, даже дом, сложит чемоданы и укатит с Этель и Рафаэлем в свой ослепительный Париж. А она, Хенка, как говорит её боевитый младший брат Шмулик, останется на бобах, ибо нрав богатых не изменить – они всегда стараются надуть бедных.

– К тому, что ты получаешь за Рафаэля, я буду доплачивать ещё двадцать литов в неделю, ну а уж если совсем расхворюсь и не смогу вернуться в лавку... – недоговорил охрипший реб Ешуа.

– Соглашайся! А мы тебя с Рафаэлем будем ждать, – сказала деликатная Этель.

И Хенка сдалась.

Каждый вечер она приходила к своему благодетелю Кремнице-ру, приносила из лавки мизерную выручку за день и ещё час-другой играла с Рафаэлем, водила его на прогулку, качала в опус-

тевшем дворе гимназии на качелях. А когда Этель в гостиной зачитывалась новым французским романом о несчастной любви, Хенка в детской укладывала мальчика спать и рассказывала ему сказки собственного сочинения или пела на идише печальные колыбельные песни. Может, он все-таки вырастет не французом, а евреем.

Реб Ешуа не мог нарадоваться на Хенку и щедро осыпал её комплиментами.

– Из тебя получится замечательная продавщица. Сможешь работать в любом крупном и доходном магазине. Хоть и в здешнем филиале сети столичного «Розмарина» у Исера Шнейдермана.

Сеть магазинов колбас и сосисок Исера Шнейдермана была самой большой в Литве.

Восторги реб Ешуа её не столько радовали, сколько смущали. Она, конечно, обязана ему жалованьем няньки, благодарна за доплату, но ей хотелось как можно скорее оставить лавку и вернуться к своему кудрявому барашку – Рафаэлю.

Однако возвращение реб Ешуа в лавку затягивалось. Болезнь оказалась серьёзной. Доктора Блюменфельда, который одновременно лечил и людей, и – за неимением в местечке ветеринара – животных, все евреи и христиане считали святым человеком, спустившимся в Йонаву с небес по велению Господа. Сорок лет он безвыездно и почти безвозмездно хлопотал тут над больными и увечными. Закоренелый холостяк, второй после местечкового ксендза Вайткуса не вкусивший супружеских радостей, он никогда не брал у бедняков за визит и даже частенько покупал им лекарства, которые сам и прописывал. Со своим потёртым чемоданчиком Блюменфельд приходил к больному по вызову в любое время суток. Он-то и посоветовал Этель отвезти тестя в столицу и показать какому-нибудь профессору в Еврейской больнице. Этель телеграммой вызвала из Копенгагена Арона, и они, не раздумывая, отвезли старика в Каунас. Реб Ешуа госпитализировали, и только через два месяца доктора справились с болезнью – острым воспалением поджелудочной железы. После выписки здоровье благодетеля Хенки стало медленно поправляться, но за прилавок он уже не встал. Заботливый Арон предложил продать лавку, но отец решительно отверг его предложение. Когда умру, сказал, тогда и продадите.

Не потому ли решение больного реб Ешуа доверить ключи от лавки Хенке, которая уже больше двух месяцев работала в его доме нянькой, не явилось для земляков неожиданностью? Старик вместо себя ни вора, ни растратчика за прилавок не поставит.

Одной из первых в лавку к сменщице-продавщице нагрянула Роха-Самурай. Верная своей привычке резать правду-матку в глаза, она чуть ли не с порога выпалила:

– Торговать замками да уздечками – конечно, лучше, чем вытирать попу чужому ребёнку. Но с торговлей шутки плохи. Ты что – с ума сошла? Деньги надо уметь считать. Особенно чужие. Хочешь в холодную попасть? Тогда уж моего сыночка точно не дождёшься.

– Дождусь, – отрезала Хенка. – Может, в рай не попаду, но уж в тюрьму – никогда. Меня счету и письму, если хотите знать, госпожа Кремницер научила. Я не такая дурочка, как некоторые думают.

Об уроках французского Хенка благоразумно умолчала.

– С тех пор как ты стала «владелицей» лавки, ты очень нос задрала, ни разу к нам не удосужилась зайти, ни о чём не догадалась спросить, надеялась, что тебе какой-нибудь воробей принесёт в клювике новости и прочирикает их над твоим малюсеньким ушком. Ты даже не знаешь, что в Алитус уже больше ездить не надо, – не то с сожалением, не то со злорадством произнесла Роха.

– Что, Алитус, как и Вильнюс, заграбастали эти захватчики-поляки?

– Уж ты у Кремницеров больно ученой стала! Ты сначала спроси, почему туда ездить не надо, а потом уж бросайся словечками про захватчиков-поляков.

– Почему? – уступила её напору Хенка, чувствуя свою вину – она и впрямь давно к ним не заходила, не спрашивала, не хотела мозолить глаза, ведь она ещё не невестка...

– Полк Шлеймке перебросили поближе к нам, к Йонаве, – сказала Роха, – в небольшой городок под самым Каунасом – в Жежмаряй. Так он написал нам. Почему перебросили, понятия не имею. Пока, пишет, это секрет... по-ихнему, военная тайна. Если встретите Хенку, пишет, передайте ей мой привет и благодарность за шерстяные носки, они, пишет, греют, как печка, очень тёплые.

– Хорошо, что связала не узкие, – сказала виноватая Хенка.

– Ты, похоже, ещё до свадьбы все его размеры изучила... – поддела её Роха.

– Вы, Роха, порой такое скажете, что и у глухого лицо алой краской зальёт.

– Не строй из себя ханжу... Пора привыкнуть ко всем словам – и пресным, и солёным, – улыбнулась неулыбчивая Роха. – Слава Богу, скоро наш солдат перестанет расчёсывать эти конские хвосты и чистить эти зловонные казармы. Отслужит свой срок и с миром на Хануку вернётся восвояси.

8

До светлого праздника Хануки было чуть больше полугода, и Хенка рассчитывала ещё навестить своего возлюбленного в воинской части. Тем более что от Йонавы до Каунаса в погожий день можно добраться на попутной телеге и даже заночевать у дальних родственников отца – скорняков Дудаков, которые жили не в самом городе, а в предместье Шанчай.

Всё складывалось у Хенки как нельзя лучше: и дорога до любимого кавалериста сократилась, и реб Ешуа вроде бы чуть-чуть поправился и, может, снова примет бразды правления в лавке, да и отношения с переменчивой, как погода, неуступчивой Рохой – тьфу, тьфу, тьфу, не слазить бы! – наладились.

И вдруг всё обрушилось.

– Что ни день, то какая-нибудь громкая новость. Это, правда, случится ещё не сегодня и не завтра, – сказала Этель. – Но нас, Хенка, кажется, ждут большие перемены.

Хенка затаила дыхание.

– Арон считает, что дальше полагаться только на доктора Блюменфельда при всех его несомненных достоинствах нельзя. Реб Ешуа серьёзно болен и нуждается в опеке более опытных врачей.

Поэтому он категорически настаивает на том, чтобы мы продали дом и лавку и переехали куда-нибудь в Европу – если не во Францию, то в Швейцарию или в Италию. Там и медицина на высоте, и воздух как бальзам.

– Там, конечно, хорошо, – не выдавая своего замешательства, пролепетала Хенка.

– Будь моя воля, – продолжала Этель, – я бы и тебя с собой прихватила. Ты не только замечательная нянька. Ты хороший человек. И даже уже немного знаешь по-французски.

И Этель рассмеялась.

– Спасибо, – сказала Хенка. – Вы меня чересчур хвалите. Я этого никак не заслуживаю...

– Но ты, наверно, все равно не согласилась бы всё бросить и уехать отсюда.

– Ни за что.

– Я тебя понимаю. Как ни крути, а самая лучшая страна на свете – это любовь. С начала и до конца жизни её населяют всего два жителя, но эту страну умные люди на другие страны не меняют. Если, конечно, в ней царят мир и согласие, – она вдруг запнулась от своей высокопарности, вынула из сумки гребень, долго и задумчиво зачёсывала русые волосы и, как бы извиняясь за свою откровенность, сказала: – Правда, всё ещё может измениться. Мой тесть упрям и тверд, как кремь. Только Богу известно, какие искры из этого кремня можно высечь. Он твердит и твердит: «Вы, пожалуйста, уезжайте куда хотите, а меня, будьте любезны, оставьте наедине с моей лавкой и позвольте мне умереть тут, в Йонаве, лечь на здешнем кладбище рядышком с моим отцом Довом-Бером, с моей матерью Голдой, моей сестрой Ханой и всеми моими покупателями, да будет благословенна их память».

– Енька! – раздалось из детской.

Забавляя Рафаэля, Хенка то и дело возвращалась в мыслях к тому, что узнала от его доброй, но не очень счастливой мамы. В этой безграничной стране любви Этель подолгу жила в полном одиночестве чаще, чем вдвоём с Ароном, занятым банковскими счетами, векселями, кредитами. Всё на свете смертно, любил он повторять, кроме денег. Деньги бессмертны. Арон как тот корабельный лес, сплавляемый плотогонами по Вилии и Неману, куда-то сам все время плыл, минуя Йонаву, отца, Этель и любимого наследника. Думала Хенка и о старом, немощном реб Ешуа, который засыпал за прилавком и, когда покупатели его будили, отряхивался от храпа, как облитая ледяной водой дворняга.

Жалко расставаться с такими добрыми людьми, но Хенка за границу с ними отправляться не собиралась. Уедут – так уедут! Счастливого им пути! Она пойдёт к тому же скопидому мельнику Вассерману или к доктору Блюменфельду – квартиры убирать, полы мыть, бельё стирать. Работы бояться только побирушки, которым легче протянуть руку за милостыней, чем взять в руку иголку или шило, рубанок или молоток. Чего Хенка и впрямь всерьёз боялась, так это неожиданных вестей. От евреев ничего не скроешь, ибо у них издревле изощрился слух и обострился нюх на все хорошие и дурные известия. А уж если весть плохая, по еврейскому миру она распространяется с быстротой молнии.

Плохая весть свалилась на Хенку, как только она пришла домой.

– Ты, наверно, уже слышала, что брат твоего солдата навсегда покидает Литву, – сообщил ей отец Шимон, не отрывая взгляда от чьей-то рваной подошвы.

– Айзик?

– Он самый. Что и говорить, этому парню в смелости и решительности не откажешь, – пробурчал Шимон. – Айзик первый в местечке еврей, который решил, что лучше быть скорняком в Париже или в Берлине, чем тут, в нашем захолустье. У нас – овчины, у них – соболя меха. Там и цены за выделку кожи другие, и воздух другой, и всё пахнет иначе.

– Но он же ни с кем не сумеет договориться.

– Всё равно там всё иначе. А где иначе, там уже лучше. Сначала Айзик будет выделывать кожи для евреев, которые не забыли мамелаш, а потом и для французов. В молодой голове всегда умещается больше, чем в старой. Уместится в ней со временем и этот нелёгкий французский язык.

– Шлеймке, видно, из армии не отпустят, схожу-ка я к ним и попрощаюсь с Айзиком за себя и за него.

– Из армии солдат отпускают только на похороны родителей, – сказал Шимон.

– А это и есть похороны. Для Рохи и для Довида. А ещё поговаривают, что и Лея собирается.

– В Париж?

– В Америку.

– Да, Рохе и Довиду не позавидуешь. В моё, уже давно минувшее время дети были как арестанты. От родителей – никуда. Ни шагу. Где родился, там, будь добр, живи и помри. А теперь никого в кандалы не закуёшь – выхлопочи шифскарту и дуй на пароходе или на самолёте куда тебе заблагорассудится. Хоть в Париж, хоть в Америку, хоть в Аргентину, хоть в Палестину к туркам. Может, ты со своим дружкой тоже когда-нибудь от нас упорхнёшь.

– Нет, – сказала Хенка. – Мы останемся.

– Не зарекайся. Человек предполагает, а Бог располагает, – Шимон набрал полный рот шпилек и, выплёвывая их по одной на ладонь, принялся прибивать к изношенному ботинку набойки. – Представляю, как из-за отъезда Айзика переживает бедная Роха, – прошепелявил он. – Ведь у родителей лишних детей не бывает. Можно сорить деньгами, а детьми – великий грех. Сходи к Рохе, обязательно сходи и утешь её; кто знает, может, она и в самом деле станет твоей свекровью и бабушкой твоих детей. Ты от своего солдата, я думаю, народишь их не меньше дюжины. Твой парень с виду работник, не ленивец.

И, довольный своей шуткой, Шимон хихикнул.

– Видно будет. Но я постараюсь. Дюжину не дюжину, а парочку, наверно, рожу. Не для Америки и не для Аргентины, а для вас, – с грустной улыбкой пообещала Хенка.

Возле дома Рохи решительности у Хенки поубавилось, и она в растерянности остановилась. Неуживчивый, строптивый нрав её будущей свекрови ни для кого в местечке секретом не был. Она бывает то необыкновенно покладиста, хоть к ране прикладывай, то зла, как ведьма, и от злости может и наотмашь ударить. Недаром

доктор Ицхак Блюменфельд, лечивший всех её малолетних детей и увлекавшийся на досуге изучением истории далекой Японии, где мечтал хоть разочек и сам побывать, наградил ещё в молодости Роху японским прозвищем – «самурай в юбке». Прозвище прилипло, хотя никто не знал, что оно обозначает, но все понимали, что в нём кроется какой-то нелестный, даже воинственный смысл...

Хенка колебалась: зайти – не зайти, ибо знала, что Роха ценит сочувствие, но не терпит, когда её утешают при свидетелях или при родичах, которых она постоянно обвиняла в черствости и равнодушии. После недолгих колебаний Хенка всё-таки решила постучаться в дверь, но под другим предлогом, словно про отъезд Айзика ей ничего не известно.

В доме кроме Рохи и Довида никого не было. Казалось, что все вдруг сговорились и уехали следом за Айзиком в Париж.

– Здравствуйте, – сказала Хенка.

– Здравствуй, здравствуй! С чем пожаловала? Может, письмо от Шлеймке пришло?

– Нет.

– Чего ж ты тогда разгуливаешь по местечку, мальчишку не нянчишь? Сегодня же не суббота, не выходной день.

– У Рафаэля ветрянки. Решила у вас спросить, каким отваром вы лечили своих мальчиков в детстве?

– Отваром петрушки.

– Я скажу об этом Этель. Доктор Блюменфельд прописал Рафаэлю какие-то таблетки, но сыпь у мальчика пока не проходит...

– Не придуривайся! Я по твоим глазам вижу – врёшь, солнышко, и не краснеешь от стыда. Ты же сюда пришла не из-за ветрянки. Ведь не из-за ветрянки? Признавайся! Хитрить ты, видно, всё равно уже не научишься.

– И ещё я, конечно, хотела попрощаться с Айзиком и пожелать ему счастья от имени его брата, которому не позволили покидать свою часть. Казарма – это вам не молеальный дом, хочешь – приходи, хочешь – уходи, – промямлила Хенка.

– Проститься и на всякий случай кое-что у Айзика выведать, – сказала Роха. – Не так ли? Только, ради Бога, не ври и не выкручивайся. Хитрости у тебя ни на грош.

– Что выведать? – не на шутку перепугавшись, спросила Хенка.

– Что выведать? Как от матери и отца сыночки и доченьки дёру дают. Может, и вы с моим дорогим Шлеймеле уже тайком надумали крылышки поднять.

– Ничего мы не надумали. Мы никуда не уедем, останемся тут. Честное слово, мы вас никогда, никогда не бросим... – жалость к Рохе вдруг захлестнула её, и она заговорила с какой-то непривычной непринужденностью и опасливой раскованностью: – Я понимаю. Вы сейчас никому на свете не верите. Вам больно. А боль, по моему, сильнее всякой веры. Но если, Бог даст, мы поженимся, то будем с вами до конца...

– До чьего конца? – сверкнула мечом Роха-Самурай.

– Может, я не так сказала. Вы уж простите меня. Это у меня от волнения...

– Ты правильно сказала. Это большое счастье, когда твои дети вместе с тобой до конца.

Роха прослезилась, краем юбки вытерла глаза, зашмыгала выгнутом, как птичий клюв, носом и тихо промолвила:

– Я десять раз рожала. Рожала для себя, а не для Франции и не для Америки. Шестеро из десяти выжили. Я думаю, Господь Бог не должен быть на меня в обиде, я плодилась и размножалась. Но пусть не покарает Он меня за мои слова, я в обиде на Него самого и со своей обидой ничего не могу поделывать, она меня, как червь, точит. Почему Он сейчас отнимает у меня моих детей? Почему?

Хенка не смела рта раскрыть, стояла перед Рохой навтытяжку, как стояли напротив литовской гимназии одетые в новёхонькие мундиры евреи-пожарные при исполнении государственного гимна во время приезда президента в Йонаву.

– Почему, скажи мне, Всевышний не понимает того, что ты, Хенка, понимаешь с полуслова? Не знаешь? Так я тебе отвечу. Потому что Господь – мужчина, а ты – женщина, которой предстоит родить. И ещё потому, что своих детей ты будешь носить не в плетёном лукошке, как грибы-лисички, а под самым сердцем. А может, ещё и потому, что мне иногда кажется, что у Владыки мира вообще нет сердца. Господи, прости меня, грешницу, за моё кощунство и непотребство. Прости. Но кто мне докажет, что это не так?

– Как шутит мой отец, Господь наш слишком высоко забрался. Попробуй из такой дальней дали каждого из нас услышать. Если бы Он, как птица, мог спуститься и сесть на нашу прохудившуюся, с закопченным дымоходом крышу, мы бы точно до Него докричались. А сейчас кричи не кричи, толку никакого.

– Твой родитель не дурак. И ты, честно говоря, стала мне в последнее время всё больше нравиться. Раньше казалось, что ты такая пустышка, вертихвостка, а сейчас, вижу, ты девушка серьёзная, работающая, не лживая. Может, ещё в няньки сгодишься не только этому барчуку Рафаэлю Кремницеру, но и своему муженьку. Только с теми, кто хитрее тебя, никогда в хитрюльки не играй! Проиграешь начисто. Ветрянка, видишь ли... Доктор Блюменфельд... таблетки... отвар...

– Поняла, – сказала растроганная Хенка. – А вы, пожалуйста, так не терзайтесь. Айзик вас любит, он будет вам из Парижа письма писать, посылочки посылать, приезжать в гости.

– Если и дальше так пойдёт, будут у нас гостевые дети и внуки... Ну пусть тебя покидает один. А если за Айзиком в очереди ещё двое стоят?

Хенка оцепенела.

– И Лея собирается. Не в Париж, а за океан. И Мотл, но тот, слава Богу, нацелился со своей Сарой на Каунас. Только мой бедный Иоселе уже никуда из психушки в Калварии от нас не уедет. Беда одна не ходит. Всегда в обнимку с другой бедой. Ну вот мы и поговорили по душам. Теперь вся надежда на Шлеймке и на тебя.

– На меня?

– На тебя. Только ты можешь его удержать.

Хенка собиралась ей ответить, но не успела. Из соседней комнаты вышел в кожаном рабочем фартуке поджарый Довид. Вид у него был необычный: соскользнувшие на самый кончик мясистого носа очки на тонкой верёвочке; рыжая, посеребренная сединой козлиная бородка; продолговатая плешь на бугристой макушке.

– Дай-ка и я на тебя взгляну. А ты совсем даже ничего себе... ладненькая, складненькая и сладенькая, как пирожок с маком...

– Старый дамский угодник! – пригласила его пыл Роха. – Чего работу бросил? Наверно, тихонечко стоял за дверью и наш разговор подслушивал?

– Роха! Кто же подслушивает птицу? Человек птицу слушает. Пусть меня Хенка простит за мою грубость, но мужчину от Парижа или от Америки удерживают не уговоры, не мольбы, а ежовые рукавицы жены и постель. Это проверено веками. Да ты и сама мою правоту подтвердить можешь. Ведь ты эти рукавицы никогда не снимала. Круглый год их носила и в стирку никогда не отправляла, – Довид кончиком своего лоснящегося носа указал на жилистые руки своей многолетней спутницы.

– Вы только посмотрите на этого мудреца! Ишь какой знаток женщин объявился! – возмутилась Роха. – Ступай к своему шилу, да поскорее! А мы уж без твоих советов как-нибудь обойдемся.

Довид развёл руками, поклонился Хенке и поплёлся назад в свою каморку.

– Ежовые рукавицы и постель! И только! – бросил он, обернувшись в занавешенных покрывалом дверях. – Они сильнее всех уговоров!

– Он, видно, от этого вечного стука молотком по стоптанным подошвам уже совсем рехнулся. Но иногда я могу, скрепя сердце, с ним и согласиться, – защитила Роха своего Довида. – Жена действительно должна быть твёрдой. С размазней мужики долго не живут. – Она поднялась со стула, давая понять, что разговор окончен. – Если хочешь пожелать Айзику счастливого пути, приходи в воскресенье в два часа дня на железнодорожную станцию.

– Приду. Обязательно приду.

Проводы были весьма скромными – семья, Хенка да местечковый нищий Авидор Перельман по кличке Спиноза, присутствовавший на всех свадьбах, похоронах, встречах и расставаниях в расчете на скопление жалостливых евреев. На свадьбах он вместе с новобрачными лихо отплясывал; на похоронах с осиротевшими родственниками скорбел и ронял на свежий могильный холмик увесистую слезу; на проводах уезжавших из местечка за океан или в другую дальнюю страну он на виду у оставшихся на перроне родителей неистово махал своей длинной, взывающей к милосердию рукой.

– Если отсюда все уедут или разбегутся, кто же подаст бедному человеку? – нараспев повторял он.

Роха обжигала его своим орлиным взглядом японского самурая. Но он не унимался:

– Неужели мне придётся просить милостыню не у своих братьев-евреев, а у гоев? Стыд и позор!

А Хенка слушала завывание требовательного, как все на свете еврейские нищие, Перельмана и думала о том, кто же подаст несчастным родителям. Не литами, а надеждой и состраданием.

Поезд на станции стоял всего одну минуту, и проводящие, опережая друг друга, спешили на прощание обнять и поцеловать Айзика.

Не прошло и полугода, как, не дождавшись возвращения с армейской службы брата-конника, родные пенаты покинула и устремилась за счастьем в золотоносную Америку и непреклонная Лея.

Провожали её на том же травянистом перроне неказистой железнодорожной станции и в том же составе, только без Авигодора Перельмана, видно, безоговорочно и окончательно разочаровавшегося в щедрости и великодушии еврейского народа.

Когда раздался зычный гудок паровоза и в оконце уходящего вагона мелькнула виноватая улыбка Леи, Роха не выдержала напряжения и упала в обморок.

– Роха! Роха! – закричал Довид, и слёзы льдинками застыли в его рыжей бородке.

Её с трудом привели в чувство, Довид и Мотл под руку довели беднягу до дому на неблизкую Рыбацкую улицу и уложили в постель. У Рохи кружилась голова, в полубреду она почему зря поносила совратителей её детей – Париж и Америку, улетала вместе с душевнобольным Иосифом из Калварии туда, где растут пальмы и кипарисы, но чаще всего требовала от темноты, нависающей над кроватью грозовой тучей, ответа на вопрос, зачем и для кого она чуть ли не целую дюжину детей-кочевников родила?

Младший, Мотл, сбегал за врачом.

Доктор Блюменфельд, которого в местечке называли не по его библейскому имени – Ицхак, а из почтения – по фамилии, достал из чемоданчика свою волшебную трубочку и воткнул её концы в свои заросшие волосами уши. Он послушал, что у Рохи происходит внутри и, когда ничего серьёзного там не обнаружил, принялся постукивать молоточком по сморщенным коленкам больной, а затем заставил её следить глазами за движением – влево-вправо – его ловкого, как у фокусника, указательного пальца и почему-то проверил зрение.

– Нервы у вас, дорогая, шалят. Я выпишу вам успокоительные таблетки. Недельку придётся полежать в постели и ни в коем случае не волноваться. Ко всему, что происходит на свете, надо относиться по-философски. Мы при наших возможностях Господний мир к лучшему не изменим. Только своё здоровье подорвём. Как бы мы ни желали его переделать, мы можем только чуточку почистить самих себя. И запомните, пожалуйста: родители своих любимых отпрысков получают не в вечное пользование, а только в кредит, который всегда приходится возвращать – чужой женщине, чужому мужчине, чужой стране и так далее. От того, что вы будете рвать волосы на голове, ничего не изменится. Своих любимцев всё равно не вернёте, только себе навредите.

– Спасибо, доктор, – сказала Роха, не уразумев, о каком кредите Блюменфельд говорит, и благодарно добавила: – Довид вам за ваше внимание и труд даром починит две пары ботинок.

– Это уже, госпожа Канович, слишком большая плата за мой визит, я столько никогда не беру, – пробормотал доктор Ицхак Блюменфельд, аккуратно сложил свои причиндалы в чемоданчик, пожелал больной здоровья и, приподняв шляпу, церемонно откланялся.

Возвращаясь от Кремницеров, Хенка всегда навещала Роху и варила обед, который назавтра под присмотром Довида разогревали младшенькие, Хава и Мотл; ходила в бакалею за продуктами, в аптеку за лекарствами; допоздна сидела у постели, утешала больную, делилась с ней горячими местечковыми новостями и слухами.

– Сам Бог тебя, Хенка, послал! – не жалела добрых слов Роха. – Но скажи, почему я такая несчастная? Почему? Двое уже от меня

укатили, один, Иосиф, оказался в Калварии, в сумасшедшем доме. А ведь был такой тихий, такой хороший и ласковый. И надо же – вообразил, что он не человек, а крылатая птица, что должен жить не под крышей, а на деревьях. В начале лета я к нему ездила. Иосиф меня узнал и сказал: «Разве, мама, тебе не надоело тут жить? Давай улетим с тобой на юг, где тепло и растут пальмы. Я туда каждую осень улетаю. Как только подует северный ветер, я тут же расправляю свои крылья – и в небо». – «Но у меня, Йоселе, нет крыльев». – «Если ты очень захочешь улететь, они у тебя вырастут».

Хенка тяжело вздохнула и прошептала:

– А мы ведь с ним одногодки, и даже родились в один и тот же день.

– Господи, за что мне такие кары? – простонала Роха. – За что?

– Вам доктор запретил волноваться. Иначе вы не поправитесь. Лежите спокойно и ни о чём плохом недельку не думайте.

– Доктор запретил мне волноваться. Лучше бы он мне вообще запретил жить.

– Пожалуйста, ради всех ваших близких, успокойтесь. На Хануку вернётся Шлеймке. Будет у вас в доме настоящий помощник. От Леи и Айзика придут первые письма о том, что они хорошо устроились, что вас не забыли.

– Наверно, с три короба наплетут о своих успехах, врать они оба мастаки, – окрепшим голосом произнесла Роха.

– Зачем им врать? О плохих делах родичи обычно помалкивают, но охотно хвастаются своими удачами. А через год-другой, глядишь, кто-нибудь из них соскучится и пришлёт вам приглашение в гости. В Париж, где жили короли и где живёт самый богатый еврей на белом свете барон Ротшильд.

– Не нужен мне никакой Париж с его королями и Ротшильдами. Мой Париж тут, в этом местечке, где я родилась и где – несмотря на мой отвратительный характер – когда-то кто-то меня любил и, может, даже до сих пор любит. А кто их, беглецов, там будет любить, какой французский король и какой Ротшильд? Ты вот, если не ошибаюсь, ты при свидетелях обещала меня любить. И тебе я верю.

– Обещала, – созналась Хенка. – Не отрицаю. Дудаки слов на ветер не бросают.

– А мне больше, кроме этой самой треклятой любви, от жизни ничего и не надо.

– Каждому человеку надо, чтобы кто-то его любил, – согласилась Хенка. – Но всё-таки стоит ли с такой страстью истязать себя, поносить Бога и проклинать судьбу...

– Ты как мой Довид. Он, тихоня, взял и однажды рубанул мне прямо в лицо: «Роха, ты человек замечательный, но тебе, как строптивой лошади, нужна уздечка. Выпускать тебя без узды из дому опасно».

Никто ни в местечке, ни за его пределами не мог для неё такую уздечку изобрести. Остряки шутили, что Довиду в день рождения Господь Бог в колыбель вложил шило и дратву, а ей – не то пику, не то казацкую саблю.

Оттого ли, что Роха не переставала волноваться и бурно клясть свою судьбу, то ли по другой причине, она провалялась в постели почти две недели. Доктор Блюменфельд нет-нет да заглядывал к

больной, каждый раз предупреждая, что, если она не будет выполнять его предписаний, всё кончится кровоизлиянием в мозг.

Ещё до болезни Рохи Хенка с помощью безотказной Этель написала письмо своему солдату о том, что Айзик и Лея навсегда покидают Йонаву, и стала терпеливо ждать от него ответа. Но тот долго не давал о себе знать, и Хенка уже подумала, не случилось ли с ним что-нибудь нехорошее. И вдруг, сразу же после проводов его брата и сестры, Шлеймке откликнулся. Он очень сожалел, что не успел побратски с ними проститься, спрашивал, как держатся родители, здоровы ли; описывал с юморком свои кавалерийские будни. Письмо как письмо, ничего особенного, но ради того, чтобы взбодрить сломленную Роху, поднять её настроение, Хенка рискнула прибегнуть к целительному и непредосудительному обману – удалить из письма все лишнее, относящееся лично к получательнице. Она пришла к больной и прочитала его по-своему – как объяснение сына в любви не к ней, Хенке, а к своей самоотверженной матери.

– Передай маме, чтобы она не волновалась. Мы с тобой (он имеет в виду меня) никогда её не оставим и ни на какие доллары не променяем, – чеканила Хенка слова, глядя на листок, вырванный из тетради в клеточку.

Слёзы текли из орлиных глаз Рохи, но она их не вытирала. После долгого отчаяния, выжигавшего нутро, они орошали надеждой её истерзанную душу.

– Я закончу служить, вернусь на Хануку домой, и мы с Хенкой станем во всём тебе помогать, а уж любить тебя будем и за тех, кто уехал, – на ходу продолжала импровизировать Хенка. – Обнимаю и целую тебя и отца. Держитесь и ждите меня! Дальше, Роха, уже не про вас, а про меня, – закончила будущая невестка...

– Шлеймке – это сын... это преданный сын... не француз и не американец, – повторяла Роха, осушая глаза краем подола.

Между тем Айзик и Лея словно сквозь землю провалились. Ни слуху ни духу.

Только поближе к осени, когда дни стали короче и зарядили затяжные, нудные дожди, почтальон Казимирас принес на Рыбацкую улицу розовый конверт с непонятным штемпелем, тремя красивыми марками, изображавшими не то генерала в мундире, не то президента с пышными усами, и с обратным адресом, написанным бисерным почерком на французском языке.

Айзик писал, что жив-здоров, ищет работу по специальности, что в Париже куда больше евреев, чем во всех местечках и городах Литвы вместе взятых. А где столько евреев, там полно и синагог, а в синагогах евреи не только молятся, но и завязывают знакомства и делают гешефты. Глядишь, кто-нибудь из богомольцев не откажется помочь устроить на работу своего собрата, приехавшего из далёкой провинции, может, охранником в той же синагоге, может, в какой-нибудь скорняжной мастерской – одним словом, евреи своему единоверцу не дадут умереть с голоду.

– Мне пришла в голову хорошая мысль. Я, Роха, покажу этот адрес Айзика моей хозяйке – невестке Кремницера Этель. Её муж Арон по делам часто бывает в Париже, у него там уйма друзей и знакомых, может, они помогут Айзику найти работу, хотя бы временную, – поразив Роху своей сметливостью, сказала Хенка.

– Покажи! От этого Айзику, я думаю, хуже не будет. Мы, правда, привыкли чаще помогать друг другу не делом, а советами, но и за дельный совет надо говорить спасибо. Покажи адрес этой затворнице Этель. Покажи.

Хенка так и сделала.

– Я помню эту улицу Декарт. В Латинском квартале. Там много небольших и дешевых гостиниц и, кажется, католический монастырь с домом призрения. Когда я была беременна, мы там часто прогуливались с Ароном. Возможно, будучи в Париже, Арон снова забредёт в Латинский квартал. Он обожает смотреть, как работают уличные художники и даже раз от разу покупает у них по дешёвке, за бутылку бургундского, картины. Сейчас я перепишу адрес и попрошу мужа, если Айзик к тому времени не надумает переехать на другую квартиру, чтобы он разыскал своего земляка и чем-нибудь помог. Ведь у него там большие связи, – она достала из ящика ломберного столика блокнот, переписала название улицы, номер дома и сказала: – А ты, Хенка, очень похорошела.

Хенка кокетливо повела бровью.

– Неужели?

– Ты вся светишься, словно стоишь под хупой.

– Стою, – засмеялась Хенка. – Уже давно стою под её пологом одной ногой, как цапля. Может, когда Шлеймке вернётся из армии, я встану под ней обеими ногами и мы с ним разобьём стакан на счастье. Раньше я очень боялась Рохи, она хотела в невестки не меня, а дочь нашего мельника Менделя Вассермана, Злату.

И снова засмеялась.

– А сейчас?

– Вроде бы смирилась и уже о дочери мельника не вспоминает. – И вдруг спросила: – А вы?

– Что – я? Я замужем.

– Простите, но я спрашиваю не об этом. Вам, видно, тут у нас в местечке скучно, некуда сходить, не с кем потолковать, вокруг одни простолюдины-ремесленники, если не считать доктора, раввина и аптекаря. Нет, по-моему, нет у вас тут и достойных подруг...

– Есть подруга. Ты! – сказала Этель.

– Ой! – вскрикнула от пугливого восторга Хенка. – Что вы? Да я вам в подметки не гожусь.

– А мне лучшей, чем ты, не надо. Что до простолюдинов, то с ними куда легче, чем с барамы и аристократами. Простой человек меньше врёт, у него меньше корысти и двоедушия, больше искренности и сострадания. Но главное даже не в этом. Главное для меня в жизни, чтобы всё было бы хорошо под крышей собственного дома. Если в семье непорядок и неразбериха, то и жить тошно.

В словах хозяйки неглупая Хенка женским чутьем уловила скрытую жалобу на то, что её отношения с Ароном не такие уж безоблачные и лазурные, как это может показаться с первого взгляда. Может, поэтому Этель так цепляется за эту Йонаву и так печётся о здоровье своего тестя реб Ешуа. Пока он жив и ходит в свою лавку, её семейному укладу ничего не грозит. Лучше, мол, местечковая скука, чем развод и заграничная свобода от супружеских уз.

Хенка не раз порывалась похвалить Этель за её терпимость и дружелюбие, сказать ей что-то ободряющее, но из скромности не

осмеливалась, пыталась найти нужные слова, чтобы не показаться угодницей или льстивой лгуньей. И вдруг эти нужные, как непрошенные слёзы, слова подступили к горлу и пролились:

– Я счастлива, что живу рядом с вами. Не потому, что вы мне платите за Рафаэля такое хорошее жалованье и не потому, что вы меня, дикарку, научили письму и счёту и даже пытаетесь научить французскому языку... А потому, что вы самая... ну самая... и заменить вас в местечке некем.

– Ну, это ты, милочка,хватила через край!.. Не надо меня идеализировать и производить в святые.

Хенка уставилась на неё в недоумении. Такие глаголы были ей не по зубам.

– Ты преувеличиваешь мои достоинства. Я и такая, и сякая. Всякая. Ведь Бог создал человека, не отличающегося совершенством, а со всякими изъянами, чтобы он не слишком загордился, не задира л нос перед другими. И чтобы мы каждый день не забывали выскрёбывать из себя все грешное и дурное. Свободного времени у меня хоть отбавляй, вот я понемногу этим и занимаюсь. Выскрёбываю, и выскрёбываю, и выскрести не могу. Но хватит обо мне. Лучше скажи, долго ли ещё ты будешь стоять на одной ноге, как цапля?

– Хотела бы хоть завтра встать на обе ноги. Но надо дожидаться из армии жениха. Шлеймке должен на Хануку вернуться. Но, может, он там уже какую-нибудь светленькую литовочку присмотрел.

– Чепуха! Такую жёнушку, как ты, он нигде не найдет.

– Тоже мне находка. Ничего не умею. Могу быть только нянькой и служанкой.

– И это немало. Правда, у моего тестя родилась замечательная идея. Если он не спит, как наш Рафаэль, а бодрствует, я его позову, пусть он сам о своей задумке тебе расскажет.

Она исчезла и вскоре вернулась в сопровождении реб Ешуа.

– Как вы себя, реб Ешуа, чувствуете? – спросила Хенка, сбита с толку тем, что услышала от Этель.

– Доктор Блюменфельд мной доволен. Но я собой не очень. Я в Каунасе вдруг спохватился, что тебя как следует не поблагодарил за работу в лавке.

– Поблагодарили, поблагодарили, – затараторила взволнованная Хенка.

– Поблагодарил деньгами, а надо бы благодарить добрыми делами. Добрые дела долговечнее денег.

В отличие от своего удачливого сына Арона, для которого главным мерилom в жизни был счёт в банке, реб Ешуа Кремницер слыл бессребреником, знатоком Торы и ревнителем еврейских обычаев. Он высший смысл жизни видел не в обогащении, не в изнурительной погоне за деньгами, из-за которых в мире происходят все войны и раздоры, а в стремлении к добру.

– Мы, евреи, чего греха таить, любим поучать и исправлять других, а не себя. Не по этой ли причине нас, мягко говоря, не очень-то жалуют? – сказал реб Ешуа, верный своей привычке переводить разговор с бытовых мелочей в более возвышенную плоскость.

– Ну уж, ну уж! Зачем преувеличивать? – тихо возразила, кутаясь в шаль, Этель.

– Может, и преувеличиваю, – согласился с невесткой реб Ешуа. – Но, по-моему, человеческую породу можно улучшить, если начинать не с соседа, а с самого себя. Добровольно! Не под хлыстом и не под нагайкой. Я лично всегда старался так жить – делать людям добро, не рассчитывая на взаимность.

Этель и Хенка слушали его, не перебивая.

– Так вот. Когда я вернулся из Еврейской больницы, – продолжал он, – я на досуге подумал: не послать ли тебя, Хенка, на годик в Каунас. Например, на курсы белошвеек. Рафаэль наш, только бы не сглазить, подрос, с ним уже вполне может справиться и сама Этель. Так вот, если ты согласишься поехать на эти курсы, то все расходы за обучение и за проживание я беру на себя, а ты приобретёшь на всю жизнь хорошую профессию.

– Низко кланяюсь вам, реб Ешуа, за вашу доброту. Но я не могу принять ваше предложение.

– Почему? Ты будешь белошвейка, а твой муж – портным. Лучшего семейного расклада и не придумаешь. Этель охотно станет шить у тебя нижнее белье, а я у твоего мужа – пиджаки и пальто.

– Пока я ещё не жена, я всё ещё тайком хожу в невестах. Вы же знаете, у нас, евреев, на расстоянии замуж никто не выходит и не женится. Надо дожидаться моего солдата.

– Дождёшься, дождёшься, – успокоила её Этель. – До Хануки уже недалеко. – Только не забудь нас всех пригласить. Может, к вашей свадьбе подоспеет из Франции или Германии мой Арон, хотя в декабре он любит нежиться на Лазурном берегу.

– Не забуду, не забуду. Мы вас раньше пригласим, чем раввина Элизера.

Про заманчивое предложение реб Ешуа Кремницера Хенка никому не обмолвилась. Расскажешь – и домочадцы, и Роха начнут уговаривать: не будь дурочкой, поезжай, такого шанса у тебя больше не будет. Удача стучится в дверь, а ты её даже на порог не пускаешь.

Соблазн и впрямь был велик. Каунас – большой город, новые знакомства и впечатления. Можно на целый год вырваться из местечка, насладиться вольницей, первый раз сходить в тамошний еврейский театр, куда раз в месяц ездит отшельница Этель, и главное, даром приобрести хорошее ремесло. Но что-то её останавливало, мешало решиться, какой-то невидимый, навязчивый сеятель подозрений нашёптывал ей: не спеши, ещё раз хорошенько взвесь все «за» и все «против». Профессию ты, допустим, приобретёшь, но можешь потерять Шлеймке.

Она не стала колебаться – выбрала своего кавалериста.

9

Приближался веселый праздник – Ханука. Стояла сухая безветренная погода. Над зимней Йоновой кружились безобидные целомудренные снежинки. Импортируемые из Финляндии и Польши отборные морозы явно запаздывали, видно, накапливали где-то у себя на родине прежнюю силу и крепость.

В доме Рохи все готовились к долгожданному возвращению Шлеймке из армии, чтобы на праздник вместе с ним зажечь в

мельхиоровом семисвечнике первую памятную свечу. Каждый год во всех еврейских домах Ионавы благодарным зажжением свечей отмечали великое чудо, которое произошло в древности в Иудее. В ту далекую пору в иерусалимском Храме хасмонеев, осквернённом греками и сирийцами, вдруг снова наполнились живительным маслом лампы, погашенные этими варварами, и в каждой из них снова вспыхнул священный благодатный огонь.

Хенка, как было договорено, получила у своей хозяйки Этель увольнительную – разрешение отлучиться на все праздники – и, не мешкая, переключилась на другую службу. С утра до вечера, закатав рукава, она на Рыбацкой улице принялась вместе со своей будущей свекровью убирать комнаты, чистить горшки, кастрюли, стряпать, жарить, как в эти праздничные дни и было положено, картофельные блины, печь пироги с маком. Сейчас откроется дверь, войдёт в униформе Шлеймке, и ему в нос тут же ударит не запах надоевшей казарменной бурды, а вкусной домашней пищи.

Но на Хануку Шлеймке не вернулся.

Хенка и Роха переполошились, строили разные тревожные догадки. Может, не приведи Господь, с ним что-то дурное случилось.

Реб Ешуа Кремницер был единственный человек во всей Ионаве, выписывавший из Каунаса ежедневную газету на идише. Он внимательно следил за всеми местными и мировыми событиями – военными переворотами, землетрясениями, извержениями вулканов, крахами бирж, разводами, бракосочетаниями и громкими скандалами в семьях великосветских особ. Когда Роха во дворе синагоги невзначай спросила его, не случилось ли чего-нибудь в Каунасе, где служит её Шлеймке, давненько, мол, от него не было вестей, реб Ешуа успокоил её.

– Не волнуйтесь. В Каунасе действительно случилась пренеприятная история, но не с вашим сыном-кавалеристом, а с нашим президентом и с одним несчастным молодым пекарем-евреем. Слава тебе Господи, что обошлось без большого кровопролития.

– А что же такое произошло с нашим президентом, здоровым вроде бы мужчиной? – полюбопытствовала озабоченная Роха. – Он что, взял и внезапно сыграл в ящик?

– Как президент он, конечно, сыграл в ящик, но как здоровый мужчина пока ещё остался жив, – усмехнулся реб Ешуа, неустанный просветитель всех своих покупателей и знакомых в местечке. – Ему просто дали, извините, под зад и на его место посадили другого – профессора с бородкой, знатока древних языков. В Каунасе военный переворот. В городе аресты.

– А что натворил этот бедный пекарь? – не унималась Роха.

– Его вместе с тремя поделщиками-литовцами обвинили в измене родине и в подготовке государственного переворота. Всю четверку заговорщиков по приговору военно-полевого суда расстреляли под Каунасом в бывшей царской крепости, – не без сочувствия стал рассказывать реб Ешуа. – В столице объявили чрезвычайное положение, а войска на всякий случай привели в состояние боевой готовности. Поэтому, видно, ваш сын и задержался. Когда в городе всё утихомирится, ваш парень, конечно же, вернётся.

– Надо же, чтобы ко всем нашим бедам и несчастьям ещё прибавился расстрел этого еврея-пекаря, – ужаснулась Роха, узнав о

беспощадном приговоре. – Когда расстреливают еврея, то пули летят во всех нас.

– Вы правы. Рикошетом летят в нас. Этот молодой бунтовщик Рафаэль Чарный, тезка моего внука, стал первым безумцем-евреем, которого в Литве поставили к стенке. Остается только молить Бога, чтобы он оказался и последним, – сказал реб Ешуа. – Негоже евреям будить от спячки чужой народ, вытаскивать у него из-под головы подушку и призывать к неповиновению. Пусть спит и сам пробуждается.

– Святые слова! – воскликнула Роха. – Мог же бедняга стоять у своей печки, спокойно выпекать субботние халы, баранки, бублики и булки, и литовцы не точили бы на всех нас зубы. Когда живешь в чужом доме, против воли хозяина не рушь стены и на свой лад не перестраивай то, что тебе не по душе.

– Вот именно! А теперь давайте помолимся за то, чтобы Бог вразумил неразумных, – сказал реб Ешуа, первым вошел в синагогу, сел на свою скамью и раскрыл молитвенник.

Расстрел молодого еврея-пекаря и впрямь потряс Роху, но аресты и смена президента на неё никакого впечатления не произвели. Все её мысли были поглощены армейскими делами сына. Ни она сама, ни просвещённый реб Ешуа, ни Хенка не ведали, когда же в Каунасе отменят это чрезвычайное положение и когда, наконец, появится в Йонаве Шлеймке.

А случилось так, что сразу же после праздника Хануки в дом пуль влетел юркий, запыхавшийся от бега и от радости Мотл и с диким криком победителя возгласил:

– Он идёт! Шлеймке идёт! В военной форме! – и, не переводя дыхания, снова бросился во двор, чтобы первым повиснуть на шее у старшего брата.

Вслед за ним во двор высыпали отец Довид в своём замасленном кожаном фартуке, в котором он, казалось, и на белый свет родился; взлохмаченная, на заплетающихся от волнения ногах Роха; тихая сестра Хава и, наконец, Хенка, не пропускавшая случая наведаться за свежими новостями к своей будущей родне.

Молодцеватый Шлеймке в военной форме, в галифе, туго перепоясанном толстым солдатским ремнем с железной пряжкой, в гимнастерке, в хромовых сапогах выглядел как заблудившийся путник. Он улыбался виноватой улыбкой, как будто просил прощения за своё долгое отсутствие.

– Ну, здравствуйте, люди добрые, – сказал он каким-то елевым голосом.

– Здравствуй, сынок, здравствуй, – принаравливаясь к его тону, ответила Роха, от переизбытка чувств обслюнявила его небритое лицо и под дружный смех домочадцев спросила у braveго кавалериста:

– А конь? Где твой коняга?

– В конюшне, – отшутился Шлеймке и по очереди стал обнимать отца, сестру и Хенку. – Моему вороному, мама, ещё предстоит служить и служить.

– За хорошую службу могли бы тебе эту животину подарить, – сияя, как надраенная к пасхе посуда, сказала Роха. – А зачем тебе этот ремень с железной пряжкой, это галифе? Где ты видел в на-

шем местечке еврея, который расхаживал бы в гимнастерке и в таких дурацких штанах. А конь, конь – это вещь. Если бы нам не пригодился в хозяйстве, то можно было бы кому-нибудь его продать. Тому же водовозу Мейлаху Силкинеру или балагуле Пейсаху Шварцману. Мы взяли бы за него совсем недорого.

Хохот, похлопывания по плечу, победные клики.

Хенка благоразумно держалась в стороне, старалась не мозолить глаза, уступив Рохе первенство и отдав в её полное распоряжение возвратившегося сына. Даже Довид не стал соревноваться с женой в излиянии нежных чувств к отслужившему свой срок отпрыску и, как всегда, не стал растрачивать свой скромный капитал радости. Он спокойно, сверху вниз, оглядел Шлеймке, как будто снимал с него мерку, и сказал:

– Перед тобой, Шлеймке, хочется встать по стойке «смирно» и взять под козырек. Но эта униформа, скажу я тебе, не самая лучшая реклама для портного – в таком виде никто шиться к тебе не придет. Мундиры, погоны, лампасы, сабли на боку всегда на евреях наводили ужас.

– Переоденусь, переоденусь, – расплываясь в улыбке, пообещал сын.

Бурно нарадовавшись во дворе, домочадцы и Хенка потянулись следом за кривоногой Рохой к дому, как цыплята за квочкой...

– А мы тебя ждали на Хануку, наварили с Хенкой бульону, нажарили оладий, напекли пирогов с изюмом и корицей, и всё это наворачнули Хава и Мотл. Сейчас ничего кроме горохового супа, пары кусочков курицы и остатков субботней халы да полбутылки пасхального вина не осталось.

– Хватит нам и по одной рюмочке! – сказал Шлеймке. – Лучшее блюдо на свете – это свобода. Никакой казармы, никакой гауптвахты, никакого начальства в погонах. Свобода! Что может быть вкусней и слаще её? Отосплюсь, заработаю у Кисина немного денег и отправлюсь с Хенкой в Каунас за другим конем – железным. Возьму на выплату «Зингер» и с Божьей помощью поскачу на нём галопом к своей удаче.

– Дай тебе Бог скакать и скакать на нём до глубокой старости, – сказала Роха. – «Зингер» – это то, что красит еврея, это его надёжный конь, он на дыбы никогда не встанет, не лягнет копытами и на скаку седока не сбросит.

Родственники и Хенка выпили остаток пасхального вина, снова потискались переодетого в гражданское платье свежeweбритого Шлеймке и за полночь стали расходиться.

– Я провожу тебя, Хенка, – сказал виновник торжества.

Он провожал её до самого заснеженного рассвета, не чувствуя ни холода, ни усталости.

– Спокойной ночи, – сказала Хенка. – Ой! Что я, дурочка, говорю? Ведь ночь уже кончилась.

– Наши дни и ночи только начинаются, – промолвил Шлеймке. – Пусть же в нашей жизни только ночи будут тёмными, а не дни.

– Пусть.

Она поцеловала его, и они расстались.

Когда заспанная нянька пришла на службу, её уже ждали с поздравлениями все Кремницеры – реб Ешуа, Этель и даже Рафа-

эль в красивом костюмчике, в сверкающей белизной рубашке и в элегантном галстучке. Мальчик сделал «книксен», уткнулся в подол Хенки и пропищал:

– Енька! Не уходи!

– Рафаэль, твоя «Енька» никуда больше не уйдёт, всё время будет с нами. Сейчас вы пойдёте с ней птичек кормить. Хенка будет рассказывать тебе твои любимые сказки – про Белоснежку, про храбрую улитку, которой надоело ползать по земле и которой захотелось стать птичкой, взлететь с тропинки и поселиться на нашем клёне, – объяснила ему Этель.

– Ну? Чем ты нас, милая, порадуешь? Вернулся, наконец, твой кавалерист? – обратился к Хенке реб Ешуа, собиравшийся уходить на свой командный пункт – в москательно-скобяную лавку.

– Вернулся.

– Слава Богу! Вы уже с ним, наверно, договорились, когда будете свадьбу справлять? – не удовлетворился её скупым ответом самый любознательный лавочник во всей любознательной Йонаве.

– Скорее всего, весной... сразу после Пасхи. Говорят, кто женится на второй день Пасхи, тот уже никогда в жизни не разведётся.

– А тебя по всем нашим обычаям уже сосватали?

– Нет.

– Нехорошо. Обычаи предков надо соблюдать. Хочешь, я буду твоим сватом. Как ни крути, а кое-кто из Кремницеров в молодости был к твоей будущей свекрови равнодушен. Сейчас, наверно, Роха локти кусает из-за того, что когда-то отвергла ухаживания моего брата Исаяи, да будет благословенна его память.

– Спасибо вам, большое спасибо. Но, может, мы как-нибудь без сватовства обойдёмся. Ведь и неуступчивая Роха, кажется, уже тоже не против того, чтобы мы поженились.

– Против не против, но еврейская свадьба без сватов – это покалеченная свадьба. Встречу Роху – обязательно замолвлю за тебя словечко. Я ей, старой вороне, прямо скажу, что будь я, реб Ешуа Кремницер, на полвека моложе, то без всяких колебаний взял бы тебя в жёны.

– А я попрошу Арона, чтобы он в апреле из боготворимой им Франции приехал в Йонаву не с пустыми руками – купил бы вам на свадьбу какой-нибудь достойный подарок, – сказала Этель. – Сватовство – это, конечно, дело хорошее. Но подарки – лучше.

– Не стоит беспокоить господина Арона. У него и без нас хлопот уйма, – сказала Хенка.

– Мы ведь всё равно без подарков на твою свадьбу не придём. Лучше скажи, что тебе или твоему жениху хочется получить в дар. Ты только не стесняйся.

От постыдной мысли, промелькнувшей в голове, у Хенки вдруг перехватило дыхание.

– Я не знаю, – она попыталась побороть искушение, но отделаться от него никак не могла.

– Ты напрасно скрытничаешь. Напрасно утаиваешь свое желание и вольно или невольно обижаешь нас. Мы же не только твои работодатели. Ведь мы еще, по-моему, твои верные друзья, не так ли?

– Друзья. Но, поверьте, лично мне абсолютно ничего не надо. Ни-че-го, – повторила она по складам.

– А твоему кавалеристу? Ему тоже ничего не нужно? – продолжала наступление отшельница Этель. – Приглашаешь на свадьбу, а от подарков отказываешься. Молодожёнов, которые отказываются от подарков, я ещё не встречала в жизни.

– Я не отказываюсь... Подарки всегда приятно получать, но...

– Что – «но»?

Сказать или не сказать?

Искушение подтачивало её решимость держать язык за зубами, и Хенка не выдержала. Надо сказать правду. Не ради себя, а ради того, кого любишь. Шлеймке не осудит её, поймет, что она так поступила из лучших побуждений, и простит.

– Как всякий портной-новичок, Шлеймке мечтает о собственной швейной машине, – выдохнула Хенка. – О своем «Зингере». – И, пристыженная своей безрассудной отвагой, Хенка закрыла руками глаза.

– И ты из-за этого пустяка столько времени упиралась и испытывала наше терпение? Ты, видно, решила, что, сделав такой подарок, мы разоримся? Обанкротимся? – с наигранной обидой промолвил её покровитель реб Ешуа.

– Какой же это, реб Ешуа, пустяк? Это ведь не моток ниток купить.

– Мы, милочка, от таких расходов нисколько не обеднеем. По миру не пойдём! Будет у твоего жениха «Зингер», – сказал реб Ешуа. – Попросим Арона, когда он, даст Бог, прибудет из Копенгагена в Литву, сделать в Каунасе короткую остановку и заказать с доставкой на дом новехонький «Зингер». Ты только, будь добра, продиктуй нам точный домашний адрес твоего парня.

– Йонава, улица Рыбацкая, 8, Шломо Кановичу, – пропела Хенка.

Реб Ешуа достал из пиджака записную книжку в кожаном переплёте и бисерным почерком начертал то, что ему медленно продиктовала Хенка. Привыкший к точности опытный лавочник присовокупил через черточку к фамилии жениха – «Зингер».

– Это подарок твоему будущему мужу, а что тебе подарить? – продолжала изнурять Хенку вопросами Этель. – Разве ты сама не заслуживаешь подарка? Какой-нибудь кулон или браслет? Украшения женщину не портят.

– По правде говоря, не знаю, что и ответить. Ведь жизнь мне уже вроде бы главный свой подарок преподнесла. Ведь лучшего подарка, чем хороший, любящий муж, не бывает.

– Это очень хорошо сказано, – печально отозвалась Этель. – Но судьба, к великому сожалению, такие подарки преподносит не всем женщинам.

Реб Ешуа Кремницер глянул на невестку и, ничего не сказав, опустил голову.

После её недвусмысленных слов о том, что не у всех муж – подарок судьбы, воздух в гостиной накалился и тесть стал прощаться.

– Проводите дедушку, – процедила Этель.

Хенка решила до самой свадьбы не рассказывать Шлеймке о подарке, который она, как ей казалось, почти выкланчила у Кремницеров. А вдруг Арон передумает и в апреле вообще не приедет в Каунас, не закажет в магазине швейную машину, и Хенка окажется лгуньей, и все надежды рухнут. Но если всё получится, то пусть подарок будет для него сюрпризом. А пока пусть строчит на швейной машине своего работодателя Абрама Кисина.

Начать своё дело в Йонаве – открыть свою швейную мастерскую – было очень непросто. Портных в местечке было немало. А чтобы оказаться среди лучших, требовались не только умение и упорство, но и деньги на съём квартиры.

– Сам Господь Бог вложил в твою руку иголку и вдел в неё нитку. Он как будто наклонился над твоей люлькой и сказал: жми, Шлеймке, на педаль, не ленись, – до призыва в армию нахваливал своего работника Абрам Кисин. – Ты еще, дружок, и меня, и Гедалье Банквечера, и всех за пояс заткнёшь. Помяни моё слово – через год-другой ты из подмастерьев превратишься в соперника.

Абрам Кисин слов на ветер не бросал. Он, правда, опасался, что за два года армейской службы Шлеймке растеряет свои навыки, но его опасения оказались напрасными. Солдатчина не повредила Шлеймке, а наоборот, тоска по шитью вышла ему на пользу. Шлеймке кроил и шил с каким-то иступленным вдохновением и страстью. Абрам Кисин с восхищением заглядывался на его работу и с грустью думал, что недалёк тот день, когда Шлеймке навсегда расстанется с ним, купит «Зингер» и самостоятельно покатит по жизни. Злые языки недаром говорили, что хилый, подслеповатый Абрам Кисин уже только вывеска и кассир, а мастер – Шлеймке, да такой, каких в местечке давно не видывали. Зарабатывал Шлеймке неплохо, но этого не хватало, чтобы полностью отделиться от хозяина. Рассчитывать на чью-то помощь со стороны он не мог и поэтому никакой работы не чурался – латал, перелицовывал, шил лапсердаки, крестьянские сермяги и даже овчины, чтоб заработанных денег хватило и на приличную свадьбу.

Свадьбу сыграли, как и было задумано, на поляне, под открытым небом, на второй день после Пасхи.

Погода, к радости брачующихся и гостей, была и впрямь праздничная. Над Йонавой светило яркое, подарочное солнце. На каждом дереве ликовали обезумевшие от вешнего цветенья птицы, и от их приветственного щебета и торжественного пересвиста звенели все окрестности.

За расставленными в три ряда собственными и соседскими столами собралась, казалось, вся гильдия портных и сапожников Йонавы, все близкие и дальние родственники новобрачных. Удостоил их своим присутствием и староста синагоги, домовладелец Каплер.

Во втором ряду, в конце уставленного яствами стола одиноко восседал нищий Авигдор Перельман, решивший, видно, ещё разок подвергнуть трудному испытанию еврейский народ, в щедрости и великодушии которого он во время проводов Айзика, старшего брата жениха, горько разочаровался. Не уверенный в том, что ему тут, на свадьбе, удастся крупно поживиться, он, не дожидаясь начала трапезы, поспешил хотя бы вкусно и сытно поесть. Тем более что все столы ломились от яств.

Бархатный полог свадебного балдахина трепал тёплый весенний ветер, который своими стремительными порывами покушался на ермолку раввина Элизера, медлившего по просьбе невесты с обрядом венчания.

Ждали семью Кремницеров.

Хенка всё время с волнением озиралась на дорогу и напрягала слух – не грохочет ли поблизости какая-нибудь машина?

Нетерпеливые гости шептались, шушукались, недоумёнными взглядами спрашивая друг у друга, почему же почтенный и отличающийся немецкой пунктуальностью уроженец Тильзита раввин Элизер затягивает торжество и не приступает к своим прямым обязанностям, а только безуспешно воюет с ветром-еретиком, ополчившимся против его кипы.

Когда шёпот уже грозил перерасти в рокот, на просёлке вдруг раздался шум мотора, и вскоре к поляне подкатил подержанный «Форд». Из автомобиля вышел грузный реб Ешуа, за ним – Этель в длинном муаровом платье и их единственный наследник Рафаэль.

Статный, франтоватый, как рекламный образец столичного ателье, Арон Кремницер в голубой сорочке, в вельветовых брюках и лакированных ботинках поправил черную бабочку, прилепившуюся к его воинственному кадыку, и, оставшись доволен собой, выбрался из вместительного «Форда» последним. Он велел водителю вынуть из багажника привезённый свадебный подарок – уложенные в картонные коробки части новёхонькой швейной машины «Зингер».

Хенка несказанно обрадовалась приезду Арона, который не подвел реб Ешуа и выполнил его просьбу. Не скрывая радости, она попросила прыткого Шмулика, чтобы он помог сумрачному водителю. И вскоре оба перетасили все коробки поближе к столу – к тому месту, где рядом с меланхоличным доктором Ицхаком Блюменфельдом, откровенно относившимся к брачному союзу как к своеобразной разновидности долголетнего тюремного заключения, уже сидело почти всё семейство Кремницеров.

Когда Шмулик и водитель справились со своим боевым заданием, Хенка и Шлеймке дали знак раввину Элизеру – мол, начинайте, рабби, – все в сборе.

Раввин Элизер, как и было заповедано предками, семь раз обвёл под хупой Хенку в белоснежном длинном платье вокруг нарядного жениха и нараспев на идише с неизжитым, как врождённое заикание, немецким акцентом произнес традиционное благословение. Но этим не ограничился. После короткой паузы он возвёл свои карие очи к небу и обратился к Всевышнему, словно к давнишнему приятелю, с проникновенным словом собственного сочинения. Рабби Элизер попросил, чтобы Господь Бог даровал молодожёнам терпение, согласие и благополучие.

Пока наставник всех заблудших задушевно беседовал с Богом, нищий Авигдор Перельман перестал уплетать за обе щеки, отодвинул от себя тарелку с рубленой печёнкой и погрузился в невесёлые воспоминания о своей собственной молодости и женитьбе. Авигдору пришло вдруг на память былое: он стоит под хупой, слушает возвышенные слова раввина и вместе с Хаечкой разбивает на счастье об весеннюю землю бокал. Тогда он точно так же клялся в вечной любви к своей невесте Хаечке. Он вспомнил, как по неписанному народному обычаю на потеху всем собравшимся гостям старался первым наступить Хаечке на ногу, чтобы доказать, кто же будет в семье править и верховодить. А чем всё кончилось? Чем, люди добрые, всё кончилось? Хаечка бросила его ради какого-то шмендрика. Бросила, паршивица, и уехала с ним в Купишкис, а он, влюбленный, доверчивый Авигдор Перельман, пристрастился к питью и бродяжничеству, а потом, а потом... Что было потом, лучше не вспоминать.

Раввин Элиззер замолк, и гости, вскочив со своих мест, дружно и весело закричали: «Мазлтов! Мазлтов! Мазлтов!»

И Шлеймке и Хенка стали мужем и женой.

Авигдор Перельман тоже невнятно пробормотал «мазаль тов», и крупная, чистая слеза выкатилась из его глаз и упала на уставленный яствами стол. Слёзы были его единственной собственностью, которой он владел. Этого добра ни у кого не надо было вымаливать.

Свадьба загудела, задвигалась, как освобожденная от зимних льдов Вилия, в честь молодожёнов грянул местечковый оркестрик – скрипка, флейта, барабан. Сапожники и портные, перекрикивая друг друга и чокаясь, снова осыпали стол громкими, настоящими на вид не здравицами: «Мазлтов! Мазлтов! Мазлтов! Сто лет вместе, сто лет вместе! Без ссор и без бед! Сто лет!»

Веселье длилось до сумерек, когда над столами засияла языческая луна и обручальными кольцами рассыплись по небосводу звезды.

Перед тем как гости стали расходиться, слово вдруг взял первый богач в Йонаве, Арон Кремницер.

– Господа!

Все гости, как по команде, замолкли. К богатым всегда полезно прислушаться.

– Я знаю: каждый из вас принёс молодоженам что-то в дар. Но я хотел бы не только от своей семьи, но и от всех вас преподнести жениху, бывшему кавалеристу, наш особый подарок: железного коня – швейную машину марки «Зингер».

– Какой сюрприз! Честь и хвала господину Арону! Честь и хвала всей фамилии! – слились в сплошной гул одобрительные голоса.

– Я желаю ему долго-долго скакать на нем и радовать нас всех своими успехами.

– У-у-у! – густой лесной рощей снова расшумелись в потёмках столы.

– Спасибо, – сказал усталый и ошеломлённый Шлеймке. – Будьте все счастливы.

Свадьба редела, столы пустели. Только Авигдор Перельман ещё трудился в поте лица, ухитряясь получать на выходе у своих земляков причитающуюся ему денежную дань. Каждая дарованная монета улучшала его прискорбное мнение о щедрости и великодушии еврейского народа. Оркестрик продолжал без усталости тешить проникающими в душу звуками всю округу и самого Господа Бога. Скрипка заставляла плясать деревья, флейта своими замысловатыми руладами услаждала слух ангелов, пролетавших над погружившейся в сон Йонавой, а барабан мерными ударами отпугивал злых духов.

Когда Шлеймке и Хенка, одуревшие от счастья, от шума и от подарков, спешили удалиться в отведенную для супружеских утех временную каморку, оборудованную на чердаке, дорогу к дому им неожиданно преградил Авигдор Перельман. Отяжелев от яств и лакомств, приготовленных неутомимой Рохой, он обратился к разомлевшему от счастья жениху с трогательной речью.

– Шлеймке! Я помню тебя маленьким сорванцом. Мы, Перельманы, жили тогда по соседству с Кановичами на Рыбацкой, и ты, хвастунишка, бегал без штанишек по двору, прошу прощения, со

своей несколько укороченной пипкой напоказ и все уверял, что отец купит тебе голубей и устроит на чердаке голубятню. Но я не о твоей пипке и не о голубятне. Перед уходом я тебе хочу вот что сказать. Я не богач, у меня не то что соснового леса нет, у меня даже дров на зиму нет. Поэтому при всем желании я тебе не могу подарить, как почтенный реб Ешуа, железного коня. Но и без подарка с твоей свадьбы я уйти не могу. Я благодарен тебе за все милостыни, которые ты мне аккуратно давал до женитьбы, то есть до того печального дня, когда литовцы забрали тебя в солдаты. А сейчас... Ты и твоя женушка меня слушаете?

– Слушаем, слушаем, – отозвалась Хенка.

– А сейчас я хочу подарить тебе все те милостыни, которые ты ещё, наверно, собираешься мне, добрая душа, подавать и после вашей свадьбы. Ведь собираешься?

– Ага, – усмехнулся Шлеймке.

– Авигдор Перельман – человек справедливый, он ничего не забыл и никого не забывает. Ведь лучшая память на свете не у профессоров и богатеев, а у нищих. Нищие до конца жизни помнят каждого, кто им по доброте сердечной подал грош-другой, помнят не только их лица, но их руки и даже походку.

И Авигдор Перельман исчез в сумраке ночи, словно большая птица, вспугнутая негладаным выстрелом.

– Авигдор! – вдогонку крикнул Шлеймке. – Я сошью тебе теплое, на ватине, пальто на зиму. Обязательно сошью. Приходи! Приходи!..

Был свадебный вечер, была брачная ночь одна тысяча девятьсот двадцать седьмого года.

10

Чердачные условия для супружеских утех, может, ещё как-тогодились, но совсем не подходили для успешной портновской работы.

Шлеймке собрал из разрозненных частей свой «Зингер», который ещё сильно пах заводской смазкой. Его счастливый хозяин за отсутствием свободной площади был вынужден на время оставить своего железного коня внизу, возле отцовской колодки. Можно было бы, конечно, затащить швейную машину и на чердак, но только отъявленному глупцу и недотёпе могло прийти в голову стать клиентом такой пошивочной мастерской.

Молодожёны долго судили-рядили, как выйти из этого безотрадного положения, и в конце концов решили снять однокомнатную квартирку. После хлопотных поисков они нашли подходящее жилье – запущенную полуподвальную комнату у Эфраима Каплера, которому в самом центре Йонавы принадлежал не только трехэтажный дом, но и самый большой магазин колониальных товаров.

Наконец-то Шлеймке и Хенка, спустившись с чердачного рая, куда в распахнутые настежь оконца душными ночами залетали летучие мыши, поселились на новом месте. Вся их мебель состояла из грубо сколоченного стола, четырёх просиженных стульев, выдавшего вида скрипучего дивана, изъеденного древоточцем и продавленного Хенкиными сестрами – баловницами и попрыгуньями. Украсили жилье сверкающий надеждой, ещё не оседланный им «Зингер» и

большое старинное зеркало, в которое когда-то гляделись дед и прадед-каменотес моего будущего отца. А сейчас на примерках в него будут глядеться Шлеймкины клиенты.

– Не очень-то шикарная обстановочка, – сказал своей молодой жене Шлеймке.

– Да, у Кремницеров обстановка, пожалуй, пошкарнее, – усмехнулась Хенка. – Такую рухлядь они вообще в глаза не видели, они на свалку выбрасывают мебель получше нашей.

– Нечего отчаиваться. Мы с тобой не лежебоки и не белоручки, работы не боимся. Годик-другой попотеем и, как твои Кремницеры, всю ненужную рухлядь и барахло тоже выбросим на свалку. Господь Бог, сотворив землю, тоже оставил на ней немало всякой ве-тоши и не всё сразу расставил по местам.

Они действительно не ленились, работали в поте лица, не считаясь со временем и не жалея себя.

Шлеймке до полудня строчил на старом «Зингере» у Абрама Кисина, а после полудня взнуздывал собственного рысака и мчался во весь опор к своей удаче, не гнушаясь самой черной работой. Он не был ни мнительным, ни привередливым – шил даже саваны. Он уверял, что работа, в которой кто-то нуждается, не бывает стыдной. Стыдно сделать её плохо.

Не отставала от него и Хенка. С утра она нянчила подросшего Рафаэля, а по вечерам ходила убирать квартиры к йонавским лавочникам, к раввину Элиззеру, к директору и учителям идишской школы, которую из-за младших сестёр и братьев, нуждавшихся в её присмотре, так и не смогла закончить.

На первых порах основную долю доходов, как это ни странно, Шлеймке получал не от своих заказчиков, а от именитых местечковых портных. Такие признанные умельцы, как Абрам Кисин и Гедалье Банквечер, никогда никому не отказывали и принимали заказы от всех, кто бы к ним ни приходил; однако считали для себя зазорным корпеть над шитьем крестьянских сермяг, ватников и овчин, сюртуков и курток из дешевого неподатливого материала. Местечковые знаменитости за небольшую плату охотно сплавляли оскорбляющие их достоинство излишки способному новичку, который вдруг вздумал стать их конкурентом и самонадеянно открыл собственное дело, но не очень-то в нём пока преуспел. Шлеймке же чувствовал свои силы и способности и хотел работать не подпольно на этих светил, а трудиться под собственной вывеской на себя и свою семью. Но для этого надо было, чтобы о тебе по местечку начали бродить слухи. И желательно громкие и хвалебные.

Эти слухи, круглосуточно курсировавшие по Йонаве, были в то время единственной бесприкрытой и надёжной рекламой. Влияние её на клиентов без всякого преувеличения было огромным – эти резвые слухи могли либо вознести мастера-новичка до заоблачных высот, либо привести к разводу со своей кормилицей-иглой.

Вот она-то, эта молва, очень помогла счастливчику Шлеймке. Широкому её хождению от дома к дому особенно способствовало семейство Кремницеров.

«Вы слышали, – вдруг прокатилось по местечку, – этот старый франт реб Ешуа Кремницер нашел себе нового портного. Из-за пре-

клонного возраста он перестал ездить к Зелику Слуцкеру в Каунас и переметнулся к этому кавалеристу Шлеймке Кановичу, который уже шьёт ему из бостона новый костюм. А реб Эфраим Каплер своему молодому квартиранту недавно заказал пиджачную пару и демисезонное пальто из коверкота».

Реб Ешуа и впрямь вознамерился помочь способному новичку – он первым из богачей в Йонаве пришел к нему шиться. Злопыхатели утверждали, что старик не столько заботился о славе бывшего кавалериста, сколько старался угодить его жене Хенке – очаровательной пышке. Как реб Ешуа сам прилюдно признавался, он в неё был немно-о-жечко влюблён и – «ах, если бы не этот год рождения, не эта отвратительная цифра в паспортной графе, если бы не треклятая поджелудочная железа и вечно ноющая печень, то сами, господа, понимаете, я бы не оплошал...».

Он явился к Шлеймке с темно-синим отрезом отборной английской шерсти, выложил его в тесной квартирке молодой четы на стол, накрытый простой клеёнкой, и что-то буркнул про неказистую обстановку, мол, так скромно жили в шатрах наши предки, изгнанные в древности из Египта. Шлеймке стойко выслушал укоры знатного заказчика и осторожно, словно боясь его поранить замусоленным сантиметром, снял с него мерку. Светясь безмолвной благодарностью к тестю славной Этель, сноровистая Хенка быстро, под диктовку Шлеймке, записала размеры почтенного реб Ешуа – длину рукава, ширину плеч, объём талии – в купленную впрок ученическую тетрадь, на обложке которой был изображен литовский герб со скачущим в светлые дали витязем в защитном шлеме.

Когда Кремницер уже собирался уходить, Хенка остановила его вопросом:

– Реб Ешуа, интересно было бы узнать, как наши предки – изгнанники из Египта жили в своих продуваемых шатрах, когда пошли за нашим праотцем Моисеем и очутились в Синайской пустыне?

– Да не будет в обиду вам сказано, но у наших далеких предков, следовавших за Моисеем по раскалённой пустыне, как и у вас в доме, кроме веры и надежды, сначала почти ничего не было. Ни мебели, ни рукомойника, ни, простите, туалета. Ни-че-го! И всё-таки, всё-таки они с Божьей помощью добрались до Земли Обетованной. Доберётесь и вы до лучшей жизни.

Через неделю Шлеймке без всякого надзора и поучений Абрама Кисина самостоятельно сшил реб Ешуа Кремницеру первый в своей портновской жизни костюм. Реб Ешуа каждую субботу надевал его и демонстративно, как ходячий манекен, медленно, почти церемониальным шагом отправлялся через всю Йонаву на утреннее богослужение в синагогу. Не успев ещё усесться на свое место в первом ряду, он с плутовской усмешкой на чисто выбритом лице спрашивал у своих знатных соседей:

– Ну, что, господа хорошие, скажете?

– Реб Ешуа, это вы о чём? О процентной норме, которую власти ввели для евреев, поступающих в университет имени Витаутаса? – с нескрываемым любопытством отозвался хозяин местечковой пекарни, завзятый палестинофил Хаим-Гершон Файн, который открыто мечтал о том, чтобы его внуки выпекали халы не в Йонаве, а в свободном от арабов и турок Иерусалиме, под боком у самого Гос-

пода Бога. Достав молитвенник, он напоследок бросил: – От наших правителей-антисемитов можно всего ждать.

– Что до процентной нормы, реб Хаим-Гершон, так это, без всякого сомнения, неслыханное безобразие, – со снисходительной улыбкой ответил реб Ешуа. – А что до властей в Каунасе, то старые ли прохиндеи нами правят, новые ли, для нас, евреев, не имеет никакого значения. Рыба, реб Хаим-Гершон, бывает свежей, а вот власть, какую бы ты ни выбирал, всегда оказывается тухлой и с душком. Но давайте оставим в покое политику. Я сегодня решил похвастаться перед вами своей обновкой.

– Хвастайтесь!

– Как вам нравится мой новый костюм?

– Костюм? – опешил тот. – Костюм отличный. Сразу чувствуется мастерская рука реб Гедалье Банквечера.

– Помилуйте, реб Хаим-Гершон, при чем тут мастерская рука Гедалье Банквечера? Это сшил другой мастер – молодой Шлеймке Канович.

– Неужели тот самый первый в Йонаве, а может, и во всей Литве еврей-кавалерист? Это он так хорошо сшил?

– Представьте себе, он самый, – подтвердил реб Ешуа.

– Не может быть! Неужели этому научили его в самой грозной и боеспособной кавалерии в Европе? – съязвил Хаим-Гершон Файн.

– Этот дар у него от Бога. То, что даёт Господь, никакая кавалерия дать не может.

– Вот не ожидал.

– Ничего удивительного. Разве каждому из нас при рождении Господь не дает какой-нибудь дар? Вам, пекарю, например – лучше других выпекать из бесформенного теста самые вкусные в местечке баранки и булочки, пироги и пирожные, а ему, портному, – на зависть всем шить из безликого куска материи красивую одежду. Очень рекомендую, любезный реб Хаим-Гершон, воспользоваться при случае его услугами. Не пожалеете! Ручаюсь! Он шьёт не хуже, чем вы, уважаемый, печёте ваши булки.

Слухи о способностях Шлеймке множились всё же быстрее, чем количество его клиентов, и молодожёны в свободное от основной работы время занялись обустройством своего шатра, в котором, по выражению реб Ешуа Кремницера, почти ничего, кроме веры и надежды, не было.

Первым делом они купили самую необходимую для продолжения рода вещь – двуспальную кровать с новым надёжным матрасом без скрипа. Затем на местной мебельной фабрике приобрели в рассрочку широкий дубовый стол и шесть стульев с высокими спинками, на крепких ножках и с устойчивыми сиденьями, – для гостей и клиентов любого веса. Потом пригласили хромоногого маляра Евеля, дальнего родственника Рохи, чтобы он побелил потолок и стены. Евель не заставил себя долго ждать – на завтра же приковылял с лестницей, ведерком с краской и кистью.

Красил он неторопливо и тщательно, приятным баском напевая популярные песенки о лесных маргаритках, о безымянных красавицах, с которыми никто на свете не может сравниться, об озорном плясуне-раввине, не только корпящим над Торой, но и выкидывающим со своими учениками разные коленца. Кисть Евеля

двигалась, послушно следуя за приятным для слуха мотивом; она то плавно скользила, то поражала неожиданными взмахами и взлётами. Был маляр не только хромоног, но и близорук, носил очки, из-под которых нет-нет да зазорными искорками вспыхивали въедливые черные глаза, не вяжущиеся с его унылым лицом. Разговаривал он только в перерывах, когда спускался с лестницы, вытаскивал из кармана сатиновый кисет, свивал из папиросной бумаги самокрутку и смачно затягивался дымком.

– Ну, как там, Шлеймке, в этой славной литовской кавалерии? Тамошние лошади, наверно, евреев тоже не шибко любят? – посаывая свой табачный леденец, басил он. – Лягаются, брыкаются?

– Лошади как лошади. Больше всего, Евель, они любят овес. Им до евреев нет никакого дела. Главное, чтобы торба была полна овса. А кто торбу наполняет – еврей или цыган-конокрад, – им всё равно.

– Что ты говоришь? Оказывается, у ихних лошадей есть какая-никакая совесть.

– Есть, есть, – посмеиваясь, подбадривал вечно унылого Евеля Шлеймке.

– Я всегда считал, что у домашних животных – у кошек, у коз, у дворняг – совести, пожалуй, больше, чем у человека. Зачем, скажи на милость, человеку эта совесть? Только лишняя обуза. Ему и без того жить тяжело. Скоро будет ровно четверть века, как я перебеливаю стены.

– Ого! Ну и что?

– А вот что. Сколько я за свою жизнь этих стен перебелил, убей меня, не помню. Но в одном я убедился.

– В чём же?

– Дерево и камень можно перебелить. А человека вряд ли... Жалко, очень жалко! У Отца небесного при сотворении всего сущего, видно, белил на всех не хватило. А ты, Шлеймке, я вижу, здоровье своё бережёшь – не куришь.

– Не курю.

– Долго жить собираешься?

– Собираюсь долго шить, – отшутился Шлеймке. – А дым, Евель, застит игольное ушко. Потом нитку не проденешь.

– А ты за словом в карман не лезешь. Ладно. Перекурили – и за работу. К вечеру вы с женой эту зачуханную конуру не узнаете, я сделаю из неё картинку.

Квартира после побелки и в самом деле преобразилась до неузнаваемости. Казалось, от белизны в ней стало просторнее и дышать легче.

– У Евеля золотые руки, – поразились Роха, которая пришла после побелки на смотрины. – Надо бы и у нас сделать ремонт. Но для кого? Айзик уехал, Лея улетела, Мотл со дня на день переберётся со своей Сарой в Каунас, где его тесть купил доченьке парикмахерскую. Ремонт для кого? Разве что для мышей и пауков. Пусть уж всё остаётся, как было. Какая разница, откуда тебя навсегда вынесут – из роскошного дворца или из убогой лачуги?

– Ты, мама, не права, – попытался настроить её на более радостный лад Шлеймке. – Пока человек жив, он должен что-то делать, чтобы как-то украсить свою жизнь.

– Это так. Но я, сынок, всегда думала, что жизнь украшают не маляры, не сапожники, не портные, не парикмахеры, а дети. Ты хоть знаешь, сколько я их на свет родила, сколько их своим молоком вскормила?

– Кажется, одиннадцать.

– Десять. А сколько их у меня осталось?

Наступило тягостное молчание.

– Может, чайку с нами попьёте? Я вчера купила на базаре у бородача-старовера свежий липовый мёд, – прибегнула к неловкому маневру Хенка, надеясь отвлечь свекровь от дурных мыслей.

– Их у меня осталось четверо: двое рядом со мной, один в Каунасе и один, Йоселе, – в доме для умалишенных в Калварии. Возмнил, видишь ли, что он птица – не то щегол, не то грач. – Она достала из-за пазухи носовой платок, вытерла глаза. – А чайку я, Хенка, выпью, почему бы не выпить, обязательно выпью. Но сначала пусть Шлеймке мне письмо прочтёт. Потом мы вместе и на фотокарточку посмотрим.

– Письмо от Леи? – спросила Хенка.

– Нет. От Айзика. Из Парижа.

Шлеймке взял у матери письмо и, не мешкая, приступил к чтению. Айзик писал, что, слава Богу, жив-здоров, что работает в людном Латинском квартале в крупной скорняжной мастерской, принадлежащей мсье Кушнеру, бессарабскому еврею, который очень хорошо к нему относится и ценит его способности. Далее он уведомлял всех своих близких, что жалование у него приличное, даже очень приличное, и что скоро он перестанет холостяковать и женится на любимой девушке из Кедайняй Саре Меламед.

– Мазлтов! – бросила Роха. – Только я не понимаю, зачем надо было ехать в Париж, чтобы жениться на девушке из соседнего местечка?

– Мама, не перебивай. Дай я дочитаю письмо до конца, – сказал невозмутимый Шлеймке.

«Дорогая мама, дорогой папа, вместе с моими братьями Мотлом и Шлеймке и милой сестрой Хавой, на этой фотографии, которую сделал за два франка уличный фотограф, вы увидите меня и мою будущую жену Сару. Мы находимся возле самой высокой башни в мире, построенной инженером Эйфелем. Снимок получился так себе, не очень удачный, но на свой фотоаппарат у нас пока нет денег. Напишите, как вы живёте, что у вас нового, и попросите Этель Кремницер, чтобы она наш парижский адрес написала на вашем конверте по-французски. Так письмо скорей дойдёт до Парижа. Ваш любящий сын и брат Айзик и его избранница Сара».

Чтец отдышался. Он не был силен в графологии, а почерк Айзика напоминал репейник, и пробраться через все каракули и закорючки было делом непростым. Когда Шлеймке закончил чтение, все принялись рассматривать фотографию.

– Айзик тут на снимке настоящий иностранец, – не удержалась от восторженных восклицаний Хенка. – В шляпе набекрень и в длинном до пят плаще, в ботинках с дырочками, чтобы ноги, видно, в жару не потели. Да и его Сара хороша – стройненькая, постриженная под мальчика, на высоких каблучках, красивый шарфик на шее. У нас такой нигде не купишь.

– Я уже их успела два раза посмотреть, – с подчеркнутым равнодушием промолвила Роха. – Мне Айзик больше нравился в картузе со сломанным козырьком, в льняной рубашке навывпуск и в кожаных ботинках на толстой подошве, которые смастерил Довид. Что ни говорите, а мне он куда милее живой, а не на фотографии...

– Что ты городишь? Не бери греха на душу. Он и сейчас живой, – напустился на неё Шлеймке.

– Живой, живой, – затараторила Роха. – Но не для меня, а для его Сары. Пусть они только оба будут счастливы. Долго-долго. Я им этого от всей души желаю. Но я мать, а матери, согласитесь, горько узнавать о счастье своих детей только от почтальона.

– Давайте чай пить, – предложила Хенка. – От наших споров и разговоров он не закипит.

– Давайте, – кивнула Роха и засемила за ней на кухню. – Я помогу тебе.

Хенка вскипятила в чайничке на примусе воду, заварила ромашковый чай и направилась было в столовую, чтобы разлить его по фарфоровым чашечкам, купленным Этель в Германии и подаренным ей к свадьбе, как её остановила свекровь:

– Задержись, пожалуйста, на минуточку. Надо нам, Хенка, с тобой серьёзно поговорить, – полушёпотом произнесла Роха, как бы намекая на исключительную важность и неотложность разговора.

Хенка застыла с чайничком в руках и приготовилась внимательно выслушать очередные назидания и советы свекрови.

– Вы только, Хенка, не спешите, – спокойно сказала Роха.

– С чем?

– Не с чем, а с кем. Какая же ты недогадливая! Ты что, только на свет родилась? – сказала свекровь. – Сначала встаньте на ноги, обустройтесь, а уж потом обзаводитесь наследниками, чтобы они у вас не бегали по местечку босыми и голодными.

– Ручаться не могу, но мы, Роха, постараемся. Если, конечно, получится. Вы же сами знаете – остерегаешься, остерегаешься и в одно мгновение можешь оплошать и попасться, как уклейка, на крючок к рыболову.

Роха раскатисто рассмеялась.

– Что правда, то правда. Это я по своему опыту знаю. Иначе десять раз подряд, как говорится, на эту удочку не попадалась бы. С моим неумным рыболовом, который почти каждую ночь закидывал и закидывал свою удочку, трудно было договориться. Но вы будьте начеку. А за мои назойливые советы ты меня прости. Мне самой хочется скорее стать бабушкой. Дождаться внуков. И не в этой хваленной Америке, не во Франции с её башней-дылдой, а тут, где я родилась и умру.

– Будут у вас внуки и там, и тут. С такими рыболовами, как ваши трудолюбивые сыновья, вы ещё со счёта собьётесь.

– Из твоих уст, Хенка, да нашему Всемилоствому, но глуховатому Господу Богу прямо бы в уши. И всё же не спешите.

Они выпили чаю, посетовали, что Лея не даёт о себе знать, не пишет, может, болеет – ведь даже в счастливой Америке люди болеют и, страшно вымолвить, умирают.

– Напишет, напишет, как только устроится, может, ещё за какого-нибудь богатого еврея замуж выскочит, – успокоил её Шлеймке.

– Пусть за бедного, но хорошего, – пробормотала Роха. – Хороший человек может стать богатым. А вот богатый хорошим – никогда. Богатый может им только притвориться. А как твои дела? – обратилась она к Шлеймке. – Люди идут к тебе или проходят мимо и... к Гедалье Банквечеру? У тебя даже вывески нет. Да, по правде говоря, её и вешать-то некуда.

– Портному нужно имя, а не вывеска. Дела неплохи, стало намного больше заказов, ко мне потянулись не только евреи и литовцы, но даже староверы, и не только йонавские, но и те, которые живут в окрестных деревнях. Пронюхали, что за пошив беру гораздо дешевле и шью не хуже.

Чаепитие подходило к концу, когда вдруг зазвенел дверной колокольчик, и в побелённую комнату вошел дородный, гладколицый, с ухоженными оранжерейными усами домовладелец Каплер.

– Инспекция, – сказал он.

– Милости просим! – пропела Хенка, встала и услужливо подвинула к нему свободный стул. – Может, вы, господин Эфраим, с нами вместе почаёвничаете и свежего липового медку отведаете?

– Благодарю вас сердечно, но, если позволите, я почаёвничаю с вами в другой раз. У меня важная встреча с нашим бургомистром. А он ужасный педант. Не любит, когда опаздывают. Не скрою, я большой любитель липового меда. Чую его запах за версту. Он пахнет так, что можно сойти с ума! – Эфраим Каплер своим зорким неусыпным оком придирчиво оглядел квартиру. – Красота! Этот хромоножка Евель, хоть порой и закладывает за воротник, прямо-таки чудесник. Говорят, что Господь и моего квартиранта умением не обидел. Это ли не роскошь – иметь в собственном доме собственного портного? Может, мне уже больше не тащиться тридцать с лишним километров на примерки к Зелику Слуцкеру в Каунас и перейти на местное обслуживание? А?

Шлеймке благоразумно промолчал. Не в его привычках было напрашиваться.

– Молодые глаза видят гораздо лучше, чем старые, – промолвил Каплер, понежив пальцами усы, за которыми он ласково ухаживал, как за редкостным растением.

– Попробуйте, реб Эфраим. Мой муж не самозванец и не портач. Он, поверьте, сошьет вам не хуже, чем Абрам Кисин или Гедалье Банквечер, – смело бросилась в омут преданная Хенка.

– Гедалье Банквечер стар и тяжело болен. А реб Абрам уже, к великому нашему сожалению, никому ничего не сошьёт.

– Как это? Почему же он больше никому не сошьёт? – удивилась Роха.

– Так уж в этом подлунном мире устроено – когда одни спокойно сидят в тепле и попивают чай с липовым медом, другие в том же самом городе и в то же самое время готовятся кого-то проводить в последний путь. По вашим глазам я вижу, что вы ещё ничего не знаете.

– Кисин умер?! – в ужасе воскликнул Шлеймке, обожжённый догадкой.

– Да. Как всегда, он с самого утра сидел за своим «Зингером», нажимал на педаль и доехал не до обеда, а до смерти. Недаром сказано в Писании: не знает человек своего места и часа. Рано

или поздно мы все туда съедемся. Теперь у нас в местечке остались только двое мастеров – ты и Гедалье Банквечер. Больше мужских портных нету.

– А такого, как реб Абрам, светлый ему рай, и не будет, – отозвался о своём работодателе Шлеймке.

На кладбище, где с миром покоились евреи Йонавы с незапамятных времен, Абрама Кисина провожала не толпа, а горстка его старых клиентов и соседей.

Место для себя предусмотрительный реб Абрам Кисин купил заблаговременно, на пригорке рядом с могилой жены Хавы, скончавшейся прошлой осенью от кровоизлияния в мозг. Кисины были бездетны, и кроме тихой, как сон, домоправительницы Антанины, богобоязненной литовки, говорившей на идише не хуже раввина Элизера и на протяжении многих лет служившей им верой и правдой, оплакивать его было некому. Единственный, да и то дальний, родственник покойного, Авигдор Перельман, который никогда не побирался на самом еврейском кладбище, а только за его воротами, стоял у открытой ямы и заглядывал в эту разверзшуюся пропасть с пугливым любопытством, словно примерялся к ней или придирчиво оценивал её глубину. Глаза его были сухи. Как он уверял, на всех в жизни слёз все равно не напасёшься. Поэтому оплакивать следует не столько мёртвых, сколько в первую очередь живых, которым ещё предстоит мучиться, но которых ждёт та же неминуемая участь.

Раввин Элизер, на досуге писавший стихи на высокопарном иврите про Иосифа и его братьев, про подвиг Маккавеев и про мудрость царя Соломона, произнес кадиш и, передохнув, как бывший верный клиент Абрама Кисина позволил себе несколько отсебятины, сдобренных лирическими отступлениями и цитатами из Пятикнижия. Рабби возвышенно рассуждал о том, что когда придет Машиах, то в первую очередь воскреснут из мертвых старые мастера, и реб Абрам Кисин одним из первых непременно возвратится из рая на родину, в свою Йонаву. Редкостный умелец, он снова, как после отдыха в курортной Паланге, войдет в свой дом на Костельной улице, сядет за свою швейную машину, сотрёт с неё осевшую за время его вынужденного отсутствия пыль и на радость всем своим живым землякам примется шить с прежним рвением и энергией.

Тут острослов Авигдор Перельман не преминул внести в жизнеутверждающую высокопарную риторику местечкового пастыря свою скромную лепту:

– Омейн! Тем более что путь из рая сюда, в Йонаву, не такой уж далёкий. До какой-нибудь Америки реб Абраму добираться было бы куда трудней.

Провожане пропустили злую шутку нищего мимо ушей и стали понемногу расходиться.

У кладбищенских ворот, украшенных деревянными гривастыми львами, которые держали в своих когтистых лапах чаши, полные потусторонней благодати, к Шлеймке с опаской приблизилась домоправительница Кисина, Антанина, и обратилась к любимому работнику и ученику покойного то ли с просьбой, то ли с советом:

– Может, ты, Шлеймке, мне поможешь? Племянник хозяина Берл – не портной, а жестянщик, и живет он не в Литве, а в Лат-

вии, в Елгаве. На похороны дяди Берл не успел. Пока приедет, пока во всём разберётся, пройдёт немало времени. Ума не приложу, что теперь делать с этими недошитыми вещами. Отдать заказчикам? Но я ведь не знаю, что кому принадлежит, если они вдруг нагрянут и потребуют от меня свое добро назад.

Не давая мужу рта раскрыть, в разговор вдруг вмешалась сметливая Хенка.

– Зачем, поне Антанина, отдавать? Шлеймеле, как известно, бывший его подмастерье и, можно сказать, ученик. Он дошьёт. Он разберётся, чей пиджак и чьё пальто. Никакой путаницы не будет. Не беспокойтесь! Каждый в лучшем виде обратно получит всё, что ему принадлежит. А вырученные деньги за пошив пойдут реб Абраму Кисину на памятник. Все недошитые вещи мы, с вашего разрешения, вместе перенесём к нам. Если кто-нибудь захочет забрать своё добро и пойти к Гедалье Банквечеру, пусть забирает на здоровье. Правильно вы поступили, поне Антанина. Ведь и нам в трудную минуту добрые люди пришли на помощь. Почему же другим не помочь? Правильно я, говорю, Шлеймке?

– Правильно, – произнёс Шлеймке, обескураженный хитроумным предложением Хенки. Такой прыти он от неё не ждал, хотя сразу смекнул, что печётся она не столько о памятнике покойному Кисину, сколько о своём муже, о его добром имени. Нет лучше рекламы, чем бескорыстие и благодеяние. Всё местечко заговорит о Шлеймке Кановиче. Слышали? Себе, оказывается, ни цента не возьмёт. Все деньги передаст Антанине, которая подыщет в своей деревне подходящий для надгробья камень, её родичи привезут его на телеге на кладбище, а каменотёс Иона в память о реб Кисине высечет на нём полагающиеся усопшему еврею скупые слова.

– Спасибо, – растрогалась Антанина. – Мой хозяин, вечный ему покой, всегда говорил, что Шлеймке далеко пойдёт, и очень жалел, что Господь Бог не дал ему такого сына.

На следующее утро Хенка с помощью Антанины перенесла все невыполненные заказы в дом Эфраима Каплера.

С того летнего утра в жизни Шлеймке произошёл негаданный и благоприятный перелом. Мало того, что никто из бывших клиентов Кисина не отказался от его услуг, все до единого согласились, чтобы Шлеймке за покойного реб Абрама дошил их пальто и костюмы. И вышло аккурат так, как и задумала сообразительная Хенка, – заказчики поспособствовали росту авторитета молодого мастера и притоку новой работы.

Шлеймке работал весело, с воодушевлением, «Зингер» почти не умолкал.

Каплер от трудового неистовства квартиранта не был в восторге. Он не раз спускался со второго этажа, который занимал целиком, и принимался сердито выговаривать Шлеймке за то, что от неумолкающей пулеметной дробы «Зингера» он, Эфраим Каплер, просыпается среди ночи и до самого рассвета не может сомкнуть глаз.

– Ты, что, дружище, шьешь и по ночам? Тебе что, белого дня не хватает? Нельзя ради работы жертвовать отдыхом и снами, которые даровал нам Господь Бог в награду за дневные труды. Он и сам в седьмой день отсыпался и нам заповедал беречь силы в нашей горемычной жизни. Мир-то Он создал днём, а не ночью.

– Ничего не поделаешь – заказов много. Приходится шить и днём, и ночью. Заказчики нетерпеливы. А я работаю один. Правда, мне иногда помогает жена – советы даёт, уют на кухне накаливает, мерки в тетрадку записывает. Собираюсь по Хенкиному совету обучить ремеслу её брата-говоруну. Вдвоём будет легче.

– По-моему, шить по ночам – это, дружище, не что иное, как унижение своего мужского достоинства, – сказал реб Эфраим Каплер и криво усмехнулся в свои картинные помещицьи усы. – Ночами евреи не шьют, а сам знаешь, что делают. Как на эти причуды смотрит твоя супруга?

– Нормально.

– Нормально?! – у реб Эфраима Каплера от гневливого удивления дёрнулась щека, а густые, с проседью, брови взлетели вверх. – А как же с Господним заветом – *пру у-реу*? Ты меня понял?

– К сожалению, нет, реб Эфраим. Переведите мне, пожалуйста, завет нашего Господа на доступный идиш. Иврит, к сожалению, вытек из моей памяти.

– Плодитесь и размножайтесь.

– А-а! Ну, с этим у нас, надеюсь, будет всё в порядке. Но простите меня за двусмысленность, реб Эфраим, в чужое гнездо свои яйца кладет только кукушка. А мне бы очень хотелось заработать на своё гнездо.

– Что ж, дело твое. Если ты и дальше будешь упорствовать и так безумолчно стрекотать по ночам, то вам придётся подыскать другое жильё, – предупредил трудолюбивого квартиранта страдающий от бессонницы усатый реб Эфраим Каплер, не терпящий никакого неповиновения от тех, кто от него зависит.

Предупредил и, не попрощавшись, удалился.

Осмотрительный Шлеймке, предпочитавший ни с кем не лезть в драку, внял предупреждению Эфраима Каплера и обуздал своего коня. Не бросать же только что обустроенную квартирку и снова переселяться на чердак – в тесноту, в духоту, к летучим мышам.

Он продолжал работать с прежним рвением, но свою лошадь, как он окрестил «Зингер», ставил в конюшню ещё до полуночи, чтобы, упаси Боже, не потревожить драгоценный сон реб Эфраима Каплера, а по субботам вообще не выводил её из стойла. Со всеми заказами Кисина он справился в срок, а вырученные деньги по договоренности передал через Антанину приехавшему из Елгавы племяннику покойного – жестянщику Берлу, костлявому еврею-заике, чтобы тот израсходовал их на памятник.

Каменотёс Иона высек на плоском овальном камне, поставленном на попа, традиционную надпись «Здесь погребён», а также имя и фамилию покойного. Но позволил себе и вольность – пустил долотом вдоль камня тонкую нить, оборванную на середине, а под ней иголку, как бы выпавшую из рук на холодную могильную плиту.

Роха не могла нарадоваться на успехи сына и всюду превозносила его и свою невестку.

– Он-то мне не изменит ни с Францией, ни с Америкой, ни с Палестиной! Он-то нам с Довидом наверняка тут закроет глаза, – пылко доказывала она себе и всем знакомым.

Радовалась тому, что у молодого портного растёт клиентура, и семья Кремницеров.

– А кто был его Колумбом? – вопрошал, подчеркивая свои заслуги, реб Ешуа. – Кто первый открыл его для мира?

В местечке мало кто знал, кто такой Колумб. Наверно, и сам суровый бургомистр Йонавы, крестьянский сын, не слышал о такой фамилии.

Время между тем утекало, как тихие ручейки в реку, без водоворотов и всплесков. В Литве больше никого не расстреливали. Новый президент, как ему по должности было положено, произносил поучительные профессорские речи и даже не гнушался иногда посещать провинцию. Завернул он однажды и в Йонаву, послушал на площади в исполнении смешанного хора учеников литовской гимназии и учащихся местечковой ивритской школы «Тарбут» государственный гимн «О Литва, отчизна наша, ты страна героев...» и, удостоверившись в любви к родине своих юных подданных разных национальностей, весьма довольный вернулся в столицу, в свой президентский дворец.

Без потрясений утекала в вечность и жизнь в Йонаве.

Хенка исправно ходила на работу к благожелательным Кремнищерам. Правда, подросший и вытянувшийся Рафаэль уже не нуждался в её играх и сказках.

– Ты неправильно говоришь, – заявил Рафаэль, выслушав в очередной раз рассказ о ползунье-улитке, научившейся летать, как ласточки и синицы, и жить на деревьях. – Улитки не летают.

– Это же, Рафаэль, в сказке. А в сказке, мой дорогой, в отличие от жизни всё возможно.

– Я спросил у дедушки Ешуа, и он мне сказал, что летают только мухи, комары, пчелы, осы, даже куры в курятнике летают, но плохо. А у этих улиток никаких крылышек нет. Ты меня просто обманываешь. А мама говорит, что обманывать нехорошо.

Рафаэль уже подолгу обходился без няни: крутил ручку шарманки и слушал какие-то песенки; строил из кубиков дома; прокладывал из картонных листов с нарисованными рельсами и вокзалами железную дорогу, по которой двигался скорый поезд с разноцветными вагонами. На дверях вагонов вместо номеров были нарисованы крупные буквы французского алфавита. Когда мальчику надоедало слушать песенки, быть строителем и путейцем, он доставал книжку с животными всех континентов – слонами и медведями, жирафами и кенгуру, ланями и лосями, которых можно было раскрасить цветными карандашами. Хенка со своей летающей улиткой была бессильна соперничать с этими чудесными картинками и живописным букварем, привезёнными Ароном Кремнищерам своему сыну из недостижимого обольстительного Парижа.

Хенку мучили угрызения совести. Она ловила себя на мысли, что из няньки превратилась в исповедницу Этель, от которой незаслуженно получает (вовсе не за опеку Рафаэля) приличное жалование. Ей платят за то, что она ежедневно выслушивает её искренние и печальные исповеди. Хенке, конечно, не хотелось этого жалования лишаться, но она и не желала получать его за безделье. За сочувствие и за сострадание к своему ближнему Господь Бог не велит брать мзды, ни мелкой, ни крупной, никакой.

Не забывала Хенка и давние наставления родителей о том, что врать – великий грех, но и правду на этом свете надо говорить не с

поспешностью, а с умом и осторожностью потому, что хоть правда и красит человека, но она его, увы, не кормит. Хочешь жить – крутись. Такова испокон веков, мол, была еврейская доля. Но Хенка с такой унижительной долей мириться не хотела.

– Мне хорошо с вами, – сказала она и запнулась.

– И нам с тобой хорошо, – отозвалась Этель.

– Но я Рафаэлю уже не нужна.

– Всем нужна: и мне, и Рафаэлю, и реб Ешуа, – сказала Этель.

– Рафаэлю уже со мной неинтересно. Что я ему могу дать? Я всего-то три класса начальной школы закончила. Вот и осталась неотесанной деревенщиной. А Рафаэль про летающих по небу улиток и про мышек, которые подружились с котёнком, и прочую дребедень уже слушать не хочет.

– Главное, Хенка, душа. Что с того, что кто-то на свете знает всё обо всём и обо всех, если душа у него давно окаменела?

– А что это за штука – душа? Это, если по-простому выражаться, то же самое, что и сердце?

– Не совсем. Сердце есть у всех. А душа, к сожалению, дана не каждому. Ты задаешь мне, милая, вопросы, на которые даже наши мудрецы затруднялись дать вразумительный ответ. Я тоже над этим ломаю голову. Что это за штука – душа? Может, я вздор несу, но душа – это, по-моему, то, что человека из двуногого млекопитающего делает человеком и что нельзя похоронить в могиле, ибо душа бессмертна. Она противится тлену и отлетает в небо, смерть не властвует над ней.

– Эти объяснения не для моего ума.

– И не для моего тоже. Давай лучше вернёмся к нашим делам. С чего ты взяла, что ты не нужна? Никто никаких претензий к тебе не имел и не имеет. Ты свой хлеб даром не ешь. Не поверишь, но я уже и не представляю, как мы без тебя жили бы. Так что, как бы ты ни хотела с нами расстаться, мы всё равно тебя не отпустим. А что касается Рафаэля, то ты права – сейчас с ним меньше надо возиться. А вот за своего тестя я боюсь.

– А что с ним?

– Снова слёг. Доктор Блюменфельд прописал ему порошки от боли в печени и таблетки против высокого давления. Он велел по крайней мере в течение недели соблюдать постельный режим, но реб Ешуа всё время порывается встать, одеться и – в лавку. На все мои уговоры не нарушать предписаний доктора он не обращает никакого внимания, только отмахивается и, как ни в чём не бывало, отвечает: «Я хочу умереть, стоя за прилавком!» Чувствую, что я одна с ним не справлюсь. Хоть Арона из Парижа вызывай. Где это слышано, чтобы у благоразумного человека была такая мечта – умереть, стоя за прилавком?

– А сколько лет он уже за ним стоит?

– При мне уже лет десять. А вообще-то, наверно, куда больше – с той поры, когда он сдал лесные дела Арону. Все двери домов и склады в Йонаве, все деревенские амбары и хаты, все мельницы в округе запираются замками и засовами, купленными в лавке реб Ешуа. Крестьяне его в шутку заглаза величают Петром-ключником. Он знаком с их детьми и внуками, знает, как зовут каждого покупателя. Для них он – самый лучший еврей на свете. Берёт недорого,

даёт в долг и не торопит с возвратом. Когда он был моложе, то ездил к некоторым из них в гости и даже самогон с ними попивал.

– Он действительно самый лучший, – поддержала мнение крестьян Хенка. – Дай Бог ему здоровья!

– Дай Бог, – пожелала ему и невестка, но слов о том, что реб Ешуа – самый лучший еврей на свете, почему-то не повторила.

– Может, мне снова на недельку стать за прилавок?

– А ты поговори с ним. Как знать, вдруг согласится. Сейчас он не спит, читает Танах. Постучись к нему, – сказала Этель.

Хенка постучалась и через мгновение услышала:

– Всегда.

Она тихо, почти на цыпочках, вошла в комнату и поздоровалась.

– О! Кого я вижу! – оживился реб Ешуа. – Вижу не этого зануду Блюменфельда, не Этель с её таблетками и пиявками, а хорошенькую женщину! Что ты стоишь? Садись!

– Вам, реб Ешуа, нельзя столько говорить, – Хенка придвинула к постели больного плетёное кресло и села. Реб Ешуа Кремницер лежал на диване в цветастой пижаме, укрытый до пояса пуховым стёганным одеялом, и трудно дышал. – Мне, моё золотко, говорить ещё можно, а вот жить уже нельзя. Нельзя! Что за радость – своей никчемной жизнью портить жизнь другим?

– Неправда. Ничью жизнь вы не портите. Не выдумывайте и не наговаривайте на себя.

– Правда, правда. Если бы я отправился к праотцам, как мой ровесник Абрам Кисин, всем стало бы куда легче.

Реб Ешуа откашлялся, отпил из стакана морковный сок и после долгого молчания, не глядя на Хенку и словно разговаривая с самим собой, продолжил:

– Тогда Этель от скуки не томилась бы годами в этой дыре, как в застенке. В два счета упаковали бы они чемоданы и – фюить отсюда! – Реб Ешуа, несмотря на одышку, по-мальчишески задорно присвистнул. – Их тут ничего не держит.

– А родина?

– Родина? Плевали они на эту родину. Тем более что Этель родилась в Германии, а не в Литве.

– Но она тут столько лет прожила.

– Уедут себе спокойненько и про всё и про всех забудут. Да и что им вспоминать? Литовские ливни и метели? Пьяных мужиков на местечковом базаре? Лавку, которая была для меня, старика, такой же забавой, как для Рафаэля его деревянная лошадка? Лишь бы не мешал, не путался у родителей под ногами.

– Вам, реб Ешуа, доктор запретил напрягаться. Выбросьте из головы все дурные мысли и, пожалуйста, скорее выздоравливайте.

– Не могу от такого пожелания отказаться, – выдохнул реб Ешуа Кремницер. – Но вся беда в том, что мусора в моей голове – хоть отбавляй, а вытряхнуть его оттуда уже нет сил. Много там годами лежит и пахнет гнильцой.

– Тут уж вы перегнули палку.

– Поживешь – убедишься. Мне, конечно, грех обижаться на Господа Бога. Но жаловаться Вседержителю на свои недуги и тяготы ни один раввин на свете не запрещает. Господь не обошёл меня своей милостью. Спасибо Ему за то, что дал мне удачливого сына. А вот

за то, что вдобавок не дал такой дочери, как ты, я должен пенять только на самого себя. Поленились мы с Голдой. Если я ещё с Божьей помощью встану на ноги, то первое, что сделаю – поеду в Каунас к своему нотариусу.

Реб Ешуа снова замолк, подождал, пока отстоится накопленная горечь и сквозь неё просочатся нужные слова, и тихо промолвил:

– Пришла пора позаботиться о завещании. Мало ли чего может случиться с дряхлым старцем. Мне всё равно, кто купит наш дом, меня не интересует, когда Арон увезёт отсюда семью. А вот лавка... Не хочу, чтобы она досталась случайному человеку. Может, я ещё при жизни удивлю друзей и недругов своей последней волей. Ни за что не догадаешься, кому я намереваюсь отписать свою лавчонку.

– А я не умею отгадывать.

– Возьму и отпишу её тебе. Что ты на это скажешь?

– Что вы?! – встрепелась Хенка. – Как только вам такое могло в голову прийти?! Вы и так уже нас избаловали своей добротой. Не смейте об этом даже заикаться. Пока вы болеете, я, если хотите, могу ещё раз заменить вас и встать за прилавок. До вашего выздоровления. Но не как хозяйка. Живите до ста двадцати лет и сами в ней хозяйничайте, сколько сможете! Господь Бог должен бы таким добрым людям, как вы, не убавлять годы, а прибавлять.

– Наш Господь Бог может всё сделать, но почему-то не спешит. А почему? А потому что люди есть люди, иначе они никогда не умерят свои аппетиты и не усмирят свою гордыню.

– Полежите спокойно. От разговоров вы только расстроитесь, и вам, не дай Бог, станет хуже.

– Спасибо, что зашла. Ты на меня действуешь намного лучше, чем таблетки доктора Блюменфельда, – сказал реб Ешуа после короткой передышки и стал искать под одеялом платок, чтобы вытереть предательские глаза.

– Реб Ешуа, вы на меня за мою откровенность не сердитесь, но в будущем я не намерена торговать или нянчить чужих детей, я собираюсь рожать собственных. Видно, я на другие подвиги не способна. Моя мама всегда втолковывала в голову всему табунку своих дочерей, чтобы они не забывали: у каждой еврейки, богатой ли, бедной ли, нет на свете работы важнее, чем делать с хорошим мужем других евреев.

Реб Ешуа Кремницер прыснул.

– С тобой, Хенка, поневоле выздоровеешь. Это тебе, а не сухарю Блюменфельду надо платить за каждый визит чистоганом.

Она поклонилась на прощание и вышла так же тихо, как вошла.

Наплыв заказчиков в полуподвальную мастерскую продолжался, и безотказный Шлеймке работал на износ. Опасаясь за его здоровье, заботливая Хенка предложила мужу взять в ученики-помощники её непутёвого, но боевитого брата Шмулика. Отец Шимон, изгнанный в четырнадцатом году в Оршу и ставший невольным свидетелем русской революции, не зря прозвал своего сына «Шмиле-большевик», так, как звали в тех краях бунтовщиков, стремившихся сбросить с трона царя Николая. Необычное прозвище приле-

пилось к нему прочно и надолго. Шмулик, правда, не призывал к свержению президента Сметоны, но почём зря осыпал бранью существующие в Литве порядки и превозносил до небес своего кумира – покойного вождя трудящихся всего мира Владимира Ленина.

– Когда-нибудь ты кончишь, как этот несчастный пекарь, который бросил выпекать баранки и стал призывать бедняков к бунту. Принялся глупец убеждать всех, что пора бы последовать примеру русских и заменить власть буржуев в Каунасе на такую, как в России. За эту болтовню тебя, баламута, могут запросто угостить и пулькой, – ворчал отец, сапожник Шимон, предрекая сыну печальное будущее. Старик никак не мог взять в толк, как лысый русский покойник может быть вождём всех трудящихся в мире.

Трудолюбивому Шлеймке нужен был не борец с буржуями, не пламенный сторонник покойного Ленина, о котором он и слыхом не слыхал, а старательный работник. Его не интересовали разговоры о свободе, равенстве и братстве. Он знал, что на земле равенство устанавливают только могильные черви. Испокон веков, мол, при всех властях на свете будет существовать неравенство, никуда не исчезнут бедные и богатые, не переведутся заключённые и тюремщики, а что касается братства, то порой даже брат со своим кровным братом до самой смерти не могут побрататься из-за десяти соток неплодородного суглинка, доставшегося им в наследство.

Но отказ грозил обернуться крупной ссорой с Хенкой, и Шлеймке уступил ей.

Первое время Шмулик воздерживался от обличений местных властей и восхвалений нового строя в России. Он работал молча, сосредоточенно, не втягивал Шлеймке ни в какие дискуссии и вскоре стал отличным брючником, а ведь начинал с того, что утюжил канты, латал дыры, изредка садился за швейную машину и по указанию Шлеймке учился вышивать в строчку.

Шлеймке удивляли не только портновские способности шурина, но и его начитанность и осведомлённость. Тот где-то в Каунасе раздобыл старый трескучий радиоприемник «Philips», сам его починил и слушал по вечерам новости по-литовски, по-русски и по-немецки, толком не владея ни одним из этих языков.

– Надо всё-таки знать не только о том, что происходит у тебя под носом и под окнами, – миролюбиво сказал он своему учителю.

– Зачем?

– Мы же не на луне живём, не в загоне, как скот, который должен знать, что существует только изгородь да пучок сена.

– Надо, Шмулик, прежде всего, знать не то, что творится за нашими окнами и за изгородью, а что творится в собственной душе и в голове. Там и следует наводить порядок, а не устраивать бунты, – попытался изложить свою точку зрения осторожный Шлеймке.

– Это верно. Но от всего того, что творится в мире, зависит и то, что будет с нами и нашим домом. А что мы с тобой, скажи, пожалуйста, тут, в захудалом нашем курятнике, видим и слышим? Квохчем, поклёвываем по зернышку, высиживаем своих цыплят, радуемся всякой чепухе вроде лишнего цента и больше ни о чём не желаем знать. А если завтра, например, разразится война и начнутся погромы? Ты, например, что-нибудь слышал о злодейских планах такого фрукта, как Адольф Гитлер, и его дружков? Не слышал, конечно.

– А кто он такой, что я должен слышать о нём и о его планах?

– Он отъявленный подлец и ненавистник евреев! Это во-первых. Во-вторых, его сообщники грозятся избавить мир от пархатых кровососов и всех нас выкосить поголовно. Как тебе такая перспектива?

– Мало ли водится на свете сумасшедших.

– Пока, слава Богу, мало, но число их растёт с каждым днём.

– Если ты станешь заниматься подсчётом безумцев и негодяев, то мы, Шмулик, уж точно ничего путного с тобой не сошьем. Тебе надо шить и меньше слушать этот свой поганый «Philips». А о сумасшедших пусть заботятся доктора, – спокойно сказал Шлеймке и повторил: – Надо шить. Только бездельник без остановки чешет языком, а болтовня никакой пользы никому не приносит, а прямиком ведет в худер-мудер. Ты что, по тюремной похлёбке соскучился?

Брезгливое отношение Шлеймке к доморощенным бунтарям вроде бедного пекаря, расстрелянного в назидание его единомышленникам-евреям и одураченным последователям, не помешало Шлеймке и Шмулику не только сработаться, но и подружиться.

Шмулик схватывал всё на лету, был беззлобно насмешлив и необидчив. С ним, завзятым спорщиком и хулителем угнетателей-буржуев, таких, как усатый напыщенный домовладелец Каплер, угрюмому Шлеймке было легко и интересно.

Пригодились перегруженным заботами молодожёнам и недюжинные кулинарные способности Шмулика. Хенка до самого полудня была занята в лавке, а после обеда помогала справляться по дому Этель, приученной только к чтению романов, ежедневному копанию в своей истерзанной разлукой душе и гаданию на картах о туманном будущем. Успевала Хенка посидеть и у постели лежачего реб Ешуа, вручить ему дневную выручку, передать приветы от покупателей и их пожелания – мол, помним вас, реб Ешуа, и ждем, выздоравливайте.

Поэтому Шмулику частенько приходилось для Шлеймке и для самого себя что-то варить, жарить, печь. Вместе ели, а после еды вместе мыли посуду, прекращая споры о мировых болячках и недугах и откладывая конец света на завтра.

Когда Шмулик узнал о намерении увядающего чудака и филантропа Кремницера отписать Хенке свою лавку, как только сестра вернулась вечером домой, устроил ей при Шлеймке настоящий допрос.

– Ну?

– Что – ну?

– Ты, надеюсь, не стала корчить из себя благородную девицу из дома графа Потоцкого или племянницу президента Сметоны и не отказала старику?

– Отказала. А ты хотел, чтобы я согласилась и сломя голову бросилась ему руки целовать?

– Вы только посмотрите на эту гордячку, – надулся Шмулик. – Можно подумать, что у тебя уже есть одна лавка колониальных товаров в Каунасе, на аллее Свободы, а другая – дорогой парфюмерии и женской косметики – в самом центре Парижа!

– Шмулик, – с какой-то примирительной грустью сказала Хенка. – Не строй из себя дурака! Кто на чужое добро зарится, у того никогда своего добра не будет.

– Нет у Кремницеров никакого своего добра. Нет! Леса за Рие-тавасом – не их, и лавки, купленные за вырубленные и сплавленные за границу деревья, тоже не их. Все это добро принадлежит народу.

– Что же, Шмулик, по-твоему, выходит? Что и подаренный на свадьбу «Зингер» тоже не мне принадлежит, а этому твоему народу? – встав на защиту Хенки, поинтересовался у поборника равенства и братства Шлеймке.

Брат Хенки не нашелся, что ответить.

– Не народ, Шмулик, за этим самым «Зингером» сидит. Если хочешь знать, народ – плохой хозяин. Никакой собственностью он управлять или распоряжаться не может. Её приумножают только единицы, так сказать, частники, – снисходительно наставлял на верный путь своего помощника Шлеймке. – Подумай сам – ведь и человека, слава Богу, никто и нигде скопом не делает. Каждый по мере сил и способностей старается производить его на свет без посторонней помощи. Самостоятельно, по-моему, получается куда лучше, чем при полной поддержке народа, – сказал Шлеймке и, довольный своей проповедью, разулыбался.

Хенка поддержала его благодарным взглядом. Тем более что от всех скрывала свою главную тайну – уже два месяца она носила под сердцем своего первенца, уверенная в том, что родится именно мальчик. Свою тайну Хенка твердо решила до поры до времени никому не выдавать, скрывать от всех – даже от собственного мужа. А вдруг возьмёт и ненароком проговорится Рохе, которая ещё совсем недавно советовала ей остерегаться и не спешить с прибавлением семейства, хотя и сама своего старшего – «француза» Айзика – родила в неполные двадцать. Хенка, конечно, понимала, что беременность – это такая тайна, которая с каждым днем саморазоблачается, и никакими уловками её все равно ни от кого не удастся скрыть, но все же хранила упорное молчание, оберегая себя от ядовитых упрёков и брюзжания непреклонной свекрови.

Первая, кто заподозрила, что Хенка беременна, была прозорливая Этель Кремницер.

Они были в гостинной одни. Рафаэль спал, а реб Ешуа в своей комнате томился от одиночества и забвения.

– Ты, милочка, в последнее время, как мне кажется, чуть-чуть раздалась вширь? – с какой-то плутовской подковыркой промолвила хозяйка. – И вроде бы даже ходить стала осторожнее, словно боишься споткнуться даже на нашем гладком паркете. Может, ты уже случайно рыбёшку поймала? Признавайся! На меня ты можешь смело положиться – никому не разболтаю.

Кому-кому, а ей Хенка не могла соврать. Этель сама не раз, пусть прозрачными намёками, пусть негаданными обмолвками, делилась с ней тайнами, которые никому другому не поверяла.

– Поймала, – призналась Хенка.

– В добрый час! Ты не поверишь. Избалованная барышня, неженка, я всегда мечтала народить кучу детей, но Арон всячески сопротивлялся, мол, сейчас многодетные семьи – пережиток, в Европе и в Америке они не в моде. Такие семьи можно, дескать, ещё встретить в недоразвитой, дикой Африке и в глубоком, скучном захолустье, где у провинциалов кроме этого необременительного и

сладостного занятия нет никаких других развлечений. А по-моему, дети никогда не выходили и никогда не выйдут из моды.

Она вздохнула, помолчала и тихо, как будто самой себе, сказала:

– Что ни говори, а ты молодец. В молодости рожать намного легче. Даст Бог, будет у нашего Рафаэля друг или подружка. А может, сразу и друг, и подружка.

– Ой! – вскрикнула Хенка. – Вы мне так напророчите двойню! Одного бы нам прокормить и вывести в люди. Кого Всевышний пошлёт, того с благодарностью и примем.

– Главное, чтобы всё прошло благополучно. Я, к сожалению, в доме росла совершенно одна. Мама, правда, родила двойню. Тогда мы жили в Германии, в Берлине, на Фридрих Шиллер штрассе. Моя сестра Эстер, которая родилась на четверть часа раньше, чем я, не дожила и до трёх лет.

– А что с ней было?

– Врожденный порок сердца. Сейчас мне кажется, что было бы куда лучше, если бы тогда вместо неё умерла я.

– Так говорить грешно. Ведь Господь Бог слышит каждое наше слово. Хозяин жизни, Он может на вас обидеться и за такие ваши слова ещё и наказать.

– Он уже давно наказал меня. Скажи на милость, разве это жизнь? – вырвалось у Этель, и тут её так понесло, что она не могла остановиться: – Живу, как монахиня, под боком тесть с набором болезней и премудростей, муж в бегах... Единственная радость и утешение – Рафаэль.

Хенка не смела её прерывать. Это с Этель бывает. Что-то вдруг нахлынет на неё – и она распахнётся настежь. Но та неожиданно свернула совсем на другую дорожку.

– Я очень рада за тебя. Арон всё время беспокоился о том, кому достанется наш домашний магазин игрушек, которые он со всех стран Европы привозил для своего любимчика. Если у тебя родится мальчик, то пусть он станет их наследником. Надеюсь, ты не откажешься и от гардероба подросшего Рафаэля. Я ничего не выбрасывала, и не из-за скупости, аккуратно всё складывала для его будущего братика: летние и зимние штанишки, рубашечки с вышивкой, замшевые курточки, шапочки с помпончиками, кожаные ботиночки. Но напрасно старалась. А теперь уж, видно, не судьба мне стать матерью во второй раз. Зачем этому добру зря пропадать?

– Доживём до того счастливого урожайного дня... – уклончиво ответила Хенка. – Может, родится не мальчик, а девочка. Но я хотела бы поговорить с вами совсем о другом. Не об игрушках.

– Со мной ты можешь говорить о чём угодно.

– Когда я округлюсь, как бочка, за прилавком в таком виде, думаю, не стоит мне появляться. Придётся найти замену. Реб Ешу туда, к великому сожалению, уже вряд ли вернётся.

– Наверно. Его состояние оптимизма не внушает. Я превратилась в больничную сиделку. Вскрываю среди ночи и бегу к нему в комнату, чтобы удостовериться, дышит ли он или не дышит. – Помолчав, она с печалью продолжала: – Арон настроен решительно: всё имущество в Литве продать и, несмотря ни на какие отцовские отговорки, переехать в Париж. В последнем письме написал, что еврейские местечки – это вообще вопиющая нелепость, добровольная тюрьма, разве

что без решёток и надзирателей, где томятся тысячи и тысячи беззащитных евреев, и что не пройдет и полвека, как всё это вместилище бедности, ограниченности и наивной веры в могущество Господа Бога исчезнет с земли вместе со всеми своими обитателями. Евреи, мол, так самой природой устроены, что им нужен не огороженный скотский загон, а простор, чтобы можно было во всю ширь развернуться.

– Ого! Куда же, по его мнению, мы все денемся? Улетим, как журавли, в теплые страны? Или все умрём от чумы? Тут он, по-моему, пересоллил, – оробела Хенка.

– Такой уж он у нас горячий. Всегда с плеча рубит. Может нечаянно срубить и то, к чему топором и прикасаться-то нельзя.

– Жалко будет с вами расставаться, – сказала Хенка. – Уж вас-то в Йонаве нечем будет заменить.

– До расставания пока не близко. Арон, как ветер, очень порывист и переменчив. Ты ещё успеешь родить, прежде чем окончательно выяснится с нашим переездом, – подбодрила её Этель. – Так что пока можешь дальше спокойно работать.

Домой Хенка возвращалась с тяжёлым сердцем. Арон увезёт отца из местечка, и она, будучи в интересном положении, не только лишится приличного заработка, но и верных друзей. Мысленно Хенка отдаляла срок неотвратимого расставания, но у неё не было сомнения в том, что оно, это расставание, скоро наступит. Хоть бы после всех этих передрыг её благодетель реб Ешуа остался жив!..

Дома Хенка лишний раз убедилась, что плохая новость в одиночку не ходит – к ней обязательно по пути пристроится какая-нибудь скверная компаньонка.

Слёг отец Шлеймке. У Довида была незалеченная чахотка. Время от времени она давала о себе знать громоподобным кашлем и кровохарканьем.

– Он у меня со дня свадьбы только и делает, что кашляет и кашляет. Такое впечатление, как будто он, женившись на мне, мною, словно рыбной костью, подавился. Никогда не забуду, как под хупой мой бедный избранник так раскашлялся, что ни одного слова раввина никто не услышал, – всякий раз рассказывала Роха одну и ту же историю доктору Блюменфельду, за которым Хенка успела сбежать на другой конец местечка.

Доктор наклонился над прикорнувшим Довидом и, не задавая домохозяцам лишних вопросов, невесело сказал:

– Как говаривал в Цюрихе мой учитель – профессор Людвиг Сеземан, «картина тут и без вскрытия абсолютно ясна!». Я принёс швейцарские таблетки. Принимать каждые четыре часа, после еды, в течение пяти дней. И постельный режим – лежать в тепле, лежать, лежать и помалкивать.

– У меня много работы, – сквозь дрему простонал Довид. – Как я могу лежать?

– Я за тебя поработаю, – отозвалась Роха. – Не первый раз берусь за шило и молоток.

– Вы умеете сапожничать?

– Если понадобилось бы, я и лошадь сумела бы подковать, – неожиданно похвасталась Роха. – А уж подмётки подбить – для меня сущий пустяк. Моя невестка Хенка и дочь Хава будут пять дней готовить для нас еду, а я сяду за колодку. Когда Довид хворает, я все-

гда вместо него сажусь сапожничать – молоток или шило в руки, шпильки в рот, и вперед с Божьей помощью!

– Вот это да! – восхитился Блюменфельд.

– Нужда всему научит, – сказала Роха и – что редко бывало – растрогалась: – Какое счастье, что вы здесь! Что бы мы, доктор, делали, если б вы остались со своим Людвигом в этом Рюрихе?

– Не в Рюрихе, госпожа Канович, а в Цюрихе. Есть такой город в Швейцарии, – поправил её Блюменфельд. – Почему не остался? Потому что тут, по-моему, мы чуточку ближе к Господу Богу, да и Он вроде бы ближе к нам, – отшутился доктор. – У истоков реки, у её устья вода, как утверждают, чище. А ведь тут – наши истоки.

– Что-то я, доктор, в местечке Господа Бога пока ни разу не встретила. Может, из-за своей врождённой близорукости не заметила, а может, мы с Ним просто по разным улицам ходим. Когда я топаю по Рыбацкой улице, он вышагивает по Ковенской. И наоборот!.. – Роха раскатисто рассмеялась и, отдышавшись, сказала: – Хенка, подай, пожалуйста, доктору стул.

– Вы лучше сначала дайте больному первую таблетку, а я ещё минуточку-другую с вами постою.

– Бегу!

И Хенка, обрадованная тем, что, пусть и ненадолго, сможет унести подальше свой набухающий живот, бросилась с лекарством к затихшему свёкру.

– Если, как вы говорите, Всевышний в Йонаве чуточку ближе к нам, грешным, чем к тем, кто живёт в больших городах за границей, то почему же здешним людям так нелегко живётся?

– Почему? А потому, что мы ещё тут с вами продолжаем верить в то, что Он неусыпно следит за каждым нашим шагом и печётся не столько о нашем кошельке, сколько о наших душах.

– Ага, – буркнула Роха с нескрываемой обидой. – Мог бы Отец небесный позаботиться и о беднячком кошельке.

– Ничего не попишешь – истинная вера никакими банкнотами не оплачивается. Сами знаете, в чём наша беда.

– Нет, не знаю.

– Беда в том, что золотой телец эту нашу веру уже почти повсюду забодал своими рожками. Но как человек ни преклонялся перед деньгами, а на бессмертие их ни у кого не хватит.

– На завтрашний день не хватает. Что уж говорить о вечной жизни, – сказала Роха.

Ицхак Блюменфельд помолчал и сочувственно оглядел давно не белёные облупившиеся стены. На одной из них в застеклённой рамке на старом дагерротипе сиротливо прижимались друг к другу далёкие предки не то Рохи, не то трудяги Довида.

– А остался я в Йонаве из-за покойного отца, стряпчего и ходатая Генеха Блюменфельда, люди должны его ещё помнить, – выдохнул доктор.

– Как же, как же... Ваш отец евреям на самый верх всякие прошения и жалобы писал – то нашему бургомистру, то в Каунас тамошним властям, – охотно подтвердила Роха.

– Отец в письмах в Цюрих требовал, чтобы я приезжал хотя бы на каникулы. «Я стар. Кто знает, может случиться так, что твои каникулы совпадут с моими похоронами», – как-то написал он и пожало-

вался на недуги и одиночество. Вы не поверите, мои последние студенческие каникулы как раз совпали с его кончиной. С тех пор я со своей матерью Златой и отцом Генехом, да будет благословенна их память, ни разу не расставался и уже никогда не расстанусь.

Доктор Блюменфельд застегнул пиджак, захлопнул свой волшебный чемоданчик и уже у самого выхода промолвил:

– Если реб Довиду станет хуже и снова, не приведи Господь, начнется кровохарканье, сразу же дайте мне знать.

– Дадим, дадим, – осыпала его скороговоркой Роха. – Все давно знают, что когда требуется помощь, то до вашего дома, доктор, намного ближе, чем до Дома Господнего, – не преминула ещё раз попенять Всевышнему сварливая сапожничиха.

Целую неделю Роха сидела за колодкой и с остервенением колошматила по ней молотком, словно вымещая накопившуюся обиду на свою незавидную долю. Больной Довид хриплым голосом с кровати подсказывал ей, какую обувь в первую очередь надо чинить, а какая пускай дожидается его выздоровления.

– Начни с набоек для штиблет ксендза – я обещал его экономке поне Магдалене, что в понедельник будут готовы... У самой колодки кирзовые сапоги балагулы Шварцмана, который клянётся, что у него уже в люльке был тридцать шестой размер, а сейчас – сорок седьмой. Врёт, конечно. Правда, такой огромной клешни я в нашем местечке ни у кого не видел. Но уж не сорок седьмой! Его послушать, так у него всё большое – снизу доверху.

И хихикнул.

– Похабник ты, сквернослов несчастный! Я сама без твоих советов разберусь. Не слепая. А ты поменьше болтай. Лежи и выздоравливай. Раскукарекался, видишь ли...

Не переставая восхищаться сапожничьим умением свекрови, Хенка все-таки старалась не попадаться ей на глаза и по возможности держаться подальше от колодки. Она то вертелась на крохотной кухоньке, то выходила во двор подкормить немногочисленную домашнюю живность – красавца-петуха с гусарской выправкой и трёх обольстительных хохлаток, которые и в будни, и в праздники регулярно, как по расписанию, несли крупные, в желтизну, яйца.

Управившись с приготовлением пищи и уборкой в доме больного свёкра, Хенка отправлялась до позднего вечера на службу к смятенной Этель, которая жила в ожидании команды из Парижа складывать чемоданы в дальнюю дорогу. Домой, к Шлеймке, Хенка возвращалась поздним вечером, чтобы ни свет ни заря снова через всё сонное местечко бежать на Рыбацкую улицу.

Увлечённая в первые дни работой, Роха никакого внимания на невестку не обращала и в мужнином кожаном фартуке с прилежанием орудовала шилом и молотком.

В понедельник, как и говорил Довид, за ксендзовскими ботинками явилась экономка поне Магдалена, сухопарая круглолицая женщина с задумчивыми глазами, подёрнутыми дымкой печали, как будто только что снятая с какой-нибудь старинной иконы. Она расплатилась с Рохой, отказалась от положенной сдачи, бережно вложила в дорожную суму ботинки пастыря и, как птичка, пропичкала:

– Святой отец просил вам передать, что он обязательно помолится за здоровье вашего мужа. Он говорит, что за всех мастеров

надо молиться. И за евреев, и за христиан. Ведь апостолы наши тоже были мастерами, – и, истово перекрестившись, оставила на память в хате сапожника горсть дремучей латыни: – *Laudatur Jesus Christus!*

После ухода Магдалены Роха принялась за кирзовые сапоги балагулы. Она всё время что-то бормотала себе под нос, видно, допытывалась у Пейсаха Шварцмана, как это он ухитряется так быстро сбивать подметки – он же день-деньской не вышагивает по щербатым тротуарам местечка, а восседает на облучке и, любуясь лесами и полями, только помахивает грозным батогом.

Хенка же продолжала метаться от одного дома к другому и по-прежнему играть с Рохой в бессмысленные и утомительные прятки, пока ей в одно прекрасное утро не надоело скрытничать. Ловчи не ловчи – её тайна всё явственней выпирает из-под усеянного ромашками ситцевого платья. Чего она должна стыдиться – ведь понесла же не от безродного цыгана, не от бабника Бердичевского – владельца придорожного кабака, а от её, Рохи, родного сына!

– Я должна сказать вам что-то очень важное, – решив открыться суровой свекрови, сказала она и вдруг замолкла, не зная, как же следует к ней обращаться: угодливое «мама» не подходит, а непочтительное «Роха» застывает на губах.

– Что это за похоронный тон? Если ты действительно хочешь что-то важное мне сказать – скажи без всякого стеснения! Голову никто у тебя не снимет! – наставительно произнесла Роха. – Какие могут быть между нами «цирлих-манирлих»?

– Я жду.

Это всё, что от волнения сумела выдать Хенка, надеясь на догадливость свекрови.

– Евреи испокон веков всегда чего-то ждут. Кто ждёт Машиаха, кто крупного выигрыша в лотерее, кто наследства от родни из Америки. А ты чего, Хенка, ждешь?

– Я жду ребенка, – легко простилась со своей тайной невестка и погладила живот.

– Вот это новость! – воскликнула Роха, вскочила из-за колодки, засоренной обрезками кожи и неиспользованными шпильками, подошла к невестке и уставилась на неё так, словно впервые в жизни увидела. – Не убереглась, значит, – сказала свекровь, скорее радуясь, чем укоряя.

– Не убереглась. Разве с вашим сыном убережёшься? Вы уж меня, растяпу, простите, – вздохнула Хенка.

– За что? – удивилась Роха, от радости забыв о своих предостережениях не торопиться с беременностью. – Неужели надо просить прощения за то, что одним евреем на свете будет больше?

– Может, еврейкой.

– Сойдёт и еврейка. Пошли, порадуем Довида. Радость – самое лучшее лекарство на свете. Жаль, что Бог выдает нам, горемыкам, её только по капелькам. И то редко. – Роха вдруг прослезилась. – В добрый час! Будем теперь, Хенеле, ждать с тобой вместе.

Хенка оцепенела – так ласково её до сих пор называла только мама.

Роха сняла фартук, и они обе вошли в соседнюю комнату, где под стёганным ватным одеялом, глядя на затканый паутиной потолок, лежал больной Довид.

– Хватит, лентяй, болеть! – пророкотала Роха. – Пора браться за дело и зарабатывать на подарок внуку!

– Внуку? Какому внуку? На какой подарок? Кого-кого, а внука мы с тобой, кажется, ещё не сделали.

– Ты раньше в местечке перед всеми хвастался, каких ты, мол, мальчиков мастеришь. Оказывается, что и твой сынок Шлеймке по этой части – тоже мастак. Ты что – не рад?

– Рад, рад. Внуки – это же, так сказать, наши проценты на старости. Сам ничего не вкладываешь, а счет растёт. Хи-хи-хи... – обрызгал Довид жену и невестку мелкими смешками.

– Вы только посмотрите на него! Какие мысли приходят ему в голову! – съязвила Роха.

– Как видишь, приходят. Я свою голову на ночь, как дверь, не запираю. Лежу, смотрю в потолок и думаю о всякой всячине, например, о жизни и смерти.

– Ого!

– О том, зачем мы на этом свете живём. Что от нас останется после того, как мы навсегда простимся с молотком и шилом, с метлой и шваброй? А если ничего-ничегошеньки? Если останется только пыль? Так стоило ли вообще родиться на свет? Ради чего? Только ради полевого камня на могиле с твоим выцветшим именем Довид и фамилией Канович? Вот о чём я думаю, когда не кашляю...

– Думай сколько угодно, но только не кашляй, – не желая перечить мужу и прилюдно подтрунивать над его умственными способностями, произнесла Роха и добавила: – Зима на носу. Тогда с тобой, кашлюном, хлопот не оберёшься.

12

Зима 1927 года выдалась в Литве как никогда суровой. Озорная, искрящаяся солнечными бликами Вилия, которая вместе со своими притоками обвивала Йонаву, как драгоценным ожерельем, была закована в каторжные кандалы льда. Без передышки мели свирепые, непроглядные метели, а снежные сугробы с каждым днём всё ближе и ближе по-воровски подкрадывались к окнам вросших в землю хат, заглядывая внутрь и обдавая жильцов смертным холодом. К счастью, в местечке всю зиму никто не умирал, похоронное братство бездельничало, отдыхало, а оба кладбища – и еврейское, и католическое – плотно и надолго накрыло общим вязким саваном.

Шлеймке уговаривал Хенку, которая была уже на шестом месяце, в холода ни в коем случае не выходить из дома, сидеть в натопленной квартирке и на время отказаться от работы у Кремницеров.

– Простудишься и получишь жалованье не литами, а в виде воспаления легких.

– Из-за морозов Этель отпустила меня на четыре дня и дала мне свою тёплую беличью шубку. В такую же стужу она носила в ней своего Рафаэля и ни разу не заболела. И ещё шерстяную шаль в придачу. Можешь не беспокоиться. Ничего со мной не случится.

– Зачем в твоём положении рисковать здоровьем? Обойдёмся без их полушки.

– А я не из-за денег.

– А из-за чего же? – терзал он её.

– Если я тебе скажу, ты вообще назовешь меня полоумной, – не уступала Хенка.

Разве он поймёт, что за время службы в доме Кремницеров она превратилась из няньки и служанки чуть ли не в полноправного члена семьи. Этель даже намекала, ещё до свадьбы, что если Арон всё же настоит на своём решении и они переедут во Францию, то она с радостью прихватит с собой и Хенку.

Несмотря на все старания Шлеймке и поддакивания Шмулика, им редко удавалось её переубедить. Вот и на этот раз они были вынуждены признать своё поражение. Увязая в снегу и ёжась от стужи, Хенка все-таки отправилась к своим подопечным.

В доме Кремницеров из всех углов на неё повеяло неизбывным унынием. Этель было трудно узнать. Она вдруг состарилась, скукожилась, то и дело судорожно запахивала пушистую кофту, словно старалась унять озноб, хотя в гостиной было довольно тепло. Истопник Пятрас по утрам и вечерам исправно разжигал огонь в кафельной печи и в камине. Да и реб Ешуа до неузнаваемости похудел, с трудом передвигался по гостиной, опираясь на свою любимую палку с толстым набалдашником, на котором был изображен не то миниатюрный крокодил с плотоядно разинутой пастью, не то допотопный ящер. Кремницер садился в обитое плюшем кресло и неотрывно смотрел на роскошную люстру, как на далекую планету, куда, казалось, он и сам скоро собирается переселиться. Иногда он нечленораздельными словами, какими ещё недавно изъяснялся его маленький внук Рафаэль, подзывал Этель или Хенку:

– Пипи, пипи.

И одна из них, чаще – Хенка, реже – Этель, отводила его в туалет. А иногда, чего греха таить, и не попевала.

До болезни реб Ешуа не раз говорил им, что очень хочет упокоиться на родном кладбище в Йонаве. Там, где, по его глубокому убеждению, ещё существует невидимая глазу жизнь мертвых. Там, где он после смерти окажется среди своих близких: мамы Голды, отца Дова-Бера, брата Исаяи и своих многочисленных друзей и благодарных покупателей. А с кем, спрашивал он, я буду общаться на кладбищах в Париже или в Берлине? С жуликоватым торговцем недвижимостью, который и родной-то идиш давным-давно забыл? Или с заносчивым банкиром, который по утрам ни с кем не здоровался? И не доказывайте мне, уверял реб Ешуа, что мы из праха вышли и в прах превратимся! Человек, если он не куча костей с наросшим слоем мяса, никогда весь не умирает. Он и после смерти нуждается в обществе милых его сердцу людей...

Беспомощность реб Ешуа, его беспамятливость угнетали Этель. Боясь, что свёкор действительно умрёт и все похоронные хлопоты лягут на её плечи, она посылала Арону в Париж тревожные телеграммы с настойчивой просьбой срочно приехать в Йонаву. Тот свято обещал, называл даже конкретные даты, но всегда находил какую-нибудь важную причину, чтобы отложить свой приезд.

– Видно, дела его задерживают, – заступалась за Арона Хенка. – Да реб Ешуа пока никуда и не собирается.

– Дела, дела, – повторяла Этель. – Какие могут быть дела, когда отцу так плохо. – И вдруг с болью выпалила: – У него там, видно, появилась женщина.

– Моя мама говорила, что разлука похожа на цыганку-гадалку. Мало ли чего она может нагадать. Не спешите верить её предсказаниям, – сказала Хенка и обняла Этель.

Реб Ешуа смиренно сидел в своем кресле, вертел палкой с живописным набалдашником, полуослепшими глазами смотрел на висящую над обеденным столом потухшую планету и бессмысленно улыбался, и от этой улыбки Этель ещё больше ёжилась. Только Рафаэль прыгал в гостиной со скакалкой и, счастливый, сбиваясь со счета, учился преодолевать первые в своей жизни препятствия.

На исходе зимы Арон внял просьбам жены и прибыл в Литву. Дома он всех шумно расцеловал и одарил привезёнными из Парижа гостинцами. Рафаэлю торжественно вручил огромного плюшевого медведя, Этель – дорогую жемчужную брошь. Для отца приволок в чемодане груды новых лекарств, а Хенке преподнес летнее шёлковое платье в горошек, с воланами и пояском. Не теряя времени, Арон объявил, что долгий период жизни семьи Кремницеров, перекочевавшей из Германии, из родного Дюссельдорфа в Литву и обосновавшейся в Йонаве два с половиной века тому назад, вскоре придёт к своему естественному историческому концу.

– Папу я увезу и устрою в престижный дом призрения с круглосуточным медицинским обслуживанием. А пока не продадим дом и лавку, тебе, Этель, надо набраться терпения и подождать. Скоро я и вас заберу. – Арон глянул на Хенку и, улыбаясь, сказал: – Взял бы я и Хенку, но вряд ли с таким ответственным грузом муж её отпустит.

– Не отпустит.

Арон шутками, улыбчивостью и скороговоркой старался сгладить свою врожденную сухость и деловитость.

– Доктор Блюменфельд – хороший специалист, спасибо ему, но в Париже, я полагаю, лекари более опытные. На чудо в нашем случае, увы, надеяться нечего, но, может, папа под наблюдением именитых французских эскулапов ещё немножко продержится.

– Папа хотел остаться на родине, – осторожно вставила Этель. – Вместе с мамой...

– На родине? – переспросил Арон. – А где, по-твоему, эта наша родина? Там, где мы родились и где единственная наша привилегия заключается в том, что нас хоронит хевра кадиша под звуки древней молитвы? Или там, где мы не отщепенцы, не изгои, не дармоеды и нахлебники, которых винят в подрыве основ и во всех смертных грехах? Нет! Родина там, где нас не лишают возможности жить без всякого клейма, жить и развиваться не по кратковременной барской милости, а по прирожденному праву, наравне со всеми!

– Нет для нас такого места, – спокойно сказала Этель. – Нигде. Ни в Литве, ни во Франции...

– Не буду с тобой спорить. Но что касается папы, то другого выхода я не вижу. Не могу же я в таком состоянии оставить его на попечении милого доктора Блюменфельда, который, кстати, и меня в детстве от кори и скарлатины лечил.

– Поступай так, как велит тебе твое сердце. Это же твой отец, Арон. К сожалению, его самого уже не спросишь, хочет ли он в Париж или не хочет.

– Уверяю, долго вам ждать не придется. У меня уже есть на примете хороший покупатель. Как только окончательно договорюсь, тут

же прикачу за вами. Вы, наверно, думаете, что мне в Париже без вас лучше, чем с вами. Глубоко ошибаетесь!

А как же с гаданьем цыганки-разлуки насчет измены, вдруг мелькнуло у Этель, и хоть полностью эти подозрения она не отвергла, но первый раз в них серьезно усомнилась.

В Йонаве Арон Кремницер пробыл целую неделю, был чрезвычайно ласков и внимателен к каждому, сходил с Этель на еврейское кладбище и поклонился заснеженным памятникам матери и дяди Исаяи. Отогревшись у пышущего жаром камина от стужи и кладбищенской печали, он – в который раз! – попытался заговорить с отцом, но тот снова не узнал его, как будто перед ним был не сын, а залётный странник. Старик молчал и с пугающим любопытством по-прежнему разглядывал свою далекую и манящую.

Перед тем как уехать с беспамятливым отцом из Йонавы в Париж, Арон решил встретиться с доктором Блюменфельдом. Тот ведь назубок знал все болезни своего давнего пациента и партнера по субботнему покеру реб Ешуа.

– От беспамятства, к сожалению, никакого лекарства у медиков нет. Ещё не изобрели. Возьмите с собой препарат для улучшения сердечной деятельности. Не помешает и пакетик со снотворным. Дорога ведь до Франции неблизкая.

Проводы были скромными. Реб Ешуа укутали в семь одежек, вывели из дому под руки и усадили в машину, которую Арон вызвал из Каунаса. Этель с тестем уместились на заднем сиденье, а сам лесоторговец уселся рядом с водителем, тем же сумрачным литовцем, который привёз на свадьбу Хенки новёхонький «Зингер».

Хенка и зацелованный родителями Рафаэль неподвижно стояли возле машины и с грустью смотрели, как те усаживаются. Нянька хлопала носом, вытирала глаза и с трудом удерживала мальчика, раввавшегося к автомобилю.

– Мама скоро приедет, она только проводит дедушку на поезд и вернётся, – успокаивала его Хенка и уже откровенно плакала.

Рафаэль испуганно косился на плачущую Хенку и лениво помахивал отъезжающим теплой варежкой. Машина недовольно заурчала, обдала их голубым облаком газа и лихо рванулась с места.

– А почему ты, Енька, плачешь? – спросил Рафаэль, так и не научившись правильно выговаривать её имя, когда та в детской стала его укладывать спать.

– Я не плачу. Это просто снежинки попали мне в глаза и растаяли.

– А почему мама и папа меня поцеловали, а дедушка – нет? Он всегда меня целует.

– Доктор запретил ему целоваться. Горлышко у него болит, – немело отбивалась Хенка.

– А почему он со мной не разговаривает, молчит и молчит? – не унимался упрямец.

– Потому что дедушка всё, что хотел сказать, уже сказал. Когда, Рафаэль, и мы станем старенькими и друг другу уже всё скажем, тогда мы с тобой, как дедушка, тоже замолкнем. А теперь, миленький, пора спать! – сквозь слезы пробормотала Хенка, не надеясь, что мальчик на самом деле что-то понял из её мудреных рассуждений.

Уложив его в кроватку и насытившись его молниеносным целомудренным посапыванием, Хенка сама легла рядом на диванчик и

стала молиться за своего благодетеля реб Ешуа. Но это не было молитвой в обычном смысле слова, это был беззвучный, с глазу на глаз, разговор с Господом Богом.

– Господи! Реб Ешуа Кремницер был у нас в местечке Твоим достойным посланцем и заслужил Твоей великой милости, – зашептала в темноте Хенка. Она была уверена, что её мысли передаются по ночному воздуху Вседержителю прямо на небеса. Прислушиваясь к тишине и, словно дожидаясь внятного отклика на свою мольбу, Хенка стала перечислять все достоинства и добродетели реб Ешуа Кремницера.

Но тут разговор вдруг оборвался – в своей кроватке заворочался Рафаэль и несколько раз громко и смачно чихнул. Хенка вскочила со своего нагретого ложа, накинула мальчику на ноги шерстяной плед и снова обратилась к Господу Богу – единственному во всем местечке слушателю, который никогда не возражает своему собеседнику.

– Почему же Ты, Всемогущий, не удостоил своей великой милости реб Ешуа? – укоряла она Владыку мира, как укоряет соседка своего провинившегося соседа. – Может, забыл об этом из-за того, что Тебе со всех сторон докучают бесконечными просьбами? Но Ты сейчас, прошу Тебя, сейчас вспомни о нём и облегчи его страдания. Не гневайся на меня, Отец Небесный, растолкуй мне, пожалуйста, почему Ты чаще наказываешь бессилием и немотой тех, кто служит Тебе верой и правдой, чем тех, кто унижает Тебя лицемерием и ложью, хотя и клянется Тебе в любви и почитании?

Тихо посапывал Рафаэль, а нянька ещё что-то, словно в полубреду, бормотала и сама не почувствовала, как от усталости под это безмятежное сопенье Рафаэля уснула.

Но Господь Бог, о котором Хенка теперь думала чаще, чем когда-либо раньше, может, из-за того, что ждала ребенка, может, просто из жалости к смертельно больному реб Ешуа, её Господь Бог явился ей во сне. Почему-то Всевышний смахивал на доктора Блюменфельда, только без его волшебного чемоданчика, без очков в роговой оправе и был совсем по-другому одет. Доктор Блюменфельд носил вельветовый пиджак с потертыми рукавами, сшитый Абрамом Кисиним много лет назад, а Господь Бог был одет в белоснежную тунику из чистого литовского льна. Ей снилось, будто Господь и Блюменфельд встретились в опустевшем от богомольцев палисаднике синагоги. Они все стояли рядышком – она, Господь Бог и доктор Блюменфельд, который всегда заступался перед Отцом небесным за реб Ешуа и воздавал ему хвалу за благотворительство и другие добродетели, не забыв при этом упомянуть и подаренную Шлеймке на свадьбе заграничную швейную машину «Зингер».

– А кто тебе, Хенка, сказал, что я покарал реб Ешуа Кремницера? – попытался защититься Господь Бог и снисходительно глянул на неё. – Ничего подобного! В самые трудные минуты я воодушевлял и поддерживал высокочтимого реб Ешуа. Ты, наверно, хочешь попросить за него. Так не стесняйся же – проси!

– Прошу Тебя, чтобы реб Ешуа живым добрался до Парижа, – взмолилась Хенка.

– Он доберется до Парижа, – ответил ей Господь Бог. – Честное слово, доберется.

Шлеймке и Шмулик не верили в её причудливые сны, которые она сама от скуки сочиняла, когда укладывала Рафаэля, стараясь придуманными «майсес» скрасить не только свои серые будни, но и безотрадное существование родичей.

Но на этот раз её сон оказался вещим и всё счастливо совпало – реб Ешуа с Божьей помощью и впрямь живым добрался до Парижа.

Через неделю после отъезда реб Ешуа Этель, окрылённая обещаниями мужа, поспешила поделиться с Хенкой благими вестями от Арона из Парижа:

– Реб Ешуа сразу же по приезде поместили в один из лучших тамошних домов призрения. Его состояние по-прежнему очень тяжёлое, но не безнадёжное.

– Чтоб не сглазить!

– И переговоры о продаже нашего имущества, кроме лесных угодий, вроде бы продвигаются вполне успешно. Сделка должна состояться ближе к весне. Скоро, как уверяет Арон, мы будем все вместе, а Рафаэль пойдет в первый класс уже не к фанату идиша Бальсеру в Йонаве, а во французскую школу в Париже.

– Грустно будет расставаться, – сказала Хенка.

– Мне уже и сейчас грустно, – призналась Этель. – Если уж Арон посоветовал понемногу избавляться от лишних вещей, стало быть, расставание уже близко. Он у тебя давно спрашивал, кому бы отдать все вещи и игрушки нашего шалуна, когда тот вырастет... Ну, с игрушками всё, по-моему, ясно. Ты их, конечно, заберёшь.

– Сначала надо родить. Свекровь говорит, что, пока цыпленок не вылупился, грех думать о его оперении. Она суеверная. Когда черная кошка перебегает дорогу, Роха застывает на месте, как снежная баба, а потом, оттаяв от страха, сворачивает в другой переулок.

– А сколько тебе осталось с твоим бременем ходить? – спросила Этель, не проявлявшая к Рохе никакого интереса.

– По моим расчетам, я должна рассыпаться в начале будущего года, в середине марта или в апреле. Так говорит и наша знаменитая повитуха, рыжая Мина. Через её руки прошла половина евреек в местечке. Больше у нас не к кому обращаться. Доктор Блюменфельд лечит женщин только до пояса, – и Хенка залилась смехом.

До весны ещё было недели две-три, зима уже начинала чахнуть. Ночами кое-где выпадал нестойкий иней, а днем всё чаще припекало весёлое беззаботное солнышко.

Единственным подлинным провозвестником приближающейся весны старожилы Йонавы по справедливости считали беднягу Авиadora Перельмана.

– Для нищих зима – погибель, – однажды в лютый январский мороз объявил Авиадор плененному ненадолго добряку Шлеймке. Молодой мастер и в прошлом сдавался ему в плен – ни разу не проходил мимо Перельмана, не подав ему какую-нибудь монету, и пользовался у старика большим уважением. – Морозы, метели, сугробы по колено – всё это, извините, не для нашего брата, это для нас всегда оборачивается громадными убытками, – продолжал Авиадор. – Сидишь, черт возьми, целыми днями дома, грызешь вместо французской булки свои ногти и ждешь, когда же птички защечечут, когда ручьи потекут, когда деревья зазеленеют. А весной, как ни крути, наш народ добреет, весной евреи свои кошельки куда охотней рас-

стегают. Весной, Шлеймке, даже собаки на нас, нищих, тише лают. Выйдешь на улицу – благодать, дыши полной грудью, протягивай на каждом шагу руку. А если тебе твои соплеменники ничего и не подадут, то зато хоть руки, как зимой, не обморозишь.

Чахнувшая зима сдаваться без боя не хотела. Она трепала Йонаву студёными северными ветрами и лупила её градом. Но в очнувшееся от спячки местечко на панихиду зимы с пересвистом, курлыканьем и цвенканьем уже слетались стаи пернатых.

Слетались отовсюду в Йонаву не только птицы, но и добрые весенние вести.

Почтальон Казимирас, завзятый собиратель заграничных марок, принёс в дом Рохи сразу два письма: одно – из Франции, другое – с вложенным странным листком на английском языке – из Америки.

– Это, Казис, что за листок? – Роха при нём открыла письмо и уставилась на непонятные литеры. – Это, по-твоему, на каком языке написано?

– На денежном. Это вам из Америки чек на пятьдесят долларов прислали, – объяснил Казимирас Рохе и, глянув на обратный адрес на конверте, сказал: – От какого-то Леа Фишер.

– Леа Фишер – это не мужчина, а наша дочка. Ну уж если фамилия новая, стало быть, Леечка вышла замуж!

– Что ни говорите, а дети у вас, у евреев, хорошие. Они пишут родителям отовсюду, иногда присылают деньги. Не то что наши олухи.

– Да и не от всех наших помощи дождешься.

– Боже мой, сколько ваших уже укатило в Америку, Уругвай, Аргентину, Бразилию, – вздохнул Казимирас, – но родной дом они всё-таки не забывают. Может, я не прав, но если бы не эмигранты, то нашу местечковую почту, наверно, давным-давно закрыли бы на замок, нечего было бы мне разносить и остался бы я без куска хлеба. Разживутся за границами ваши сыновья и дочери и вас заберут отсюда. И останется Йонава, а может, и вся Литва без евреев.

– Не останется Йонава без евреев. Что бы ни случилось на свете, один еврей в Йонаве всегда останется – это Господь Бог, – сказала Роха. – Так что голову себе, Казис, напрасно не морочь и успокойся. Почту твою на замок не закроют. Лучше после субботы приходи за марками. Я их для тебя приберегу. А отклеивать их ты будешь сам.

13

Всякий раз, когда быstroногий Казимирас приносил на Рыбацкую письма из Америки или Франции, Роха принималась печь свой фирменный пирог с изюмом и устраивала дома торжественное чаепитие для всех оставшихся в местечке родичей. Самым грамотным из детей был Шлеймке. Когда-то в хедере он – хоть с ленцой, хоть не ведром, а половником – успел почерпнуть кое-какие знания у свирепого меламеда реб Зусмана. Реб Зусман частенько награждал своего ученика звонкими ударами линейкой по рукам за то, что тот не смотрел в Танах, который учитель заставлял зубрить, а таращился в окно на дерущихся из-за хлебной крохи голодных и суматошных воробьев. В армии Шлеймке подучился литовскому и мог на

нём изъясняться, правда, с сильным акцентом и ошибками в падежах. Ему-то обычно и выпадала в семье честь первому просматривать все казённые бумаги и прочитывать поступавшие из-за границы письма. Опуская несущественные подробности, Шлеймке делал самовольный отбор и, не затягивая чтение, старался всячески приблизить приятный момент расправы с вождеденным пирогом. Обычно он ограничивался только кратким пересказом содержания того, что написали брат и сестра.

– Итак, слушайте, – возвестил он, косясь на ещё не початый соблазнительный пирог. – Наша недотрога Леечка не только удачно выскочила замуж, но вместе с мужем Филиппом открыла в Бронксе лавку. Выбрали они для продажи ходкий товар – миндаль, инжир, изюм, грецкие орехи, чернослив, урюк, финики, фиги, апельсиновые корочки в сахаре, хурму, пряности. И, слава Богу, не ошиблись. Спрос на сухофрукты и пряности превзошёл все ожидания. От покупателей – польских, румынских и русских евреев – отбоя нет. Купили Фишеры и двухкомнатную квартирку, расположенную, правда, в негритянском квартале. Только выглянешь в окно, пишет Леечка, только шагнёшь за порог, и тебе тут же померещится, что ты сам через минуту весь измажешься слоём сажи.

Смех за столом позволил Шлеймке глотнуть чайку и отведать кусочек маминого пирога.

В конце письма Леечка просила у всех прощения за то, что на праздник Пейсах посылает только пятьдесят американских долларов. В будущем году, если эти черные соседи-громилы из снедаемой их зависти не подпустят красного петуха и не подожгут лавку и если доходы будут, к нашей общей радости, расти, Леечка клятвенно обещала свой пасхальный подарок увеличить вдвое, – закончил свой пересказ Шлеймке и сделал передышку.

– А дальше что? – спросила Роха.

– Дальше? А дальше наша щедрая Леечка каждому из нас по старшинству, начиная с её любимой сестрички Хавы и кончая горячо любимым отцом, шлёт не доллары, а сердечные приветы из Бронкса, добрые пожелания и нежно всех обнимает и целует.

Объятья и поцелуи не вызвали такого восторга и благодарности, как чек на пятьдесят американских долларов, и все дружно и охотно «эмигрировали» во Францию, чтобы выслушать, какими добрыми вестями их попотчует Айзик.

Подкрепившись очередным куском пирога с изюмом, Шлеймке взялся за письмо брата. Никакого денежного чека, к большому сожалению, он не обнаружил, но вынул из конверта открытку, на которой была изображена высокая арка, украшенная скульптурами и барельефами, и, не мешкая, пустил её по кругу.

– Эти французы с жиру бесятся, строят посреди города Бог весть что. Разве такая постройка пригодна для жилья или для того, чтобы укрыться в непогоду от ливня? – проворчала Роха, глядя на открытку и протягивая её своему хилому мужу Довиду. – Кому, объясните мне, понадобились эти дурацкие разукрашенные ворота?

– Минуточку, минуточку! Сейчас мы всё с вами узнаем, – сказал Шлеймке и после непродолжительной разведки миролюбиво объявил: – На обратной стороне открытки Айзик собственноручно сделал

приписку: «Эту великолепную арку возвели в честь прославленного французского императора Наполеона».

Никто за столом о Наполеоне толком не знал. Всех интересовали не арки-шкварки, как выразилась языкастая Роха, не императоры, а то, как в этом самом Париже живут-поживают Айзик и Сара.

– И это всё, что после такого долгого перерыва соизволил нам написать твой старший братец? – возмутилась непримиримая Роха.

– Ещё он написал, что дела у них, только бы не сглазить, идут неплохо. Хозяин скорняжной мастерской, прижимистый мсье Кушнер, оказался не таким уж скопидомом – повысил Айзику жалованье на целую треть. Айзик с Сарой намереваются скопить немного франков и на недельку приехать в гости в родную Йонаву или провести свой летний отпуск где-нибудь близ нашего местечка на озерах. А пока пускай все родичи, дай Бог им здоровья, полюбуются дивными красотами неподражаемого Парижа.

– Приедут в гости, когда нас на свете не будет. Положат камешек на могилу и спокойно вернуться в Париж к своим дивным красотам, – с нескрываемой горечью выпалила Роха.

– А в конце своего письма Айзик написал, что они с Сарой уже серьёзно подумывают обзавестись наследником, – попытался Шлеймке утешить приунывшую мать.

– А чего тут подумывать? – вставил молчун Давид. – Тут нечего долго думать, тут мужчине дело делать надо. Взяли бы, Шлеймке, с тебя и с Хенки пример, и вперед!

Чтение писем в родительском доме обычно перемежалось сетованиями Рохи на судьбу-злодейку и горькими слезами. Как ни странно, но от благополучных сообщений Айзика и Леи она испытывала не столько естественную радость, сколько обострённое чувство безвозвратной утраты. Её вдруг охватывала неодолимая, смешанная с обидой тоска и безудержное желание выместить свою злость на тех, кто её оставил.

– На кой мне эти их чернильные нежности и объятья, эти их неживые поцелуи, эти открытки? – вскипела Роха. – На кой мне эти императоры и чужие красоты, которых я никогда в жизни не увижу? На кой мне их доллары? Ведь того, чего я больше всего хочу, этого нигде за деньги не купишь, это не продается ни в Америке, ни в Париже, ни в Йонаве. – Она тяжело задышала, открытым ртом хлебнула воздуха и прохрипела: – Если вы такие уж умники, ответьте мне, о каких детях, по-вашему, мечтает каждая еврейская мама? О бумажных? Из писем с заграничными штемпелями? Со снимков за два франка? Или еврейской маме нужны дети из её плоти и крови?

После этих слов тишина за столом, казалось, смёрзлась в лёд.

И вдруг в этой мёрзлой тишине, как тёплый дымок из трубы в холодное зимнее утро, взвился тихий голос её невестки:

– Уж извините меня, мама, но вы к ним несправедливы, – Хенка впервые осмелилась назвать её так, как до сих пор называла только свою родительницу. – Не обижайте их напрасно. Сейчас, когда я сама жду ребенка, я понимаю, как вам больно, очень больно. Ничего не поделаешь, так устроена жизнь, она дарит, и она же подаренное отнимает. Разве важно, где ваши дети любят вас – рядом на Рыбацкой улице или за тысячи километров отсюда? Главное, по-моему, чтоб они везде были счастливы.

•

– Посмотрим, что ты, Хенка, запоёшь, когда у тебя отнимут самое дорогое, – не осталась в долгу Роха.

– По-моему, для матерей, страдающих от разлуки с детьми, нет на свете выше награды, чем их благополучие и счастье.

Пирог с изюмом родичи до конца так и не доели и разошлись, не поссорившись, но и не договорившись.

– Молодец! – похвалил жену по пути домой Шлеймке. – Это ты здорово ей сказала – главное, чтоб дети были счастливы, и неважно, в Йонаве или в Нью-Йорке. – Он помолчал и, покосившись на её увеличившийся живот, спросил: – Сколько ещё осталось?

– Мало. Совсем мало.

– Ты не собираешься ещё раз показаться этой рыжей кудеснице – Мине? Надо бы. Глаз у неё намётанный. Всякое при родах случается, сама знаешь. Бывает, что приходится в Каунас ехать. Я ради спокойствия даже успел поговорить со своим одноклассником – Файвушем Городецким. У него легковой автомобиль, при надобности он отвезёт нас в Еврейскую больницу; как-никак – друг, вместе футбольный мяч за казармой на пустыре гоняли.

– Собираюсь. По ночам он так колотит ножками, как будто требует, чтобы его немедленно выпустили, – сказала Хенка.

Рыжая Мина по профессии была белошвейкой и зарабатывала на хлеб насущный шитьем блузок с кружевами, а вовсе не родовспоможением. Помощь роженицам она оказывала из милосердия, без всякой корысти. Сама Мина никогда не рожала, рано овдовела. Муж её – шорник Гершон Теплицкий – в молодости утонул в Вилии, и с тех пор несчастливица старилась одна.

– Детей у меня в Йонаве не счесть, – горько шутила Мина. – Правда, у всех у них – другие мамы.

Дородная, с мужскими мускулистыми руками, с копной рыжих волос, упрямо не желавших сесть, Мина по первому зову спешила на помощь не только к роженицам-еврейкам, но и к местечковым литовкам и даже к женам староверов, живущих в окрестных деревнях. Кроме неё в Йонаве не было ни одной иудейки, которую благодарные роженицы-христианки непременно приглашали бы на крестины своих младенцев.

Жила Мина напротив синагоги в одноэтажном кирпичном доме, унаследованном от состоятельных родственников утопленника-мужа. Гостью она знала со дня её появления на свет, потому что принимала у Хенкиной мамы все роды, а шорник Гершон приходился троюродным племянником Хенкиному отцу – Шимону Дудаку.

– Давно меня тут дожидаетесь? – спросила подросшая Мина Хенку, которая долго прохаживалась вокруг её дома и заглядывала в занавешенные окна – не шевельнутся ли на них занавески?

– Недавно.

– Дождь ли льёт, выюга ли воеет, я, душечка, обязательно отправляюсь в синагогу на утреннюю молитву. Утром Господь Бог ещё бодр и внимателен к молящимся. К вечеру Он очень устаёт, как и все старики. А мне, старухе, хочется, чтобы Он выслушал первой не жену мельника Вассермана, а меня. Ведь больше в нашем местечке и не с кем поговорить по душам. Все говорят о деньгах или о болячках. Болячек у всех всегда много, денег всегда у всех мало. Ну ладно, пошли в дом! Во дворе только куры с петухами переговариваются.

Хенка вошла в чисто прибранную светёлку с вазончиками герани на подоконниках, с застеленным цветастой скатертью столом и массивным, из добротного дерева, комодом. На недавно побелённой стене висела единственная фотография – молодой, смеющийся Гершон в рамке, покрытой сусальным золотом.

– Садись, – предложила Мина и подвинула гостье стул. – Ты еще, видно, по утрам беседуешь не с Отцом небесным, а со своим муженьком в постели.

Хенка промолчала. Начало её обескуражило. Ведь она же решила прийти сюда не за тем, чтобы вести такие разговоры о Боге.

– Я тоже с Ним не говорила до страшного дня, когда утонул мой Гершон. Если ты в жизни ещё не теряла тех, кого любишь, не тревожь Его своими мелочными жалобами. Нечего засорять уши Всевышнего всякой шелухой. Он и без того уже давно неважно слышит.

Хенка чувствовала себя неловко. Она хотела, чтобы Мина подсказала ей, как себя вести в последние недели беременности, а затем и согласилась бы принять у неё роды, дала бы на худой конец какой-нибудь совет, но ей неудобно было прерывать хозяйку.

– Ну ладно, – как бы угадав желание Хенки, промолвила суровая, не заискивающая перед роженицами безутешная Мина, – сейчас ты мне покажешь все твои прелести, я осмотрю тебя с ног до головы и попытаюсь сказать, что тебе, душечка, в скором времени судьба готовит – лёгкие роды или тяжёлые.

Повитуха водрузила на переносицу очки в роговой оправе и стала придирчиво осматривать фигуру растерянной Хенки.

– Встань, пожалуйста, вон у того незанавешенного окна. Там больше света. Так лучше видно. А теперь повернись ко мне боком. Так, так, – приговаривала Мина. – Теперь все твои прелести у меня как на ладони. Фигуренция твоя, прямо скажем, для родов не очень-то подходящая. Но против матушки-природы, милочка, не попрёшь. Какой тебя мама с папой слепили, такой ты все отмеренные тебе денёчки и проживёшь на белом свете. А твой арестант, по всему видать, уже томится в своей одиночке. Уже рвётся, бунтовщик, из тюрьмы, уже топает ножками и грозит своему надзирателю кулачками. Отпирай, мол, скорее, по-доброму, по-хорошему прошу. Так или не так? – огорошила Мина своей тирадой Хенку.

– Так. Рвётся. Топает ножками...

– Что ж! Так и должно быть. У человека срок заключения кончается, а его, видишь ли, не выпускают на свободу.

– Почти кончается.

– Так вот, – подытожила суровая Мина, – если судить по твоему животу, арестант твой – весьма внушительных размеров, а таз у тебя, уж ты прости меня за прямоту, подкачал.

– Подкачал? Таз?

– Да, таз. Узковатый он у тебя. Мог бы он, душечка, и пошире быть. Чем шире ворота, тем доверху нагруженному возу легче из этих ворот выкатиться. Боюсь, что в помощницы я тебе не гожусь. Ведь я, милочка, даже не акушерка, действую по старинке – тут нажму, там нажму, пупок отрежу, пупок перевяжу. А ты, голубушка, подумай – если тебе, не приведи Господь Бог, понадобится при родах другая помощь, что мы тогда с тобой делать-то будем?

– Другая? Какая?

– Помощь доктора, а не повивальной бабки. Где ты в нашем местечке таких докторов найдёшь? Не прокатиться ли тебе с твоим бунтарем-богатырем в Еврейскую больницу в Каунас? Будет и у меня спокойней на душе, и у тебя, хорошая моя, страхов поубавится.

– Я подумаю, Мина.

– Ты подумай, а я, моё золотко, наверно, брать грех на душу не стану. Рисковать при родах неразумно. Это из прыщика можно без риска гной выдавить. А такого богатыря, как твой первенец, не выдавишь. Чует моё сердце – нелегко тебе достанется его приход.

– Спасибо, – понурила голову гостя.

Напуганная Хенка решила от Шлеймке ничего не скрывать.

– Мина языком зря молоть не станет, – сказал Шлеймке, когда Хенка поделилась с ним своими страхами. – У неё опыт о-го-го! К её словам стоит прислушаться. На месте рожать, конечно, дешевле, но в Каунасе – надёжнее. Не волнуйся, с Файвушем Городецким я уже договорился. Он не подведет. А ты сиди дома, никуда не ходи. Я предупрежу Этель.

– К ней я сама схожу.

– Смотри у меня! – пригрозил он ей с наигранной строгостью. – Не вздумай только там полы мыть...

Этель и Рафаэль встретили её с прежним радушием, но в их поведении уже сквозила легко уловимая отстраненность. И Этель, и Рафаэль смахивали на утомленных пассажиров, которые сидят на вокзале и нетерпеливо ждут опаздывающего поезда.

– Я не прощаться пришла. Надеюсь, мы до вашего отъезда в Париж ещё увидимся. По-моему, мне удастся справиться быстрее, чем господин Арон за вами приедет, хотя вы оба его и очень ждёте.

– Он приедет в апреле, – сообщила Этель. – К счастью, всё уже продано. И лавка, и дом. Надо только запаковать вещи и перевезти. Кроме мебели. С мебелью морока.

– Главное, что наконец-то вы перестанете жить на два дома и будете вместе с Ароном.

– Не вместе, а рядом. Под одной крышей, – невесело произнесла Этель. – Это будет, пожалуй, поточней.

Хенка машинально кивнула головой. Она рассеянно слушала и думала о Еврейской больнице в Каунасе, о приближающемся небывалом испытании в её жизни. Зацепившись взглядом за пустое плюшевое кресло, в котором обычно сживал угасающий реб Ешуа, Хенка вдруг встрепенулась:

– А как там наш реб Ешуа?

– Ничего хорошего. Ни жив ни мёртв. Арон нанял для него круглосуточную сиделку. Она его одевает, раздевает, кормит с ложечки, укладывает спать, иногда вывозит в коляске под сень каштанов на бульвар. – Этель перевела дух и, как бы давясь словами, выдохнула: – Все люди боятся смерти. А ведь смерть для кого-то – последняя великая Божья милость. Но не будем о грустном.

– Не будем, – поддержала её Хенка, хотя и не представляла, о чём же дальше с ней говорить.

– Уверена, мы ещё встретимся. Жизнь – циркачка, неизвестно, какой кульбит она может завтра выкинуть. Поэтому я решила тебе выплатить жалованье за два месяца вперед, – сказала Этель. – Только, пожалуйста, не возражай. Если же разминёмся, игрушки

Рафаэля и его вещички оставлю у Антанины, домоправительницы покойного Кисина. Когда-то она прислуживала и в нашем доме. Ах, если бы все её соплеменники были такими же славными, как она.

– Что до соплеменников, то у всех они разные. Наши братья-евреи – не исключение. Не всеми можно похвастаться, – сказала Хенка и добавила: – И напоследок: простите, если я за время моей службы что-то не так сделала... или сказала...

– Ну что ты! Лучшей подруги у меня тут не было. Я тебя никогда не забуду, – Этель подошла к Хенке и обняла её. – Рафаэль, ну-ка, поцелуй Еньку!

Рафаэль мгновенно бросился к своей няньке и, когда та нагнула голову, неумело поцеловал её в щеку.

У Хенки предательски заблестели глаза.

– Не робей! Страшно только в первый раз рожать. Всё будет хорошо, – сказала Этель. – Всё будет хорошо, – повторила она. – Я буду за тебя молиться.

Хенка поклонилась и шагнула к выходу.

– А деньги?

– Но ведь я их не заработала.

– Заработала, заработала, – заметалась Этель. – Возьми! В Еврейской больнице никто бесплатно не рождает. – И насилу сунула ей в карман пальто конверт. – С Богом!

Возле входа в синагогу Хенка столкнулась с вездесущим, как сам Господь Бог, Авидором Перельманом. Увидев издали Хенку, он приосанился, причесал шершавой ладонью седые вздыбившиеся кудри и, когда та подошла поближе, картинно поздоровался.

Хенка вежливо ответила ему и, не пускаясь в долгие разговоры, достала денежку и протянула нищему.

– Премного благодарен, – прогудел Авидор. – У беременных легкая рука. Кроме того, получаешь как бы от двоих сразу. – Он ухмыльнулся беззубым ртом. – Не буду задерживать. Тебя, должно быть, ждёт твой Шлеймке. У меня к тебе только одна маленькая просьба – роди, пожалуйста, доброго и щедрого человека. Нищих и богатых, злых и жадных на свете полным полно, а добрых...

– Постараюсь.

У Шмулика подобных просьб не было. Забыв об угнетателях всех мастей, он, как мог, старался перед родами ободрить сестру и привёл ей в пример самоотверженную маму:

– Хочу тебе, Хенка, напомнить, что наша мама родила десять детей, – объявил он таким торжественным голосом, как будто лично к этому был причастен.

– Ну и что из этого, по-твоему, следует? – спросила Хенка.

– А из этого следует вот что: только так можно укрепить наши рабочие ряды. Когда мы, пролетарии, на одного барского сыночка или дочечку произведём на свет по девять своих здоровяков, то всем угнетателям и шкуродёрам уж точно не поздоровится.

– Вот ты сам, Шмулик, со своей будущей жёнушкой эти рабочие ряды и укрепляй силачами и здоровяками.

– Ты что, сестрица, шуток не понимаешь? Я от тебя десяти вовсе не требую.

– Понимаю, понимаю. Но если бы это тебе надо было не сегодня-завтра рожать, ты не стал бы со мной такие шуточки шутить.

Ночью у неё начались схватки.

Шлеймке бросился будить своего друга Файвуша Городецкого, который одним из первых в Йонаве пересел с облучка телеги за руль подержанного американского «Форда». К счастью, Файвуш не спал, и оба тут же направились к машине.

По пути к роженице они заехали на Рыбацкую к Рохе, которая тут же вызвалась сопровождать Хенку до самой больницы. Но мужчины уговорили её остаться – а вдруг, мол, какой-нибудь заказчик постучится в дверь опустевшей мастерской и спросит, где же мастер, который велел ему прийти на примерку.

Пока притихшая Хенка сидела и корчилась от боли, Шлеймке торопливо собирал нужные для роддома документы, Файвуш заводил страдающий астмой мотор, мешая Эфраиму Каплеру уснуть по его неотменимому расписанию, а Роха подбирала тёплую одежду для Хенки, чтобы в дороге не простудилась. Ночи в конце марта были ещё холодными. Кое-где в оврагах и низинах белели островки снега, а на окнах поблёскивали затейливые кружева изморози.

До Каунаса ехали долго. Файвуш Городецкий вёл по мощённому булыжником пути свой выдавший виды «Форд» с опаской, боясь растряссти доверенный ему драгоценный груз, и молча вглядывался в тускло освещённую фарами темноту. Молчал и Шлеймке.

– Вы чего это молчите, как на кладбище? – вдруг послышалось с заднего сиденья.

– Мы думали, что ты спишь, – отозвался Шлеймке. – Не хотели беспокоить.

– Да, с таким спутником, как мой бунтовщик, поспишь... – вздохнула Хенка. – Дай Бог нам до больницы добраться. А до Каунаса ещё далеко?

– Больше половины пути мы уже отмахали, – сказал неразговорчивый Файвуш. – Через четверть часа к городской черте подъедем.

– Потерпи немножечко, – попросил Хенку Шлеймке.

Машина и впрямь вскоре въехала в погрузившийся в глубокий сон сумрачный пригород Каунаса, наобум застроенный дряхлыми деревянными домишками. Петляя по улицам и переулкам, «Форд» медленно приближался к цели – к знаменитой на всю Европу больнице. Иногда из какой-нибудь подворотни выскакивала, словно ошпаренная фарами, бездомная собака, и Городецкий резко нажимал на тормоза, а Хенка вскрикивала от испуга.

Наконец из густого враждебного сумрака выплыла и ярко высветилась своими многочисленными окнами приютившаяся в старом городе Еврейская больница.

Файвуш высадил пассажиров, пожелал грузной и неповоротливой Хенке удачи, развернул машину и, подкрепив добрые пожелания протяжными автомобильными сигналами, покатил обратно.

Первое, что поразило Хенку и Шлеймке, было не внушительное здание больницы, а приёмный покой, где и сестры, и доктора, и уборщицы говорили на идише, как в каком-нибудь йонавском дворе.

– Добрый день, – сказал коренастый чисто выбритый мужчина, в белом халате и круглой белой шапочке. Он принял у Шлеймке документы и, тщательно изучив их, пробасил: – Будем знакомы. Я – доктор Бенцион Липский, заведующий гинекологическим отделением. Прошу вас подняться со мной на второй этаж для первоначаль-

ного осмотра, – обратился он к роженице. – А вас, к сожалению, я буду вынужден разлучить с вашей женой до её выписки. Посторонним лицам находиться в нашей больнице строго запрещено. У вас в Каунасе есть место, где вы могли бы переночевать?

– Есть. У брата.

– Вот и хорошо. А утречком приходите. Спросите внизу доктора Липского, я выйду к вам и всё подробно расскажу. А теперь поцелуйте свою вторую половину и – до свидания, до завтра.

Ошарашенный муж так и сделал – нескладно обнял Хенку, поцеловал и пожелал удачи. Доктор откланялся и вместе с Хенкой исчез в длинном, пропахшем лекарствами загадочном коридоре.

На ночлег к брату Мотлу Шлеймке не отправился. Город он знал плохо, немудрено было и заблудиться. Поэтому он благоразумно решил дожидаться наступления утра под светящимися окнами больницы. Всё равно он сейчас нигде не сможет уснуть.

Никогда Шлеймке не чувствовал себя таким одиноким и беспомощным. Он кружил вокруг трехэтажного здания, стараясь угадать, за каким залитым желтым светом окном корчится от боли Хенка. Небо было затянуто плотной рогожей облаков, только иногда они, как овцы, разбредались в разные стороны, и в образовавшейся пыли вспыхивали затерявшиеся звёзды, с которыми Шлеймке первый раз в жизни принялся беззвучно переговариваться. Он вспомнил слова матери, что звёзды – это глаза рано умерших невинных младенцев, и его вдруг охватила неодолимая оторопь. Шлеймке отвел от небосвода взор, но звёзды, как будто преследуя его, по-прежнему сияли перед ним во всей своей яркости и блеске.

Когда утром к нему выйдет с доброй вестью доктор, Шлеймке отправится к брату Мотлу, побреется, помоеется, купит в цветочном магазине самый большой букет роз и помчится в Еврейскую больницу, к Хенке и новорожденному сыну. Ему очень хотелось, чтобы родился мальчик, он даже для него уже имя придумал – Барух. Благословенный. Мысли о сыне вытеснили из головы все тревоги и страхи, посеянные повитухой Миной.

Занималась заря. В окнах больницы стал постепенно гаснуть припорошенный болезненной желтизной свет. Только из операционной в тающий сумрак продолжало изливаться ослепительное свечение низко свисающих с потолка ламп. Судьбоносная ночь подходила к концу, и наступал, как сказано в Писании, день первый.

Озабоченный Шлеймке несколько раз справлялся в приёмном покое у миловидной барышни про доктора Бенциона Липского, но всё время получал от неё вежливый, но неопределённый ответ:

– Доктор Липский сейчас либо на обходе, либо на операции. Зайдите, пожалуйста, чуть позже.

На вопросы, когда же он примерно освободится, учитывая барышня только недоумённо пожимала плечиками и кокетливо строила статному сероглазому посетителю глазки.

Голодный, измученный дурными предчувствиями, Шлеймке неотрывно следил за каждым спящим в приёмном покое человеком в белом халате, но доктор Липский как сквозь землю провалился.

И только часа через два Шлеймке увидел, как тот медленно спускается по лестнице, и в нарушение всех больничных запретов бросился к доктору навстречу.

– Похоже, вы всю ночь под окнами простояли, к брату не пошли.

– Не пошёл.

– От стояния под окнами больному легче не становится. И давно вы меня тут ждёте? – произнёс мощный Бенцион Липский ровным бесцветным голосом, которым привык сообщать и плохие, и хорошие новости.

– Давно.

– Наверно, от долгого ожидания вы изрядно изнервничались.

– Да.

– Нам надо с вами серьёзно поговорить.

По хмурому непроницаемому лицу доктора Шлеймке понял – случилось что-то непоправимое.

Они прошли в холл, сели за небольшой журнальный столик друг против друга, и Шлеймке, не дожидаясь, пока Липский заговорит, вдруг выпалил:

– Скажите, доктор, моя жена жива?

– Жена ваша жива, жива, – с поспешностью и подчеркнутой услужливостью откликнулся Бенцион Липский.

– Это главное, – выдохнул Шлеймке.

– Роды были тяжелые. Не обошлось, увы, без крайнего средства – кесарева сечения, то есть без операции на брюшной полости.

Наступившая пауза длилась недолго. Но в холле вдруг стало нестерпимо душно.

– Во всех клиниках мира такая операция, – после передышки продолжал Бенцион Липский, – до сих пор сопряжена с большими рисками и опасностями для матери и ребенка. Но в исключительных случаях врачам не остается другого выхода – приходится браться за скальпель. – Бенцион Липский пустился в рассуждения об ограниченных возможностях медицины, чтобы хоть ненадолго оттянуть печальное известие. – Жизнь вашей жены мы, слава Богу, сохранили, а вот ребёнка, несмотря на все наши усилия, спасти не удалось.

– Это был мальчик? – задушенным от горя голосом нашёл в себе мужество спросить Шлеймке.

– Да. Поверьте, мы сделали всё от нас зависящее. Но доктора не Боги.

Шлеймке угрюмо слушал и после каждого объяснения только всё больше мрачнел.

– Сочувствую вам всем сердцем, – скорбно произнес Бенцион Липский. – Но как ни горька правда, врачи не могут по требованию больного или его ближайших родственников отменять или замалчивать её.

– Когда я смогу навестить жену? – замороженными губами прошептал Шлеймке.

– Думаю, что завтра-послезавтра.

– А когда их можно будет обоих забрать отсюда и увезти домой... в Йонаву?

В холле наступила вязкая, болотная тишина. Казалось, слышно было, как у недавнего солдата Шлеймке под холщёвой рубашкой ухает сердце.

– Когда? – простой вопрос застал Бенциона Липского, закалённого чужими несчастьями, врасплох. Он не знал, что ответить. – Спрошу у профессора Ривлина. Жену, может, через неделю, может,

чуть раньше. В зависимости от того, как будет проходить заживление. – Доктор Липский помолчал, избегая самой болючей темы – мертворожденного ребенка. – А вы, господин Канович, поезжайте-ка домой! В беде нельзя долго оставаться одному.

– Нет, нет, – отрезал Шлеймке.

– Вы здесь только ещё больше измучаетесь. И как бы вам самому не понадобилась помощь медиков. Тем, что будете круглосуточно кружить вокруг больницы, вы ей не поможете. Так и быть – в порядке исключения я разрешу вам навестить вашу жену. Но с одним условием. Пять минут. И ни одной минуты больше. Я засеку время. Иначе меня за самоуправство выгонят из больницы. Идёмте!

Хенка лежала в просторной палате на высоких белых подушках. Её густые волосы как будто растрепало ветром, и они упрямо наползали на прикрытые глаза, но она их не откидывала, как черную, траурную вуаль.

– Ты? – Хенка безошибочно узнала мужа по медвежьей походке и дыханию.

– Я... – он наклонился к постели и осторожно прикоснулся небритой щетиной к щеке Хенки, которая вдруг безудержно зарыдала.

– Не плачь. Будь умницей, не плачь... Я тебя очень, очень... ну ты сама понимаешь... – как в бреду, повторял он, готовый и сам навзрыд заплакать от горя и злости на судьбу. – Чего-чего, а этого никто и никогда у нас не отнимет. Ты меня слышишь? Никто. И никогда. До самой смерти будем друг друга... – он не договорил, захлебнувшись от собственного беспомощного признания в любви...

– Как, Шлеймке, дальше жить? Как? – простонала она, и слова её снова потонули в судорожных рыданиях.

– Будем жить. Горе – это ведь, Хенка, не преступление, беда – это ведь не позор.

И тут он услышал скрип двери и заторопился.

– Я скоро приеду... скоро...

Неумолимый Бенцион Липский сжалился над ним и добавил ему ещё минуту на прощальный поцелуй. Шлеймке прильнул к жене, и две крупные слезы скатились на белое, как саван, одеяло.

Слух о несчастливых родах облетел всё местечко. Как говорила Роха, несчастья у евреев всегда обгоняют черепаху-радость, которая общей бывает редко.

Сразу же по приезде в Йонаву Шлеймке отправился к рабби Элизеру. В знак великой скорби тот долго молчал, сдержанно, по-пастырски охал, вздыхал, теребил свою бороду с проседью и печально изрёк:

– Да укрепит Господь твой дух, майн кинд.

– Я пришел к Вам, рабби, за советом. Как быть, когда я его привезу сюда?

– Вопрос твой понятен, сын мой, – Рабби Элизер снова подоил свою кишашую мудрыми мыслями бороду и сказал: – Мертворождённых младенцев мужеского пола не велено обрезать и нарекать каким-нибудь именем. Запрещено сидеть шиву и ставить им на могиле надгробный памятник. И хоронить их должно без кадиша.

– То есть – просто закопать?

– Да. Родителям и родственникам, правда, при этом не запрещается посещать место захоронения и с подобающим прилежанием

за ним ухаживать. Свяжись с Хацкелем, главой похоронного братства, он тебе всё объяснит и всё сделает как положено.

– Этот «немец» ничего не знает. Никто не может нам запретить сидеть шиву, – возмутилась Роха. – Что с того, что рабби Элизер не запишет его имя в Книгу судеб. Обойдемся и без его записи. Памяти безымянной не бывает.

– Может, всё-таки дождёмся Хенки, – предложил Довид. – Без неё как-то неудобно.

– Не стоит растревлять и без того её истерзанную душу. Подумайте сами – сначала похороны, а потом шива. Человек может и не выдержать, – промолвила Роха. – Всем миром такую страшную утрату не лечат.

Вняли её голосу, а не Довида и не этого тильзитского «немца» рабби Элизера, и обе семьи в течение семи траурных дней исправно сидели дома и никуда не выходили.

Даже богохульник Шмулик вопреки своей твердой уверенности, что Бога придумали эксплуататоры, чтобы задурить голову трудящимся массам, смиренно скорбел вместе со всеми.

– В горе надо проявлять пролетарскую солидарность, – сказал он, усаживаясь рядом с шурином. – Сегодня моя сестра мне дороже всякой справедливости.

На скорбные посиделки не погнушался прийти и домовладелец Эфраим Каплер – в бархатной ермолке, с чёрной ленточкой в петлице; забежал подвыпивший маляр Евель с ведёрком краски и кистью; посетили дом на Рыбацкой улице тишайший доктор Блюменфельд и повитуха Мина.

Не преминул отметить своим присутствием и выразить свое искреннее и бескорыстное сочувствие скорбящим и Авигдор Перельман.

– Никто, Шлеймке, не может понять, как тебе тяжело, – сказал он, сев напротив него за поминальный стол. – Мне так тяжело никогда в жизни не было. Было голодно, холодно, одиноко. Не раз хотел на себя руки наложить и сказать всем «адыю», да воли у меня, слабака, не хватило. Но с такой бедой я всё-таки не сталкивался. Ты только, солдат, не раскисай, не сдавайся. У тебя ещё всё впереди. Не то что у меня, никчемного человека. Я ведь уже прожил все возможные времена – прошлое, настоящее и даже будущее. И слава Богу, что нет четвёртого времени.

– Спасибо, Авигдор, спасибо, – ответил Шлеймке, не уверенный в том, что тот поставит точку.

И угадал.

– Если можно, ещё пару слов вдобавок.

– Можно.

Шлеймке не мог ему отказать, хотя его, как и всех в местечке, раздражала чрезмерная склонность Авигдора к мудрствованию и суесловию, к которым он пристрастился в Тельшайской ешиве.

– Лучше, конечно, было бы, если бы твой сынок родился живым и здоровым. Но ты на меня, ничтожного червя, не сердись за мои слова. Я всегда говорю то, что думаю, потому что уже никого и ничего не боюсь.

– Знаем, знаем, – подтвердил Шлеймке, пытаясь остановить его излияния.

– Может, твой мальчик в последнюю минуту передумал – не пожелал выходить в этот паршивый, трижды проклятый мир и остался в чреве матери. Там ему было тепло и сытно. Ты только на меня, Шлеймке, не сердись. Если наш безжалостный Бог наказывает таких добрых людей, как ты и твоя Хенка, зачем, скажи, нам вообще нужен такой начальник, как Он? Мог же Всевышний отдать все мои семьдесят четыре года кому-нибудь другому, глядишь, другой прожил бы более достойную жизнь, чем я.

Он посидел ещё немного, съел булочку с маком, запил сельтерской, подремал на стуле, встал и начал собираться.

– Пора возвращаться на свое рабочее место – на тротуар, – сказал он и, сгорбившись, ушел.

– Я думал, он свихнувшийся, а у него светлая голова и вполне развитое классовое сознание, – удостоил Авигодора Перельмана мелкой монетой похвалы Шмулик.

– С его умом он мог бы стать раввином, – сказал Шлеймке. – Но Авигдору не повезло. Его Хаечка сбежала с каким-то приказчиком, а он вместо того, чтобы найти себе другую жену, увязался за какой-то заезжей бабой, и всё полетело в тартарары. А потом, когда от него удрала и эта блудница, жизнь Авигодора галопом покатилась вниз: началось с браги и кончилось бездомностью и нищенством.

Вскоре стали расходиться и другие сидельцы. Последней квартиру Рохи, выстуженную печалью и невозвратной утратой, покинула повитуха Мина.

– Береги Хенку, – сказала она Шлеймке. – Теперь ей надо заново родиться.

За день до окончания семидневного траура Шлеймке отправился в Каунас. От автобусной остановки до Еврейской больницы он добирался резвым солдатским шагом.

В приемном покое он сразу обратился к своей старой знакомой – миловидной кокетливой барышне с просьбой немедленно связать его с доктором Бенционом Липским. Та ничего ему не ответила, сняла трубку и позвонила в родильное отделение.

– С вами, доктор, желает срочно встретиться один посетитель. Он говорит, что вы его знаете и что он уже раз приходил сюда к жене-роженице.

– Кто такой? Откуда? – поинтересовался доктор Бенцион Липский на другом конце провода.

– Минутку!

Барышня вопросы доктора переадресовала Шлеймке.

– Из Йонавы. Канович, – сказал приунывший Шлеймке.

– Спасибо, – барышня благодарно повернула к гостю свою изящную, словно вылепленную головку и четко передала по телефону доктору в родильное отделение все сведения. Дождавшись оттуда ответа, она заморгала своими глазками-вишенками и сообщила Шлеймке: – Господин Липский будет к вашим услугам через четверть часа. Доктор очень сожалеет, что никак не может с вами встретиться раньше.

Липский пришёл ровно через четверть часа, поздоровался и тут же предложил Шлеймке выйти с ним во двор и без помех, с глазу на глаз, на свежем воздухе потолковать о серьезнейшем деле. Когда оба примостились на деревянной скамейке, он вдруг осведомился:

– Вы не курильщик?

– Нет.

– А я до сих пор, представьте, не могу отвыкнуть. Бросал несколько раз и через день-два снова начинал коптить небеса. Не возражаете, если я немного подымлю у вас под носом?

– Не возражаю.

– А теперь – о деле. Возле костёла – стоянка извозчиков. Вы берите повозку и подъезжайте к больнице. На первых порах вашей супруге надо избегать лишних нагрузок, чтобы, не приведи Господь, не разошлись швы. – Он полез в карман, достал портсигар с монограммой, вынул папиросу и закурил. – Как вы сами понимаете, с той чудовищной ношей, которую вам выдадут в больничном морге, ходить по городу невозможно. У нас в таких прискорбных случаях с согласия родителей иногда хоронят на ближайшем еврейском кладбище, – Бенцион Липский глубоко затянулся и, запустив в небо голубое колечко, продолжал: – Надеюсь, вы не считаете меня извергом или мясником. Я тоже отец и прекрасно понимаю, какую цену вы всеми своими нервными клетками платите за то, что произошло. Моя плата, конечно, несравнимо меньше, чем ваша. Но, поверьте, и я плачу! Но я доктор. И мой долг при необходимости вовремя включать сирену, возвещающую об опасности.

– Я, конечно, возьму извозчика. Иначе я и не думал, – сказал Шлеймке.

– Вы, по-моему, человек стойкий, не хлюпик и не размазня.

– Да. Не к лицу мужчине расслабляться, но всему есть предел, – произнес Шлеймке. – С вашего позволения, я, пожалуй, пойду за извозчиком.

– Да, да, сходите, голубчик, это совсем недалеко, костёл отсюда хорошо виден. Но я как врач должен ещё кое-что вам сказать.

– Слушаю.

– Вашей жене, к сожалению, лучше больше не беременеть. Последствия повторной беременности могут обернуться для неё катастрофой. Это не только моё мнение, это мнение консилиума.

– Консилиума?

– Совета врачей. Только вы, ради Бога, как можно дольше ей об этом не говорите. Надеюсь, вам не надо объяснять, что среди всех живых существ на свете более самоотверженных, чем любящие женщины, нет. В своей любви они не останавливаются ни перед чем. Вплоть до безумия и самоубийства. Они абсолютно не считаются ни с какими врачебными советами и запретами.

– До сих пор у меня от моей жены не было никаких тайн.

– Тем не менее – будьте осторожны. Осторожность ещё никому не повредила.

– Благодарю вас за предупреждение.

На площади в ожидании седоков скучали возницы. Шлеймке остановил свой взгляд на первом же попавшем в его поле зрения – приземистом нахохлившемся от безделья и скуки носатом мужичке, похожем не то на оседлого цыгана, не то на соплеменника-еврея.

– Свободен?

– Йе, – ответил возница на чистейшем идише. – Залезай!

– Я не один. Надо подъехать к Еврейской больнице. Я там возьму жену – и на автобусную станцию.

– За деньги куда угодно. Хоть на край света. Хоть в Палестину. Почему бы нет? Ха-ха-ха! – заржал он. – Залезай, залезай! Евреям скидка. Десять процентов! А на большие расстояния скидываю даже пятнадцать-двадцать.

Подкатили к входным дверям Еврейской больницы, Шлеймке в сопровождении доктора Липского поднялся на второй этаж и вывел под руку из палаты еле живую, словно окаменевшую Хенку. Внизу их уже ждал рослый санитар с тщательно завернутым в простыню тельцем моего мертворожденного брата. Шлеймке попрощался с доктором и помог Хенке забраться в бричку.

Был март 1928 года. Литва только что торжественно отпраздновала десятилетие своей независимости, и по всему городу на всех еврейских и литовских домах победно ещё развевались на ветру чуть примятые трехцветные праздничные флаги.

– Вьё-о-о, Песеле! – выкрикнул извозчик. – Она у меня в Каунасе знает каждый адрес. Скажешь ей: Песеле, к ресторану «Метрополь», к Офицерскому собранию или к резиденции президента Сметоны, с которым наши богатые еврейчики по вечерам в карты режутся, моя лошадь без всякого понукания сама вас довезёт. Мы с ней не первый год утюжим эти улицы, катаемся туды-сюды. Надо же – четвероногое животное, а голова у неё прямо-таки еврейская.

– Нельзя ли попросить вашу умную Песю, чтобы она бежала не очень резво, не то она из нас всю душу вытрясет. Жена после тяжелой операции. А на автобус мы не опаздываем.

– Понял! Моя Песеле чаще всего трясёт наших недругов. Она, скажу вам, чует антисемитов на расстоянии. Но стоит ей только услышать от седока маме-лошн, как она тут же переходит с рыси на лёгкий шаг, – продолжал балагурить возница. – Она у меня большая любительница идиша. Только говорить не умеет. А жаль.

Хенка сидела неподвижно, отрешившись от всего, что её окружало. Казалось, ничего, кроме тупой ноющей боли, для неё не существовало. Она не замечала ни мужа, ни балагура-возницы, не обратила никакого внимания и на Бог весть откуда взявшийся сверток, белевший на коленях онемевшего Шлеймке.

Шлеймке не решался заговорить с ней, он и сам был совершенно подавлен и прятал свое отчаяние и растерянность в глубокий, захлопнутый железной крышкой погреб молчания.

Цокала копытами послушная Песя, бормотал себе под её цокот какой-то пошлый мотивчик разудалый возница, и выморочный город, словно во сне, проплывал мимо, как гряда надгробных камней.

– Приехали! – сказал балагур и вежливо попросил Песю остановиться.

Шлеймке расплатился с ним остатками Хенкиного жалованья, и вскоре они пересели на рейсовый автобус.

Пассажиров можно было пересчитать по пальцам. Водитель, плечистый, немногословный литовец, в отличие от Песи никого не щадил. Он не объезжал ни рытвины, ни выбоины, ни корневища на дороге. Машина трещала, подпрыгивала, как громадная лягушка. Хенка придерживала ладошкой норовившее вырваться разбушевавшееся сердце, а Шлеймке то и дело прижимал к груди сверток, чтобы тот, не приведи Господь, не упал бы и не раскрылся а виду у всех пассажиров.

По просьбе Шлеймке никто его на станции не встречал. Встретят и начнут допытываться: что, да как, да почему? Господь Бог евреев, лишенных любопытства, не создал. Видно, поэтому они в любое время и по любому поводу донимают бесконечными вопросами не только друг друга, но и Его самого на небесах.

Как говорит неисчерпаемый Шмулик, каждый нормальный еврей состоит из одних подкожных вопросительных знаков.

Маленькая квартира была битком набита родичами с обеих сторон. Пригласила Роха и доктора Блюменфельда – мало ли что может произойти с Хенкой, которая ещё не оправилась от несчастья.

– Как хорошо, что ты уже с нами, – сказала моя бабушка своей невестке. – Храни тебя Господь. Всегда и всюду.

– Омейн, – прогудел мой дед сапожник.

Его тут же поддерживали родители моей мамы, которые дружно повторили за сватами:

– Омейн.

– Все мы желаем вам скорейшего выздоровления, – сказал доктор Блюменфельд, но не мог удержаться от наставления: – Дорогая Хенка, теперь надо отключиться от всего, что было, и сосредоточиться на том, что будет. Пожалуйста, не уговаривайте себя, что солнце навсегда закатилось. Наступит утро, и оно всё равно взойдёт.

Хенка в ответ не проронила ни слова, смотрела на всех отсутствующим взглядом и улыбалась так, что все ёжились от её обречённой улыбки.

– Неразумно, дорогая, тушить огонь, подбрасывая в него сухие поленья, – почти шёпотом произнес Ицхак Блюменфельд, а перед тем как попрощаться, добавил: – Оставляю вам пакетик с безвредными пилюлями снотворного. Примите одну пилюлю, и утречком встанете бодрой.

К снотворному Хенка не притронулась и уснула только под утро.

– Шлеймке ушёл, скоро вернётся, – объяснил ей Шмулик, когда сестра проснулась.

– Куда?

– Не знаю.

Велеречивый Шмулик был на редкость скуп на слова, хотя знал, что Шлеймке ушёл договариваться с главой похоронного братства Хацкелем Берманом о дне погребения мертворождённого сына.

На обратном пути Шлеймке завернул на Рыбацкую к матери.

– Чего это среди бела дня ты к нам заявился? – спросила Роха.

– Был у Хацкеля.

Имя нелюдимого гробовщика Хацкеля Бермана звучало в Йонаве как пароль.

– Ясно. Когда похороны? – только и спросила моя бабушка.

– Завтра. Я забежал, чтобы посоветоваться с тобой. Хенку брать или не брать?

– Ты что, с ума сошел? Хочешь её добить? Не брать, конечно. Когда она окрепнет, все вместе туда и сходим. От живых всё равно ничего не утаишь. Хацкель Берман первый проговорится о том, кого он похоронил.

Моего старшего брата Баруха – Благословенного, ни разу не запеленатого в пелёнки и не кормленного молоком матери, не записанного ни в одной повременной книге, похоронили на закате солн-

ца между двух молоденьких, стройных сосёнок, ещё не обжитых крикливыми и равнодушными к мертвым воронами. Последние солнечные лучи предвечерним золотом нежно окрасили края глубокой могилы, слишком просторной для такой крохи. Оба моих деда в сатиновых ермолках, обе бабушки в черных платках и в длинных платьях до пят, мой неверующий отец в картузе с твёрдым парусиновым козырьком, а также дядя Шмулик, будораживший земляков своими боевыми призывами к свободе и всеобщему равенству, неподвижно стояли над вырытой ямой. И все вздрагивали от каждого хлопка падающей с лопаты мокрой, ещё не оттаявшей за зиму глины. Суеверный дед Шимон едва слышно читал запрещённый рабби Элиззером кадиш. Могильщики вытирали со лба праведный пот и разравнивали для красоты безымянный холмик.

Солнце село за тучу, и родичи молча разошлись по домам.

Две недели Шлеймке не притрагивался к иголке, не взнуздывал своего железного коня. Недовольные заказчики обивали порог и торопили его, грозясь перейти к Гедалье Банквечеру, но он отделивался обещаниями и занимался только Хенкой.

На «Зингере» строчил Шмулик, отгоняя свою врожденную и спасительную лень куплетами русской революционной песни о вихрях враждебных, которые веют над всеми бедняцкими головами.

При сестре Шмулик умерял свой гневный голос до шёпота, ибо вся квартирка была пронизана не враждебными ветрами мести и ненависти, а уныньем и печалью. Он и Шлеймке всеми силами старались вывести Хенку из пугающего состояния полного безразличия ко всему, что происходило вокруг. Она сторонилась всех близких, избегала встреч с роднёй, относилась с какой-то брезгливостью к словам утешения и участия, не отвечала на вопросы, пропуская мимо ушей натужные шутки, сидела с утра до вечера у открытого окна, смотрела на прохожих, на плескающихся в лужах непривередливых воробьёв и на свадебные пируэты голубей. Стоило ей на улице услышать плач или крик ребенка, Хенка тут же задёргивала занавеску и пальцами затыкала уши. По примеру повитухи Мины она стала регулярно ходить в синагогу и подолгу горячо и неумело молиться.

Иногда к ней, почти невменяемой, подходил деликатный рабби Элиззер и, впадая в ересь, говорил:

– Бывают в жизни такие случаи, когда Всесильный Бог, как простой смертный, сам нуждается в помощи. И порой в большей мере, чем мы, грешные. Вот ты Ему, милая, сейчас и помоги, попытайся перебороть своё отчаяние, а слабость превратить в силу. Слабых Всевышний жалеет, а сильных поддерживает.

Она не понимала, о чём он говорит, но отвечала рабби Элиззеру благодарными слезами.

Дома Хенка ни к чему не прикасалась. На кухне хозяйничала свекровь: варила, стряпала, она же убирала квартирку, стирала, а Шмулик, с малолетства приученный мамой готовить еду, с какой-то одержимостью помогал ей – откладывал иголку с ниткой, засучивал рукава и принимался чистить картошку или шинковать капусту.

Так длилось до того памятного дня в начале лета, когда Хенка вдруг тихо и внятно, ни к кому не обращаясь, спросила:

– А где наш мальчик?

Шлеймке с утра до вечера не отрывался от «Зингера», дробь которого заглушала все чёрные мысли, обомлел от её вопроса, но быстро сумел взять себя в руки. Солгать он ей не мог.

– Мы его похоронили.

– Мы? Где?

– Здесь. На пригорке, – каждое слово колючей костью застревало у него в горле.

– А почему без меня?

– Ты тогда была ещё очень слабой. Мы посоветовались и решили: после того, что ты перенесла в Каунасе, не подвергать тебя ещё одному тяжелому испытанию. Ты бы, Хенка, не выдержала, сломалась...

– Я хочу его видеть, – произнесла она таким тоном, как будто речь шла не о покойнике, а о живом человеке.

– Хорошо, хорошо, – согласился Шлеймке, не успев вникнуть в безысходный смысл невольной и страшной её оговорки. Когда только скажешь.

– Завтра же.

– Завтра так завтра.

Ему очень хотелось, чтобы она ещё о чём-то просила, расспрашивала, упрекала. Он готов был оправдываться, каяться, виниться, но жена упорно молчала, и он больше не посмел рта раскрыть.

Петляя между надгробиями, они добрались до безымянного пригорка, на котором покоилось их такое же безымянное, не издававшее ни одного писка дитё.

Солнце освещало скромный глиняный холмик, отливавший багрянцем.

Жужжали пронырливые шмели; щеголяли однодневным, ослепительным великолепием только-только вылупившиеся из кокона бабочки, хрупкие крылышки которых были немыслимой божественной расцветки; звонко и задиристо заливались в кустах можжевельника оборотистые сойки; в густой сочной траве шныряли хитроумные добычливые мыши-полёвки; деловито, без усталости сновали от одного надгробья к другому отважные муравьи. Даже роковые вещуны-вороны, разомлев на солнце, прихорашивались на деревьях.

Всё как бы назло им жило, двигалось, переливалось всеми цветами радуги, бездумно ликовало и плодилось.

Хенка наклонилась, зачерпнула горсть могильной земли и стала процеживать её сквозь пальцы. Шлеймке был уверен, что вот-вот она начнёт посыпать этой глиной, как пеплом, свою голову, навзрыд расплачется, но та неподвижно стояла с непроницаемым лицом перед холмиком и так же неторопливо, словно священнодействуя, цедила сквозь пальцы крупницы кровенившей глины на сиротливую могилу.

Хенка и Шлеймке простились с сыном и в скорбном молчании, увязая по колено в кладбищенской отаве, добрались до последнего, неземного приюта своих дедушек и бабушек, которые рожали по десять детей не в Каунасской Еврейской больнице, не в Париже, не в пригороде Нью-Йорка, в Бронксе, а под залатанной дранкой крышей своего дома в захолустной Йонаве. Хенка и Шлеймке поклонились им и молча принялись выкорчёвывать неприлично раз-

росшиеся вокруг могильных плит колючки. Выместив на сорняках горечь и обиду на свою незавидную долю, несчастливые внуки медленно направились к тронутым гнильцой воротам кладбища, заложенного первыми евреями-поселенцами в стародавние времена, когда всемогущий император Наполеон опрометчиво повёл свои победоносные войска по литовскому бездорожью в Россию.

Дальше молчать было нестерпимо, что-то оставалось между ними недоговорённым и неизбежно требовало выхода.

Ещё среди громоздившихся надгробных памятников новая накатившая волна отчаяния заставила Хенку первой заговорить о том, что её мучило, и о чём, скрепя сердце, она все время молчала.

– Скажи мне, пожалуйста, только не выкручивайся, зачем я тебе такая сейчас нужна?

После несчастных родов, ещё в больничной одиночке, она уговорила себя, что Шлеймке непременно бросит её, найдёт другую, которая народит ему кучу детей и у которой на молодом теле не останется ни одной меты, ни одного шва.

– Какая? – Шлеймке не сразу сообразил, о чём она с таким неистовством говорит.

– Кому нужна захиревшая яблоня, которая не плодоносит?

– Откуда у тебя берутся такие глупые сравнения?

– Откуда? Когда доктор Липский выписывал меня из больницы, он по секрету сказал, что мне больше беременеть нельзя. Второй раз, предупредил доктор, это может закончиться катастрофой не только для ребёнка, но и для самой роженицы. На благополучный исход ни одна больница в мире роженицам никакой гарантии не даёт. Вот я тебя прямо и честно спрашиваю, зачем, скажи, тебе под боком нужна жена-катастрофа?

– Доктор Липский и мне по секрету сказал примерно то же самое. Ну и что? Сказано в десяти заповедях, которые Господь на горе Синай продиктовал праотцу Моисею: «Не убий», а сколько людей убивают на войнах друг друга без всякого содрогания и жалости? Сказано: «Не кради», а сколько одни бессовестно крадут у других, у своих же ближних, которых Господь Бог повелел любить, как самих себя? – Шлеймке не мог остановиться. Он говорил и говорил. Лицо его пламенело, в глазах сверкала непривычная ярость.

– Я за себя не боюсь, – спокойно продолжала Хенка. – Люди дважды не умирают. Но ты же, наверно, не станешь перечить доктору Липскому. Послушаешься его.

– Не понял.

– Будешь придерживаться наложенного на нас запрета и круглый год поститься. Ты же мне зла не желаешь. Ведь не хочешь, чтобы я погибла.

– Нет. Зла я тебе не желаю. И не хочу, чтобы ты погибла.

– Но ты пойми, удел любой женщины не соблюдать запреты, а нарушать их, ради материнства, ради продления рода. Что это за яблоня, у которой и ствол крепкий, и крона пышная, но которая хиреет и не плодоносит. Тебе быстро надоест нежиться в её тени и наслаждаться не сладостью плодов, а только шелестом её желтеющих и опадающих листьев.

– Давай, Хенка, без этих твоих вычурных сравнений. Ты что – разучилась говорить со мной по-простецки, без всяких этих словечек?

– Ты уверен, что в один прекрасный день не возьмёшь топор, не срубишь эту яблоню и не высадишь новую, плодоносную? – не отступала она.

– Опять ты с этими своими красотами. Ничего я не высажу и никого не срублю. Объясни коротко и ясно – что тебя так беспокоит?

– Ты меня не бросишь?

– Вот это уже понятный, человеческий разговор. Брошу. Но только тогда, когда ты сама меня бросишь или, как ты выражаешься, срубишь и вместо меня в своём саду что-то или кого-то высадишь.

– Тогда и умереть не страшно.

Хенка, отчаявшаяся и истосковавшая, упала ему на грудь, нечаянно повалила своей тяжестью наземь и вдруг принялась судорожно целовать его в губы, в щеки, в лоб. Вороны с высокой сосны косили на них свои роковые, въедливые глаза и громким презрительным карканьем безуспешно отпугивали странную бесстыдную пару, которая для своих любовных ласк не нашла себе лучшего места, чем высокая кладбищенская трава.

– Сумасшедшая, сумасшедшая, – повторял Шлеймке, тщетно пытаясь высвободиться из цепких, жадных объятий и встать на ноги.

Дома они застали полицейского Гедрайтиса, который на выученном за долгие годы службы в еврейском местечке идише вёл назидательную беседу с неблагонадёжным Шмуликом.

– Шолем алейхем, понас Винчас, – зачастил мой хмурый и не улыбочивый отец.

– Алейхем шолем, – вежливо ответил полицейский и как ни в чём не бывало продолжал не предвещавший ничего хорошего Шмулику разговор.

Разговор шёл на сей раз не о пошиве нового костюма, а – кто бы мог подумать! – о ветрах враждебных, веющих над бедным братом Хенки и всеми честными трудящимися мира. Оказывается, Шмулик Дудак успел прославиться в местечке не столько как отменный портной, сколько как лютый враг богатеев. Незлобивый Гедрайтис пришел, чтобы от имени своего начальства вынести ему первое строгое предупреждение за то, что Шмулик своими подстрекательскими речами мутит еврейскую молодёжь.

– Я, господин Дудак, давно знаю вашего отца – уважаемого сапожника Шимона, у которого чинил ботинки и сапоги, – произнес полицейский и откашлялся. – Знал я и вашего деда Рахмизля. И деда Шлеймке – каменотёса Берла, – польстил он и молчаливому хозяину дома. – Все они были настоящими умельцами, мастерами своего дела.

– К чему это вы мне рассказываете?

– К чему? Как старый друг вашей семьи, я со всей прямоотой хотел бы вам, пока не поздно, сказать, что куда полезней заниматься своим делом и хорошо зарабатывать, чем по воскресеньям на базарной площади перед какими-то олухами во всю глотку орать: «Долой диктатора Антанаса Сметону!» Нет справедливости выше, чем работа. А баламутить народ накладно и опасно. Такими выкриками семью не прокормишь.

Шмулик в спор не ввязывался, стоял, крепко закусив зубами нитку.

– Мой совет, господин Дудак, берите пример со своих родичей, а не с тех бунтовщиков, которых иногда приходится утихомиривать

пулями. Но не буду вам больше мешать! Шейте, шейте, – пробасил Гедрайтис, щелкнул сапогами и удалился.

– Доиграешься, Шмулик, – сказала Хенка. – Придётся носить тебе передачи в тюрьму.

– Договорились. Ты искусная стряпуха и хорошо знаешь, что я люблю гусиную шейку, рубленую селедочку и картошечку с черносливом, – сказал Шмулик, радуясь, что Хенка чуть ожила.

В доме и впрямь легче стало дышать, как будто в нём раздвинули стены и невидимым насосом вдоволь накачали свежего воздуха. Роха не могла наглядеться на воспрянувшую Хенку. И, чтобы освободить её от повседневной готовки, она без устали что-то пекла, жарила, варила и в тяжелых кастрюлях или в большой плетёной корзине всю эту снедь волокла сюда, в эту крохотную квартирку. Ведь непростое это дело – досыта накормить двух здоровенных мужиков, не жалующихся на отсутствие аппетита и не страдающих язвой желудка! Сколько ни накладывай в миску, всё повернут.

– Кушай и ты, – подстёгивала она Хенку. – Тебе нужно очень много кушать. В два раза больше, чем всем нам вместе взятым. Ты же, деточка, в этой больнице так отошала. Ну просто ходячий скелет! А была же – кровь с молоком.

Шлеймке работал и днём, и ночью, что называется, не покладая рук. Даже Эфраим Каплер смиростивился и не гневался на него за то, что стрёкот «Зингера» не даёт ему спать по установленному графику. Ведь у них такое несчастье! Лютому врагу не пожелаешь!

После Судного дня неожиданно-негаданно в квартиру Хенки и Шлеймке явилась престарелая домоправительница покойного Абрама Кисина поне Антанина с битком набитым мешком, завязанным бечёвкой.

– Поздравляю, – пролепетала Антанина фальцетом, надломленным глубокой старостью. – Давно собиралась к вам. Сбиралась, собиралась и вот наконец-то собралась. Не раз корила себя: как тебе, Антанина, не стыдно перед людьми? Столько времени прошло, а ты до сих пор не передала им то, что оставила для них госпожа Этель. Надо же – всё у меня вылетело из дурной головы.

– Что вы нам не передали? – спросил Шлеймке.

– Ваша жена знает. Госпожа Этель перед отъездом оставила для вас два мешка. Вот этот побольше – с игрушками, а другой, поменьше; – с вещами.

– Мешок с игрушками? – вытаращился на Антанину Шлеймке, проработавший вместе с ней в доме покойного Абрама Кисина не один год.

– Да, с игрушками. А в другом мешке – костюмчики, штанишки и рубашечки Рафаэля. Этот мешок я принесу на следующей неделе, когда пойду к заутрене.

И подслеповатая Антанина стала по-старчески неторопливо развязывать бечевку.

– Чего тут только нет! – старуха с восхищением вынимала из мешка дары. – Целый магазин цацек и побрякушек из Франции, Испании, Германии, Латвии.

Обескураженные Шлеймке и Хенка грустно переглянулись. Видно, отшельница Антанина ничего про их беду не слышала.

– Возьмём? – чуть слышно спросил Шлеймке, и голос его дрогнул.

– Игрушки возьмём. Почему бы не взять. Я не суеверная, в дурные приметы не верю, – на удивление твердо и быстро промолвила Хенка и повернулась к тугоухой домоправительнице Абрама Кисина. – Спасибо, поне Антанина! Мы сами пришли бы за ними. Вы уже и так за свою жизнь натаскались вдоволь.

– Что? – переспросила та. – С недавних пор я что-то совсем неважно слышать стала и почти всё забываю. Ах, эти годы, ах, эти летящие годы! Чего они только не делают с человеком! Портят слух, тиной глаза затягивают, ноги цепями сковывают. Шаг ступишь – и тут же ищешь местечко, где бы присесть. Беда на старости приходит в дом не гостьей и не на час-другой, а хозяйкой и надолго, ох как надолго! Гони её прочь, не гони, она всё равно не уберётся.

– Не знаю, как вас и благодарить, – растрогалась Хенка.

– Это не меня надо благодарить. А госпожу Этель. Она – ангел. Храни её Бог.

– И вам полагается спасибо, – сказала Хенка. – Игрушки ещё, я надеюсь, нам пригодятся.

Что он, Шлеймке, слышит? Игрушки ещё пригодятся?! Значит, несмотря ни на какие запреты Хенка снова решила беременеть! Назло судьбе, с риском для собственной жизни! Доктор Липский оказался провидцем: любящие женщины самоотверженны до безумия. Они готовы на всё. Их не остановишь.

Не прошло и полугода, как моя мама действительно второй раз забеременела и через то же самое кесарево сечение, в той же самой Еврейской больнице, на сей раз, слава Богу, вполне благополучно, родила живого мальчика и сама осталась жива.

Тем мальчиком был я.

Острая на язык бабушка Роха прозвала меня запретным плодом, но тильзитский «немец» рабби Элизер в середине июня 1929 года вписал в Книге судеб не моё прозвище, а два нормальных имени – Гирш-Янкл (Григорий-Яков). Второе имя должно было, видно, подстраховывать первое и отпугивать от него всякие болезни и несчастья. Увы, не все недуги и не все несчастья удалось отпугнуть.

Не удержал я, к сожалению, в своей плоскодонной памяти, какие заграничные игрушки, которые должен был получить в подарок мой старший брат Барух, достались по злой воле рока мне. Только отчётливо вижу самую притягательную игрушку, захватанную холёными пальчиками Рафаэля, – затейливую шарманку, которую Арон Кремницер привез своему наследнику не то из Парижа, не то из Берлина. У этой шарманки вся поверхность была покрыта блестящим лаком и разрисована потешными зверьками – лисицами, зайчиками, медвежатами и экзотическими кенгуру и пони. А сбоку – ручка. Покрутишь, бывало, её раза два, и вдруг изнутри польётся трогательная, похожая на колыбельную мелодия.

Как ни странно, но эта диковинная шарманка чудится мне до сих пор, а её мелодия звучит в моих ушах. Её пронзительные, шелестящие, как листья, звуки, поныне обвевают мою густо засеянную седьмой голову и уводят за собой на Рыбацкую улицу, в ту давнюю еврейскую Йонаву. Я сижу за компьютером и как будто не выстукиваю буквы за буквой, а, как в непостижимо далёком детстве, кручу ручку той удивительной шарманки. Медленно, крупным планом, как в немом кино, перед глазами один за другим проплывают мои незабвенные

земляки. Слушаю эту бесхитростную мелодию, и снова оживают, выстраиваются в один дружный ряд мудрствующие нищие и трудолюбивые портные, богатые меценаты и доморощенные, как мой дядя Шмулик, преобразователи мира, мечтавшие о свободе, о недостижимом равенстве и мифическом братстве. Вслед за ними к этой пестрой компании присоединяются «немецкий» раввин Элиззер, нелюдимый гробовщик Хацкель, незлобивый страж порядка, любитель мацы полицейский Винчас Гедрайтис. Тот самый Гедрайтис, который не раз советовал пылким малограмотным перелицовщикам мира из бедных еврейских семей не обольщаться и не обольщать своих собратьев пустыми мечтами о земном рае по русскому образцу и вопрошал их на идише: граждане-евреи, зачем вам растрачивать своё время и силы на ремонт чужих порядков, на перелицовку чужой жизни или на короткие прогулки в наручниках по тюремному дворику? Не лучше ли чинить дырявую обувь, шить костюмы и пальто, лапсердаки и сермяги, брить и лудить, ставить в избах печи, покрывать черепицей крыши, и за это в Литве вам только спасибо скажут.

Увы, спасибо Литва не сказала, хотя большинство её граждан-евреев и вняло разумному совету стража порядка. Но это нисколько не изменило дальнейшую скорбную участь тех, кто этому легкомысленно поверил...

Куда же ты, скажи мне, шарманка-чужестранка, ещё меня приведёшь под свою незатейливую, щемящую мелодию? Куда? В сгнувшую школу к моему первому учителю, поборнику и радетелю идиша – Бальсеру; в местечковую синагогу, превращенную в заурядную пекарню, или на лысый пригорок, к безымянной могиле моего старшего брата Баруха, от которой не осталось и следа?

На этом вечном обиталище мертвых шумят только захиревшие сосны, чернеют растрёпанные гнёзда суматошных ворон и роятся воспоминания. Я стою под их палящими лучами и что-то в смятении шепчу дарёной шарманке, не переставая крутить жестяную ручку, и медведи и зайцы вместе с лисицами, пони и кенгуру хором вторят моей неизбывной скорби и печали.

Воспоминания, воспоминания! Не они ли самое долговечное и живучее кладбище на свете?

Оно, это никем не охраняемое кладбище, нерушимо и нетленно. Его уже никому не удастся ни осквернить, ни растащить по камешку, чтобы построить для себя жильё, стены которого сложены не из кирпича, а из надгробных плит, исписанных древними письменами; по нему уже никто не осмелится пройти с кованым солдатским сапогом, ибо земля там негасимым пламенем горит под ногами нечестивцев.

Да будет же благословенна память всех мирно упокоившихся на этих, страшно вымолвить, уютных, обильно политых горячими слезами еврейских погостах. Мои навеки ушедшие земляки до сих пор принимаются отлетевшими от плоти голосами будоражить изпод безгласного кладбищенского дёрна притупившийся слух Господа Бога и пытаются с Его помощью пробиться к черствым сердцам живых, взывая к беззащитному добру и к убывающей с каждым днём справедливости.

Светлана Аксёнова-Штейнгрүц

БОЛЬ СТАНОВИТСЯ СЛОВОМ

* * *

Распадаются связи, слова и семейства,
укрепляются фобии и фарисейства,
воздух пахнет бензином и ржавой резиной,
и шахиды, услышав призыв муэдзина,
отправляются в райские кущи пардеса,
где в награду, как тысячу лет до прогресса,
скромно-страстные гурии сладкого страха
отдаются под зорким присмотром Аллаха.

А хасиды – в одеждах поношенной шляхты
в синагоги спешат, как шахтёры на вахты,
добывая из глыбы души вдохновенной
золотые молитвы Владыке вселенной,
всемогущему блогеру вечного света.
Как давно от него мы не слышим ответа!
Видно, Мастер смертельно устал от работы
и теперь, как в запой, уходит в субботы.

И увы, от Машиаха нету подмоги...
Может, ослик его окошел по дороге?

* * *

*Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.*

Борис Пастернак

Не в том простодушие старинном –
фатальных фантомах завяз,
сквозных сетевых паутинах
и фарсе фарцующих фраз,

но думает бедный анатом,
терзая убитую речь,
что тайну, простую, как атом,
возможно рассечь и извлечь,

добраться до ядерных истин,
в ядрёные формы вогнать –
и боль отлетающих листьев,
похожую на благодать,

и ересь весеннего ветра,
и почек беспечную спесь,
и в ритме ревнивого ретро
весёлую песенку спеть,

и вызвать цунами оваций,
когда, предвкушая провал,
сметёт суету симуляций
девятый компьютерный вал...

ИРОНИЧНЫЙ РОМАНС

Благородные рыцари средневековых времен
попивали, жевали, считали на поле ворон.
И нигде не служили, а только плели словеса,
и была обольстительно-томной былая попса.

Знать, бывалые знали, что вечность в запасе у них,
дни и ночи сплетали в недели сплошных выходных.
Принимая в подарок их жизни, как песни куплет,
благодарные дамы дарили пристойное «нет!»

А у наших пропащих – страда суеты и труда –
самолеты и пьянки, доклады, долги, поезда.
Даже если ты крикнешь вдогонку поспешное «да!»,
ничего – ничего, никого – никого, никогда!

Даже если на пальце звенит золотое кольцо,
в замордованных мордах возможно ли встретить лицо?
И с забытою нежностью тихо шепнуть: «Не грусти!
И хотя бы часок в моем сердце слепом погости...»

СВИДАНИЕ С МОСКВОЙ

Я в этом городе – совсем бесхозная.
совсем бесслёзная, совсем чужая,
чужое небо – серое, беззвёздное,
а за углом чужим звенят трамваи.

Их перезвон, такой простой и будничный,
такой забытый и такой внезапный,
напоминает мне московской булочной
ванильно-шоколадный, сладкий запах.

Ведь было в твердолобой, твердокаменной
вчера́шнее, домашнее, нездешнее.
Куда всё это сгинуло и кануло –
ни булочной, ни сквера, ни скворечни.

Ни женщины, ни девочки кудрявой,
с руки кормившей белок лупоглазых,
ни времени, где дряхлая держава
меня держала цепко, как зараза!

Вдохнув свободы воздух безответственный
зачем на пустырях стальной эпохи,
как зимний воробей, отважно бедствую,
клюю воспоминаний жадных крохи...

* * *

Бормотанье под бормотуху,
тараканьи бега на кухнях,
забубённая жисть-житуха,
без которой вянем и жухнем,
как последние листья в парке,
пожелтевшие от подарков
неполученных. От свиданий
неназначенных. От желаний
неисполненных – жадных, жарких,
остывающих в сонном парке –
под золою воспоминаний,
под невыпавшими снегами,
вязкой слякотью под ногами.

Смысла нет у этой кручины,
этой радости беспричинной,
этой нежности невозможной,
этой близости осторожной,
что случались в стране острожной...

* * *

Это снова и снова
колдует шальная луна.
Ну скажите, какого,
какого, скажите, рожна
приплывают апрели,
случаются дети и сны,
репетирует трели
беспечный посланник весны.

Он разлуку пророчит,
печальник садов – соловей,
наливаются почки –
плоды скоротечных страстей.

Собираются ливни –
на землю сухую упасть,
у ликующих линий,
у молний – внезапная власть!

И по капле – капелью,
сосулькой стремительных дней,
вытекает веселье
растаявшей жизни моей.

* * *

Вот, наконец, пуповина отрезана,
прервана прочно-порочная связь.
Вот я такая смиренная, трезвая –
хоть в небеса напрямую залазь!

Вот наконец-то не страшно смертельную
дозу свободы спокойно принять
и понимать, что на жизнь отдельную
можно при жизни претендовать.

Тратить денёчки последние бережно,
ибо в простой пустоте понимания
не отличить океана от берега,
встречи нечаянной от расставания.

Всё, моя девочка, так относительно,
и упоительно, и обалденно
в опустошительной этой обители
и утешительной этой вселенной.

* * *

Боль становится словом. А слову не больно. Оно
предназначено стать искуплением простенькой боли
или той отупелой, когда отличить не дано
ледяную свободу от теплой и верной неволи.

Страх становится словом. А слову не страшно. Оно
предназначено стать искуплением простеньких страхов
или тех очумелых, когда отпевать суждено
всех отпетых, которых не помнит ни ветер, ни птаха.

Смерть становится словом. А слово бессмертно. Оно
предназначено стать искуплением простенькой смерти
или той величавой, когда поднимается дно
до бездомных небес, до скитаний в пустой круговерти.

* * *

Я пьяна, как беспечно-бесстрашная эта земля,
беспробудно пьяна одиночеством места и времени,
одержимостью действия, что заповедано для
моего беспокойного, бесповоротного племени.

Неприкаянность – это не Каина пёсья печать,
это жертвенность жертвы – почётная, злая зараза!
Это Авеля участь – участливо вечность молчать,
быть убитым героем обугленных глиняных сказок.

Это знойный, до одури, запах привычной вины,
это грех первородства, простой и домашний, как стойло
Сколько глупых наветов ещё одолеть мы должны,
чтобы выпить до дна тошнотворной истории пойло?..

Словно в зыбке забытой, качает зыбучий восток
очарованных пленников нами плененного Бога.
Стойкий запах похмелья столетий, испуг и восторг
возвращения к началу. И дальней дороги тревога.

* * *

За околицей – судьбы околесица.
Всё крошечней карусель куролесится.
А когда моя душа заневестится
И на маленькой земле не уместится,

А свиданья с женихом – испугается,
Снисхождения попросит, покается:
Я проститься не успела с родимыми,
Подари мне, Боже, тело, роди меня!

Отпусти меня, позволь мне помучиться.
Может, в этот раз получше получится...

Марк Зайчик
ДВА РАССКАЗА

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ СТЕФЫ

Я познакомился с этой женщиной, когда она была счастлива, желанна, уверена в себе. Темноватой масти, она была невелика, но складна чрезвычайно, таких называют «гладкая женщина». Говорили, что муж ее много старше, состоятельный врач, кажется, гинеколог. Говорили, что младший сын ее невероятный красавец, похожий на американского киноактера Пола Ньюмана. Это все происходило в то время, когда Пол Ньюман был относительно молод.

Позже она поставила на свой рабочий стол черно-белую прямоугольную фотографию сына. Фотография была сделана за пару недель до призыва в армию. Кок из золотистых волос а-ля Элвис Пресли, рубашка с закатанными рукавами, брюки и тапаческие сандалии на двух ремешках – обычный наряд юноши тех лет. Взгляд его был внимательный, ясный. У него был профиль палестинского парня европейского происхождения – почти идеальный. Немного ему недоставало до совершенства, совсем чуть-чуть. Но совершенства не могло быть, потому что отец его был не идеален, а уж про мать и говорить нечего.

Мы работали с матерью этого юноши в страховой компании в центре Иерусалима, недалеко от Русского подворья, пытаюсь рекламировать различные полисы. Компания процветала, и даже наши усилия не могли уменьшить доходы ее. Дело страхования в стране набирало силу. Вход в наш офис постоянно украшали новыми витринными стеклами, роскошной отделкой из местного камня, который легко обрабатывался умелыми и зоркими аборигенами в рубахах с длинным рукавом. Вход сиял блеском, довольством и богатством.

Женщину эту звали Стефа, а полное имя – Стефания, что, согласитесь, не совсем обычно для родившейся под Киевом еврейки. Она была нетипична, смотрела исподлобья, и взгляд ее серых, прозрачных, неясного выражения глаз сводил с ума многих. Носила не застегнутые у матовой шеи кофточки с цветными вышивками по воротнику. Грудь ее казалась безупречной, талия – сильной и тонкой, никто не мог сказать, что этой женщине уже сорок лет или даже больше. В ивритской речи ее я заметил некоторую напевную украинскую интонацию, но возможно, это была еврейская интонация, не знаю, не очевидно. По-русски говорила твердо и уверенно, как, например, ходила. Кажется, у нее было педагогическое образование, полученное в СССР в 50-е годы, при Хрущеве, что влияло на ее походку, повадки, манеру одеваться. Наше начальство – два сообразительных мужичка, в светлом и темном костюмах, которые ладили по всем вопросам и сидели в противоположных кабинетах, – было ею очень довольны. Со Стефой совещались, обсуждали, советовались. И не только советовались, как говорили злые языки, которых

было достаточно вокруг. «Из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет наша Стефа састает-састает, смыг-смыг», – от возбуждения моя соседка по рабочей комнате говорила не совсем правильно. Но зато понятно. У нее был ребенок, не было мужа. Она не боролась со своими страстями. Она была крупная, видная женщина, с решительной походкой, но чего-то ей не доставало, очень уж она была собранная, если понаблюдать за нею. И, видно, за ней наблюдали внимательно, если она была в расцвете лет одна.

Был один вкрадчивый темнолицый с синими губами перс, который подлаживался к Стефе так и эдак, оказывал услуги, приносил ей недорогие авторучки с цветными стержнями. Иногда я заходил в ее кабинетик, и перс уже сидел там, напротив Стефы, поглядывая на нее нагло и призывно, катая по столу золотую зажигалку с дарственной надписью на фарси. Стефа как бы опекала меня, новичка в стране, показывала некоторые документы и объясняла очередность поступков, объясняла правильную линию поведения на новом месте, за что я был ей благодарен. Она была близорука, чудесно шурилась на строчки, ходила без очков, действовала точно и безошибочно, была похожа на миниатюрный манометр, который я видел в доме адвоката-ревизиониста на улице Гилель. В пять часов вечера она запирала кабинет и шла по коридору на выход, к своей машине. Перс шел сзади и сбоку от нее, как отставший и нагоняющий ножны клинок. Каблуки ее босоножек были невысоки, но изящны и крепки, сделаны в Италии. Ноги были высокие, со смуглой кожей, ступни она ставила уверенно и легко, сделаны они были в СССР. Перс, имя которого я забыл сейчас, был истрепан, небрит и понур, но что-то прочно-мужское в нем присутствовало. Потом они скрывались за углом коридора, как будто грешили, после этого их не видно было. Можно было подумать про перса, что у него многодневный запой, такое у него было изможденное, припухшее лицо, но он не пил абсолютно. Совершенно другой порок терзал душу и тело этого Ахашвероша, пусть простит меня творец за страсть к красному словцу.

– Она властная, не любит, когда ей перечат, идет, куда хочет. И очень вздорная, – часто моргая, сказала мне про Стефу глазастая соседка по рабочей комнате

Я не понял, почему она вдруг заговорила о Стефе, которая не проходила мимо нас, не появлялась в комнате. Стефа занимала воображение многих, сама того не желая, – и мужчин, и женщин.

– Это просто такой сильный характер, личность, страсть, – сказал я мягко, пытаясь объяснить Стефу, ее внешность, поведение.

Моя соседка посмотрела на меня недоуменно, ее глаза засверкали. Она повторила за мною:

– Ага, страсть, ага, личность, ха-ха, какие вы все наивняки, мужики, просто невероятно. Просто уму непостижимо.

Она зло засмеялась, будто закашлялась. Я налил ей воды, но она отказалась, сделав движение рукой от себя, как будто смахивала стакан на каменный пол. Во всех комнатах компании были полы из каменной плитки в черную точку. И потом еще несколько раз я слышал разговоры об этой ненасытной Клеопатре, железной леди из Таганрога (почему из Таганрога, я не знал и не узнал никогда, Стефа была не из Таганрога), помешанной на сыновьях местечковой мещанке и прочее.

Но мне она очень нравилась, никого она не боялась, баб на работе не видела в упор, не участвовала в пересудах. У нее была своя жизнь: сыновья, особенно сын-танкист, которого она обожала, чопорный муж в костюме-тройке и галстуке в самую жуткую иерусалимскую жару, перс и еще один перс, который не здоровался с первым персом. Не забудем и начальничков, один из которых был как бы опереточным героем с набриолиненной головой, с туфлями на высоком каблуке, в белом костюме, а второй – такой же, только в костюме темном и без каблуков. Они ладили по всем вопросам, включая финансовый, и по вопросу Стефы тоже ладили.

Однажды я столкнулся с одним из начальников, тем, кто в светлом костюме и на каблуках. Мы шли в туалет. Это было еще то время, когда у начальства не было отдельного ото всех туалета. Мы стояли у дверей, снисходительно пропуская друг друга, когда мимо нас томительно-медленно, вкрадчиво и ласково прошла Стефа. Она не смотрела по сторонам по своей привычке, держала на весу папку с делами об исках. Замерев, мы смотрели ей вслед, забыв о нужде, в очереди за которой столкнулись.

– М-да, – воскликнул начальник не без восторга, – самостоятельная... на нашей территории. И-эх!

И клацнул только что вставленными новенькими зубами, к которым еще не успел привыкнуть. И добавил на идиш: «Мейдале майне», что значит «девочка моя».

Соседка по комнате объяснила мне, что «самостоятельная... на нашей территории» – слова из популярной песни, которую очень громко, по тогдашней моде, распевал патлатый, шухарной, очень одаренный певец и одновременно композитор. Парень этот наяривал на дрожащем от ударов под его великолепными пальцами наследного музыканта белоснежном фортепьяно. И подпрыгивал в такт на вертящемся табурете черного цвета.

Потом ее сын-танкист закончил курс командиров танков, и Стефа принесла на работу пачку цветных фотографий, сделанных на выпускной церемонии. Она показывала их всем, как будто забыв про то, кто ее любит, а кто не любит. Фотографии были заполнены пацанами в защитного цвета форме, в черных беретах, с миниатюрными местными автоматами за спиной.

Сына ее все сразу узнавали и показывали пальцем: «Вот какой красавец», – особенно женщины. У сына ее был разворот плеч, высокая шея, короткие светлые волосы, уверенный и спокойный взгляд. Профиль его можно было смело назвать профилем гладиатора. Это был свободнорожденный хлопец, видно невооруженным взглядом, что из хорошей породы, зовущейся «берегитесь, девки».

Моя мать научила меня не хвастать своими родными и близкими ни перед кем и самому поменьше вызывать внимание у окружающих – могут сглазить, даже не желая, даже хорошие люди. «Надо жить тихо», – говорила моя мама. Она так часто эти слова повторяла при мне с детства, что я и сам стал в них верить. Я сказал Стефе вполголоса:

– Может быть, хватит показывать сына, его могут сглазить.

Она взглянула на меня, как на «дядю фраера» (так говорили у нас во дворе, в Ленинграде), коротко и резко (я похолодел ненадолго), и медленно сказала:

– Вам это трудно понять, но я не могу сдержаться, он – моя кровь, мой успех, мое счастье, а люди меня не тревожат.

И отошла в сторону, держа фотографии веером, как гадальные карты. Верно говорят, что советы нужно давать, когда их у тебя просят. Какие советы были ей нужны? Ей никто не был нужен, ничто было не нужно. Она была сама.

Законченный сыном курс командиров танка Стефа считала своим личным успехом. Все это было летом. Оно прошло для меня впервые в жизни без утомительного иудейского зноя, который я начал ощущать только через пару лет после приезда. Этот год был моим первым здесь, в столице Иудеи. Все было замечательно, казалось чужим сном из итальянского реалистического фильма, которые мне очень нравились. Я постоянно по приезде смотрел эти фильмы в кинотеатрах на улицах Шамай и Гилель. Назывались эти фильмы по-разному, но самые из них яркие и цветные я запомнил. Это был «Конформист», и это было «Последнее танго в Париже».

Сестра, приехавшая раньше меня, выдавала мне на вечер 10 лир. Этого хватало на кино, сигареты и автобусный билет до ее дома, где я жил вместе с ее семьей и нашими родителями. Иврит я учил по этим кинофильмам, пытаюсь успеть и сумею прочесть продублированные строки внизу широкоформатного экрана. Под гул публики, непрерывно комментировавшей происходящее на экране, и катание стеклянных пустых бутылок из-под колы по наклонному полу от последних рядов к первым, под крики: «Эйфо ата, Дани?»

Потом я стал зарабатывать деньги в своей компании и на первую зарплату купил в центре в огромном магазине себе пиджак, отцу – галстук в тон габардиновому костюму из 50-х, в котором он ходил по субботам молиться, матери – духи «Шанель», дочкам сестры – пикающие и пиликающие игрушки. Сестре же и ее голубоглазому рижскому мужу достались, соответственно, помада умеренного телесного цвета и вместительный кошелек с купюрой в 5 лир. Такая синенькая была бумажка, не смятая, как потом бы сказали приехавшие из России граждане, конкретная. Деньги небольшие, но отражающие общий положительный настрой. Помню, как странно посмотрела на меня продавщица с неподвижным белым лицом и голыми сильными ногами, с явным и нескрываемым восторгом и подозрением – «какой дурной этот русский». Стефе я, включив подсознание, купил английскую авторучку. Я абсолютно ничего не понимал в этой новой жизни. Когда она потом принимала подарок, то не моргнула глазом, но я почувствовал, что она довольна. Слово «благодарность» здесь не подходило, за вещи Стефа благодарна быть не могла, ей все полагалось по статусу женщины.

Когда я выходил из магазина с покупками, то на площади перед магазином встретил Стефу. Она шла под руку с мужем. Тот был в белой рубашке с коротким рукавом, в легкой шляпе и плетеных башмаках. Смотрелись они прекрасно. Муж Стефы был раза в два больше ее, учтивый, рукастый, интеллигентный человек. Они шли в большой и густой тени магазина по тротуару в сторону от улицы Яффо, доброжелательно настроенные на лад снисходительных старожилов. Стефа кивнула, небрежно подав мне узкую ладонь. После этого она озабоченно смахнула черную нитку с плеча мужа. Тот пожал мне руку своей сухой, сильной дланью и, склонив седую

голову, выслушал слова жены относительно меня: коллеги, интеллигент, ленинградец, ревизионист – это слово она произнесла без одобрения, которыми сопровождала слова предыдущие. Стефа считала людей с подобными политическими взглядами примитивными ретроgrадами. Под последним определением она имела в виду мое юношеское преклонение перед В. Е. Жаботинским, талантливым человеком из Одессы, умершим от тревоги и тоски вдали от милой его сердцу Палестины, еще зависимой от непреклонных англичан. Неосторожно я рассказал об этом Стефе.

Она редко выказывала свои симпатии, вот только обожала своих сыновей. Она была человеком в себе, нередко и не всегда к месту повторяла, что она за мир, прогресс и социализм с человеческим лицом, – тогда это определение было в моде. Мои друзья в Ленинграде произносили эти слова, правда, с некоторой брезгливостью – повторять вслух за советскими газетами и телепрограммами прокоммунистические лозунги было все же запахло. А в Иерусалиме в начале 70-х была другая страна, другой государственный язык и потому можно было произносить все, не думая о впечатлении, которое ты можешь произвести. Тем более если это была малоразговорчивая Стефа со своим непримиримым характером.

Мы постояли с ними немного, обменялись фразами о погоде, я сказал, какой чудный ветерок – «бриз моей мечты», на что Стефа посмотрела на меня строго, а ее муж ответил, что к вечеру в столице всегда дышать легче. И одобрительно оглядел мой новенький пиджак местного производства. Пиджак сидел на мне как влитой, пошитый из буйволиной шкуры, содранной с убитого по всем законам полудикого животного где-то на ферме в южном районе пологих Голанских высот. И не жарко мне было, и все нравилось, хоть я и понимал, что так будет не всегда. Свой подарок я ей не вручил, отложив эту процедуру на другое время. Правильно сделал.

Муж Стефы опять пожал мне руку, она кивнула, я отступил в сторону, и они пошли по своим делам, придерживаясь теневой стороны улицы короля Джорджа. Они шли в гости к друзьям, такой тесный круг своих людей с разным прошлым и похожим будущим. В Иерусалиме в преддверии вечера было принято тогда собираться и сидеть в гостинной на сквозняке, с открытой балконной дверью, беседуя под насыщенными цветом картинами местных одаренных последователей французского и немецкого импрессионизма о самых разных вещах. Говорили о политике и моде, об армии и СССР, о Голде и о ночных походах Эйзера – «и куда смотрит его жена, спрашивается». У сутуловатого Эйзера, который потом сделал карьеру в политике, была кличка «Летающий Лонг Джон», что это значило, я случайно узнал только через много лет... О литературе в этой компании не говорили, хотя некоторые из гостей и были не чужды этого занятия, совсем не чужды. Стефа сидела с прямой спиной, в беседах не участвовала, это было ниже ее достоинства. И только муж тревожил ее чуть надменный покой вопросами о желаниях:

– Тебе налить сока? Видишь, отличное красное вино? Или что? – спрашивал он.

И женщины осуждающе склоняли головы по адресу мужа: «Вот что значит молодая жена, какой подкаблучник, а какой врач! Милостью Божьей врач!» Играла музыка. И ансамбль, состоявший из ак-

кордеона, скрипки, контрабаса, наигрывал томительное танго, написанное бывшим польским гражданином, подтосковывающим «за Варшаву», за щечающую польскую речь, за чопорный быт городов, за зимнее местечко Закопане, за ветреную весну, за сытное продовольствие, и суровую выпивку, и Бог знает за что еще.

К Стефе подходила больше песня Вертинского «Где вы теперь, кто вам целует пальцы?» и что-то там про лилового негра и мантию, но сходилась и польская мягкая нега. Ей все шло, если говорить честно. Она могла быть подружкой и женой человека любого призвания: и врача и офицера, и ученого и уголовника, и афериста и художника-мариниста, и даже политика-пацифиста. Но с одним условием – он должен был быть ей интересен и давать деньги без расспросов. И обязательно понимать в вине, с которым здесь в Иерусалиме прямо беда, ну нет хорошего вина. А точнее, тогда не было хорошего вина, а потом подвезли. А тогда вот не было.

Между тем время шло, незаметно, уверенно. Кто двигал его стрелки, я не знаю, точнее, только догадываюсь, но движение это было неотвратимо. Заканчивался сентябрь. Стефа сказала мне вскользь на работе, что они планируют с мужем отпуск на октябрь.

– Поедем в Италию, на пару недель, – сказала она. – Вы были в Италии, Марк?

– Замечательно, поздравляю вас. Конечно, не был, Стефа, – оживленно сказал я, который знал только две страны – СССР и Израиль – и с трудом с этим знанием справлялся.

Мне этих стран было более чем достаточно, если говорить правду. Она посмотрела на меня внимательно, хотела что-то сказать малоприятное. Вошел без стука первый перс. Стефа улыбнулась ему очень приветливо и, как мне показалось, растерянно и одновременно расслабленно и призывно. Я вышел в открытую персом дверь и плотно прикрыл ее за собой. Все, что должно быть закрыто, – должно быть закрыто, и наоборот. Приветствую и ненавижу эти порядки.

Возвращаясь домой, в русском книжном магазине на улице Шамай я купил том Мандельштама в мягкой обложке, издательства имени А. П. Чехова. Он стоил очень дорого, и он того стоил. В Ленинграде я думал об этой книге, когда увидел ее у своего друга – тот, как это ни странно, получил ее по почте. В Иерусалиме я сидел в четвертом автобусе и ехал домой. Читал такие строки: «Ночь иудейская сгущалась над ним, и храм разрушенный угрюмо созидался». Не про это время написал Мандельштам и не про меня, конечно. Хотя получилось внешне похоже.

Стефа не поехала ни в какой отпуск, потому что началась война. Как с неба, неожиданно упала эта война, каркающей злой ненасытной вороной. Стефа каждый день ходила на работу, где я чувствовал себя неловко, так как почти всех мужчин призвали, даже мужичков с животами из соседней пекарни забрили. Точнее, все сами побежали призываться под сирену, задыхаясь от усилия и октябрьской жары. Остался я (новичок в стране), оба начальника, оба перса и еще несколько человек средних лет. Да смуглый малоприветливый охранник за стойкой при входе. У него были бакенбарды, как у Пушкина. Вообще, он походил внешне на Пушкина, только был менее приветливый. Я с малых лет считал, что Пушкин был приветливым, живым человеком. Возможно, это мнение ошибочно.

Охранник все время слушал транзисторный радиоприемник, который стоял перед ним на столе. Второй перс однажды мимоходом сказал мне, что этот человек совсем недавно был чемпионом по карате, а теперь постарел и перестал быть чемпионом. Он стал охранником в компании по страхованию. Свои обязанности исполнял строго, чтобы не сказать истово. Вначале он всякий раз требовал у меня документы при входе. Потом он привык к моему виду и иногда даже кивал мне, не то говоря «здравствуй», не то «проходи». Второй перс, который с охранником беседовал на разные темы, сказал мне, понизив голос, что охранник повредил вестибулярный аппарат в одном из боев и что у него бывают провалы в сознании. Я это запомнил, но не придавал особого значения, у всех людей свои недуги.

Стефа каждый день ждала телефонного звонка от сыновей. Старший ее сын был на северном фронте, а младший – на южном. Она осунулась, выглядела напряженной и беспокойной, как-то суетливо передвигалась. Почти не разговаривала. Через три дня после начала войны, наконец, на столе ее зазвонил телефон. Какой-то хриплый мужик быстро сказал, что со старшим ее сыном все в порядке. Он встретил его на переформировании, и тот просил его позвонить домой, а там никто не отвечает, а он, к счастью, взял второй номер и вот теперь он дозвонился и ложится спать, потому что уже всем, кто просил позвонить, он дозвонился, а Стефа последняя в списке... И повесил трубку. «А вы-то как, кто вы?» – выкрикнула Стефа в трубку, но там уже были гудки.

Вся эта война была беспокойной, тревожной. По радио играло много музыки, в большинстве лирические песни на знакомые по России мелодии – так пели отцы-основатели, суровые политики появлялись на ТВ редко и говорили выверенно, сжато и мало. Ничего не было понятно. Ходили глухие слухи о больших потерях и страшных боях в Синае и на Голанах, но не хотелось в это верить. От младшего ее сына ничего не было слышно. Стефа каждый день выходила на работу, худая, темнолицая, смотреть на нее было тяжело. Первый перс, вздыхая, приносил ей на тарелке сладости и заставлял есть. Стефа надкусывала и есть не могла – давилась. Перс опять вздыхал и смотрел на нее, как раненая антилопа.

Потом ей позвонил парень из роты младшего сына, примерно через недели полторы после начала войны, и сказал, что они воевали вместе в районе Канала, что он его видел сам и что это было на пятый-шестой день войны. Стефа попросила его еще рассказать, но парень ответил, что ничего не знает, потому что был ранен и его эвакуировали.

– И это было когда? – спросила Стефа.

– В конце прошлой недели, – сказал парень.

Он оставил ей номер домашнего телефона, адрес, и я знаю, что Стефа несколько раз с ним говорила, встречалась. Ничего нового он ей не сказал. С другими людьми из роты сына она не говорила, потому что их не было больше. Война скоро кончилась, сына Стефы не нашли, он пропал. Таких, как сказала мне Стефа, было несколько десятков человек, большинство – танкисты. В списке пленных, переданных египтянами, его не было. Танк его тоже исчез, как и много других танков, бои были в Синае очень тяжелые, плотно насыщен-

ные артиллерийским огнем. Стефа стала еще собранней и жестче. Она искала сына с большой энергией. Она дошла до большого военного начальства, которому было не совсем до нее. «Вы же сами танкист», – произнесла она. Плечистый красавец-командарм слушал ее рассказ, стараясь не смотреть в лицо, помогал Стефе, носил ей кофе за адъютанта, отдавал подчиненным распоряжения, но сына найти не удавалось. Он пропал, как будто его не было.

Через полгода после войны было подписано соглашение с египтянами, к которым отошла и территория, на которой в последний раз видели сына Стефы. Египтяне тоже искали пропавших без вести, своих и чужих. Через два года после событий Стефе сообщили, что нашли обгоревший фрагмент танка, в котором воевал ее сын. Идет проверка, сказали Стефе. Лицо у Стефы было каким-то застывшим.

– Есть надежда, что похороню, – сказала она звонко и ужасно, встретив меня в коридоре.

В общем, по анализам ДНК определили, что внутри танка останки четырех человек, в том числе и сына Стефы. Его похоронили на военном кладбище в Иерусалиме.

Тот, кто любит фразы и обожает производить впечатление, пусть здесь повторит за поэтом: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Вся история с младшим сыном Стефы, от того звонка до похорон, заняла два с половиной года.

После этого Стефа как-то смягчилась, вроде бы пришла в себя. К ней вернулась самостоятельность и прежняя уверенность в себе, которая пропала за последние годы. Старший сын ее женился, с разницей в год у него родились дети, мальчик и девочка. Мальчик был так себе, живой глазастый ребенок, а вот девочка была красавица. Ее можно было снимать в кино. Прогрессивные взгляды Стефы изменились. Она перестала быть сторонницей мира и прогресса, а стала, наоборот, отсталой и непередовой немолодой женщиной. Однажды я увидел на ее столе книжку «Псалмы Давида», чему не удивился. Стефа книжку спрятала в ящик, заметив, что я увидел ее. Больше этой книжки я у нее никогда не видел, даже случайно.

Никого ни в чем Стефа не винила. Тот командарм-танкист, к которому она попала на прием, сам умер от разрыва сердца – войне требовались еще жертвы, да и страна, которую все так хотели, стоила очень дорого.

Стефа прожила еще много лет после этих событий. Все время работала, потому что так ей было надо. Одевалась все так же стильно и дорого. Уменьшалась в размерах. Ее сторонились товарки, ежились и отворачивались при звуке каблуков в коридоре. Оба перса исчезли в дебрях частного бизнеса. Охранник, когда видел Стефу, вставал по стойке смирно и кланялся ей, как алый часовой в мохнатой папaxe – английской королеве на подагрических ногах. Начальники выдавали ей регулярные премии за сумасшедшую безосновательность. За 27 лет работы она ни разу не просчиталась в подведении баланса. Когда ее сына искали в Синае, Стефа ежедневно выходила на работу, по-прежнему уверенная, надменная женщина, тщательно причесанная. Мне казалось, что она потеряла чувство равновесия. Моя соседка по комнате, та самая молодка, которая говорила, что мужики ничего не понимают, указала ей как-то на не-

которую недозастегнутую деталь туалета. Стефа, не поблагодарив, тут же за дверью застегнулась, как манекенщица на работе. И пошла дальше своим королевским чуть замедленным шагом.

Однажды я сидел в буфете на первом этаже все того же нашего здания в дебрях переулков у Русского подворья. Я ждал кого-то, кто запаздывал. Зашла Стефа, у которой закончился рабочий день. Чего-то она хотела прикупить, кажется, шоколада, который обожала. Я пригласил ее выпить немного. Она согласилась, и я принес от стойки местного коньяка, который хозяин наливал щедро. «Не жалко добра», – говорил он иронично. В буфете работал помощником молодой человек по имени Али. Он был уроженцем Старого города, усатый, симпатичный, нагловатый от своей ловкости мужчина. Он был неплохой, наверное, человек, просто разбаловался сверх меры. Али убирал со столов, шутил с женщинами, давал советы девушкам, напевал, кокетничал с дамами средних лет, в общем, он был в раю, в котором было подавляющее женское большинство.

Стефа выпила со мной коньяка, закусила шоколадной конфеткой. В буфете было не очень светло, хозяин считал, что еда и питье – дело интимное, которое лучше совершать в полумраке. Я не задавал вопросов Стефе, какие могут быть вопросы к ней?

– Как вы живете? – спросила она.

Я только что вернулся из армии. У меня родился сын. Я напечатал повесть в Париже. Передо мной был некий путь из нескольких лет, который предстояло пройти.

Я принес еще коньяка.

– Правильно, молодец, – сказал мне хозяин буфета, мордатый отставник, искренне считавший, что все добро в мире – из Марокко по большей части, по меньшей части – из Алжира, а все зло – из Европы. Тогда пришел к власти Бегин, любимец оппозиционного народа («второго Израиля», как его называли в газетах), и буфетчик всерьез объяснял, что этот человек – уроженец Феса, города в Марокко.

– Он вообще в Польше родился, Фес – это Фес, а Пинск – это не Фес, – говорил я ему.

Он махал на меня толстыми руками и искренне обижался.

– Я знал его деда и бабу, их фамилия была Перец, они жили на соседней улице, – громко говорил он.

– Перецы родили совсем другого сына, мы все знаем его, а у Бегина другие родители и жили они в другом городе, Перец – не Бегин, – упрямо повторял я.

Спор наш не кончался никак. Это происходило прежде. Давно.

Сейчас Стефа неподвижно сидела с прямой спиной, глядя перед собой. Али протирал соседний со стойкой стол. Он посмотрел на Стефу со стаканом в руке и отвратительно засмеялся, мог себе это позволить. Никто его на место не ставил. Зашел наш охранник за сигаретами. Он сразу разобрался в ситуации и пробурчал Али что-то невнятное и угрожающее.

– Я не понимаю тебя, старик, – сказал Али.

Охранник сделал шаг к нему, и тот, смеясь, отошел.

– Осторожно, Али, не шути все время, – сказал я ему по-русски.

Он, по-прежнему смеясь, отошел еще дальше. Хозяин сказал ему слово по-арабски, и Али нехотя ушел в кухню, скрылся за пере-

городкой. Играла музыка востока, пилила скрипка, солировал уд, напрягая голос, пела певица, «соловей Каира».

Мы со Стефой выпили, она немного отошла, ничего не заметила, говорила почти живо, почти энергично.

— Я знаю, что вы печаетесь и что это интересно, я рада за вас, — сказала она. — Почему вы не спрашиваете, как я живу? — спросила Стефа, глядя исподлобья.

Кое-что я понимал про жизнь, кое о чем догадывался, но, конечно, всего я знать о ней не мог, это было невозможно.

Глаза ее выражали опасность, скорбь, ледяную тоску. Я смутился и сказал, что не хочу ей помешать.

— Ха, помешать! Мне нельзя помешать. Я не живу, понимаете? Меня нет, это не я, — она говорила в другой тональности, но так же негромко, как и прежде.

Она выпила грамм сто двадцать коньяка, без закуски, но пьяной не казалась.

Али подошел к нам, подтанцовывая, и стал собирать блюда и рюмки, ничего не спрашивая и хозяйски улыбаясь широким ртом. В руке у него была тряпка, которую он держал, как смычок виолончели.

Стефа, глядя перед собой, глухо сказала ему:

— Оставь на месте.

Али отпрыгнул от звука ее голоса, будто обжегся.

— Что вы говорите, я не могу понять слов, — пожаловался он.

Удивительно, как он мгновенно изменился, даже стало жалко его, дурака. Из него вышла жизнь, вышел воздух, опала всегда выпуклая грудь всадника пустыни. Наш охранник, который пил чай у окна, смотрел за происходящим с напряжением.

Стефа повернулась к Али всем телом и внятно и тихо сказала:

— Оставь все и уйди отсюда, Али.

Все это вместе, ее слова, звук ее голоса, было похоже на прыжок в бездну. Али убежал мелкими шагами и скрылся в кухне. Охранник допил чай, поклонился Стефе, как кланяются царской персоне, и ушел.

Стефа вздохнула и взялась за сумочку. Лицо ее приняло прежнее выражение. Глаза были без зрачков, лицо мумифицированной женщины, которая когда-то была очень привлекательна. Я не знал, кто заставил меня пригласить Стефу, это была огромная личная ошибка. Исправить ее было невозможно.

Буфетчик, пропустивший все события, подошел к нам, с полотенцем через руку и с сумеречным выражением лица.

— Вы что с Али сделали? — спросил он у меня. — Человек не в себе.

Как показалось, он боялся посмотреть на Стефу, которая сидела, как и до этого, напротив меня с прямой спиной, с твердым выражением лица, с пустым взглядом серых глаз.

— Все в порядке, ничего с твоим Али не случилось. Сколько мы должны, — сказала вдруг Стефа хрипло и твердо.

Буфетчик вздрогнул от звука ее голоса и, по-военному повернувшись, ушел, даже широкой головой не качнул. Я положил ему на стол купюру, которой должно было за глаза хватить для оплаты, и заглянул в кухню. Али сидел в углу между плитой и разделочным столом. Он сжал кисти рук между коленями и, раскачиваясь вперед

и назад, молча глядел в пол. Во всей его позе было нечто жуткое, больничное, пугающее. Он познакомился с чем-то, чего никогда не видел и не испытывал до этого. Стефин голос, казалось, пробил его насквозь.

Я проводил Стефу до машины, и она уехала, газанув, как на гонках, мимо полицейского участка направо, мимо православной советской церкви вниз к улице Яффо. На меня она не смотрела, не подала знака рукой, устала за день. Глаза ее светили зеленым светом. Стефа жила по другим законам.

Али на другой день уволился и молча ушел с удобной и выгодной работы. Интересно, что буфетчик, который любил говорить о происках европейцев против его сословия, тоже молчал. Говорить было нечего, потому что все уже было сказано. Да и вновь открытая Стефой тема была непонятна, сложна, труднодоступна для отставного старшины. Пусть и представленного не раз к воинским наградам в виде грамот, премий и поощрений, развитого и умного сверх всякой воинской меры. Хотя и у него, конечно, есть душа.

То, что приоткрылось после негромких слов Стефы бедному Али, не поддавалось преодолению и пониманию.

Потом уже буфетчик шепотом рассказал мне, клянясь детьми и мамой, что сам видел у Али прожженную у ключицы рубашку.

– Отчего это он прожог ее? Никогда не прожигал, у огня не был, и нате вам, а? До кости, понимаешь? Как два выстрела из двустволки, представляешь? – спросил меня буфетчик, почему-то оглядываясь.

Очевидного ответа у меня не было. Больше он на эту тему никогда со мной не заговаривал. А я молчал, потому что думал, что не стоит афишировать ответ. Когда буфетчик отходил от меня, он сказал странную фразу, которая мне была непонятна: «Ситра ахра», затем повторил: «Ситра ахра», – и ушел. Я не знал, что это значит, на каком языке это произнесено. Все это было неожиданно и пугающе, особенно из уст человека, который три раза в неделю ходил учить Книгу, набираясь знаний и мудрости. Думаю, ответ мой был и не очень нужен ему, он не подходил, так сказать, к этому случаю, был из параллельной к его реальности. Ответ мой не слишком бы обнадежил и обрадовал этого доброго шумного человека с плохо сгибающейся правой ногой, поврежденной на футбольном поле в столкновении с внуком того самого Переца, которого буфетчик называл отцом Бегина. Что не имеет непосредственного отношения к личной истории женщины, которую звали Стефа.

Отчетливо увидел маленькую девочку лет восьми, которая у настенного зеркала собирается в школу. Она в советском форменном платье с передником, к которому приколот светящийся в темноте значок октябренька, с оранжевым профилем вождя. У нее косички с бантами, белые носочки и серый ранец за плечами, похожий на ранец немецкого солдата Первой мировой войны. Пасмурное советское утро. Она умыта, причесана, серьезна, смотрит на себя в зеркало исподлобья. Мама ходит вокруг нее, всплескивая полными руками: «Ну, все чудесно, кукла, а не девочка, просто кукла».

Она уже на ходу говорит: «Я пошла, уже опаздываю, мама». И уходит, не прощаясь и не делая лишних движений, чтобы не опоздать. На улице вливается в поток таких же, как она, детей, спе-

шащих в школу. Она самостоятельна и никого не ищет. Очень скоро Стефа скрывается за углом родительской улицы, за неказистой булочной с гипсовыми макетами батонов в витрине. Она перестает быть маминой куклой и становится обычной девочкой из многих. А дальше уже как Бог ей даст.

Что значило загадочное выражение «ситра ахра», я узнал через некоторое время от одного ветхого человека с прозрачными синими глазами, жившего тогда в ортодоксальном только что отстроенном по холму вниз к ложине квартале Санхедрия Амурхевет в Иерусалиме. Сейчас он больше не живет там.

Я специально, чтобы узнать, приехал к нему в квартиру с узким коридором и темноватой кухней. Во дворе у его дома была одна машина, на которой никто не ездил много недель. Но машину эту не раскурочили дети, никто ее вообще не касался, судя по толстому слою пыли и грязи на окнах.

Стол в гостиной дома этого человека был накрыт зеленой клеенкой в белую клетку. Посередине стола стояла чистая пепельница из советского хрусталя.

Человек этот выслушал меня, поглядел прозрачными глазами на книжную полку, помолчал. Он был в застиранной рубашке с застегнутым воротником и каком-то сером пиджачке. Поплевывая в худую горсть, отводя невероятные глаза свои от меня, он все странно и точно разъяснил, что и как.

Это произошло позже, когда я уже был далеко во времени и расстоянии от буфетчика, от Стефы, от охранника-каратиста, от Али не мог им рассказать о смысле фразы на другом языке, даже если бы захотел. Я и не захотел им ничего рассказывать, потому что все всё сами знают из того, что должны знать.

Или не знают пока.

2008

АКУЛА ЕГО СЧАСТЬЯ

Юрию Леплеру

Мой товарищ, ихтиолог по профессии, мыслитель по призванию, стоик по сути, по имени Ося, человек вразумительный, не склонный к жестикуляции. То есть он склонен к размышлениям и правильным выводам. Иногда мы встречаемся с ним на досуге и выпиваем в лавке у братьев Швили, закусывая водку «Голд» горячим бульоном, холодным рисом, крупно порезанным свежим батонном и чудной гурийской капустой, которую младший из братьев Швили, Гриша, наваливает на блюдо широким жестом.

Место это пользуется, что называется, популярностью в определенных кругах. Здесь изредка гуляют и загуливают Серега, Яничик, Левчик, имеющие репутацию, некоторый авторитет и соответствующие клички – Серп, Зуб и Кос. Их осторожно, даже подобострастно уважают хозяева и посетители. Сейчас их нет здесь.

Между моим скорбящим товарищем и мной на столе с бумажной скатеркой стоит бутылка водки, рюмки на семьдесят грамм и бутылка содовой воды. Из-за меня мы не пьем кока-колу, которую

предпочитает ихтиолог. Я колу не принимаю, потому что мои дети когда-то слышали лекцию о вреде этого напитка и взяли с меня слово не пить его. Почему-то о вреде водки мои дети лекции не слышали. О водке они знают не понаслышке, но, на их взгляд, этот напиток не так опасен, как кола. А и то. Ихтиолог, которого звать Ося, не пьет колу из солидарности со мной, сегодня он грустен.

– У меня акула моя ручная померла, рак горла у нее был, понимаешь? – говорит он, и на синие глаза его наворачиваются слезы.

Мы уже немолоды, и сентимент торжествует в борьбе с нашими непростыми характерами. Мы выпиваем по рюмке в память об акуле. Ее звали Дафна. Для Оси это имя значит, вероятно, многое, но он не говорит об этом. Даже сильно выпив, не говорит. А об акуле он говорит много.

– Я ведь ее взял, она была детенышем, совсем крохотуля, на руках у меня выросла. Глаза внимательные, любопытные, просто ласточка, кокетка. Я с нею плавал вместе, подталкивал плечом. Она вымахала большая, метра полтора, но ко мне относилась очень хорошо, все помнила, королева. Потом заболела, у нее был рак горла, проглотила морского ежа, ну и вот. Сделали ей операцию под наркозом, но она уж не оправилась, Дафнушка.

В окне, которое хозяева ежедневно протирают мокрыми газетами от пыли, наносимой ветром с дороги, виден перекресток. На нем можно, свернув вправо, доехать до улицы Ротшильда, а можно и проехать мимо. Дело происходит в городе Тель-Авиве, если кто еще не понял. Будний день, который ближе к концу недели, чем к началу ее. Но это как посмотреть. День близится к завершению, машины прибавляют в движении, шуме и количестве, наезжают на светофор, как организованные чадающие стада. А у нас здесь нервная поминальная беседа об акуле Дафне, которую любил Ося и которая, вероятно, любила Осю. Но умерла.

Ося глядит на вход в кафе, где из-за подстриженных кустов появляется приземистая фигура ученого человека по кличке Присци. Он кандидат физико-математических наук, регулярно выпивает, отрастил волосы до плеч, ходит в шортах и майке с надписью «Нью-Йорк» по-русски. Мышцы его чудовищны. Он смущается жизни и иногда заикается. Когда Присци выпивает, то заикание проходит.

– Иди сюда, Присци, – говорит ему Ося, – давай выпьем за Дафну.

Присци приглаживает волосы и садится к нам. Он очень крепок, как многие физики. Его руки так широки и сильны, что любой предмет в них кажется неловкой помехой, которая вот-вот скроется в ладонях бесследно. Рюмка с водкой не исчезает в руках Присци, а, наоборот, как бы увеличивается в размерах. Сейчас в ней не семьдесят грамм водки, а все девяносто или даже сто. Такая доза для этого человека серьезна, потому что, несмотря на физическую мощь, Присци теперь зависит от алкоголя, влияющего на него после выпитого сразу и сильно.

Мы выпили разом. У Присци стекло по подбородку несколько капель водки, которые он мягко подобрал указательным пальцем, лизнув его, как мороженое. На подбородке у Присци был шрам. Он упал с велосипеда, когда тот у него еще был и Присци совершал в

выходные выезды из одного города в другой. Однажды он приехал на велосипеде в Иерусалим из своего предместья Тель-Авива. Не так далеко, наверное, шестьдесят километров, но все время подъем, подъем, что по жаре занятие малоприятное. Присци все выдержал, докрутил педали, доехал. Обратного ему было ехать не так тяжело, хотя так же напряженно, потому что спуск с горы Кастель – дело ответственное, мало предсказуемое, нервное. Хотя жилы уже так не рвешь, как на подъеме, но необходимо крепко держать руль и смотреть по сторонам. Присци смотрел по сторонам хорошо. Тогда он не пил часто. Его звали иначе.

Теперь его зовут Присци. Прежде у него была жена Присцилла, добродушная, ладная американка, которую он очень любил. Они держались за руки даже во время застолий, даже после семи лет семейной жизни. Потом Присцилла вдруг сошла с ума, вступила в компартию, как говорят теперь в России, конкретно и стала пропадать на собраниях, митингах и акциях протеста. Она не сошла с ума в том смысле, который мы вкладываем в эти слова. Присцилла продолжала работать, готовить обеды, стирать дома белье и так далее. Просто ее сознание сместилось в сторону по неизвестным причинам. Так бывает. Ничего не помогло, даже рожденный для компромисса тучный раввин черно-белого тона, умевший слушать все конфликтующие стороны внимательно и сочувственно. Он был призван наладить отношения в семье, но не сумел этого сделать. Присцилла уехала обратно в Штаты, успев разочароваться в компартии и ее активистах. В своем народе она разочаровалась еще раньше. А ведь так была очарована, бедная. Голова ее кружилась от всего этого ближневосточного бедлама. Раскружить ее было не под силу даже Семену. Физик, которого в жизни звали Семен, потребовал, чтобы его стали звать Присци в честь бывшей жены. Он запил, ушел с работы. Он писал ей письма на иврите, которые возвращались к нему нераспечатанными. Теперь он сидел с нами за столом и смирно слушал рассказ про акулу по имени Дафна.

– Я должен тебе признаться, что однажды ел копченую акулу. Было это в пригороде города Газа, лет двадцать назад, я служил тогда там, и один рыбак угощал нас этим деликатесом. Ничего особенного, – сказал Присци, закусив кусочком хлеба.

Он был очень сдержан в жизни и, даже выпив водки, много водки, держался в привычных рамках негромкого голоса и умеренного аппетита.

– Что вы говорите про акулу? Ее нельзя кушать, как можно даже думать?! – сказал хозяин Гриша, потеряв в неизвестном месте свою всегдашнюю улыбку.

– Ну, хорошо, нельзя и нельзя, но я ее любил, что поделать, – ответил Ося Грише без раздражения.

Любовь к Дафне и грусть о ее судьбе делали его достаточно колючий характер мягким и примирительным.

– Если любил, то это, конечно, другое, любовь – это все, – сказал Гриша торжественно.

Брат Гриши Илья, сдержанный разумный человек средних лет, вызвал его из окошка в двери на кухню. Илья немного тянул на ходу правую ногу, стеснялся этого. Из окошка подавались блюда

посетителям. Гриша выпил нашей водки из стакана, не совсем понятно объявив всем, что пьет за любовь и ее проявления в жизни. Он закусил надтреснутой, так называемой битой маслиной, замоченной в оливковом масле в некоем галилейском селе. Еще одной. И церемонно отошел.

На улице темнело. Братья Швили закрывались рано, потому что открывались рано. Но если были хорошие клиенты, то ждали, не подгоняли, не мешали. Здесь, в маленьком закутке на пять столов, где давали потрясающие по вкусу, очень простые и дешевые блюда восточной кухни, всегда томила очередь. Стройный хозяин, с лиловыми губами, с глазами плута, очкастый, глава большой семьи, ходил между столами и громко повторял: «Не жевать, господа, глотать, глотать, только глотать». Слышался оттенок сарказма в его суровых словах. Араб из Восточного Иерусалима, работавший на кухне, человек с феноменальной памятью и переделанным на еврейский лад именем, передавал тарелки со снедью официанту, такому же арабу, но по имени Шмуэль, объясняя, кому чего и на какой стол. Ошибок не было. Суп не расплескивался. Посетители протирали тарелки кусками хлеба, пытаясь добрать остатки ангельского вкуса с оттенком бессмертной кухни иракского Курдистана. Все дружно глотали, очередь не роптала. Но все это было в другом месте, городе другой культуры, других людей, других отношений. Один из посетителей ухитрился пить здесь чистейший арак – анисовую водку из бутылки с пугливой зеленой антилопой. Он наливал арак возле стола, доставая бутылку из сумки. Никто ему ничего не говорил, потому что ни у кого не было слов для описания происходящего. В Иерусалиме в те времена, можно сказать, почти не пили. Народ еще только подъезжал. Тогда коньячный напиток назывался «Медицинале», и его давали детям от простуды столовыми ложками. Потом бутылку прятали в буфете. А здесь и теперь, возле близкого опустевшего автовокзала, совсем недалекого от очень глубокого как бы выцветшего моря и деятельного, суетно-яркого населения, все было иначе. Пили не арак, а водку, которая была не хуже, а возможно, лучше арака, тоже достойного напитка.

– У них замечательное лобио, у братьев, надо заказать, – сказал я, слушая гортанный разговор Гриши и Илюши за дверью.

Присци рассматривал свои руки с удивлением.

Ося сказал так:

– Я к ним однажды был приглашен на обед, они недалеко живут, оба брата с семьями в одном доме, и мама еще. Такая молчаливая женщина в черном, с некоторыми блестками и цветками на кофте. Мы сидели за столом, и я, чтобы сделать приятное их маме, сказал, что ее сыновья замечательно готовят в своем кафе. Она недоверчиво прислушалась, переспросила: «Готовят, да?» После паузы она начала смеяться, качать головой, вытирать платочком слезы и что-то удивленно повторять по-грузински. Минуты две смеялась, у нее трясся подбородок, потом она успокоилась и вышла. Все время хочу у Гриши спросить, что она повторяла, но неловко.

Из кухни вышел Гриша с большим блюдом и поставил его на стол:

– Вот Илюша сделал лобио, прислал вам.

Ося пригласил Илюшу выпить с нами, а также Гришу – тоже выпить. Тоже с нами, не против нас. Илюша вышел из кухни, вытер руки полотенцем, взял стакан и негромко сказал тост по-грузински. Гриша его поцеловал за это.

– Переведите, пожалуйста, – попросил Ося.

– Невозможно для перевода, – ответил Гриша.

Илюша стоял по стойке смирно, не заедал, не комментировал, ничего не ждал, смотрел перед собой, очень приличный человек, в отличие от брата, который тоже был приличным человеком, но с известными оговорками. Например, он мог... но нет, невозможно это все говорить вслух, есть то, что должно остаться за пределами рассказа, самого откровенного.

Надо было завершать эти посиделки и расходиться. Ося сказал на прощание: «Они ведь слепые, акулы, глухие, рук нет, ног нет, все их не любят, боятся, только я Дафну обожал, гладкую красавицу».

Явно все кончилось здесь, нужно было закругляться. Радио за стойкой пробило сигнал – 18 часов в Иерусалиме. «Прослушайте новости из уст Цви Сальмана», – сказал густой голос пожилого диктора, который был похож на встревоженного дятла. Я видел его в Иерусалиме на сходке ревизионистов лет тридцать назад, когда те были в силе и моде. «Жаботинский был писатель и публицист, смелый человек, который умер от тоски по Эрец-Исраэль, высланный англичанами навсегда», – сказал Цви Сальман. Я немедленно возненавидел английскую империю и ее мандат на Палестину, что было, наверное, справедливо. Жаботинского, вероятно, любила Берберова, потрясающая женщина с совершенным лицом красавицы и брезгливо сложенным ртом. А может быть, и не любила, так, минутное увлечение некрасивым евреем – Жаботинский был некрасив, очень привлекателен, уместен, наверное, мил. От него бесспорно могла потерять голову женщина. Нина Берберова как раз производила впечатление такой женщины, во всяком случае, на меня.

Гриша принес счет. Ося посмотрел на цифру в знаменателе, и мы скинулись наполовину, включая чаевые. Илюша посмотрел на Гришу не без гнева, что-то сказал ему гортанное, но тот отмахнулся от него, как от назойливого, пожилого еврея, которым тот и был, конечно. Присци в растерзанном состоянии стоял в стороне, никто от него не ждал поступков и слов, какие слова. Поступки в его жизни кончились на данный момент. Он задумчиво потирал бицепс правой руки, чтобы у него было столько счастья, сколько было там мышц.

– Я ведь стихи написал про Дафну, – сказал Ося уже на улице, глядя себе под ноги.

Наши тени стали бледными и почти исчезли. Присци, любопытный, как все люди подобного толка, совершенно пьяный, стоял сбоку, чего-то ждал, не качаясь.

Ося прочитал стихотворение в напористой ленинградской манере, чуть помогая себе рукой и сменяя невидимые препятствия голосом, как это делал замечательный поэт Леонид Аронзон, умерший давно и оставивший после себя серьезное и роскошное поэтическое наследие.

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Игорь Туберлиан

А УТРОМ ПРОСЫПАЕШЬСЯ ПРОРОКОМ

* * *

Восторг сочинителя вовсе не прост,
упрямы слова, а не кротки,
то рифму никак не ухватишь за хвост,
то мысли – подряд идиотки.

* * *

Пусть объяснят нам эрудиты
одно всегдашнее явление:
езде, где властвуют бандиты,
их пылко любит население.

* * *

Пророки, предсказатели, предтечи –
никто единым словом не отметил,
что сладостные звуки русской речи
однажды растекутся по планете.

* * *

Когда болит и ноет сердце,
слышней шептание души:
чужим теплом довольно греться,
своё раздаривать спеши.

* * *

В духовность не утратили мы веру,
духовность упоительно прекрасна,
но дух наш попадает в атмосферу,
а это ей совсем не безопасно.

* * *

Такая мне встречалась красна девица,
что видел я по духу и по плоти:
в ней дивная изюминка имеется,
не раз уже бывавшая в компоте.

* Из будущей книги «Восьмой иерусалимский дневник».

* * *

Заметил я уже немало раз
печальными и трезвыми глазами:
спиртное выливается из нас
ещё довольно часто и слезами.

* * *

Склероз, явив ручонки спорые,
сегодня шутку учинил:
я сочинил стихи, которые
давно когда-то сочинил.

* * *

Забавно мне крутое вороньё,
которое политику вершит:
когда твоя профессия – враньё,
дерьмо сочится прямо из души.

* * *

Видно, это свыше так решили,
ибо парадокс весьма наглядный:
чтобы делать глупости большие,
нужно ум иметь незаурядный.

* * *

Земное благоденствие вкушая,
клубится человеков толчея,
все заповеди Божьи нарушая,
но искренне хвалу Ему поя.

* * *

Мы все – особенно под мухой –
о смерти любим чушь нести,
кокетничая со старухой,
пока она ещё в пути.

* * *

Одно из, по-моему, главных
земных достижений моих –
сейчас уже мало мне равных
в искусстве разлить на троих.

* * *

Настолько много мыльных пузырей
надули мы надеждами своими,
что где-то, очевидно, есть еврей,
который наши души лечит ими.

* * *

Сболтнёшь по пьяни глупость ненароком,
смеются собутыльники над ней,
а утром просыпаешься пророком –
реальность оказалась не умней.

* * *

Двух устремлений постоянство
хранит в себе людское племя:
страсть к одолению пространства
и страсть к покою в то же время.

* * *

Душа пожизненный свой срок
во мне почти уже отбыла,
была гневлива, как пророк,
и терпелива, как кобыла.

* * *

С поры, что сняты все препоны
и абсолютных нету истин,
весьма узорны выебоны
пера и кисти.

* * *

Только те, кто смогли и посмели
власть российскую громко ругать,
лишь они, вольнодумцы, сумели
голой жопой ежа напугать.

* * *

Божий мир хорош, конечно, очень,
но для счастья многое негоже,
впрочем, я сильнее озабочен
тем, что я себе не нравлюсь тоже.

* * *

Порядок в России сегодня пригодный,
чтоб жить интересно и вкусно,
великий, могучий, правдивый, свободный
держа за зубами искусство.

* * *

Нет, мы не случайно долго жили,
к поросли ушедших мы привиты,
время к нашим жизням доложили
те, кто были смолоду убиты.

* * *

Меня народ читает разноликий –
никак не угадаешь наперёд:
казах, тунгус, хохол и ныне дикий
еврей – российской почвы патриот.

* * *

Навидевшись америк и европ,
вернулся я в мой дом, душе любезный,
и стал сильнее любить российский трёп,
распахнутый, густой и бесполезный.

* * *

Нашёл у незнакомого поэта
идею, что двоится облик мой,
что равно соблюдаю два завета:
скрывайся и таи, проснись и пой.

* * *

Я чую запах личности на слух:
слова текут, и запах есть у них,
сменяется пивным коньячный дух
ушедших современников моих.

* * *

От радуги цветного пузырения
у нас тепло становится внутри,
и нужно ещё время для прозрения,
что это были только пузыри.

* * *

Что я скажу про стариканов,
давно лишившихся огня?
Жена боится тараканов
гораздо больше, чем меня.

* * *

Ликуя, что владеет он пером
ловчее, чем пилой и топором,
в России автор быстро создавал,
что за перо грозит лесоповал.

* * *

Не пророк я, но верится мне,
что в эпоху, уже внеземную,
мой потомок на тихой Луне
для пролётных откроет пивную.

* * *

Я к еврейскому шуму и гаму привык,
не к такой мы херне привыкали,
и спокойно живу, из печати и книг
получая сионистый калий.

* * *

Я так характером обмяк,
хоть насмотрелся стольких сук,
что стал я нежен, как хомяк,
однако скрытен, как барсук.

* * *

Сначала длится срок учебный,
потом – рабочий длинный срок,
за ним – короткий срок лечебный,
а дальше – выход за порог.

* * *

Всё в мире сотворялось неспроста,
всему на свете есть обоснования,
и нету, например, у нас хвоста,
чтоб мы могли скрывать переживания.

* * *

Добро всегда в картонных латах
и сверху донизу в цитатах,
а зло на мягких ходит лапах,
и у него прекрасный запах.

* * *

От улочки старинной городской,
от моря под закатным освещением
вдруг полнишься божественной тоской
невнятным и блаженным ощущением.

* * *

Лишился я уютной тихой гавани –
зачем я поменял себе судьбу?
В Израиле хоронят в тонком саване,
в России я б давно лежал в гробу.

* * *

Я дожил до лет, когда верю вполне,
что счастье придёт не снаружи,
что тихий покой воцарится во мне,
поскольку я слышу всё хуже.

* * *

Мне в мире ничего уже не странно,
достойное прошёл я обучение,
во мне до сей поры ещё сохранно
русское болотное свечение.

* * *

Ни миг не дремлет электричество:
по вызову мужчин и дам
его огромное количество
всю ночь течёт по проводам.

* * *

Обманчива наша земная стезя,
идёшь то туда, то обратно,
и дважды войти в ту же реку нельзя,
а в то же говно – многократно.

* * *

Я не монарх, не олигарх,
но мне мила родная хата,
где счастлив я, как патриарх
во времена матриархата.

* * *

Нашёл я дивную страну,
другой такой же – нет на свете,
но ей длину и ширину
хотят урезать сучьи дети.

* * *

Всё время в области груди
дурные чувства душу студят –
то стыд за то, что позади,
то страх того, что дальше будет.

* * *

Хотя страшит не смерть сама,
а ожидание её,
но вдруг и правда там не тьма,
а разное хуё-моё?

* * *

К доходам нет во мне любви,
я понял, жизни в результате,
что деньги истинно мои –
лишь те, что я уже потратил.

* * *

Прильнув душой к семейной миске,
теряешь удадь и замашки:
увы, любовь к родным и близким –
сестра смирительной рубашки.

* * *

Не знаю жизни бесшабашней,
чем та, которой жили мы,
сам воздух тот, уже вчерашний,
сочился запахом тюрьмы.

* * *

По прихоти Творца или природы,
но мне и время старости дано;
порядочные люди в эти годы
лежат уже на кладбищах давно.

* * *

Наши ненавистники, бедняги –
шумная слепая молодёжь, –
пылко жгут израильские флаги,
а живых – уже нас не сожжёшь.

* * *

Много их повсюду в наши дни –
что ума, что духа исполины,
и такое делают они –
их, боюсь, лепили не из глины.

* * *

Вода забвения заплещется,
душа смешается с туманом,
но долго буду я мерещиться
неопалимым графоманам.

* * *

Поставить хорошо бы кинокамеру,
снимающую фильмы про итоги –
как мы усердно движемся к Альцхаймеру,
но хвори ловят нас на полдороге.

* * *

Лишь начал я писать в ту пору
и благодарно помню зло:
когда мне власть вонзила шпору,
меня как ветром понесло.

* * *

Свои проблемы сам я разрешал,
и помнится – ничуть не покаянно –
ошибок я не много совершал,
я просто повторял их постоянно.

* * *

А бывает – ни с того ни с сего,
и у душ бывает так, и у тел,
что ужасно вдруг охота того,
чего вовсе никогда не хотел.

* * *

Слова скучают беспризорные,
мечтая слипнуться, прижаться,
и в тексты самые позорные
они с готовностью ложатся.

* * *

Ангелы, они же ангелицы,
голуби почтовые у Бога,
запросто умеют превратиться
в нищего у нашего порога.

* * *

В себе не зря мы память гасим –
не стоит помнить никому,
что каждый был хоть раз Герасим,
своя у каждого Муму.

* * *

Народ не стоит обвинять
за нрав овечьего гурта:
не видеть и не понимать –
весьма целебная черта.

* * *

Отгораживая собственные зоны
и свою неповторимость почитая,
рабиновичи живут, как робинзоны,
всех иных огромной Пятницей считая.

* * *

Тоска, тревога, пустота...
Зовёт безмолвная дорога
в иные выбраться места...
Там пустота, тоска, тревога.

* * *

Я зекам в лагере – прошения
писал о пересмотре дел,
к литературе отношения
мой труд нисколько не имел.
Но я был счастлив.

* * *

Рубивший врага на скаку
и сыром катавшийся в масле,
мужчина в последнем соку
особенно крут и несчастлив.

* * *

На свете это знает каждый,
но помнит нехотя и вяло:
среди благонадёжных граждан
людей надёжных очень мало.

* * *

Любое зло мне шло во благо.
Когда случилось это зло,
все говорили: ах, бедняга,
но я-то знал, что повезло.

* * *

Кровь покуда струится вдоль жил
и творит мою жизнь молчаливо,
я умру от того, что я жил,
и расплата вполне справедлива.

* * *

Что я воспел, пока металась
во мне моя живая кровь?
Воспел евреев, пьянство, старость
Россию, дружбу и любовь.

Елена Аксельрод

С НАТУРЫ

В ПРЕДЧУВСТВИИ ДОЖДЯ

Понедельник

На корявом кусте обгорелом,
недавно розово-белом,
струпья и стружки,
не влагу небесную, а сироп
лакаю из кружки,
со лба утираю пот.
Дождик осыпался и сплеховал,
опять спасовал перед засухой.
Лишь вечер жару к ответу призвал,
упрятал за влажною пазухой.
Ветки над рыжею сединой
истрепанного плюща
заигрывают со мной,
в предчувствии трепеща:
— Просыпается дождь,
разминается дождь,
вот рассеется пыль —
и себя найдёшь,
и кого-то рядом найдёшь.

Вторник

Высь разлинована параллельно.
Дожди упакованы каждый отдельно.
Может быть, верхний сверзится первый,
может, сдадут у нижнего нервы,
может быть, главный, частый и колкий,
спрятан в продольной чернеющей щёлке?

Глянула в небо чуть погода.
Нет, никакого не будет дождя,
и никаких параллелей нет,
лётся не дождь, а бессовестный свет,
хлещет свирепо по кронам и склонам,
день захлебнулся питьем раскалённым.

Так и живём: ни зонтов, ни плащей.
может быть, это в порядке вещей?

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Скачет зайчик ошалелый
по гардине, по картине,
по листу бумаги белой,
голой, как песок в пустыне.

Пущен из какой же пущи
этот пляшущий посланник?
Знай резвится пуще, пуще
на столе, как на поляне.

Этот, посланный украдкой –
кем, зачем, с какою целью, –
знак участия беглый, краткий,
схвачен солнечной метелью.

* * *

Зажмурилось сознание.
Глаза тут ни при чём.
Достроила бы здание –
проблемы с кирпичом,
ни одного макета,
ни одного наброска,
и лето не пропето,
и тучи шутят плоско.
Ни краски, ни замазки,
ни запаха, ни звука.
Никто стучится в двери,
и я не слышу стука.

ДВОЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ

1

Она помнила только горячие
обезумевшие глаза
над своим счастливым лицом.
А когда в окнах вспыхнул гром
и, попусту пламя растрачивая,
безрадостная гроза
их отбросила друг от друга –
дней оставшихся правильный ком
покатился, свернутый туго.

2

Старуха видела плохо. Её старик
пуговицу искал, закатившуюся под кровать.
Нашёл. Распрямился не вмиг
и принялся нитку в иголку вдевать,
пуговицу пришивать.

Старуха ждала... Застегнула с усилием жакет,
к зеркалу подошла. Себя кое-как обсмотрела.
Дед не смотрел. В книжку уткнулся дед.
Вослед старикам солнце в окне горело.

С НАТУРЫ

1

Клонила акация, выгнув колено,
скворец на колено уселся мгновенно,
и я бы писала ещё про скворца,
но птичьего я не видала лица,
а видела мать, что качели качала,
при том по-английски на сына кричала.
Чем выше сынок, тем мамаша сердитей,
а мальчик, летя, ликовал на иврите.

2

Мой утренний гость-муравей
чёрною запятой на белизне простыни,
и сразу буковки, как муравьи,
и вспоминаю, что тридцать в тени,
что я не та, что была во сне,
что не те уж гости мои...
Говор амхарский с птицами соревнуется
по высоте звучания,
на приبلудившейся, вторгшейся в дом волне
кто-то беснуется –
то ли угроза, то ли отчаянье...
Жареный лук соседский
пахнет так по-домашнему,
так по по-вчерашнему,
что кажется, с луком вместе
в предпраздничной жарке-варке
на сковородке чугунной
верещат гусиные шкварки...

А здесь взволнованный кочет
кричит предпасхальным днём.
Мусорщик баком грохочет
почти в изголовье моём.

* * *

Покосы, откосы, плёсы –
Несло нас, везло, катило.
Домчались – раздето, босо,
Лезет в глаза светило.

На безотказном джипе
петляем. Без леса подлески.
С весёлым водителем в кипе
бесстрашны, как рыба на леске.

ЖИВЁМ С ТОБОЙ КАК ПОЛОЖЕНО

1. Интерьер

Живём с тобой как положено:
скатерть на стол положена,
свечи есть и подсвечник,
коврик припал к порогу,
в холодильнике мёрзнет йогурт,
срок его истечёт не скоро,
и наш не вечен.

2. После обеда

Закинула руку за голову,
забыла её, задремала,
подушку малость примяла.
У часов с холодильником заговор,
шебуршит вентилятор на стыках.
Я бы лежала тихо,
но куда этот поезд несётся?
Диван подо мной трясётся.

3. Шляпа

Прошляпила свои поля,
пылится тулья.
В прихожей, дни пустые для,
лежит на стуле.

Ненужность, праздность и тоска.
А было дело,
когда, взирая свысока,
на голове сидела.

4. Vita nova

Зовут из вазы абрикос и слива.
Прости меня, прекрасная чета, –
не натюрморт, а vita... Что за диво!
Жаль, ни таланта нету, ни холста,
ни кисти Куприна или Машкова.
Пригубить свежести?.. Да нет, сыта!
Но все короче эта вита нова,
короче, чем моя. Не мне чета.

* * *

Памяти Юрия Карякина

Опять все сызнава.
Недаром из житья
изжитого, капризного,
безглазая рука моя
выуживает, не спросясь
у закоулков мозга,
с прошедшим траченную связь
и кличет из небытия
всех тех, с кем слишком поздно
и толковать, и выпивать,
и совеститься слёзно,
их лица тонут, вновь плывут,
и что ни ночь, зовут на суд,
как будто, несерьёзно.

20 ноября 2011

* * *

Не возлагайте венков, пожалуйста,
на того, кто не чувствует благоуханий.
Тому, кто не слышит, не надо жалости,
не надо ваших признаний.
И ваших скорбных не надо лиц
тому, кто лишился зренья.
Не надо пенья, не надо молитв,
умерьте градус кипенья!

Не знаю... Скажите, что я не права
что, может быть, нужно, нужно
венки возлагать, восклицать слова
страстно или натужно,
а вдруг не так уж вы далеки,
а вдруг не бумажные ваши венки.

УТРО В ПОСЁЛКЕ

На щедро раскрашенном блюде
пиров отшумевших осколки.
Какие отдельные люди
живут в этом круглом посёлке
под красною черепицей!

Вот об руку с грустною птицей
потасканный бродит котище,
свой утренний долг исполняя...
Светило несытое рыщет,
в укрытие их загоняя.

Вот пёсик спешит помочиться
и невоспитанно лает...

Студент за автобусом мчится,
а тот тормозить не желает.

Разбуженный плачет ребёнок,
ему детский сад не по вкусу.
А некий бездельник спросонок
метафоры нижет, как бусы.

* * *

Сыну

Весь мир непрочен, заболочен,
дорога из одних обочин,
в окне гримасничают горы,
не находя себе опоры,
ломлюсь в открытые ворота,
за ними незнакомцев рота.
Неужто добралась до грани,
когда с покорностью бараньей
цепляюсь я за провожатых...
Вокзал. Среди пинков и брани
бредет незрячий. В веках сжатых
маршрут, угаданный заране.

Одно в толпе неразличимой
твое лицо светло и зримо.

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

Натан Альтерман

ПОЭМА О КАЗНЯХ ЕГИПЕТСКИХ

ДОРОГА НА НО-АМОН

1

Но-Амон, упадут во прахе
бастионы железных врат.
Десять казней в огне и страхе
превратят твои ночи в ад.

Но-Амон, ни дворцы, ни кущи
не укроют детей и жён,
и спасенья искать бегущий
упадет, на бегу сражён.

Содрогнёшься ты, царский город,
весь – расплата, разбой, разор –
от чертога до чёрствых корок,
от короны до скорбных нор.

Средь стихов, позабытых ныне,
среди пророков, царей, имён,
как далёкий пожар в пустыне,
ты мерцаешь во тьме времён.

Наказаньем, грехом, несчастьем
ты по-прежнему свеж и нов –
весь в обиде, крови и страсти
у истока судеб и слов.

2

Ты – пример городам и весям
в их суетной пустой гульбе –
поколения глупой спеси
вспоминают себя в тебе.

Провозвестник чумы ползучей,
что не знает границ и вех,
ты всемирной громовой тучей
призываешь к ответу всех.

И вождей бунтовской измены,
и предавший вождей народ –

всех их факел одной геенны
пожирает за родом род.

И выходят пророки звона,
проповедники всех мастей,
чтоб добавить в пожар Амона
мелкий хворост своих страстей.

А за ними – собратом кровным –
низкопробье, кистень, погром –
затоптать без вины виновных
и в нору улизнуть с добром.

И публично, под крик победный
сжечь законы, как жалкий тлен,
балаганных петрушек бредни
в каждый мозг вколотив взамен.

Ты горишь, словно ночь огневая,
Но-Амон, – вездесущ, столиц, –
и твой пепел летит, взмывая
вместе с пеплом земных столиц.

3

Малой мышью, в норе и соре,
я взираю на твой пожар,
где над первенцем мёртвым горе
режет сердце острее ножа.

Но-Амон, облачённый тенью!
Этот страшный отцовский вой,
как цветок из садов забвенья,
я возьму, унесу с собой.

Он немного подсох с той ночи,
но по-прежнему жив и свеж...
Слишком многим пришлось – сыночек! –
оросить его кровью вежд.

Свят кинжал неподсудной воли,
чей клинок неизменно ал...
Но в крови – как крупницы соли –
слёзы тех, кто безвинно пал.

4

Но-Амон, упадут во прахе
бастионы железных врат.
Десять казней в огне и страхе
превратят твои ночи в ад.

Поднявшись из песков пустыни,
из речных травяных излук,
чтоб вспахать тебя в смертной стыни,
не спеша, как проходит плуг.

Но-Амон, твоих мёртвых тени –
на пороге родных домов,
и клюет их стервятник в темя,
как кошмар беспробудных снов.

В смерти равные, в жизни разны –
вор, ребёнок, святой, урод... –
всем назначены десять казней,
с первой ночи кровавых вод.

II. КАЗНИ

1. Кровь

Амон, открыта ночь огню чужой звезды –
что льёт она в твои колодцы и пруды?
Как странен и кровав рубиновый отсвет
на девичьей косе, на мелочи монет.

Красны зрачки грошей в кровавой темноте,
а в горле девы – крик, застывший в немоте.
Что плещется в горсти?... – Амон, спаси меня!..
В кровавый колодезь летит ведро, звеня.

На лицах спящих – цвет, на лицах ждущих – страх.
Малиновый отсвет на женских волосах.
Воспалены глаза, и губы жажда жжёт...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Всё кружится, отец, – не в танце, а в виске.
Всё высохло во мне, я – стебелёк в песке.
Покрепче обними, от крови, от беды –
глоток, один глоток... воды, воды, воды...»

«Мой первенец, мой сын, воды здесь больше нет.
Всё кровь вокруг, всё кровь – её проклятый цвет.
Мы долго лили кровь, без счёта, без цены, –
и вот она пришла в колодцы, в реки, в сны».

«Отец! Спаси, отец...» – последний, хриплый стон.
«Чужой звездой, сын, заполонён Амон».
«Её вода, отец, костром горит во мне...»
«Кровь – не вода, сынок, мы все – в её огне».

2. Жабы

Ползёт на город слизь, и топь со всех сторон –
в грязи своих грехов утонет Но-Амон.

Здесь даже адских сил напрасен жар и крик –
осадой правит Нил – бескраен и велик.

Здесь жадной Жабы жор – владей, царица Слизы!
На мерзость и позор приди и воцарись.
Твой студенистый ком, трясина гадких лядв –
под жабым животом – обломки слов и клятв.

И жабища встаёт в полнеба склизких сфер,
её бессчётен счёт, она не знает мер,
отвратен нильский вал, и ночь на мир ползёт...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Отец, ужасен Нил на колесницах тьмы,
ужасна жабыя слизь, и беззащитны мы...
Я не могу дышать – мне жабы лезут в рот!
Затоплена душа потопом жабьих рот!»

«Мой первенец, мой сын, мы метили в цари –
но грязь пожрёт Амон до утренней зари.
Коль ночь ещё жива, живи и ты, сынок,
мой день, моя листва, конец моих дорог».

«Отец! Спаси, отец... – повсюду плач и стон».
«Под жабьей тушей, сын, погибнет Но-Амон».
«Приходит смерть, отец, в обличье страшных жаб...»
«Узришь и ты, сынок, размах её ножа».

3. Вши

Ты проклят, Но-Амон, – восстала пыль земли,
и полчищами вшей пылинки поползли.
Живой кишаский слой, несметный, как песок,
как ненависть, слепой – безмолвен и жесток.

Ты, вошь, – предельный всхлип отврата, грязи, тьмы,
ты сеешь гнид своих предвестием чумы,
ты собираешь с войн окопов трупный вклад...
Ничтожная, тобой разрушен царский град.

На коже, в голове – повсюду вши ползут –
и люди, и зверьё расчёсаны в лоскут,
в загонах и хлевах, измучен,дохнет скот...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Отец, я весь в крови, в коростах страшных ран,
я тело рву своё, как падаль – чёрный вран.

Освободи меня – ведь муки всё сильнее –
пусть жизнь мою берут пришедшие за ней!»

«Мой первенец, мой сын, мала твоя цена.
За все грехи, сынок, заплатим мы сполна.
Заплатим глаз за глаз, заплатим зуб за зуб,
за каждый волосок, за каждую слезу».

«Отец! Вскипает кровь, гноится и смердит...»
«Восставший прах, сынок, Амон не пощадит».
«Отец, безмолвна ночь, но страшен каждый звук...»
«Ночь страшной мести, сын, – возмездия и мук».

4. Хищники

В Амоне зверь! И крыс побег стрелы быстрее.
И рвёт, взбесившись, вол железо из ноздрей,
храпит и бьёт ногой, катаясь по земле,
и кровь на чёрном лбу – как пламя на угле.

Сорвался пёс с цепи, и заскулил, и смолк,
и ужас жжёт кнутом, и кто-то крикнул: «Волк!» –
и катит страшный вал безумья и гоньбы,
и кони хрипло ржут, вставая на дыбы.

Отбросил вожжи страх, повсюду свист кнута,
повсюду рёв и стон – людей, зверей, скота,
лишь клык и сталь клинка блещут сквозь кровь и пот...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Отец, повсюду зверь, повсюду волк, отец,
ужасен волчий блеск в глазах твоих овец.
И ты уже не тот, кто гладил и ласкал,
в твоём лице, отец, крысиный злой оскал!»

«Мой первенец, мой сын, мы все уже не те –
крысиный зев, сынок, мерцает в темноте.
Кто хищным зверем жил, пусть знает наперёд:
он крысою рождён и крысою умрёт».

«Отец, безумен мир. Грызёт овца овцу».
«Крысиный зев, сынок. Он городу к лицу».
«Не меркнет хищный взгляд, горит из темноты».
«Ещё не раз, мой сын, его увидишь ты».

5. Чума

Свет факелов, Амон, гирлянды и костры!
Чумной телеги скрип и шумные пиры!
Так женской склоки визг уродует красу,
так молния блещит в полуночном лесу!

Так иногда в беде, уставшей от скорбей,
вдруг радость промелькнёт, как быстрый воробей.
Но в этот пир чумы врывается она,
как яростный погром, как страшная война.

Твой праздник, Но-Амон, запомнится навек –
весёлый этот пир среди чумных телег.
Как символ, как пример, как дикий изворот...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Повсюду дым, отец, и скорбные костры,
но я хочу туда, где танцы и пиры.
Туда, где жизнь, отец, туда, где смех и свет,
как будто нет чумы, как будто смерти нет».

«Мой первенец, мой сын, веселье – дар небес,
но проклят смех чумной свихнувшихся повес.
Не знать бы никогда их радости – она
зачата мертвецом и болью рождена».

«Отец, поёт свирель волшебная во мне».
«Кипит Амон, сынок, весь в факельном огне».
«Звенит труба, отец, под барабанный бой».
«Веселье жертв, сынок, ведомых на убой».

6. Проказа

Блится серп луны, над ночью занесён.
Постыдным колпаком увенчан Но-Амон.
Спеклись уста живых, и всякий прячет взор,
и в трепете ресниц – унынье и позор.

По улицам ползёт вонючий гнойный слой,
вскипает на лице отвратною смолой,
и заживо гниёт истерзанная плоть,
и язвы, как ножи, не устают колоть.

В проказе Но-Амон – в нём всё заражено,
в проказе – стар и млад, и пища, и вино,
в проказе – флейты плач среди гнилых мокрот...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Отец, снеси меня на травяной откос,
снеси меня к реке, на лоно светлых рос.
Я весь – пожар и слизь, я весь – нарыв и гной,
к рассвету, к чистоте, снеси меня, родной».

«Мой первенец, мой сын, нам некуда идти.
Наш воздух поражён, заражены пути.
Здесь разве что в грязи спасенье и ответ...
Не жди рассвета, сын, – ведь прокажён рассвет».

«Отец, на коже сыпь, как соль и тмин, отец».
«Луна над нами, сын, как шутовской венец».
«Луна плывёт ко мне, ресницы теревит».
«На боль твою, сынок, с небес она глядит».

7. Град

И вдруг разверзлась ночь, как раскололся ад,
и камнем под откос упал на землю град!
Во тьме сверкнул поток ледового дождя,
и дрогнул Но-Амон, защиты не найдя!

А небо мечет град, как будто камнем бьёт,
наотмашь косит смерть, свистит тяжёлый лёд.
В нем ярости огонь, убийцы стать и прыть:
бегущего – догнать! Упавшего – добить!

В нем ярости огонь и разрушенья зной,
он глушит стон мольбы ледовой бороной,
он здания крушит и головы сечёт...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Отец, на небесах бушует страшный зверь,
в его кривых когтях я как воздушный змей.
Забрось меня туда, в коловращенье тьмы,
в кипящий хаос зла, в безумие зимы!»

«Мой первенец, мой сын, о хаосе забудь,
езде царит закон, его стальная суть.
Едва гроза сметёт дворцы и города,
былых развалин дым поднимется тогда».

«Отец, кровавый пот на лбу твоём блестит».
«Сынок, стальной закон Амон не пощадит».
«Град губит малых птах, бьёт на лету, отец».
«Сын, даже злейший враг оплачет наш конец».

8. Саранча

Спасенья нет – нагим, как стебель тростника,
запомнят Но-Амон смущённые века.
Придёт восьмая ночь с ночи кровавых вод
и чернью саранчи покров с него сорвёт.

Покров травы, листвы, покров зелёных роц
народец злой палит, его ужасна мощь.
Сгорит последний лист в пожаре без огня,
обуглится Амон, как в печке головня.

И как безумный гимн, родившийся в ночи,
восстанет к небесам жужжанье саранчи,
победной смерти песнь, без лишних слов и нот...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Где город наш, отец, где листьев волшебство?
И в граде, и в крови я видел лик его.
Из града и крови он мне сиял в ответ...
Промчалась саранча, и вот – Амона нет».

«Мой первенец, мой сын, Амона больше нет,
чтоб возлюбили мы Того, в ком нету черт.
Пусть в пепле и золе сейчас Его черты,
но в сердце Он воскрес голубкой чистоты».

«Отец, в окне черно, как на заре времён».
«Нагой тростник, сынок, сегодня Но-Амон».
«Отец, последний лист – в золе, отец, в золе».
«Последней лаской, сын, на выжженной земле».

9. Тьма

И грянул мрак, Амон. Не сумерки, не мгла –
крошечный мрак слепцов, подземного угла.
Глаза увязли в тьме и лезут из орбит,
твой день померк, Амон, твой дом разбит.

Всё скроет чёрный мрак – предания веков,
победный звон литавр и песни пастухов,
в его сплошной ночи, в хранилище времён, –
обломки мощных царств и царственных племён.

И в той ночи, Амон, конец любых начал,
любому свету – тьма, любым судам – причал.
Лишь мальчик в темноте проснулся и зовёт...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Отец, повсюду мрак, и комната – как склеп...
Дай руку мне, скажи – я жив?.. я не ослеп?
Поверх крошечных гор перенеси меня,
как утро нас несёт из ночи к свету дня».

«Мой первенец, мой сын, навеки вместе мы –
к тебе прикован я цепями той же тьмы.
Цепями гневных слёз, цепями крепких пут,
что связаны не здесь и здесь не упадут».

«Отец, чудесный свет наутро к нам придёт».
«Падёт на нас, сынок, и Но-Амон падёт».
«Мы в небеса глядим, надежды не тая».
«Приходит ночь, сынок. Последняя. Твоя».

10. Казнь первенцев

Кровавый свет звезды, вновь обагри Амон,
вернись, царица Жаб, на свой осклизлый трон,
пускай восстанет пыль и Вшами поползёт,
оскалься, Хищник! Всем пришёл теперь черёд!

Глядите! Ночь светла, и чистый месяц свят,
но факелы Чумы по-прежнему горят,
в ужасных Язвах плоть по-прежнему гниёт,
и Град, как грозный царь, стоит, держа копьё.

А Тьма и Саранча – на городской стене...
Глядите! Ночь светла в подлунной белизне,
и видно далеко сквозь толщу лет и вод...
«Отец мой!» – сын воззвал. «Я здесь», – ответил тот.

«Отец, недвижим я, крест-накрест две руки,
на веках, на глазах – печатью – черепки.
Лишь прах, и темь, и блеск звезды над головой,
и плач отца шумит, как дерево листвою».

«Мой первенец, таким нам этот мир милей,
звезда, и прах, и плач, и счастье меж углей.
Из звездного луча, из праха на слезах –
и саван твой, сынок, и глина на глазах».

«Я в саване, отец, в его тугих сетях...»
«Свет старости моей... Амоново дитя...»
И в жуткой тишине отец на сына пал...
Исполнен казням счёт. И новый день восстал.

III. ЗВЕЗДА РАССВЕТА

И новый день восстал. Заря звезды рассветной
восторженным птенцом вспорхнула в небеса –
сиять началу дня смущённо и приветно.
Звезда-юнец, ты здесь на час, на полчаса,
но люди всех времён – и старцы, и поэты –
целуют твой каблук, бессмертная краса.

О, чистая звезда глухих ночей Амона!
Немало лет прошло, и не найти двorca,
чьи были бы целы ворота и знамёна.
Но меж мечей и стрел, пожаров и свинца
к тебе устремлены надежды, слёзы, стоны –
как в песне страшных кар – и девы, и отца.

И ты легка, звезда, как тот птенец крылатый,
как вдохновенный взмах девических ресниц,
и первенцы всех дней, благих вестей солдаты,
узреют этот блеск во мгле своих темниц,
и бабочкой из пут, из кокона, из ваты
улыбки расцветут на нивах мёртвых лиц.

Тогда падёт отец скорбящий на колени,
венец кровавых кос девица вознесёт,
и, как не скрыть звезду в мешке кромешной теми,
не скроет ночь тех клятв, что он произнесёт:
что жабе не царить, что вшам не править теми,
кто в этот мир звезду рассветную несёт.

Что там, где лишь мечи, и серебро, и золото,
надежда прошумит, как в кронах ветерок,
рождённая в ночи страданий и утраты,
на пепелище правд, любви и тревог.
Она жива, пока, созвучна и крылата,
хотя б одна душа хранит её залог.

Поднимется отец и просветлеет взором,
и дева рядом с ним воспрянет красотой,
бежит за веком век, как стражники за вором,
то грех гнетёт, то суд... Но косности тупой,
и слепоте вождей, и страшным приговорам
не спрятать, не убить секрет улыбки той.

Секрет могучих сил, которым нет окраин,
секрет глубоких вер, которым нет узды,
понятный и юнцу, он безнадёжной тайной
взирает на жрецов проклятья и беды,
и даже в тех ночах, где торжествует Каин,
искрится луч зари на каблучках звезды.

Высокая звезда глухих ночей Амона!
Лети, звезда-птенец, дари свои лучи!
Ты – сила для людей, дорогой утомлённых,
ты – утешенья свет для гаснущей свечи,
для девичьих волос, Амоном обагрённых,
и для седых отцов, рыдающих в ночи.

Перевёл с иврита Алекс Тарн

Алекс Тарн

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАДЕЖДА

Достаточно надежные сведения о Ванзейской конференции и о начавшемся в Европе систематическом истреблении евреев дошли до Страны уже летом 1942 года. Но Сохнут еще некоторое время воздерживался от публикации официального коммюнике – оно последовало лишь 22 ноября, когда весь ишув уже полнился слухами. Пять дней спустя Натан Альтерман напечатал в своей еженедельной колонке в газете «Гаарец» стихотворение, рефреном (и названием) которого стали слова одной из самых часто повторяемых иудейских молитв: «избрал нас из всех народов». Понимаемая как обещание избраннычества и, следовательно, покровительства и защиты, в реальности Катастрофы эта формула звучала ужасной насмешкой. Неудивительно, что первой реакцией тридцатидвухлетнего Альтермана, уроженца Варшавы, ощущавшего себя плотью от плоти еврейства, уничтожаемого в печах Трешлинка и Аушвица, были именно такие исполненные горечи строки:

*Слёзы наших идущих на смерть детей
мировых не обрушили сводов.
Потому что любовью и волей своей
Ты избрал нас из всех народов.
Ты избрал нас из прочих – на брит и обет –
из огромного пёстрого стада.
Оттого даже дети, по малости лет,
знали точно и твёрдо: спасения нет,
и просили у мамы, идущей вслед:
не смотри, не смотри, не надо...¹*

И далее:

*Ну, а Ты... – Ты, чья воля, и мощь, и стать –
Бог отцов наших, страшный и милый,
Ты избрал нас из прочих народов – стать
мертвецами на адских вилах.
Только Ты сможешь всю нашу кровь собрать
ведь другим это – не под силу.
Можешь нюхать её, как свои духи,
можешь пить её, добрый Боже...
Но сначала в ней убийц утопи.
А потом равнодушных – тоже.*

В сорок втором году никто еще не осознавал истинных масштабов несчастья; но, как это ни парадоксально, оно должно было восприни-

¹ Перевод здесь и далее – мой. (А. Т.)

маться намного острее, чем после войны, когда притупившееся от непрекращающихся ужасов коллективное сознание перевело в разряд обыденности то, что прежде казалось абсолютно невероятным. Где шестьдесят миллионов, там и шесть – есть о чем говорить... Но те, самые первые известия ударили по еще не загрубевающим нервам – именно так можно объяснить горький, на грани богохульства, упрек, брошенный Альтерманом в адрес Всевышнего.

Позднее этот упрек трансформируется в весьма распространенную позицию – от знаменитой максимы одного из авторитетнейших философов XX века Теодора Адорно («После Аушвица писать стихи – варварство») до прямого отрицания Бога на кухонно-бытовом уровне: «Если бы Он существовал, то не допустил бы Катастрофы». К чести Натана Альтермана следует сказать, что, задав эту начальную ноту – прискорбно поверхностную, хотя и простительную в тогдашнем потрясении, он почти сразу отказался от нее в пользу куда более глубокого осмысления происходящей онтологической катастрофы. Эпическая «Поэма казней египетских» вышла в свет в 1944 году, хотя некоторые стихи были, видимо, написаны еще перед войной.

Жанр эпической поэмы не слишком подходит к нашей эпохе – времени обмельчания и деградации, сознательного унижения и уничтожения ценностей любого плана – духовных, исторических, эстетических. До эпоса ли там, где на обломках литературных и общественных конвенций произрастают дикие сорняки хаоса и непотребства? Факт – израильские культуртрегеры предпочитают не связываться с этим сложным для понимания произведением. Консервативный Альтерман вообще не в моде, а уж такой «обскурантский» и «антигуманистический» текст – тем более.

Масштаб «Поэмы» действительно сопоставим с книгами библейских пророков. Десять казней, постигших египетский город Но-Амон, становятся для Альтермана поводом к разговору о человеческом роде вообще – об истории как повторяющейся череде грехов и наказаний... – и новых грехов, и новых наказаний. (*Бежит за веком век, как стражники за вором...*).

Охват Альтермана глобален – это подчеркивается еще и демонстративным отказом от традиционного, танахического угла зрения на десять казней как на одну из глав истории Исхода из Египта – главу важную, но отнюдь не самую значительную. Собственно говоря, иудеи в «Поэме» не упоминаются вовсе; нет там ни Моисея, ни фараона, отсутствует (в явном виде) даже и сам Всевышний.

Но-Амон для Альтермана – пример, притча, извечный шаблон всех людских катастроф. Шаблон, по которому в момент написания поэмы разворачивался дежурный исторический катаклизм и – в его рамках – наша собственная Катастрофа. Инверсия, таким образом, очевидна: это только на первый взгляд Альтерман обходится в поэме без иудеев. На самом же деле речь идет – в том числе – и о них. Только вот теперь они – те, чьим именем казнили когда-то, – сами оказываются на плахе. На сей раз горькую участь Но-Амона разделяет народ Израиля.

«Поэма» разделена на три неравные части. Первая, вступительная, названа автором «Дорога на Но-Амон». Альтерман начинает с того,

что заявляет универсальный, вневременной характер «казней египетских», регулярную цикличность проклятой последовательности «грех-наказание», сразу задавая тем самым масштаб шкалы. И только потом переходит к двум главным вопросам, ради которых, вообще говоря, и написана поэма: за что наказывают, и почему при этом наряду с преступниками гибнут и невинные души? В чем успел провиниться новорожденный ребенок?

Беглый ответ на вопрос «за что?» дается во второй главке вступительной части. Прямо скажем, Альтерману есть из чего выбрать. Предательство. Попраание законов. Возвеличивание лжепророков. Торжество низкой погромной черни. Властолюбие. Убийство. Всего этого, увы, хватает не только в мировой новейшей истории, но и в новейшей истории европейских евреев.

Ответ на второй вопрос не столь бесспорен, хотя на удивление тверд и ясен (особенно, когда звучит из уст автора стихотворения «Из всех народов...»):

Свят кинжал неподсудной воли, / чей клинок неизменно ал...
Иными словами, Бог прав, даже убивая невинных. Почему? Потому, что человеческая ответственность – коллективна. Потому что невинный ребенок проживает в том же городе грешников. Потому что, когда вода в сосуде грязна, никто не станет отыскивать там чистые капли – выплескивается всё, без остатка.

В дальнейшем, во второй части поэмы – собственно «Казнях» – Альтерман продолжает ту же тему в форме диалога отца и сына. Мальчик спрашивает – отец объясняет. Вопросы те же: «за что?» и «почему я?». Смысл ответа также всегда одинаков: отец и сын не отделяют себя от города. Для них Амон и его жители – не «они», а «мы». Мы, человечество. Виновны все люди, живущие в Но-Амоне, ибо сам факт проживания там подразумевает неизбежную ответственность индивида за преступления города в целом. По Альтерману каждый человек – даже тот, кто еще пребывает в материнской утробе, – несет априорную ответственность за все человечество.

Печальный вывод, что и говорить, – особенно для постмодернистских ушей, принципиально отрицающих не только коллективную, но даже и индивидуальную ответственность! Мы любим повторять знаменитую фразу Дж. Донна из эпиграфа к роману Э. Хемингуэя: не следует, мол, спрашивать, «по ком звонит колокол – он звонит по Тебе». Но многие при этом несколько бездумно ассоциируют себя только и именно с жертвами или скорбящими по ним добряками, в то время как автор цитаты говорил обо всем человечестве – в том числе и об убийцах.

Ведь если «нет человека, который был бы как Остров, сам по себе», если «каждый человек есть часть Материка, часть Суши», то он вынужденно принимает на себя ответственность *за весь* материк, *за всю* сушу – и не только во всей ее красе, но и во всей ее мерзости. Таким образом, вопрос «в чем провинились невинные?» имеет еще меньше оснований, чем вопрос «по ком звонит колокол?».

Основной раздел поэмы, «Казни», последовательно детализирует главные, из века в век повторяющиеся грехи и сопутствующие им кары.

– Люди непрерывно проливают кровь (*мы долго лили кровь, без счёта, без цены...*), так что убийство стало чем-то обыденным, простым и основным, как вода. Отсюда и первая казнь, когда в кровь превращается вода в чашах, колодцах и водоемах.

– Жабы, подминающие город своим скользким животом, липкая слизь, воцарившаяся в городе и мире, предстает наказанием гордыне, властолюбию (*мы метили в цари...*). Вожденный венец власти – царская корона водружается на Жабу – олицетворение отврата и самой низменной грязи.

– Земная пыль, ожившая в виде вшей и набросившаяся на все живое, – расплата за ежедневные пакости, совершаемые каждым из людей, чаще всего неосознанно, по привычке. Пакости, по отдельности мелкие, как вши, – собранные вместе, они оборачиваются ужасной карой.

– Человеческая злоба, тупая и безжалостная агрессия (*овца грызёт овцу...*) карается нашествием хищников, обращается в конечном итоге даже против собственного ребенка.

– Равнодушие тех, кто отворачивается от чужих бед, намеренная слепота и самообман других (*смех чумной свихнувшихся повес*) наказывается, соответственно, чумой.

– Проказа ежедневной лжи оборачивается язвами, гнойными струпьями кривды, разложения, коррупции, которые покрывают не только человеческую кожу, но весь видимый мир.

– Приверженность хаосу, забвение Закона (*везде царит закон, его стальная суть...*) побивается смертоносным градом.

– Саранча лишает Амон покровов, стирает его черты, дабы напомнить о грехе кумиротворчества (*чтоб возлюбили мы Того, в ком нету черт*).

– Тьма приходит напоминанием о всеобщей взаимосвязи, всеобщем (неразличимом, как во тьме) единстве, о путях и узах, (которые *...связаны не здесь и здесь не упадут*).

– Последняя, самая страшная казнь – гибель невинных (первенцев) – соединяет в себе все предыдущие и таким образом в развернутом виде повторяет уже прозвучавший в «Дороге на Но-Амон» тезис о всеобщей ответственности.

Характерно, что с каждой казнью повышается уровень обобщения, градус значимости.

Третья часть, «Звезда рассвета», выглядит желанной антитезой крайней безысходности и пессимизму предшествующих частей. В качестве альтернативы Альтерман может предложить лишь надежду. Его логика проста: если надежда еще жива, то это что-нибудь да значит! Ведь несколько тысячелетий заколдованного круга преступлений и наказаний должны были уже давным-давно похоронить в человеческой душе всякую веру в лучшее. Но она все еще здесь, с нами, а следовательно... Следовательно, что-то за ней стоит. Следовательно, можно и нужно продолжать надеяться на будущее.

Мало?

Увы, больше предложить тогда, в 1944 году, в разгар ужасной мировой бойни, было решительно нечего. Боюсь, что и сегодня – тоже.

Юлия Винер

БЫЛОЕ И ВЫДУМКИ

КАК Я НЕ СТАЛА ПИСАТЕЛЕМ-ПОЭТОМ

Моя сочинительская карьера началась рано и успешно. Кабы и дальше так.

Закончив сценарное отделение ВГИКа, я начала стряпать мелкие сценарии для научпопа и экранизации для телевидения. Занятие тоскливое, хотя в финансовом отношении весьма полезное. И с тоски стала пописывать свое. Стихоплетством я отзанималась в положенное для этого время – где-то с шестнадцати до двадцати, то есть когда я еще ничего толком не знала ни о людях, ни о себе. И, хотя стихи мои мне очень даже нравились, что-то подсказывало мне, что они из тех, какие можно писать и даже печатать, а можно и не писать, и не печатать. Поскольку такого добра вокруг было море разливанное, самолюбие не позволяло мне капать в него и свои капли. Со стихами было покончено.

Однако мысль о том, что мне предстоит всю жизнь зарабатывать на хлеб сценариями и от меня всегда будут требовать – тут заменить мальчика на девочку или старуху на молодого спортсмена, там превратить смерть персонажа в излечимую болезнь, а нищету и унижения исключить начисто, – эта мысль сильно меня угнетала. Это я говорю об общей и самоцензуре, но подчиненное, зависимое положение сценариста угнетало не меньше. Напишет сценарист интересный сценарий, но кино-то он сделать не может, а сценарий сам по себе ценности не имеет. И власти над его дальнейшей судьбой автор тоже не имеет. Отнесет его на студию, а там каждый – цензор, редактор, режиссер, даже директор картины – волен менять в нем, что и как ему кажется правильной. И отдадут этот сценарий по конъюнктурным соображениям кому надо, и получится из него такая хрень, что автор своего детища не узнает.

При поступлении в киноинститут об этом как-то не думалось, а о профессии сценариста вообще у меня было тогда самое смутное представление, почерпнутое в основном из заманчивых рассказов знакомого режиссера Гриши Чухрая. Кое в чем Гриша не обманул – учиться было интересно, приятно и даже полезно. Но когда появился небольшой собственный рабочий опыт, сильно захотелось профессию эту бросить. Я и бросила.

Позанималась тем да сем, а затем взялась за языки, которые всегда привлекали. Тоже хорошее занятие. Но вот беда: рука-то уже поднаторела в писании и требовала – продолжай! Не хочешь сценарии, пиши что-нибудь другое. Так, вероятно, и происходит графоманство: все равно что писать, лишь бы писать. Вернее, на машинке печатать. Я поддалась соблазну и написала несколько небольших рассказов. Сочинять на основе собственных событий и переживаний я и не умела, и стеснялась, и взялась за самую далекую от моей жизни сферу – деревня, провинция, куда я ездила на институтскую практику, «собирать материал». И деревня, и

провинция произвели на меня сокрушительное впечатление, так что собранный «материал» напоминал вставшие от шока дыбом волосы.

Рассказов, помнится, было четыре или пять, и все они, даже на мой теперешний взгляд, не содержали в себе ни малейшей ереси и уж точно никакой антисоветчины. А тогда я и подавно считала их безупречно цензурными. Сохранился у меня только один, притом самый невинный:

Настя из столовой

Городок быстро рос, и чайную около пристани превратили в столовую. Там перестали продавать спиртное и ввели самообслуживание. Трех подавальщиц уволили, осталась одна, Настя. Она резала хлеб, вытирала покрытые линолеумом столы, вываливала в котел объедки с тарелок. Рабочие с пристани, приходившие сюда обедать, приносили водку с собой, и Настя, чертыхаясь, таскала им из кухни стаканы. Заведующая ругалась и грозилась выгнать; Настя боялась этого больше всего, но никогда не могла отказать мужчинам.

Когда-то Настя была молоденькой и пухленькой буфетчицей в белой крахмальной наkolке, но теперь никто ее такой не помнил. Теперь по столовой, слегка подвертывая ноги, бегала сорокалетняя баба в штапельном платье, засалившемся на тяжелой груди. Редкие волосы, потускневшие и поседевшие от химии, перьями торчали на маленькой головке, придавая ей сходство с толстой и бестолковой птицей.

С неопределенной усмешкой Настя сносила шлепки и шуточки знакомых рабочих, с незнакомыми неуклюже заигрывала, отпивала из любого стакана. Иной раз приезжий из деревни, потев в тяжелом ватнике, украдкой щипал ее, когда она пробежала мимо. Тогда Настя подсаживалась к столу, ежеминутно оглядываясь. Пристанские ребята знали, чего она боится, и кто-нибудь из них непременно кричал паническим шепотом:

– Полундра! Кузя идет!

«Кузей» прозывалась заведующая столовой, трижды в день ходившая домой с большими судками в обеих руках.

Настя в ужасе вскакивала, начинала торопливо тереть тряпкой сухой стол около своего нового знакомого. И только услышав радостный гогот парней, которым никогда не надоедала эта шутка, она понимала, что ее опять разыграли. Побледневшее одутловатое лицо ее снова покрывалось прожилками сизого румянца, она хихикала, растягивая опустившиеся уголки губ, и шепотом отпускала ругательство по адресу чрезмерно строгой Кузи. Это вызывало новый взрыв веселья, и Настя заливалась вместе со всеми.

Носить еду домой, как это делала Кузя, Настя боялась, да и стыдно было, и она нередко задерживалась после работы на кухне, поджидая оскребышки, насыщаясь впрок. (Почти всю зарплату она посылала в Чебоксары сыну, кончавшему техникум, и квитанции от денежных переводов берегла как живое свидетельство родственной связи с ним.)

Нередко у выхода ее поджидала какая-нибудь темная фигура, примостившаяся между старыми пивными бочками. Настя быстренько подбивала левой рукой слежавшиеся волосы на затылке, а правой брала человека под руку. Если человек был слишком пьян, обхватывала его обеими руками за талию и бережно обводила вокруг луж. Случалось, что человек ругался, называл ее чужим женским именем, но Настя никогда не обижалась и была довольна, что у человека отойдет от сердца и ему станет легче.

Однажды у проходившего мимо горьковского парохода что-то испортилось в камбузе, и в столовую пришли обедать несколько пассажиров. Настя очень старалась обслужить их получше, хотя они этого и не заметили. Она нарезала хлеб тонкими ломтями и попросила судомойку лишний раз ополоснуть кипятком жирные вилки и ложки. Одна пассажирка пришла с детьми, и Настя шикала на постоянных посетителей, отпускавших обычные шуточки.

Когда все «гости», как называла про себя Настя приезжих, уже выбили чеки и разнесли по столам свои подносы с едой, и Настя прислонилась на минутку к окошечку поболтать с раздатчицей, в столовую вошел еще один пассажир.

Это был молоденький, свежеиспеченный офицер-летчик. Его форменная рубаша была выпущена поверх идеально отглаженных узких брюк с синим кантиком и внизу кончалась поясом, как куртка. Узелок черного галстука строго лежал между жесткими от крахмала кончиками воротника и пунктуально прикрывал собой верхнюю пуговицу. Через плечо на сухо поскрипывающем тонком ремне висел туго скатанный плащ. Ярко-румяное лицо с молочно-белым лбом и подбородком сурово смотрело из-под фуражки, днище которой было еще идеально ровным, без уродливой выпуклости на макушке. В темноватой и грязноватой столовой он, молодой и чистый, казался хорошо сработанной игрушкой, покрытой свежей краской.

Настя уважала и боялась мужчин. А таких вот, двадцатилетних, чистых и строгих, похожих на ее сына, она боялась и уважала больше всех.

Офицер плотно закрыл за собой разбухшую дверь, левой рукой снял фуражку, а правой быстро одернул свою рубашу-куртку и провел по волосам. Волосы у него были очень светлые, и короткие прямые пряди гладко лежали над по-мальчишески выстриженным затылком.

Потом он на минутку встал перед всеми во фронт, как бы безмолвно представляясь присутствующим, и быстро осмотрелся, ища свободное место.

Настя тоже с тревогой осмотрела столики. В столовой было полно. Свободное место оказалось только за столиком, стоявшим у самой стены, возле раздаточного окошка. Там, разложив по мокрому линолеуму корявые руки, тихо спал старенький пьянчужка. Настя поспешно вытерла стол, обмахнула заодно и стул, на который офицер положил свою чистенькую фуражку со сверкающим козырьком. При этом она тряхнула пьянчужку за плечо. Он посмотрел на нее мутным глазом, пробормотал:

– А, Настя! Сво-о... – и сделал попытку обнять ее за талию.

Офицер, брезгливо поджав нижнюю губу, поставил на стол тарелку с салатом и слегка подсохшей рыбой, купленными в буфете, и протянул в окошко талон на горячее. Настя тем временем принесла хлеба от самой мягкой буханки, хотя и знала, что эту буханку Кузя приберегает для себя. Офицерик был такой молоденький, шея у него была такая тонкая. Бог знает, как их там в училищах-то кормят.

И Настя побежала на кухню – попросить раздатчицу Нюру налить офицеру щей пожирнее и положить хоть кусочек мяса.

Меж тем растревоженный Настей пьянчужка не спал. Уткнув подбородок в сцепленные руки, он бездумно разглядывал тарелку с рыбой и салатом, стоящую у него под носом. Потом лицо его оживилось, во взгляде засветился огонек интереса. Руки медленно расцепились и подвинули тарелку поближе. Пьянчужка радостно улыбнулся и довольным голосом сказал:

– Ага! Вот и закусочка!

Офицер заметил эту манипуляцию, когда тот уже вооружился вилкой и задумчиво разжевывал жесткую рыбу. Он сделал было шаг к своему столику и даже начал: «Гражданин!..», но тут заметил, что на него с насмешливым любопытством смотрит девушка в белом платье в мелкий горошек, которая приглянулась ему еще на пароходе.

Поэтому он дождался, пока ему подали щи, и только тогда твердым шагом направился к столику. Шея его покраснела, а в голосе прорвались чистые петушинные ноты, когда он взялся за свою тарелку и сказал:

– Что за безобразие! Это не ваше!

Пьянчужка удивленно заморгал на него маленькими глазками. Потом, поняв, что покушаются на его еду, воинственно забормотал:

– Ты чего, чего!

– Повторяю, это не ваше! Это мое! – отчеканил офицер, тяня к себе тарелку. – А если вы пьяны, то идите домой и проспите.

Вместо ответа пьянчужка поспешно насадил на вилку кусок и отправил его в рот. Офицер растерянно оглянулся.

Со всех сторон его подбадривали:

– Давай, начальник, отымай!

– Ишь, старый хрен, пьян-пьян, а учуял!

– Забирай, корешок, свою порцию, тyani крепче! А то ведь все сожрет!

Офицер видел, что девушка в горошках оперлась подбородком на руку и с интересом наблюдает за ним. Он яростно дернул тарелку. Старик не выпустил ее из своих цепких пальцев, но от рывка остатки рыбы и кусочки картофеля разлетелись по столу. Офицер поспешно отпустил тарелку. Пьянчужка опять с удивлением поморгал лишенными ресниц веками и вдруг, тоже оставив тарелку, повернулся всем туловищем к публике и громко заговорил:

– Вот, это, спроси его – зачем? То-то. Баловство. А человек питается. Ест. А он – баловать. Не-хо-ро-шо. А – ученый, офицер. Зачем? – обратился он к офицеру. – Захотелось тебе – пошел, купил. А зачем чужое отымать? – он пошарил в карманах и показал офицеру пустые руки. – Видишь? Пусто. Чутко копеечек было... копеечек... ну, и купил рыбки-ик! А ты сразу хватать. Нехорошо-о! – убежденно протянул он и заглянул офицеру в глаза.

– Ну ладно, ладно, – бормотал офицер, садясь за стол и скидывая корочкой на пол рыбу и салат. При этом он отодвинул он себя тарелку со щами, так что она оказалась совсем близко от старика. – Хорошо, замолчите уж.

– Ага! – воодушевился старик и ухватился за тарелку. – Щи! Ше-е горяченьких! – ласково пропел он и поставил тарелку перед собой.

Зрители разразились хохотом.

У офицера задрожали губы.

Пьянчужка поболтал во щих вилкой, которую еще держал в руке, заметил, что так много не наешь, и доверчиво обратился к офицеру:

– Слышь, милоч, подай с того столика ложку!

В это время из кухни вышла Настя, договорившись с Нюрой, что та даст офицеру не обычного гуляша из поторохов, а настоящего мясного, который готовился для Кузи. Она увидела, что молоденький «гость» стоит, губы его нехорошо кривятся, а его щи, в которых так много мяса, болтает вилкой пьяный старик. Может, летчику не понравилось, что щи такие жирные? Молодые иногда этого не любят. Отдал щи старику, а теперь самому не на что покушать. Настя бросилась к столику. По дороге она услышала, как девушка в белом платье в го-

рошек сказала с легким смешком: «Вот и администрация, вы пожалуйста», но не поняла, к чему это относится.

Когда она увидела офицера вблизи, увидела его чисто выбритый детский подбородок, прыгающие от обиды пухлые губы, его пощечиям больше белые руки с коротко обстриженными ногтями, ее пронзила вдруг острая жалость к нему, хотя она не знала, чем он обижен. Ей хотелось приласкать его, утешить, погладить по прямым волосам. Вместо этого она сказала заискивающе, стараясь, чтобы голос звучал не слишком хрипло:

– Ай щички не понравились, товарищ лейтенант? Вы не огорчайтесь, я пожиже могу...

В этот момент пьяный смачно прихлебнул щи прямо из тарелки и пробормотал удовлетворенно:

– Не-е, щи хорошие, подходящие щи...

– Господи, – всполошилась Настя, – неужто старый обормот отобрал? Вот уж... Да как же вы отдали?

Она увидела, что в круглых светлых глазах офицера стоят слезы.

– Да мы сейчас новых нальем, не беда! – крикнула она. – Не плачьте!

И она положила руку на рукав летчика, чтобы заставить его сесть. Чего угодно она могла ожидать, но не того, что произошло вслед: офицер дернулся всем телом, оттолкнул ее так, что она едва удержалась на ногах и, сузив глаза, прошипел сквозь стиснутые губы:

– Да иди ты на... с-сука старая...

И, схватив фуражку, выбежал из столовой. Дверь он не закрыл, и Настя отупело смотрела, как в столовую радостно ринулась туча мух.

Эту ночь Настя спала одна, и спала плохо. Ей было жарко и тесно, по телу все время что-то ползало, хотя она была почти уверена, что клопов в постели нет. На боку она спать не могла: тогда в ухо громко стучало сердце, а лежа на спине все время просыпалась от собственного храпа. Не помогало даже самое верное средство: обыкновенно, если не спалось, Настя представляла себе, что она ездит на велосипеде по узенькому рельсу. (Когда-то это было мечтой – покататься на велосипеде, но такой неподходящей и смешной, что Настя никому об этом не говорила. С годами Настя перестала думать об этом как о неосуществленном желании, и оно стало привычным и любимым мысленным занятием в бессонные ночи. Впрочем, обычно Настя спала хорошо.) А тут ничего не получалось. Велосипед все время соскакивал с рельса, и мысли немедленно убегали в сторону. Думалось о Кузе, которая завтра будет ругаться за мягкую буханку, потом о сыне-студенте, который, конечно, не вернется после техникума домой... Потом Насте захотелось свежего огурца, и она, накинув на рубаху ватник, вышла в огород.

Ночь была светлая и теплая. С соседского участка сильно пахло малиной. Настя нашарила в мокрых листьях маленький колючий огурец с неотпавшим еще цветком, но потом пожалела рвать такой молоденький и сорвала другой, большой и гладкий, с толстой кожей. Огурец оказался перезрелый, со сладкой мякотью и жесткими семенами. Настя съела его тут же, сидя на корточках над грядкой, и заплакала. Плакала она недолго, потому что ей захотелось спать. Она вернулась в дом и легла. Велосипед немедленно стал точно на блестящий гладкий рельс, колеса бесшумно закрутились, руль даже не шелохнулся под настиными руками. Рельс уходил вперед прямой блестящей полоской, среди светло-зеленого луга с невысокой мягкой травой. Впереди ничего не было видно, кроме этого луга и светлой полоски рельса, настино тело стало легким и спокойным, и она заснула.

Мне, разумеется, рассказы мои тоже очень нравились, а внутреннее чувство, запретившее мне писать стихи, как-то на этот раз не говорило ничего определенного. Надо учесть также, что «деревенские» бытописатели в то время еще не вполне прорезались, за исключением отважного очеркиста Овечкина.

Естественнее всего было сложить рукопись в ящик, ящик закрыть и забыть. Я так и сделала, но забыть не удалось. Очень уж терзало желание кому-нибудь показать. И не просто кому-нибудь, а человеку, с одной стороны, понимающему, а с другой – объективному. Родные и близкие друзья для этого не подходили. Понимать-то они понимали, но объективными быть не могли. А мне хотелось отзыва положительного, но при этом чтоб был объективный!

В конце концов решила показать человеку опытному, несколько связанному с литературным производством и к тому же слегка за мной ухаживавшему. Он и поймет, и отнесется объективно, но с симпатией.

Увы, все получилось иначе.

– Н-нда, – сказал он, отложив листочки. – Охо-хо...

– Так плохо? – спросила я, тут же решив про себя, что он ничего не понимает и верить ему не буду.

– Э-э... У тебя что, и еще такое есть?

– Нет, больше нету...

– Ну и прекрасно, и не надо больше.

– Да почему же? Скажите прямо, бездарно, что ли?

– Этого я не говорил. Но какое-то у тебя одностороннее восприятие действительности. Тенденциозное. Все в темных тонах, ни единого светлого пятна. Как будто ничего веселого, приятного в нашей жизни нет.

– У людей, про которых я пишу, в самом деле мало в жизни веселого и приятного.

– А зачем ты именно их выбрала? Кто тебе велел писать именно про них? И кому будет интересно про них читать?

Мне стало обидно:

– А про «выполним и перевыполним» интереснее? Про ударницу мясо-молочного труда интереснее?

– Ну, зачем же так... Хотя и про ударницу можно интересно написать. Все дело в подходе. А у тебя он какой-то...

Так я и не выяснила, стоят ли мои сочинения того, чтобы продолжать. И ухаживания моего собеседника незаметно сошли на нет. И я снова сложила рукопись в ящик стола, не представляя себе, что еще можно с ней сделать.

И тут мне подфартило – впрочем, в свете последующего неясно, можно ли так считать. Нет, не надо быть неблагодарной, все-таки подфартило. Отдыхая в Ялте, я случайно познакомилась со знаменитым тогда в интеллигентских кругах Викой, писателем Виктором Платоновичем Некрасовым. Немедленно я телеграфировала маме в Москву, чтобы вынула рукопись из ящика и срочно прислала мне. И она это сделала, и успела. О том, как мне удалось склонить Некрасова к прочтению моих сочинений, я пишу в другом месте. Но результат был такой, что он не только пригласил меня на пьяные посиделки с

коллегами-писателями, но и дал мне записку к Асе Берзер, всемогущему секретарю редакции самого престижного и самого смелого тогда журнала «Новый мир». И рассказы мои прочел сам Твардовский, главный и еще более всемогущий редактор журнала. И пригласил меня побеседовать.

Беседа эта привела меня в полное смятение. Я не знала, ликовать мне или рыдать. Про писания мои Твардовский поначалу вообще ничего не говорил. Спрашивал меня о семье, где училась, что читаю... Потом вздохнул и сказал:

– Ну и зачем тебе, молодой, интересной, неглупой девочке, это тяжелое, грязное занятие, литература?

Ответить мне было нечего, я и сама не знала зачем, да и нужно ли оно мне вообще.

– Но почему же грязное... – пролепетала я.

– Вот ты бросила свои сценарии. Почему?

– Я не знаю... Врать приходилось много...

Твардовский усмехнулся:

– А тут, значит, не придется. Так?

– Ну да. Если сумею.

– Да сумеешь-то ты, может, и сумеешь. А вот сумеешь ли так, чтобы и без вранья, и напечатать можно? Вот, скажем, твои рассказы. Написаны без вранья. И мы их возьмем.

Мое сердце радостно ёкнуло.

– И гонорар тебе выпишем...

У меня будут деньги, заработанные литературой!

– А печатать – не будем.

Несмотря на последние слова Твардовского, я сочла все произошедшее успехом. Жаль, конечно, было моих хороших рассказов, и непонятно, почему они оказались непечатными, если понравились и Некрасову, и Берзер, и самому Твардовскому. Но я не сомневалась, что напишу еще, причем именно так, как он говорил. Я все еще верила, что это возможно. И тогда меня напечатают.

«Новый мир» послал меня в командировку. Дал достаточно денег. Предоставил мне самый выбор места, куда я отправлюсь. Никакого ограничения во времени. Условие было одно: написать очерк о некоем новаторском колхозном начинании, не помню уж, что это было. Теперь-то я понимаю, какую деликатность и великодушие проявил Твардовский, чтобы выбить из глупой девичьей головы фантастическую идею о возможности писать без вранья так, чтобы можно было печатать. Он ведь мог бы просто сказать – не подходит, пока! И даже этого говорить был не обязан. Существует простая формулировка: «рукописи не возвращаются и не рецензируются». Настоящий мой успех в том и состоял, что Твардовский вообще захотел со мной возиться, наверняка догадываясь, что дело бесперспективное. Или все-таки думал – а вдруг?

Я с энтузиазмом начала готовиться к поездке. Бегала по магазинам, искала гречневой и пшенной крупы, муки, копченой колбасы,

конфет. Под конец, уже без поисков и очередей, купила десяток баночек тресковой печени, никому почему-то не нужной. Набила неподъемный рюкзак. Я решила ехать в далекое алтайское село, где жила и работала врачом давняя моя знакомая Полечка Н. Полечка просила только конфет для ребенка, но я догадывалась, что и все остальное будет нелишним. Я только не знала, до какой степени нелишним!

Село располагалось в предгорье Алтая. В плохую погоду туда можно было только долететь самолетом. Но я приехала в начале лета, погода была прекрасная, и из аэропорта я добралась на попутном грузовике. Денег за такой подвоз шофера тогда не брали, а мой даже помог мне сперва завалить в кузов гигантский рюкзак, а потом снять его и доволочь до дверей дома.

Я попала прямо к обеду. Обнялась с Полечкой, познакомилась с ее мужем Андреем и с сынишкой Васей и ожидала, что меня пригласят к столу – с дороги я была зверски голодна. Вместо этого Полечка вскочила с места и побежала куда-то.

Выяснилось, что к соседям, занять какой-нибудь еды. Но соседи ничего не дали. И Полечке пришлось кормить меня тем, что ели сами. Это был суп: вода, забеленная снятым молоком, а в ней вареные огурцы. Полечка отдала мне свой кусок хлеба, отказаться я не могла, это была бы обида.

Привезенных мной припасов хватило почти на три недели. Так надолго потому, что кашами и лепешками Полечка кормила меня и маленького Ваську, сама говорила, что поела на работе, в больнице, а Андрей по-прежнему питался в основном огуречным супом, теперь сдобренным рыбьей печенкой. И еще водкой. Водки в сельпо всегда было вдоволь, она была дешева, да и деньги у моих хозяев были – Полечкина зарплата, Андреевы трудовни, тоже деньгами. К вечеру Андрей был всегда пьян и начинал заводить со мной долгие бессмысленные разговоры. Полечка старалась поскорей уложить его спать, иначе его пьяное благодущие могло внезапно смениться диким раздражением. Тогда он был опасен.

– Ты не думай, у нас не всегда так, – оправдывалась Полечка. – Просто сезон такой, пшеница еще не поспела, а коровы все стельные. Месяц-полтора – и будет и хлеб, и молоко. А там картошечка молодая подойдет с огорода. Так что ты не думай.

А я и не думала ничего. Думать я временно перестала. Хотя я и побывала до этого в деревне, но такого еще не видела. Суп из огурцов на воде...

Однако нужно было приниматься за дело. Заданная мне тема очерка стояла передо мной во всей своей пугающей неясности. Но я не унывала. Меня учили, что прежде всего следует представиться руководством, получить от них добро и всю необходимую информацию. А потом уж набрать материала, чтобы расцвечивать основную тему яркими бытовыми деталями.

Визит к председателю колхоза был короткий – разговаривать со мной ему было некогда, но он распорядился, чтобы мне как командировочной выдали недельный паек: четыреста грамм мяса и два яйца. Насчет начинания он хмуро посоветовал мне поговорить с агрономом.

Агроном был гораздо приветливей и разговорчивей. Предложил мне проехаться с ним, осмотреть поля, заглянуть на свиноферму, в коровник, в курятник.

– И все это у вас есть? – изумилась я.

– А как же. Ясное дело, есть.

– Но почему же тогда... – начала было я и прикусила язык. Тут была какая-то загадка, и следовало ее разгадать, прежде чем задавать бестактные вопросы.

Но агроном ухмыльнулся и ответил:

– А вот и потому. Вы, девушка, из Москвы приехали?

– Из Москвы.

– И как там у вас с продуктами?

– Да ничего. Почти все можно найти. Приходится, понятное дело, поискать, в очередях постоять.

– Понятное дело...

– Перебои, конечно, бывают. То масло исчезнет, то творог, то сахар, то еще что-нибудь, но в общем, ничего.

– Ну и скажите спасибо, – добродушно заключил агроном.

Ответ на мой недозаданный вопрос лежал на поверхности и был, в сущности, известен и мне, но, видно, не пришло еще мое время расстаться с последними иллюзиями и полностью принять этот ответ.

Я решила это пока оставить и приступила к главному:

– Ну а как у вас с новаторским начинанием? Внедряется?

– Что внедряется?

– Да вот (*хоть убей, не могу вспомнить, что это было*).

– Вы про это, что ли, приехали писать?

– Ну да.

– И много уже написали?

– Нет, пока еще ничего.

– А что будет, если и дальше ничего?

– Как это ничего?

– Если ничего не напишете?

– Будет очень плохо. Но только я напишу, непременно.

– И что же вы напишете?

– Все то, что расскажете мне вы и все другие колхозники.

– А вы что-нибудь знаете об этом?

– Нет, пока не знаю.

Агроном необидно засмеялся:

– Вы вот что. Поезжайте во-он туда! – агроном показал вдаль, где на пологом отроге виднелось большое село. – Вам тамошние председатели с агрономом все про это расскажут. Сколько захотите, столько и расскажут. А мне пора в поле. Поедете со мной?

Я, разумеется, поехала. И в поле, и в свинарник, и в курятник, и в коровник. Как должны выглядеть свинарник, курятник и коровник, я не знала и сочла дикую грязь и вонь во всех этих заведениях за нормальные их качества. Но самое унылое впечатление произвели поля с торчащими там и сям чахлыми ростками кукурузы.

– Но потом она вырастет? – спросила я агронома.

Он опять засмеялся:

– А конечно. Которая выживет, вырастет. Как говорится, выживание сильнейших. У нас тут пшеничка неплохо родилась, ну а теперь вот кукурузку нам сверху спустили, кукурузкой развлекаемся. Тоже начинание, можете написать...

Будь я поопытнее, я бы уже поняла, что спокойно могу лететь обратно в Москву, поскорей вернуть неистраченные фонды. Но я решила, что агроном хотя и симпатичный, но при этом настоящий ретроград, и упрямо продолжала «собирать материал».

И набрала его много. Целую толстую тетрадь. Но как я ни ломала над ним голову, как ни разворачивала этот материал под разными углами, в разных сочетаниях, он никак не ложился даже отдаленно в заданную мне тему. Можно было, конечно, написать гневную заметку о ретроградах, которые наносят ущерб стране, тормозя внедрение научных методов сельского хозяйства. Но для «Нового мира» это никак не годилось. Да и зачем катить телегу на здешних председателей и агрономов, честных людей, замученных тяжелой работой. А главное, что же тогда с собранным материалом? Так ему и пропадать?

И я решила, что с заданием не справилась, но очерк все-таки напишу. А для начала организую материал в серию черновых очерков. Потом как-нибудь склею их вместе. Получится общая картина, как живут люди в этом далеком краю. Тоже ведь интересно, разве нет? Несколько таких очерков у меня сохранилось.

Супружеская жизнь Поли и Андрея

Слово «секс» в те времена употреблялось очень редко, но имеется в виду именно это. Я спала в сенцах, муж с женой и сыном – в единственной комнате, куда вел дверной проем без двери. Мне было все слышно.

Оба панически боятся второго ребенка – не поднять. О таблетках здесь не слышали, презервативы достаются редко и с трудом. Покупать их мужчины стыдятся. Презервативы толстые, старые, высохшие, рвутся. Пьяный А. вообще не желает их надевать. П. всячески старается избегать сношений. Получает тычки, оплеухи, А. все-таки добивается своего. Из-за пьянства и нервности часто ничего не может, снова вымещает злобу на П. Их постель – долгий, мучительный кошмар. П. пытается поговорить с ним об этом, намекает, что есть разные способы. А. разъярен, считает такой разговор развратным, позорным для него. «Не смей никогда об этом говорить. А забеременеешь – твое дело, ты же у нас докторша, опять сделаешь аборт».

Аборты

Про аборты мне подробно рассказала тамошняя бабка-знахарка, к которой женщины обращаются не реже, чем к доктору Поле.

– Оно в больничке-то недорого возьмут, рублей тридцать всего. Да ведь стыда-то сколько! Сперва у председателя отпроситься, чтоб пустил в район съездить. Скажешь зачем – отпустит, только сперва поучение сделает, что же ты, мол, бабонька, опять опростоволосилась, ты бы с мужиком своим игралась, да не заигрывалась. Это кому приятно слы-

шать? Со стыда сгоришь. В районе врач тебя осмотрит, спросит, сколько детей, направление даст, но сперва тоже поизгиляется – что ж вы, мол, так неосторожно, почему не предохраняетесь? Ладно. Приезжаешь на село, идешь в больничку. Там в регистратуре договариваться надо, когда будут делать. А регистратура у всех на виду и на слуху, кругом люди ожидающие сидят. Вот и думай, пойдешь ты в больничку или нет.

– Так что же делать?

– А средствá есть. Хорошие средствá, и действуют, только я и говорить-то тебе об них боюсь. Очень уж много баб после этого кровью исходят, а иная и совсем... Небось писать про это будешь?

Я поклялась не называть никаких имен.

– А может, вообще писать про это не буду... *(я догадывалась, что скорее всего не буду)*.

– Ты только не подумай, сама-то я больше травками, а то пошепчу тоже.

– Понимаю.

– Ну, гляди. Первое средство самое простое – в бане париться. Еще лучше в корыто травок, каких я дам, положить, кипятком залить и сесть туда и сидеть, сколько терпезу достанет.

– Так ведь ошпаришься!

– Да тут уж так, коли любишь кататься... Это только в самом начале действует, а припозднишься – силой не оторвешь. Тогда второе дело – тяжелое подымать.

– Какое тяжелое?

– Это уж какая что сдюжит. У нас бабочки наладились на МТС бегать и там подымать колесо от трактора.

– Неужели поднимают?

– Подыма-ают! Подымет, насадится – оно и оторвется. А другая и не подымет, да порушит себе все внутри, ну, тогда в больничку неминуемо. Такая, если кровью вконец не изойдет, то рожать уж больше не будет. Ну и довольна.

– Страх какой!

– А так, так. Еще и пострашней есть. Только ты не думай, вот этого, что щас скажу, я не делаю. Это бабы сами управляют. Возьмет спицу поострее, и всадит себе прямо в это самое. Тут уж как повезет. Если хорошо угодит, оно там болеть начнет, портиться, ну, глядишь, и выкинет. А бывает, что болеть-то оно болеет, а все живет. И наружу до срока не выходит. Так и рожают черт-те каких.

А то вот у нас был случай. У одной девки открылась сахарная болезнь. Знаешь такую, диабет называется? Откуда и взялась, у нас и сахар-то только по большим праздникам привозят. Полина-докторша ей и лекарство достала, и научила, как колоться, это ведь надо каждый день. Понятно, и шприц дала. А девка эта возьми да и залети. Да чуть ли не от докторшина Андрюшки. Так она что? Взяла да тем самым шприцом стала прямо туда водку шприцать. Нашприцала не знай сколько, раздулась, как лягушка, и валяется пьяная. А допрежь того за ней этого не водилось, хорошая была девка. Ну и выкинула скорехонько, жаль только, сама после недолго пожила. Докторшу даже в суд таскали, зачем шприц дала, но обошлось, отпустили.

Те все средства быстрые. Повезет – скоро отделается, покровит недельку-другую, и все дела. А есть и медленные. К примеру, берешь прошлогоднюю репку, небольшую, крепенькую. Помыть ее чисто. Лучше даже водкой обтереть, чтоб зараза какая не попала. И прямо туда и засаживаешь хвостиком вниз, сколько можно глубже. Сперва мешает, а потом ничего, привыкаешь. Забываешь даже, а она там в теплоте и в мокрости пускает корешки. Корешки у репки растут быстро, ну и прорастают, куда требуется. Теперь только время правильно угадать. Рано возьмешься – корешки еще короткие, слабые, оборвутся, и все. Поздно – они уж гнить начинают, тоже рвутся. А угадаешь момент, и – дедка за репку, бабка за дедку! Тянут-потянут... вырвешь чисто все хозяйство вместе с репкой. Бывает, даже вместе с маткой вырывают, у которой слабая. Луковицей тоже можно, и корни годятся, даже шибче растут, только сама-то луковица другой раз так размякнет, что и ухватиться не за что...

У бабки и еще имелись «средства», разговор этот явно доставлял ей удовольствие, но с меня было достаточно.

Виталик

По совету агронома решила съездить в соседний колхоз. Километров пятнадцать, но всё подъем, хотя и пологий. Очень не хотелось тащиться пешком по солнцу, и я попросила председателя меня подвезти. Ему, как всегда, было некогда, и он спросил, умею ли я ездить верхом. Я считала, что умею, подростком даже поучилась немного на манеже.

На конюшне мне выделили рослого красивого мерина по имени Гнедко. Мальчик, который седлал его и подтягивал мне стремяна, заверил меня, что лошадь смиренная и послушная. Тот же мальчик посадил меня, и я отправилась.

Гнедко действительно слушался безупречно. Торопиться, правда, ему не хотелось, но и я не особо спешила. Мы величаво прошагали через все село, вышли за околицу и дошли до развилки. Правая дорога вела наверх, куда мне надо было, а левая в сторону, на пастбище. Я завернула Гнедка направо. Он неторопливо зашагал направо, да так и продолжал, направо и направо, пока не совершил полный оборот кругом, и двинулся назад, к селу. Я натянула поводья, и он покорно остановился. Я вынула припасенный заранее кусочек лепешки и предложила ему. Он деликатно взял кусочек, слегка фыркнул со скрытым презрением к малости угощения и послушно пошел направо, куда тянул его повод. Мы ступили на правую дорогу, сделали несколько шагов вперед, и в движениях Гнедка снова наметился правый уклон. Напрасно я тянула левый повод, напрасно колотила его пятками по бокам, напрасно, лежа животом на седельной луке, поворачивала руками его голову влево. Голову он поворачивал без сопротивления, но и с головой на левом плече неуклонно совершал свой оборот направо, пока не оказался снова мордой к селу.

Весь этот маневр мы повторили еще дважды. Наконец, отчаявшись, я прыгнула наземь и взяла его под уздцы. Он кротко стоял на месте. Я пошла направо и потянула его за собой. Он пошел. Мы прошли так метров двести, и я решила, что теперь можно сесть на него

обратно. Однако без помощи это оказалось не так просто. Я прыгала около него на одной ноге, вложив другую в стремя, с каждым прыжком пытаясь взгромоздиться животом ему на спину, и никак не доставала. Он терпеливо стоял и ждал. Как раз в тот момент, когда я почти перекинула на его спину вторую ногу, он легонько переступил на месте, и я свалилась наземь. Ударилась несильно, но встала не сразу. Гнедко нагнул голову, внимательно меня обнюхал и, убедившись, видимо, что я жива, направился в сторону села. Я успела схватиться за болтавшийся повод, и он слегка протаскил меня по кремнистой дороге. Не много протаскил, но в брюках моих на боку образовалась длинная протертая дыра. Он остановился, я встала на ноги. Пока я щупала дыру и ободранный бок, близко застрекотал мотор, и ко мне подъехал мотоцикл. На мотоцикле сидел большой плечистый парень с исковерканным лицом. У него не было левого глаза, и вся левая щека сморщилась и собралась в толстый бугор. Он слез с мотоцикла и спросил:

– Это кто ж тебе подсудобил Гнедка? Минька, что ли?

– Наверно. Мальчишка лет пятнадцати.

– Он, Минька. Ты куда собралась-то?

– В верхний колхоз.

– На Гнедке не доедешь.

– Доеду, доеду, – меня разбирали досада и стыд. – Ты только подсади меня.

Парень засмеялся:

– Подсадить недолго. Но не советую. Принесет тебя обратно в родную конюшню, верь моему слову. Давай лучше, хочешь, я тебя быстренько туда подкину?

Я заколебалась.

– Спасибо, но... А как же Гнедко?

Парень опять засмеялся:

– А вот так!

Он закинул поводья мерину на спину и крепко огрел его кулаком по задку. Тот с места рванул бодрым галопом обратно в село.

– Минька, подлёнок, обхохочется! Эта сволочная животина его одного и слушается. Садись давай!

Я все еще колебалась.

– На рожу мою страшную смотришь? Не бойсь, просто не гляди, и все.

Я его ничуть не боялась. Правая половина его лица была чистая и симпатичная, ясный голубой глаз смотрел ласково и весело.

– Я не боюсь. Где это тебя так угораздило? На мотоцикле?

– Не. Такой родился. Мамка меня рожать не хотела, вот и попортила. Теперь сама плачет, жалеет меня. Не переживай, я привычный.

Как это ему удалось, при таком жутком уродстве, сохранить такой легкий характер?

Я показала ему дырку на штанах:

– Как я поеду! К начальству!

– Большое дело. Дырка твоя – тьфу, а вот вообще брюки на девке – это да. Но корреспонденты все стилиаги, никто и не удивится. Ты ведь корреспондент? У Полины-докторши живешь, зовут Юля?

Меня очень смущало звание корреспондента, но не стану же я объяснять им все тонкости моего положения.

– Да, Юля. А тебя как?

– Виталик.

– А что ты делаешь, Виталик?

– Садись, поехали, все по дороге расскажу.

Мы поехали.

Виталик был дояр. Да, дояр, сказал он со смешливой гордостью, а что? Самых тугосисих коров дою.

Затем выяснилось, что Виталик женат. На счастье, я сидела у него за спиной, и он не увидел моего изумления. Но угадал его. И оно, видимо, было ему приятно.

– Жена у меня высший сорт. Красивая. Третий год живем.

Он явно ждал моей реакции.

– Здорово! – сказала я. Но чувствовала, что этого мало. Он ждал моего бестактного вопроса, и пришлось его задать: – А как же она...

– На мою рожу смотрит? – радостно подхватил Виталик. – А она с переды не смотрит. Только сбоку. Вот так, – и он повернулся ко мне на минуту своим симпатичным правым профилем.

– Ты сам красивый, – сказала я почти искренне.

Он снова рассмеялся:

– А ты бы на нашего дитенка поглядела. Вот кто красивый! Глазищи – во! Я жене так и сказал, рожай их дальше, сколько сможешь, всех будем любить, всех поднимем.

Ну до чего славный парень. И как? Как он ухитрился вырасти таким, без всяких комплексов? Можно понять его жену!

Наша короткая поездка подходила к концу. Начал моросить легкий дождик.

– Тебя к кому, к председателю? Вон его дом. А вон контора.

– Вообще-то, мне к агроному...

Дождь быстро усиливался.

– Пока до агронома доедем, измокнешь вся. Давай в дом?

На мне была легкая блузка, уже промокшая.

– Ну давай.

Председатель был дома. И агроном был там же. И оба меня ждали. Наш председатель позвонил здешнему, предупредил, что к ним едет корреспондентка из Москвы. И они приготовили мне прием, достойный корреспондентки из Москвы.

Здешний председатель совсем был не похож на нашего. Никуда не торопился, был сама любезность, обращался ко мне на «вы», позвал жену, велел принести полотенце и какую-нибудь кофточку. Виталику он едва кивнул и широким жестом пригласил меня к столу.

Стол был роскошный! Белые пышки, ватрушки с творогом, огурчики, грибочки. И верх великолепия – яичница с колбасой! Разумеется, водка и большая бутылка с коричневатой жидкостью.

– А ты поди пока на крыльце покури, – сказал председатель Виталику.

Виталик подмигнул мне и пошел к двери.

– Ну что вы, зачем, – сказала я. – У меня ведь секретов нет, вполне может с нами посидеть. Дождь-то какой!

Председатель буркнул: «Садись, раз зовут», и Виталик плюхнулся на лавку рядом со мной, догадливо заслонив собой дырку у меня на боку, которую я все время прикрывала ладонью.

Разлили водку, хозяин предложил выпить за московскую гостью. Я сказала, что водки не пью, и мне налили полный стакан из бутылки.

– Не сомневайтесь, пейте, – заверил меня хозяин. – Наша бражка мягкая, легкая, а уж вкусная!

Виталик тихонько хмыкнул, но я не обратила на это внимания. Брага была в самом деле замечательно вкусная и шла легко. Я сразу согрелась, настроение повысилось, как-то расхотелось задавать председателю въедливые вопросы, которые у меня возникли при виде богатого стола. Просто в этом колхозе, видимо, дела шли куда лучше, чем в нашем.

– Ты, главное, ешь, ешь, – шептал мне Виталик, он и сам не зевал.

И я ела и запивала душистой пенистой брагой, которая не высыхала в моем стакане, и мне становилось все веселее, я почти забыла, зачем сюда приехала. Несла какую-то чушь о Москве, кажется, звала их всех в гости, и они обещали непременно, непременно.

В какой-то момент я немного опомнилась. До того наелась яичницы и ватрушек, что даже хмельной туман отчасти рассеялся. Виталик рядом бормотал что-то о вечерней дойке, через час надо быть на месте... Я уловила иронический взгляд толстого кудрявого мужчины рядом с председателем и вспомнила, что это и есть агроном, с которым надо поговорить. С обоими надо поговорить. Боясь, что туман сейчас опять нахлынет, я поскорей вынула из сумки тетрадь и без предисловий начала задавать вопросы:

– Как у вас в колхозе с новым начинанием? Внедряете?

– А как же! – готовно откликнулся председатель. – Внедряем поменьше.

– И как результаты?

– Результаты? Как у нас результаты, а, Дмитрич? – обратился он к агроному.

– Отличные! – без запинки ответил тот.

– А если конкретно?

– А конкретно... – агроном пустился в пространные объяснения: про сроки посева, про кислотность почвы, про поверхностные слои, про глубинные слои, про методы обработки семян, и еще, и еще... Я торопливо записывала за ним, не попевала, пропускала целые куски и строчила дальше, давно уже перестав что-либо понимать. Председатель серьезно кивал головой и поддакивал, жена его неслышно встала и вышла из комнаты, а Виталик прикрыл рот рукой и что-то тихо мне шептал. Я ничего не слышала и лихорадочно строчила дальше.

Рука просто отваливалась. Я на минуту оторвалась от писания и взглянула на агронома. На его лицо. И тут сразу поняла, что шептал мне Виталик. «Лажа, лажа!»

– Лажа! – сказала я громко, сама не зная, что делаю.

Председатель вздрогнул и быстро что-то заговорил. Агроном помолчал, улыбаясь своей иронической улыбкой, и спросил:

– А вы что хотели услышать?

Обратно мы с Виталиком ехали замечательно весело. Дождь перестал, но дорогу сильно развезло. Оба мы с ним были очень сытые и очень пьяные. Мотоцикл катался зигзагами, обдавая нас фонтанами жидкой грязи из-под колес, и это казалось нам ужасно смешно. Еще смешнее было вспоминать, как я старательно записывала агроному болтовню и как испугался председатель, когда я сказала «лажа». От хохота Виталик не мог удержать руль, мотоцикл съезжал с дороги на распаханную землю, и мы с воплями валились в грязь. Это было уже так невыносимо смешно, что Виталик начинал икать и хвататься за живот, я плакала чуть не до истерики. Отсмеявшись, мы вытаскивали на дорогу облепленный грязью мотоцикл и катили дальше, до следующего обвала в грязь. Удивительным образом мы не только не разбились, но даже и синяков настоящих не набрали.

Больница и ее главврач

Это было не единственное ДТП, в которое я попала во время своей командировки. В сущности, это нельзя даже назвать аварией, скорее это была одна сплошная грязевая ванна.

Вторая была значительно серьезнее. Произошло это так. В отдаленной деревне мальчишка сломал в двух местах ногу. У него был сильный жар, он бредил, везти его в больницу было никак нельзя. Наш главврач взял с собой медсестру и поехал туда, оставив больницу на Полечку. Я попросилась с ними.

Мальчишке сложили ногу, загипсовали, дали жаропонижающее, еще какой-то укол, и он спокойно заснул.

Врач хотел сразу же ехать назад. А родители мальчика уже выставили угощение, хотели непременно отблагодарить доктора. Хлеба не было и у них, на столе стояла водка, баночка килек и десяток закаменелых мятных пряников. Отказываться доктор не умел. Он торопливо опрокинул пару рюмок (шепотом велел выпить и мне, и я выпила), взял пряник (я тоже взяла) и пошел будить шофера. Тот как раз попользовался угощением, пока доктор возился с больным, и его пришлось расталкивать.

Мы ехали на стареньком газике, еще он назвался тогда любовно «козлик». Мы с сестрой на заднем сидении, доктор рядом с шофером. Шофер, щуплый небольшой мужичок лет пятидесяти, совсем проснулся, развеселился и всю дорогу пел песни. И гнал свой газик во всю его козлиную силу. Все, кроме него, дремали, и тут газик вильнул на выбоине и врезался в высокий придорожный пенёк.

Шофер лежал грудью на руле, доктор пробил головой ветровое стекло. У меня хрустнуло что-то в запястье, сестра схватилась за ушибленные колени.

Несколько секунд было тихо. Затем оба, и шофер, и доктор, выскочили из машины. Шофер бросился осматривать повреждение, а доктор, держась руками за лицо и поливая дорогу кровью, быстро по-

бежал вперед. Сестра сидела и тихо охала. Я сдернула с головы платок и побежала за доктором. Он остановился и, не отнимая рук от лица, непрерывно повторял «Глаза! Глаза! Глаза!» Я промокнула платком кровь на лице, силой отгибая его сопротивляющиеся руки. Пока кровь со лба не залила их снова, я увидела, что глаза целы. Прижимая платок к его лицу, я повела его обратно.

Шофер уже не копошился у мотора, а сидел на обочине, держась за грудь. Лицо его быстро серело.

Машины здесь проходили редко, и мы ждали попутной часа, наверное, четыре. Сестра кое-как обмотала лицо доктора марлей, сквозь которую все-таки проступала кровь. Но глаза его не пострадали, и он быстро пришел в себя. Вместе с сестрой они пытались что-то сделать с шофером, но тому становилось все хуже. Он начал терять сознание. Неделью спустя он скончался в больнице. На селе говорили: «Отбил сердце об руль». Наверное, так оно и было.

Полечка сказала мне, что доктор лежит в больнице с сильным сотрясением мозга. Я решила навестить товарища по несчастью. Как выяснилось вскоре, делать этого не следовало.

«Больничка», как говорили здесь все, находилась на одной из окраинных улиц и представляла собой длинный одноэтажный деревянный барак, довольно облупленный на вид, но с двумя желтыми колонками перед входом. Вдоль дорожки, которая вела к нему, стояло с полдюжины скамей, на них дожидались приема пациенты. Я обратила внимание, что почти все это были старые люди.

На крыльцо вышла больничная нянечка и громко позвала:

– Спиридонова!

Одна из старух подхватила со скамьи и торопливо засемила ко входу. Тут же встала другая старуха и зашагала вслед за первой.

– А ты куда, Ложкина? – строго крикнула нянечка, пропуская первую внутрь. – Ты свое уже отлежала! Вороти назад!

– Анюточка! Родненькая! Христом-богом молю, пусти! Нету никаких моих сил! Совсем заморили, проклятушие, из дому гонят.

– Да разве это я пускаю? Все по списку. Две недели понежилась, и все ей мало. Думаешь, тебе одной надо? Вон вас сколько сидит.

– Хоть на три денечка, Анюточка!

– Ступай себе, ступай!

– На один денечек, а? Пусти!

Нянечка вызвала еще двоих и ушла.

Доктора звали – не припомню точно, то ли Марк Абрамович, то ли Абрам Львович – короче, еврей. Невысокого роста, довольно полный, с приятным (до аварии) круглым лицом. Как и Полечка, он попал сюда после института по распределению, как и она, мечтал вырваться в город и так же, как она, безнадежно тут застрял. Люди к «своему еврею» относились неплохо, умелый врач был им нужен, к тому же сердобольный и отзывчивый. Это он составлял список голодных стариков и старух и, когда только мог, клал их к себе в больницу, где даже и не особо лечил, только давал немного подкормиться и поспать в чистой постели, а зимой и отогреться.

У него появилась сожительница, вдова старше его лет на восемь, родила ему дочку, всячески толкала его «расписаться». Девки с завистью говорили: «Обратала еврейчика». Он, однако, не поддавался, не расписывался.

Ко мне он расположился при первом же знакомстве. Мне он тоже был вполне симпатичен, но я не обманывалась относительно его внимания ко мне. Отталкивал слишком уж неприкрытый корыстный характер его интереса.

Интерес этот имел два или даже три аспекта. Прежде всего – я была еврейка. У него совсем не было никого родных, кругом на сотни километров не было ни одного еврея, душа его истосковалась по родному племени. Затем, я была «интеллигентная». Он, как и Полечка, страдал от невозможности поговорить о чем-нибудь кроме болезней, больничных неурядиц, недостатка продуктов, дров, материалов и оборудования и множества разных других бед. Эти двое только и отводили душу в разговоре друг с другом. Полечка даже сказала раз: «Мы с ним тут два еврея», хотя была совершенно русская. И, наконец, главное – я была городская, из Москвы, притом незамужняя... Нетрудно догадаться, какие надежды зашевелились у него в голове.

Я всячески давала ему понять, что надежды эти безосновательны. И словами, и всем своим поведением. Он словно бы не понимал. Сказать ему прямо и грубо «отвали» я никак не могла. И совсем не общаться с ним не могла, он был Полечкин приятель – в конце концов, он ведь не делал мне ничего плохого, просто был ко мне повышенно внимателен. (*Вспомнила! Его звали Макс. Макс Абрамович.*)

Вот я и пошла навещать пострадавшего – честно говоря, мне было любопытно побывать в больнице неофициально, без сопровождения. И лучше бы я этого не делала.

Ни у входной двери, ни в длинном узком коридоре никого не было. Лишь в самом конце коридора слышались голоса.

В коридор выходило много дверей, все открытые настежь. Я осторожно заглянула в каждую и обнаружила, что палат всего четыре, но зато в каждой по десять-двенадцать кроватей и у каждой по две двери. Две палаты мужские, две женские, все забиты до предела, кровати стоят попарно вплотную, так что встать с постели можно только с одной стороны. В одной из мужских палат я мельком увидела обмотанную бинтами голову главврача. Удивительное дело, я-то была уверена, что он лежит в отдельном помещении. В женских палатах стоял неразборчивый разговорный гул, из мужских слышались стоны и монотонный призыв: «Сестра! А сестра? Сестра! А сестра?» На призыв никто не являлся.

Я вошла в мужскую палату. Лежавший около двери больной повторял, не глядя на меня: «Сестра, а сестра, а сестра...» Я сказала:

– Сейчас позову...

С подушки поднялась голова Макса:

– Не надо, не зовите! Он бредит. Идите сюда!

Я подошла. На нем была как бы маска, щеки и лоб пересечены широкими полосами бинта, рот, подбородок и глаза открыты.

Он так обрадовался, что жалко было смотреть.

– Я тут лежал и все думал, придете вы или нет!

– Ну как же, почему это я не приду! – бодро ответила я и присела в ногах кровати.

– Сядьте поближе, – попросил он, – смотрите, как все уши вытянулись.

Уши действительно вытянулись, головы повернулись, как подсолнухи к солнцу.

Я сделала вид, что придвинулась поближе. Он сел, опираясь на подушку, и взял меня за руку.

– Зачем вы сели, вам же нельзя двигаться! – сказала я, пытаюсь поделikatнее высвободить руку. Но он держал крепко.

– Ерунда, это Полина выдумала, чтоб я отдыхал. Я так рад, что вы пришли.

– И я рада, что вам лучше.

– Да я здоров. Порезы заживают, думаю, и шрамов страшных не оставят. Домой бы мне пора, да очень уж не хочется...

– Вот и замечательно! Дома и стены лечат! – болтала я, как бы не слыша его последних слов. Мне было ужасно не по себе, я чувствовала, что приближается нечто, чего я вовсе не хочу.

– Я давно хотел с вами поговорить. Когда еще будет случай! Только, пожалуйста, не пугайтесь!

– Что вы, чего мне пугаться! – засмеялась я, а сама действительно испугалась. И уйти нельзя, держит крепко, а вырвать силой как-то неудобно.

– Вы ведь скоро уезжаете?

– Еще не так скоро. Через неделю, дней через десять.

– Я вас прошу! Юля, я вас умоляю, давайте поедem вместе!

– А вам тоже в Москву надо? По работе? – спросила я невинно.

– Да, надо, мне очень, очень надо! Помогите мне! Я тут просто сдохну!

– Макс, вам нельзя так волноваться. Чем же я могу помочь?

– Можете, можете, если захотите!

– Да я бы с радостью, но только не знаю как... вот вернусь в Москву – попробую поискать каких-нибудь знакомств среди медиков, может, что-нибудь...

– Глупости это, Юля, сами знаете...

Конечно, глупости. Я говорила это в надежде поскорей отвязаться и уйти, прежде чем он прямо выскажет свою просьбу.

– Давайте поговорим потом, в другой обстановке... – попыталась я.

– Нет, нет, сейчас, я должен знать сейчас...

– Что знать?

– Позвольте мне на вас жениться!

Он говорил быстрым, лихорадочным шепотом. И глаза у него блестя лихорадочно. Наверняка сотрясение мозга давало себя знать.

Я заставила себя рассмеяться:

– Вот так предложение руки и сердца!

– Поверьте, вы мне действительно очень нравитесь. Очень. Но если не захотите, то так только, для вида... Что вам стоит? Я получу прописку в Москве, и мы разведемся.

– Макс, Макс, что вы несете, ей-богу? У вас здесь дочь, женщина, которая вас любит...

– Да мне эта ее любовь как... А дочь – еще неизвестно, чья она дочь. Нет, я здесь не могу больше. Я с ума сойду. Пожалуйста, Юля! И, хотите? Я немного денег подкопил, приличную сумму, все отдать не могу, но половину с радостью...

Я снова попыталась высвободить руку, и он вдруг ее отпустил. За спиной у меня раздался голос:

– Максик, да ты уже совсем выздоровел!

Я обернулась, встала. Сразу догадалась, кто это. Среднего роста, среднего возраста, в пиджаке, с острым носиком и с подведенными ниточкой бровями. Похожа на учительницу – она и была учительница русского языка. Я протянула ей руку, назвалась. Она руки не взяла, имени своего не назвала, его назвал Макс:

– Познакомьтесь, это Валентина.

– Очень приятно, – сказала я, внутренне содрогаясь. – Как хорошо, что вы пришли, я как раз ухожу, вот больной и не останется без общества!

– Да куда же вы, – сказала Валентина с кривой улыбкой. – Не спешите, куда вам спешить. Посидите еще. Посидите, поддержитесь за ручки, поворкуйте между собой. А я постою, полюбуюсь на вас.

– Валя, не надо! – слабо проговорил Макс. Он уже снова лежал. – Зря ты это, так нельзя...

– Да что ж я такого сказала? – все так же криво улыбаясь, спросила Валентина. – Разве я что плохое сказала?

Голос ее все повышался, быстро срывался в крик.

– Так нельзя, говоришь? Почему же нельзя? А этой шлюхе приезжей можно? Ей что, своих московских мужиков мало? За наших взялась? Ей, значит, чужого мужа от жены можно уводить?

– Ты мне не жена... – пробормотал Макс. Тихо пробормотал, но она услышала.

– О-оо! Не жена я ему! А кто тебе жена? Эту, что ли, наметил? Да она усвистает к себе в Москву и не вспомнит даже!

Ах, как она была права. В этот момент я только и мечтала «усвистать» и не вспоминать.

А она уже кричала в полный голос, к развлечению всей палаты:

– Не жена я ему! А кто тебя пять лет обхаживал, как малого ребенка, поил-кормил, обмывал-обстирывал, пылинки с тебя сдувал, да еще и спал с тобой?

– Валентина, – сказала я как можно убедительнее, – поверьте, вы ошибаетесь. Все это совсем не так. Он мне совершенно не нужен.

Это не помогло, наоборот, только ухудшило дело:

– Ах, он нам не нужен! Для нас он не довольно хорош! Нам ведь чистеньких подавай, городских! А он, кому он нужен, дурачок этот деревенский? Только такой же дуре деревенской! А нам так только, позабавляться, для практики!

Терпения у меня не хватило, я тоже крикнула:

– Да что вы ко мне пристали? Какого дьявола? Разбирайтесь с ним сами! Это он ко мне лезет, а не я к нему!

И быстро ушла из палаты. А объект скандала тихо лежал на кровати, укрывшись с головой.

Полечка рассказывала мне, что жизнь бедного Макса превратилась в ад. Валентина закатывала ему дикие истерики, выгоняла из дому, потом на коленях просила вернуться. Раз ударила его по лицу, Полечке пришлось вновь зашивать открывшиеся раны, Валентина стояла рядом и вымаливала прощение.

Мне было жалко Макса. И я чувствовала себя виноватой. Так, что я даже начала подумывать – а может, и впрямь? Согласиться, сделать, что он просит? Может, помочь здесь хоть одному человеку? Моя московская жизнь, весьма скудная, почти нищая, была настолько лучше и легче, чем у них здесь, что мне было перед ними неловко. В конце концов, чем я рискую? Он же сам говорил – получу московскую прописку, и разведемся... Я решила посоветоваться с Полечкой и обрисовала ей ситуацию.

– Хорошо придумал, – засмеялась Поля. – То-то он вокруг тебя скакал. На таких условиях я бы сама на тебе женилась!

Мы посмеялись обе, затем Поля сказала серьезно:

– Даже не думай! Ни в коем случае!

– Но почему?

– Макс прекрасный друг и хороший врач. И вообще человек хороший, добрый. Но – слабый. Ты тут влезешь в такое, что не вылезешь. Он прилепится к тебе, как банный лист, тем более ты ему нравишься. А отрывать насильно – тебе опять станет его жалко. А он тебе нужен?

– Сама знаешь...

– То-то и оно. А ты подумала, где он будет прописываться? И захочет ли потом выписаться?

Я почему-то об этом не думала. Но ведь ясно, что прописываться он будет у меня, своей «жены»! А уж выписываться... совсем неизвестно.

– И где будет жить? Или ты на улицу его выставишь? В чужом городе, без работы, без единого знакомства, кроме тебя?

– У него есть деньги, снимет комнату... будет искать работу...

– Ничего он не снимет. Я ж тебе сказала, слабый. Беспомощный. Он и здесь, как приехал, почти год в больнице ночевал, пока его Валентина не прибрала к рукам. И работу он там вряд ли найдет, а здесь потеряет. И Валентину, какая ни есть, потеряет, и дочку. Будет держаться за тебя, как за спасательный круг. Такая будет твоя ему помощь?

– Да уж...

– А Валентина? Тебе ее не жалко?

– Вообще-то, жалко...

– Отнимешь у нее мужика, тебе он не нужен, а ей другого уж не найти.

Полина меня полностью убедила. Больше я Макса в этой командировке не видела.

Было явственное ощущение, что мне пора «усвистывать». Но хотелось подсобрать еще кое-какой «материал».

Хотелось поговорить еще раз с агрономом – председатель так и не сумел выкроить для меня времени, да мне самой неловко было отрывать этого загнанного человека от его тяжких и, как я подозревала, малоуспешных трудов ради разговора о том, что и мне теперь представлялось идиотизмом. А с агрономом пообщаться было возможно и стоило, хотя бы для очистки совести.

– Ну что, написали о новаторском начинании? – спросил меня агроном, пряча, как говорится, улыбку в усах.

Я уже немного продвинулась в искусстве таких разговоров и ответила вопросом на вопрос:

– А вы как думаете?

– А никак. Мне некогда думать о ненужных мне вещах.

– Ага, значит, это вещь ненужная! Что же вы мне сразу не сказали, что это чепуха?

– Вы мои слова не передергивайте. Что мне не нужно, так это ваше писание. А начинание – вовсе не чепуха. Метод нужный и полезный, в Америке давно применяется с успехом.

– Так в чем же дело?

– А в том, что он хорош – но не на наших почвах, не в нашем климате и, главное, не с нашей культурой земледелия.

– Почему же вы им все это не объяснили?

– Кому это – им?

– Ну, которые вам это спустили.

– А им с еще более высокой горы спустили.

– Тогда, значит, тем, другим.

Добродушный агроном перестал улыбаться.

– Послушайте, что вам от меня надо? Я и так сказал больше, чем следует.

– Да вы ничего такого особенного не сказали!

– Вот и хорошо! Давайте я буду свое дело делать, а вы свое. Хотите объяснять? На то вы пресса. Вот и пишите все в своем очерке, объясняйте.

– Но я же не специалист, что я в этом понимаю? У меня своего мнения быть не может. Если писать, то только со ссылкой на авторитет. А авторитет – это вы.

– Ну нет, такого вы мне не сделаете.

– Да почему же? Это материал.

– Нет, нет! Ничего я вам не говорил и говорить больше не буду. За что вы мне такую свинью хотите подложить?

Теперь стало смешно мне. Взрослый, серьезный человек, явно знающий свое дело, так испугался упоминания своего имени в каком-то далеком очерке! К тому же я ведь знала, что не буду на эту тему вообще ничего писать. И говорила с ним так для чистой провокации, а вдруг он все-таки скажет что-то существенное про начинание. Я даже не заметила, что самое существенное он уже сказал. А человек был симпатичный, надо было его успокоить.

– Да не подложу я, не подложу вам никакой свиньи, не волнуйтесь, – сказала я снисходительно, ощутив легкий, но такой сладкий

намек на власть над другим человеком. Нет, быть корреспондентом – в этом что-то есть!

– Я не волнуюсь, – сухо ответил симпатичный агроном. – Надо же, такая молодая, и уже...

А к Эмме Францевне, переселенной поволжской немке, больше не пошла. Что меня остановило – трудно сказать. Была ли это глубоко укоренившаяся неприязнь ко всему немецкому, которую я так явственно ощутила в этом пряничном домике и в его радушной хозяйке? Наверно, и это. А еще больше – боялась, что она станет рассказывать о себе. Все то, что я уже знала от Поли – как их выселяли из родного дома, как везли через пол-страны в скотских вагонах, как выслали ее мужа куда-то на север, где он и умер, а теперь она здесь навсегда, и вернуться-то некуда – я не смогу не спросить ее, и она наверняка расскажет... Много лет прошло с тех пор, но следами давней боли было исчерчено все ее лицо. А мне вдруг тошно стало слушать про чужие горести и беды, зная, что помочь ничем не могу. И я просто передала ей привет через Полю.

С таким вот материалом я вернулась в Москву. И села писать очерк.

Уже в процессе писания меня стали одолевать сомнения. Я чувствовала, что меня опять заносит все дальше и дальше от светлой советской действительности. Опять у меня получалось, «как будто ничего веселого, приятного в нашей жизни нет». Я начала лихорадочно вспоминать, что я видела там «веселого и приятного». Лично мне было приятно общаться с Полечкой, но веселого тут было мало. Приятно было поиграть с маленьким Васькой, но удручали его кривые ножки и выпирающий живот. Приятно было прокатиться на Гнедке, пока он не испортил все своим упрямством. И на мотоцикле с Виталиком было приятно и весело ехать – особенно назад... Конечно же, приятно было гулять по полевым дорожкам, валяться на сене, любоваться закатами и т. д.

Но это – мне. А другие – когда и где я наблюдала, чтобы было приятно и весело другим? Разве что во время большой пьянки по случаю редкостного события – возвращения солдата из армии. Вернее, в самом ее начале. Что происходило дальше, не хотелось вспоминать.

А как насчет сельского хозяйства, колхозных достижений? Передавать высказывания агрономов относительно «новаторского начинания» означало бы просто подставить хороших людей. Про кукурузу, я догадывалась, тоже писать не стоило. А больше у меня интересных, а тем более положительных наблюдений не было. Я слишком была еще неопытна, чтобы разглядеть или, прямо скажем, выдумать положительное, не видное за густой завесой того, что тогда называлось «есть еще у нас отдельные недостатки». Меня только, помню, удивил ответ Виталика, когда мы проезжали мимо поля и я спросила, что это растет, овес или пшеница. Виталик, колхозник, земледелец с деда-прадеда, глянул равнодушно и сказал: «А хрен его знает».

Короче говоря, ничего у меня не получалось. Стояла холодная осень, я сильно простудилась, из распухшего носа текло, как из крана. И я решила махнуть на все рукой. Собрала все свои записи, закутала голову и лицо большим платком и отправилась в редакцию «Но-

вого мира» – падать в ножки, каяться и просить, чтоб отсрочили мне возврат пустую потраченных денег.

Удивительное дело, мне и дальше везло! Падать в ножки не пришлось. Берзер мельком глянула на мои черновики и отнесла их Твардовскому. Я сидела в приемной, прижав платок к носу, и ждала решения своей участи. Больше всего меня волновали деньги – долг был большой, заработаю столько не скоро и неясно как.

– Зайдите к нему, – сказала Берзер примерно через час. По ее нейтральному тону ни о чем догадаться было нельзя.

Я зашла.

– Хорошо погуляла? – сказал Твардовский вместо приветствия.

– Хорошо... – прогундосила я. – Но вы не беспокойтесь, я все верну, попозже, если можно...

– Написала? – мои черновики лежали перед ним.

– Нет...

– А с этим что будем делать? Будешь дописывать?

– Не буду.

– И правильно. Все равно не напечатаем. Ступай домой, не заражай здесь всех своими вирусами. А выздоровеешь, приезжай в бухгалтерию, получишь свой гонорар.

У меня аж дыхание перехватило. Я не знала, что сказать. Снималась главная проблема! Остальное уже не казалось важным.

От растерянности я забормотала бог знает что:

– Простите меня... и спасибо... я старалась, но это невозможно... спасибо большое...

Он не обратил на мои слова внимания:

– Этот очерк – брось. Не трать на него времени. Пиши что-нибудь другое. Если напишешь, покажи. Но мой тебе совет – ты говорила, языки любишь. Вот и займись.

Я последовала совету Твардовского.

* * *

После моего возвращения я еще долго переписывалась с Полей. Ее письма выглядели как настоящий мартиролог. Года через полтора Полечка сообщила мне, что доктор Макс скоростижно скончался от болезни сердца. Можно сказать, сердце его было разбито. Но разбила его не я. Недолгое время спустя от такой же болезни умер председатель колхоза, на его место прислали кого-то из области. Умерла Эмма Францевна, и сразу вслед за ней ее отец. Ее сын много позже, уже пожилым человеком, «репатриировался» с семьей в Германию. Толстый кудрявый агроном из верхнего колхоза, так хорошо объяснявший мне про новаторское начинание, погиб, когда грузовик, к тыльному борту которого он прислонился, внезапно подал назад. Имена беременных женщин, умерших от воткнутых «в это самое» спиц и репок, встречались почти в каждом письме. Веселый уродливый Виталик сел навсегда в тюрьму за убийство любовника своей жены. Полечкин Андрей уехал-таки в Иркутск учиться на зубного техника и там спился вконец. Спивался потихоньку и подросший Вася. А сама Поля развелась с мужем и тоже уехала – не знаю куда.

НАСЛЕДСТВО

Наследство. Всегда чье-то горе и чья-то радость. Горе тому, кто уже умер и оставил это наследство, не попользовавшись, горе тому, кто рассчитывал и не получил, радость тому, кто еще жив, получил и может попользоваться. Мне всегда казалось, что незаработанное тратить гораздо приятнее, так что радость двойная.

Мне эта радость была обещана не один раз, и если бы все обещания исполнились, я была бы теперь богата и спокойна. И сама бы еще оставила изрядное наследство ожидающим.

Не знаю, что во мне есть такое, почему людям кажется, что они хотят оставить свое нажитое именно мне. И что во мне есть такое, что в конце концов практически ничего мне не достается.

Первый раз я испытала предвкушение наследства еще в молодости. Человек, написавший завещание в мою пользу (и сразу показавший мне его), был еще совсем не дряхл и сравнительно здоров. Сделал он это из побуждений чисто эмоциональных, не имевших ничего общего с жизненной необходимостью. Да и со мной лично этот поступок был связан мало. Человек не столько хотел отдать свое достояние мне, сколько не дать его другому лицу. А именно своей родной дочери от первого брака. Кому угодно, лишь бы не ей. И чтоб она это знала – об этом он тоже сразу позаботился. Такие у них были отношения. А отдать, кроме как ей или мне, было некому.

Совсем недавно у этого человека была и жена, и сын от нее. Жена эта, его вторая, была моя родная тетка, сестра матери, очень мною любимая и много помогавшая нашей семье в моем голодном детстве. Но теперь ее уже не было, и сына их тоже не было. Я очень любила мою тетку и сына их, моложе меня на десять лет, тоже любила, особенно пока он был маленький и я его нянчила. А самого человека, желавшего оставить мне наследство, я недолюбливала. В детстве он казался мне болтуном, вечно и занудно рассуждающим о высоких материях. Я даже преподнесла ему однажды стишок: «Вот человек, погруженный в науку, он навевает несносную скуку» – и очень удивилась, когда он смертельно обиделся. Разве на детей обижаются? Лишний повод относиться к нему без симпатии. А с годами мне стало казаться, что он замучил мою тетю, что это он довел ее до инсульта, от которого она вскоре и умерла, пережив сперва гибель обожаемого сына.

Надо сказать, что предвкушение наследства – очень сильная отравка. Я была еще сравнительно молода, и у меня не было против нее иммунитета. Когда дядя впервые заговорил о своем намерении оставить мне все свое добро, я, разумеется, сделала все, что диктовалось приличиями: сказала, ах, что ты, нет, нет, не надо, сказала, что у него есть законная наследница – дочь, и вообще сказала, что ему рано об этом думать. Все как положено. Но отравка подействовала сразу. В голове немедленно закопошились ядовитые змейки: да скоро ли он умрет? сколько ему лет, явно за шестьдесят... и что, собственно, он может оставить мне в наследство, этот книжный червь? Жили они скромно, да еще нам тетя помогала, и он, когда она давала моей мате-

ри деньги, всегда недовольно кривился и шипел, мол, вечная благотворительность, сами едва концы с концами сводим...

Но он тут же рассеял мои опасения. Вот, сказал он, возьми мое завешание и храни получше, никому не показывай, это ценный документ, я за жизнь сумел кое-что подкопить кроме книжек. Все для них старался, и вот как вышло... Тут он сморщился и выдавил лицемерную, как я была убеждена, слезу. Ну, так и есть, он заморил их своим скуперддйством, подумала я, лучше бы он не мне в наследство, а им при жизни давал. С другой же стороны, говорила во мне отравка, если бы он им давал, тебе бы ничего не досталось. Пусть бы, пусть бы не досталось, отбивалась я, зато они, может, были бы живы... Но это я уже лицемерила перед самой собой. Наследство получить страстно хотелось, и как можно скорее, и как можно больше. Значило ли это, что я желала моему дяде смерти? Вроде бы нет, а впрочем, до самого конца, до самой последней правды тут не докопаться, я даже и теперь не могу. А тогда и не пыталась. Но если бы вдруг узнала, что он кончился, то первая моя мысль была бы не о нем, а о наследстве. В этом я теперь почти уверена.

Впрочем, я ведь его никогда не любила и, хотя денег его хотела, самого его презирала за накопительство и скупость. А также за трусость, но об этом дальше. И это несмотря на то, что к тому времени знала уже, что это человек обширнейших знаний и в своей области, истории искусства, острого и оригинального ума.

Бумагу я спрятала и, помечтав немного, что бы я сделала с деньгами, вскоре перестала об этом думать – дядя умирать не собирался, а в жизни слишком много было других интересов.

В частности, мое потрясающее, по тем временам – конец шестидесятых – почти невероятное путешествие в Лондон.

Как это получилось, я рассказываю в другом месте, а здесь скажу лишь, что в Лондоне жили еще с довоенных времен моя тетка, сестра моего покойного отца, и ее муж-архитектор. И жили богато, в собственном доме в фешенебельном окраинном районе, с ценной антикварной мебелью, с коллекцией картин постимпрессионистов, с приходящей прислугой и с милейшей беленькой собачкой редкой породы. На мой тогдашний взгляд, они жили просто немыслимо роскошно.

Правда, дом их стоял в длинном тесном ряду точно таких же домов, где наверняка тоже была хорошая мебель, и картины какие-нибудь, и породистые собаки с кошками, так что я поначалу даже решила, что, видно, здесь, на Западе, и все так живут. То есть здравый смысл и диалектический материализм говорили мне, что вряд ли, но... Запад, это ведь такое место. Вроде бы реально существует, вот, я в нем нахожусь, вижу его, щупаю, нюхаю, а в то же время знаю, что в известной мне реальности быть его не может, это я попала в другое измерение, где любые чудеса возможны.

И вот здесь, в этом потустороннем Лондоне, мне засветила вдруг перспектива тоже пожить роскошно. Ну, может, и не роскошно, и не так, разумеется, как живут они, а в соответствующей советской модификации, и не сейчас, а когда-нибудь, но перспектива засияла!

Дело в том, что моя тетка, в первой эйфории от встречи с дочерью обожаемого старшего брата, сгоряча рассказала мне, что мой отец, уезжая из Вены, где все они тогда жили, в Советский Союз, полностью отказался от своих прав на наследство. А был он первенец в богатой купеческой еврейской семье, и семейное дело должно было перейти в его руки. Такое случилось несчастье, говорила мне тетя, мой умный, тонкий, изысканный брат, ученый эрудит и светский кавалер, встретил не то в Женеве, не то в Цюрихе некоего русского революционера, чье имя тогда никому не было известно (а теперь нехорошо знаменито на весь мир), смертельно заразился его идеями и отказался не только от семейного бизнеса, но и от блестяще начатой светской и литературной карьеры. И в конце концов уехал в Россию, и никогда она его больше не видела, в Вену он почему-то больше никогда не приезжал, а потом и вовсе погиб на войне с нацистами. И почти все родные их, кроме нее, прозорливо покинувшей Австрию еще до германского аншлюса, погибли, а семейное дело после аншлюса отобрано было немцами. Однако, говорила она, многое из оставленного ей достояния брата она успела переправить в Лондон, значительный капитал и немало ценных вещей. И ты, говорила она, единственная его дочь...

Тут моя практичная, предусмотрительная тетя Франци слегка замялась. Эйфория по поводу моего приезда в Лондон начинала, видимо, несколько остывать. Но я этого не заметила. Своим прямолинейным, неискушенным советским умом я поняла ее так, что мне, единственной дочери и прямой наследнице, предстоит кое-что получить из отцовского достояния, неясно, что и сколько, но что-то явно предстоит. И обрадовалась. И начала думать, что я куплю в нереальных здешних магазинах себе и родным в Москве.

Ну, и купила, все-таки купила кое-что, хотя...

Родичи не предлагали мне остаться в Англии и жить у них, хотя, судя по их первоначальным выражениям радости и любви, этого можно было бы ожидать. Я и ожидала, хотя вовсе не собиралась ничего такого делать. Но дождалась я совсем другого. Они настойчиво, со страстью даже, стали предлагать мне прямо из Лондона отправиться в Израиль. Они были большие сионисты! Они объясняли мне, как там замечательно и прекрасно, как мне там во всем помогут, всему научат, всем обеспечат. Там тебя, говорили они, хотят и ждут. Там любят таких, молодых, красивых и образованных. Дадут жилье, подыщут работу, глядишь, и мужчину там встретишь... Ну а со временем, через годы, когда и если они умрут, то и от наследства кое-что перепадет. Туда передать легко, цивилизованная страна. А с твоей Россией ничего не известно, там и банков-то нормальных нет.

Не через годы! – хотелось мне крикнуть им. Не когда и если! А сейчас, сейчас мне нужно это «кое-что»! По советской своей невоспитанности, я даже слегка намекнула им, что мне очень нужны деньги. Сперва они меня не поняли, а потом поняли и очень удивились. Нужны деньги? На что же? Разве они не обеспечивают меня всем необходимым, и даже сверх того? Не возят на машине, куда только я захочу поехать? Не водят в хорошие рестораны? И даже в театр (один

раз сводили)? Зачем же мне деньги? И неужели я приехала совсем без гроша?

Я корчилась под их вопросами, как проколота булавкой гусеница. Это был постыдный, отвратительный для меня разговор. Но они же родные, близкие люди! Они говорят, что любят меня! Тогда зачем они меня мучают, почему заставляют меня переживать этот стыд, вместо того чтобы просто вытащить кошелек и дать мне немного денег?

Нет, я приехала не совсем без гроша. С грошом. Перед отъездом мне официально – и баснословно дешево! рубль тогда умели вздывать на должную высоту – продали за рубли шестьдесят британских фунтов стерлингов. Я чувствовала себя богачкой. Пока не познакомилась с английскими ценами. А особенно когда узнала, что за каждую уборку дома их приходящая прислуга получает шесть фунтов. Так и хотелось сказать им: давайте лучше я буду у вас убирать! Хоть каждый день! И платите мне, а не ей, по шесть фунтов. Она наверняка перебьется до моего отъезда. Зато я смогу свободно покупать себе сигареты (откуда у тебя эта скверная привычка? наверняка от матери! твой отец никогда не курил). Ездить на электричке в центр Лондона (зачем тебе центр? толкотня и шум, а в вагонах грязно, душно и всяческие нежелательные личности). Ходить в кино на самые современные фильмы (хочешь в кино? пожалуйста! выбери кинотеатр в хорошем квартале, с каким-нибудь приличным классическим фильмом, и можем сходить все вместе). Посидеть хоть разок в баре, куда в Англии, оказывается, спокойно заходят женщины без мужчин. И главное, главное – купить себе нормальную здешнюю одежду...

Про одежду, про то, как неправильно, по меркам конца шестидесятых в Лондоне, я была одета – не просто бедно и немодно, а именно неправильно, – я расскажу в другом месте. Даже дети цветов, нечесанные и расхристанные, увешанные бусами, веревочками и амулетами, выглядели здесь правильнее, чем я. А уж обычные молодые девушки и парни – мне даже проходить мимо них было неловко, и это отравляло мне радость лондонских прогулок.

Понемножку денег родичи стали мне давать. Очень понемножку. Правильные джинсы и свитер я себе постепенно купила, но когда заикнулась, что хотела бы кое-что повезти в подарок матери и брату, на меня обратились недоуменно поднятые брови. В подарок матери? Женщине, которая оставила моего отца ради другого мужчины? И брату, который и брат-то мне всего лишь наполовину?

Подняли брови, пожали плечами, но все-таки немножко дали. Наказали, чтоб я не покупала больше в дорогих магазинах – оказывается, джинсы, которые я купила за семь фунтов в центре, можно было купить неподалеку от нас. Правда, не совсем такие, но зато за четыре. Наказали, чтоб искала распродажи – чтоб не очень-то щедро разбрасывалась. Дали понять, что без конца давать не будут, что наличных денег у них мало, основные капиталы лежат в банке, в доверительном фонде, записанном на внуков, и оттуда ежемесячно поступает определенная сумма на жизнь. Я, разумеется, ничего не поняла, но возражать не могла. Раз у них так плохо с наличными, то конечно. Денег я больше не просила, кое-как перебивалась остатками московских стерлингов.

Надежда на наследство потихоньку таяла. Я постепенно начала замечать то, что раньше мне и в голову не приходило. У тети была дочь, моя двоюродная сестра, а у нее муж и трое детей, две девочки и мальчик. Муж и дети приняли меня очень радушно – муж сразу начал слегка увиваться, а дети с восторгом обучали меня английскому языку. Особенно им нравилось изводить меня всякими невозможными для произношения словами. Скажут, например, *cathedral* и велют повторить. Казалось бы, обыкновенное слово, кафедрал, а поди-ка произнеси его по-английски! С проклятым этим ихним *th*! Да тут язык сломаетшь. А его не ломать надо, а высовывать – и показывают мне, как надо высовывать. А я стесняюсь высовывать. Высунуть-то пожалуйста, сколько угодно, но только не в середине слова!

А вот сама двоюродная сестра – такое близкое родство! у меня совсем не было двоюродных – отнеслась ко мне с прохладцей. Очень любезно, очень корректно, все вроде хорошо, но что-то я почувствовала. Сперва подумала, что из-за шутливых ухаживаний ее мужа, и сразу постаралась общаться с ним пореже. Но ничего от этого не изменилось. Она по-прежнему была любезна и мила и обращалась со мной как со случайной и не слишком желанной гостьей. Но почему?

Навязываться ей в сестры я, конечно, не стала, но недоумение мое держалось долго. Пока не случилось раз, что они пришли в гости, сидели в гостиной, а я собиралась туда к ним зайти. И в дверях услышала обрывок их разговора.

– ...славная девушка, по-моему, – говорил муж.

– Да, я заметила, – согласилась жена не без сарказма.

– Что именно?

– А то, что ты совсем не думаешь о детях... О своих собственных, а не о дочери моего давно не существующего дяди!

Дальше я подслушивать не стала, но тут уж большого ума не требовалось. Она боялась за наследство. Она видела во мне соперницу ее детей. Ладно, можно понять. Только чего тут было бояться, когда всё лежит в доверительном фонде, записанном на ее детей, когда вырастут? И взять оттуда, кроме ежедневных расходов, можно до срока только в крайнем случае и с большим трудом? А срок еще очень не скоро, а до тех пор всякое может случиться...

В Израиль, куда родичи меня так активно посылали, куда «через годы, когда и если» легко перевести деньги, я в то время вовсе не собиралась. То есть бродили мысли в голове, но еще очень неясные, и позорной телевизионной пресс-конференции именитых советских евреев еще не было, а она-то и двинула меня с места окончательно. И уж тем более я не собиралась отправляться туда прямо из Лондона, преступной невозвращенкой, оставив на произвол властей мать и брата.

В Израиль я, несколько позже, все-таки уехала – из России, законно, с разрешения властей. Уехала, преодолев немало тяжких препятствий. Но это другая история. Хотя с одним из наследств она все-таки связана.

Эмиграция, законная и с разрешения, стоила много денег. По моим тогдашним средствам, очень много. Надо было платить за визу – выездную! Не за въезд, а за выезд с тебя брали деньги, еще бы, вон какой ценный кадр они отпускали! И за отказ от гражданства – за отказ от не-

го, а не за получение. Замечательная логика: я возвращаю им такую драгоценность, и я же за это должна платить! Я отказываться от гражданства отказалась и бумагу соответственную не подписала. И следующую бумагу, о том, что я отказываюсь отказываться от гражданства, я тоже подписать отказалась. И ничего! Деньги с меня все равно содрали. За один только отказ от отказа рублей, помнится, восемьсот, а заработок мой никогда не превышал сотни в месяц. Ну, и на авиабилет, разумеется, надо, и на отправку багажа. И на обмен денег – сто долларов нам разрешалось, и еще за вывоз книг, изданных до определенного года, и еще не помню уж за что.

Положение было отчаянное. Ни у кого из моих близких таких денег не было. У немногих не боявшихся общения со мной друзей тоже не было, да и нельзя занимать – отдавать-то как? И тут я вспомнила, у кого наверняка есть и отдавать не обязательно, и решила попробовать.

Разыскала завещание и отправилась к нелюбимому дяде.

Я с ходу рассказала ему, зачем пришла и для чего мне нужны деньги. Он сделал вид, что даже не подозревал о моих планах. Если кто забыл или вообще не знал – в те времена общение с такими «отъезжантами», как я, казалось, а частенько и вправду было совсем небезопасным. А дядя мой, как уже говорилось, был трусоват и чрезвычайно осторожен. Тем более член партии.

Он даже как бы не расслышал моей просьбы, суетливо стал угощать меня чаем и развлекать. Дрожащим голосом рассказывал один за другим несмешные анекдоты. Впрочем, один был смешной и потому запомнился. «Художник говорит: я вижу собачка, пишу собачка, вижу кошечка, пишу кошечка, а этот пришел и требует: писи индустриализацию...» С еврейским, так сказать, акцентом.

А ведь он, видимо, не всегда был такой. Я к тому времени уже слышала от знавшего его журналиста, что на войне он был хладнокровен и деловит, что ради животрепещущей корреспонденции готов был лезть в самые опасные места, а вдобавок, оказывается, пользовался большой популярностью среди санитарок и женщин-врачей. Поверить этому было трудно. Неужели наша жизнь так придавила его и обескровила? Теперь передо мной сидел крючконосый пожилой еврейчик, испуганно глядевший на меня близко посаженными маленькими глазами и бормотавший свои анекдоты.

Но не поверила я напрасно. Совершенно неожиданно для меня, он и тут проявил настоящую отвагу, не говоря уже о щедрости. Покончив с анекдотами, он грустно вздохнул и сказал:

– В Израиль... А я тут... А ты вон в Израиль...

– Да.

– И тебе нужны на это деньги...

– Да.

– Что ж, дома у меня таких денег нет. Пошли в сберкаассу.

И мы пошли, и он выдал мне всю требуемую сумму.

Завещание взять обратно он не захотел, храни, сказал, тебе и там деньги будут не лишние.

Я не стала спорить, уверенная, что никакого наследства мне отсюда туда не получить, а когда он в этом сам убедится, то напишет новое за-

вешание и оставит все дочери, как и следует. По-видимому, что-то такое и произошло. При последнем нашем свидании, когда я навестила его в конце восьмидесятых в доме престарелых в Москве, эта тема не упоминалась, он только рассказал мне еще один анекдот, и тоже про художника, и тоже смешной: «Посмотрел на мою картину и говорит: у тебя тут вз-з..., а надо, чтоб было бз-ззз!!!» И сразу, без перехода, пробормотал: как я тебе завидую...

Когда я улетала в Израиль, родственники даже по телефону попрощаться побоялись. Вместе с мамой и братом он единственный из них всех пришел провожать меня в аэропорт. Я до сих пор жалею, что обидела его в детстве своим дурацким стишком.

Это был отнюдь не конец моих наследственных дел.

Как и у любого нового иммигранта, первые мои годы в стране были очень нелегкие. Рассказы лондонской тети об израильских молочных реках, где на кисельных берегах стоят евреи и с нетерпением простирают навстречу мне объятия, оказались несколько преувеличенными, хотя известная доля правды в них была.

Нелегкие это были годы, но и невероятно интересные. Все было ново, непонятно, полно неясных обещаний. Прямо-таки вторая молодость. Да мне и на вид никто не давал больше двадцати пяти, а было мне уже вполне за тридцать. Потом, когда жить стало полегче, это дивное ощущение испарилось и не возвращалось уже никогда и нигде.

В Москве родных со стороны отца, приехавшего из Вены в Россию строить новый мир, у меня не было. Почему-то никто из его близких не соблазнился его идеями и не последовал его примеру. (А жаль, остались бы живы. Может быть.) Короче, я считала, что есть у меня только тетя Франци в Лондоне, а в Израиле троюродный дядя по имени Юлек, с которым я не была знакома (впоследствии он оказался самым небогатым, самым добрым и родным). Он-то и сказал мне, что в Израиле есть еще родня. Не слишком близкая, совсем немногочисленная, но есть.

Немного обжившись и осмотревшись, я решила с ними познакомиться. Мне очень было любопытно узнать побольше об отце, о его семье и об их образе жизни. От лондонской тети я узнала не много и не совсем то, что хотелось узнать. Идейные убеждения отца меня интересовали мало, к тому же мне казалось, что я и так о них все знаю. Ни о его отношениях с людьми, ни о его привычках и вкусах тетя ничего рассказать не умела. А я не умела спрашивать, да и слишком была взбаламучена первым своим визитом в волшебную страну за границу. И еще мне хотелось узнать хоть что-нибудь про дедушку Зелига-Феликса, о котором вообще почти ничего не знала.

Теперь-то, решила я, я все выпрошу у здешних родичей.

Больше всего мне хотелось познакомиться с самым старым представителем клана, братом моего деда. Он поселился в Палестине еще в начале тридцатых годов, теперь ему было девяносто шесть лет, надо было торопиться. Юлек рассказал мне, что старик, хотя сильно глуховат, но до сих пор сам управляет собственной фабрикой и двумя домами в Тель-Авиве, которые сдает внаем. Ну, значит, не маразматик, обрадовалась я. Звонить не стала, что с глухим по телефону объясняться,

взяла адрес и пошла. Ты там его странностей не пугайся, подготовил меня Юлек. Да, конечно, старый человек, как же без странностей.

И все же к тому, что меня ждало, я готова не была.

На подходе к дому я решила спросить прохожего, тот ли это номер, таблички не разглядела. Впереди как раз шагал какой-то пожилой мужчина – пожилой, судя по медленной походке и сильно втянутой в плечи голове. На нем был заношенный до зелени когда-то черный пиджак и шляпа с обкусанными полями. Я уже привыкла к тому, что израильтяне, особенно тель-авивцы, одеваются модно и чисто, хотя и не всегда со вкусом, и подумала – наверное, нищий. У нищего спрашивать дорогу как-то неловко, тем более что дать я ему ничего не могла, у самой в кармане только на обратный автобус. Я обогнала человека и на ходу взглянула ему в лицо – а может, и не нищий. И все-таки спросила. Он ничего не ответил и даже не посмотрел на меня. А я как раз увидела на доме впереди табличку с нужным номером и быстро туда направилась.

Звонка на двери не было. Я начала стучать как можно сильнее – глухой ведь. Постучала раз, постучала другой – никто не открывал. И движения в квартире никакого не было слышно. На всякий случай стукнула еще раз и повернула к лестнице.

Навстречу мне с кряхтением поднимался тот самый нищий. Он остановился, глянул с враждебной подозрительностью и громко спросил:

– Чего ищешь тут?

– Господина Винера!

– Кого?

– Самсона Винера! – крикнула я.

– Зачем он тебе?

– Я тоже Винер! Юлия Винер!

– Винеров много на свете, – пробормотал он и прошел мимо меня к двери, куда я стучалась.

Было ясно, что это и есть мой двоюродный дедушка.

Я бросилась за ним:

– Но я ваша родственница! Дочь Меира Винера, вашего племянника! А он был сын вашего брата Зелига-Феликса!

Он отпер дверь и остановился в проеме, загородив собой вход:

– Меира Винера давно на свете нет. И Зелига тоже... – сказал он угрюмо и повернулся ко мне спиной, намереваясь уйти.

Я ухватила его за рукав:

– Да, но я есть!

Он вырвал у меня свой рукав и захлопнул дверь. Но тут же приоткрыл снова и спросил поверх цепочки:

– Ну и откуда ты взялась?

– Из Москвы! Недавно приехала!

– Что? Приехала? Зачем приехала?

– Жить сюда приехала!

– Да? И что же ты такое делала в Москве?

– Ничего не делала! Я там родилась и жила!

– А от меня тебе что нужно?

– Ничего мне от вас не нужно! – крикнула я отчаянно.

– Тогда чего пришла?

– Познакомиться пришла! С родственником повидаться!

– Повидаться... – пробурчал он недоуменно. – И зачем мне с ней видаться...

– Да ни зачем! – крикнула я еще громче. – Не хотите – ну и черт с вами.

И пошла к лестнице. Нехорошо, конечно, так говорить со старым человеком, но очень уж он меня разозлил. Старый, так все ему можно?

Но его, видно, как раз моя ругань и успокоила. Он снял цепочку и сказал мне в спину:

– С визитом пришла, значит. Ну, заходи, раз пришла.

Я вернулась, вошла.

– Небось голодная, угощения захочешь. Так учти, угощения у меня нет.

– Не нужно мне никакого угощения.

Голодная я как раз была, я вообще в ту пору часто ходила голодная.

– Проходи в салон, – сказал он и повел меня длинным темным коридором. Квартира была большая, по сторонам коридора я заметила три или четыре двери. Но только в салоне я обнаружила, в каком состоянии была эта квартира. Стены и потолок были коричневого цвета. Не просто потемневшие и грязные, а как будто выкрашенные в мутный серо-коричневый цвет. Местами стены лупились, обнажая более светлые пятна древней покраски, а по углам отставали от стены целые пласты штукатурки. С потолка свешивалась огромная затейливая люстра с множеством хрустальных подвесок, едва видных под толстыми подушечками пыли. Войдя в салон, он эту люстру зажег – окна были плотно зашторены. Из дюжины лампочек горела только одна.

Обстановка в комнате была под стать стенам и потолку. Старая, пыльная и ободранная. Мне особенно запомнилась затертая клеенка в цветочек на обеденном столе – такая клеенка была в моем детстве у нас на кухне.

Он усадил меня на шаткий венский стул, сам сел на диван напротив.

– Ну?

Постепенно мы разговорились. (Говорили мы на дикой смеси иврита, который оба знали плохо, немецкого, который он предпочитал прочим, а я практически забыла, и польского – наши деды-прадеды были из Польши.) О прежней своей жизни он говорить не пожелал, сказал – незачем, все это прошло, испарилось и забылось. Меня тоже расспрашивал мало и без особого интереса. Главным образом, жаловался. Жаловался страстно, громко, и все по-немецки.

Я все же разобрала кое-как: он жаловался на детей и на рабочих своей фабрики. Детей у него было трое, два сына и дочь, совсем уже немолодые. У старшего сына и у дочери были свои семьи, дети и внуки, и все они делали всё не так, все не хотели слушать советов, совсем его не уважали. И только младшенький его, пятидесятилетний, жил с отцом и слушался.

А рабочие... Тут он даже сплюнул. Он им отцом был, отцом родным, а они взяли да вступили в профсоюз. Что он, без профсоюза не обеспечивал им все, что надо? Столько лет обходились, а теперь то и дело грозят забастовкой. То им столовую открой, то душ построй, а то

вообще повысь зарплату! Кто это нынче повышает зарплату, в такое тяжелое время!

Время было, как обычно, тяжелое. Но войны в тот момент не было, и очередной экономический кризис еще таился за горами. Уже хорошо.

Посреди разговора он вдруг пристально в меня всмотрелся поверх очков и сказал:

– А знаешь, кого ты мне напоминаешь? Был у меня когда-то племянник, Меирке. Я его любил. Умнейший был парень! И франт, дамский угодник. Только блажной был, работать у своего отца не хотел. Все учился по университетам, а потом вдруг взял и умотал зачем-то к большевикам. Там и пропал, – старик вздохнул. – Вот на кого ты похожа! Надо же! Просто на удивление. Ты его там у вас случайно не встречала? Меир, и тоже Винер.

– Дядя Самсон, но это же мой отец! Я его дочь!

– Как это дочь?

– Господи, ну как бывают дочери!

– Ты? Ты дочка Меирке?

– Да.

– Что ж ты сразу не сказала!

– Я сказала... я сразу сказала...

Но старик уже не слушал. Подхватился и потрусил куда-то, бормоча про себя: «Дочка Меирке... приехала от большевиков... голодная...»

Я ждала довольно долго. Наконец забеспокоилась и пошла его искать. Вдруг ему стало плохо, упал и лежит где-нибудь?

Я нашла его на кухне. Он вовсе не лежал, а стоял с ложкой в руке перед примусом и что-то готовил в помятой кастрюльке. На примусе.

Потом мы ели что он приготовил – овсяную кашу с морковью, заправленную оливковым маслом, но без соли. О вкусе этой пищи говорить не буду, легко себе представить. Но я ела, и не только из приличия.

После обеда он, поглядывая на меня с хитрым видом, подошел к книжному шкафу. Открыл его, пошарил за книгами и жестом фокусника выхватил оттуда большую конфетную коробку.

– Ну вот, – сказала я со смехом, – а вы говорили, нет угощения. Прекрасное угощение!

– Да, – подтвердил он, – это очень дорогие конфеты. Учти, я их далеко не каждому даю.

– А мне дадите?

– А дочке Меирке дам.

И он торжественно открыл коробку.

Как долго эти конфеты лежали у него, не знаю. Судя по тому, что половины уже не было, а оставшиеся покрылись нежно-зеленоватым налетом, очень долго. Он ведь их не каждому давал. А мне дал целых две. И я была польщена. И съела. Зелененькая плесень для здоровья не опасна, а что до вкуса, то после овсянки с морковкой мне ничто не было страшно.

О том, что дядя Самсон угощал меня кашей и даже дал две конфеты, стало известно его дочери и старшему сыну. Рассказал им простодушный младший сын, тот, что жил с отцом, работал на почте и

считался в семье слегка тронутым. Я с ним впоследствии подружилась, он тайком от остальных встречался со мной, и мы гуляли с ним по набережной.

А тайком потому, что второй мой визит к дяде Самсону оказался и последним.

В этот раз каша была пшенная, но тоже с морковью, а конфетка мне досталась только одна. Оставим на следующие разы, сказал он с довольной улыбкой. Чаще будешь приходить, сказал он, чаще будешь и получать.

– А вы хотите, чтоб я чаще приходила? – спросила я, не забыв первый его прием.

– А чего? Конечно, хочу. Ты веселая. С тобой не скучно. Меиркина дочка!

Веселой я не была, просто молодая, особенно по сравнению с ним. Возможно, ему, в его старческой скуке, любое молодое лицо казалось веселым. Но я вцепилась в последние его слова:

– А он был веселый? Меирке, мой папа, он был веселый? Какой он был?

– Какой был, такой и был. А теперь его нет, и говорить нечего.

Но я не могла упустить удобный случай:

– А ваш брат Зелиг? Мой дедушка? Я про него совсем ничего не знаю!

Лицо старика немедленно замкнулось:

– До сих пор жила, не знала – ну и дальше так проживешь.

Ясно было, что приставать не имеет смысла.

За чаем он стал разговорчивее. От рассказов о прошлом по-прежнему уклонялся, но зато расспрашивал, как мне живется, как устроилась, не тяжело ли.

– У тебя, наверно, ничего тут нет, – сказал. – Или привезла с собой все, что нужно?

Жаловаться не хотелось, жилось мне хоть нелегко, но очень увлекательно, и я ответила беззаботно:

– Самое нужное привезла – книжки и пишущую машинку. А остальное? Подзаработаю денег и постепенно куплю.

– Хм! Самое нужное. – Он вдруг оживился: – А постельное белье у тебя есть?

– Две простыни есть, а подушку хозяйка квартиры дала.

– Две простыни у нее! Идем-ка со мной!

И он повел меня в соседнюю комнату, тоже коричневую и запущенную, но со следами обитания. Тут, видно, была его спальня. Он подошел к гигантскому четырехстворчатому шкафу, старинному, с резными завитушками. Во всех дверцах торчали головки ключей, словно сотканые из металлических кружев.

Открыл одну дверцу. Многочисленные полки были снизу доверху плотно забиты белым. Он напрягся и с трудом вытащил толстую стопу, положил мне на руки, с другой полки тоже вытащил стопу:

– Это простыни, а это пододеяльники. А вот это, – он открыл другую дверцу и вытянул оттуда завязанный в огромную наволочку мешок, – сделаешь себе подушку. Такого пуха сейчас нигде не найдешь.

Гагачий! Сходишь к религиозным, они тебе набьют подушку, а может, и две.

Я стояла с тяжелой горой вещей на вытянутых руках, а он говорил:

– Это белье вышивала твоя прабабка... или она тебе пра-пра... короче, очень давно. Не беспокойся, оно совершенно новое.

Тут он заметил, видно, что мне тяжело стоять, и повел меня обратно в гостиную.

Заворачивая белье в старые газеты и обвязывая тяжелый тюк разными веревочками, он приговаривал оживленно:

– Вот так! Хоть это им не достанется! Не заслужили!

А я думала, как я поташу эту тяжесть обратно в Иерусалим.

Он присел на диван и некоторое время отдувался, глядя на меня и что-то соображая.

– Да, да, об этом стоит подумать, – забормотал он. – Я еще подумаю. Я еще хорошо подумаю. Ты как считаешь?

Я не знала, о чем он меня спрашивает, и промолчала.

– Да, да, не заслужили! Они и так богатенькие. А у вас у обоих ни гроша. Вот возьму да оставлю все вам двоим, малому (он так и сказал «der Kleiner», малыш) и тебе, Меиркиной дочке. А?

Опять в воздухе повеяло наследством!

– Как тебе это понравится, а? Да кому же не понравится! Но я еще подумаю, хорошо подумаю. Да?

– Да, дядя Самсон, конечно.

– И вообще, что ты меня дядей зовешь? Я же тебе дедушка, так и зови!

Но я не очень-то взволновалась. Не стала отговаривать его даже для приличия, уверена была, что ничего мне все равно не достанется.

Так и произошло.

Приехав в очередной раз в Тель-Авив, я позвонила его дочери, чтобы предупредить, что иду к дедушке Самсону. Она такое условие поставила с самого начала – предупреждать ее или старшего брата. Со старшим братом, важным чиновником из компании по водоснабжению, у меня вообще никакого контакта не получилось, слишком уж он испугался, что свежая иммигрантка попросит помощи. С тетей Мирьям тоже трудно сказать, что был контакт, но все же пару раз она приглашала меня в гости.

– Ходить к отцу не нужно, – сказала она мне. – Он неважно себя чувствует.

Мне стало не по себе. Он такой старый, и вот, неважно себя чувствует. Если сегодня не пойду, может случиться, что вообще больше его не увижу. Родной брат моего дедушки!

– Нет, я все-таки пойду. На минутку загляну. Может, помогу что-нибудь...

– Ходить не нужно, – стальным голосом повторила тетя Мирьям. – И помощь твоя ему не требуется.

– Но он меня очень приглашал! Я не помешаю, может быть, ему будет приятно!

– Ты, видимо, не хочешь понять, что я тебе говорю. Нельзя. Ясно?

- Да как-то не очень.
- Тогда еще раз: нель-зя!
- А когда будет можно?
- Я тебя извещу.

«Можно» так и не наступило. Дедушка Самсон прожил еще почти полгода, но меня не известили даже о его смерти, я узнала о ней позже от младшего сына.

Было грустно, что я так и не попрощалась с ним, даже в могилу не проводила. А он любил моего отца. И просил звать его дедушкой... При всех его диких повадках, было чувство, что я потеряла кого-то близкого.

Единственный, с кем я могла поделиться своей грустью, был Юлек, тель-авивский троюродный дядя. Юлек моего отца лично не знал, но принял меня теплее всех. С самого начала выделил мне маленькое ежемесячное пособие, сказал – на сигареты и на транспорт. Когда, годы спустя, я хотела ему эти деньги вернуть, он не взял. Отдай их, сказал, кому-нибудь из вновь приехавших, желательно курящему. А что и еще важнее, в первый же мой визит к ним жена Юлека Нюся повела меня в маленькую комнатку и сказала: пока не устроишься, эта комната в любое время – твоя.

Так вот, когда я пожаловалась Юлеку, как мне грустно и обидно, он сказал:

– Ты меня прости, но я должен тебе кое-что рассказать. Мне кажется, тебе следует это знать. Может быть, тогда смерть Самсона будет для тебя менее огорчительна.

– Что-то плохое?

– Да уж, хорошего мало.

– Это насчет наследства, да? Что они из-за этого меня к нему не пускали? Я знаю. Да ерунда это, они просто дураки. У них вообще один нормальный человек в семье, младший, которого они «трону-тым» зовут.

– Они поступили постыдно. И разумеется, из-за наследства. И все они не дураки, а такие вот... я с ними очень мало общаюсь. Но я о другом. Самсона больше нет, и ты должна это услышать, хотя радости это тебе не принесет.

Юлек задумался, глядел на меня, и видно было, что он колеблется. Потом кивнул, проговорил:

– Нет, надо.

И рассказал:

– Ты знаешь, что Самсон был человек очень состоятельный. Он и сюда приехал уже с деньгами, а здесь сумел по-настоящему разбогатеть. Тогда это редко кому здесь удавалось.

Твой дедушка Зелиг в Вене был, пожалуй, даже побогаче, но после аншлюса потерял практически все. Бабушка твоя к тому времени уже умерла, дочь Франци вовремя уехала в Лондон и уговорила старшую сестру Эрну последовать за ней, твой отец был в России, а Зелиг оставался в Вене с двумя младшими сыновьями. И он написал брату, то есть Самсону, в Палестину, и попросил денег. Много. Он

нашел немецкого чиновника, который за хорошие деньги обещал устроить ему с детьми визу в Аргентину. Но денег у Зелига не было. И он просил брата как можно скорее прислать ему эти деньги, спасти его и сыновей.

А Самсон как раз занимался расширением своей фабрики. Закупал новое оборудование. И написал брату, что в настоящий момент никак не может, но со временем, когда появятся свободные деньги... Зелиг прислал телеграмму, умолял униженно, заклинал всем святым... На это Самсон ответил, что ты, мол, сам деловой человек и знаешь, как оно иной раз бывает – ну никак нет свободных денег, ты уж прости.

Сыновей Зелига схватили прямо на улице, а сам он после этого ухитрился добраться до Голландии, и там уж взяли и его. Никто из них, понятное дело, обратно не вернулся, так же, как и прочие их (и мои! и мои!) венские, польские и голландские родственники.

Я сидела как оглушенная. Человек, который хотел, чтобы я называла его дедушкой, практически отдал в руки нацистов моего родного деда. Мог спасти и не спас. Пожалел денег. Для брата.

И вот теперь, искупая вину, не пожалел для его внучки зеленой конфетки. Да, и еще простынь с пододеяльниками! Я с отвращением подумала об этих простынях с пододеяльниками и решила, как только вернусь в Иерусалим, выбросить их на помойку.

Впрочем, что же это я его так. Он ведь и впрямь сделал, как собирался, вставил меня в свое завещание! В своем старом завещании, отпечатанном на машинке лет двадцать назад, сделал приписку от руки, в которой велел детям отдать мне какую-то сумму. Они эту приписку оспорили, доказывая в суде, что завещатель был уже невменяем, когда ее делал. Суд, однако, их аргументов не принял. Однажды мне позвонил адвокат и предложил явиться, чтобы подписать какие-то бумаги и сообщить номер моего банковского счета. Я к адвокату не пошла, отвращение пересилило даже желание получить деньги.

Мешок с пухом я выбросила сразу – он сильно вонял. А простыни с пододеяльниками все же не выбросила. Вспомнила, что над ними трудилась моя пра-пра... И потрудились на славу. Там были и прошвы, и мережки, по углам простынь раскинулись букеты, вышитые белой шелковой гладью. И все белье внутри стопки было белоснежное, только верхний слой сильно пожелтел от времени, да все складки закаменели. И действительно новое. В том смысле, что никто никогда на нем не спал. Это оно само проспало без употребления многие десятки лет в шкафу моего недоброй памяти родственника. А у меня проснулось и служит мне до сих пор.

Про людей не скажу, а вещи вообще относятся ко мне неплохо. Служат верно и долго. Иногда даже слишком долго. Давно вроде бы пора выбросить и заменить на новую модель, а вещь все служит и служит, как ее выбросишь!

Вот и холодильник, купленный мною в первую пору моей жизни в Израиле, прослужил невероятно долго – двадцать три года! И когда

пришло его время, не мучился в починках и ремонтах, а просто полностью отказал, сразу и бесповоротно.

Упоминаю его, потому что он тоже наследство, вернее, та часть его, которая мне досталась. Считаю и его, и тот, что его сменил, подарком от моего отца. Мне приятно так думать.

Тетя Франци приехала из Лондона по своим каким-то делам, а заодно посмотреть, как я приживаюсь в радужном государстве Израиль. Я к тому времени получила социальное жилье, но оно было совсем еще пустое, кровать, да письменный столик с пишущей машинкой, да книги на полу вдоль стен. Франци одобрила мою квартиру, но заметила, что первым делом для жизни в ней необходима не пишущая машинка, а газовая плита и холодильник. Я объяснила, что машинку привезла с собой и что именно с ее помощью надеюсь заработать и на холодильник. А плита у меня уже была куплена, но еще не привезена.

– Ну, вот что, – сказала тетя Франци и слегка покраснела под густой пудрой. – Я ведь тебе говорила, что твой отец... кое-что мне оставил, когда уезжал в Россию, – она открыла сумочку и вынула несколько бумажек. Не помню точно сколько, но близко к стоимости холодильника. – Вот, возьми, это поможет тебе быстрее обставиться. Считаю, что это тебе от нас обоих, от твоего папы и от меня, на новоселье.

Я взяла и поблагодарила, хотя боюсь, что недостаточно горячо. И обеим нам стало почему-то неловко. Тетя Франци заторопилась и попросила меня вызвать ей такси. Но у меня еще не было телефона.

Я сильно горевала, когда тетя Франци умерла. Я помнила первое мое пребывание в Лондоне, которым обязана ей. Несмотря на множество недоразумений и взаимных недопониманий, я чувствовала исходящее от нее тепло. Без нее Лондон для меня опустел.

Никакой обиды я на нее не держала. Наоборот, мне даже немного жалко ее было, когда она, краснея, давала мне деньги. Она искренне хотела поделиться со мной достоянием моего отца, но положение ее было крайне неудобное, между ее дочерью и мной. А дочери она явно побаивалась.

Эта же дочь и сообщила мне о смерти и матери, и отца. И радушно прибавила:

– Будешь в Лондоне – заходи. Дети о тебе спрашивают. Кроме того, после родителей осталось много книг. Может, захочешь себе что-нибудь выбрать.

В Лондоне я бывала с тех пор много раз. Но книжек выбирать не стала – все они были по-немецки.

Одно наследство я все-таки получила. От троюродного Юлека. Очень небольшое, но зато без всяких обещаний и предупреждений. Просто умер и оставил мне часть своих небогатых сбережений.

И хотя деньги, разумеется, оченьгодились, я точно знаю, что предпочла бы, чтобы Юлек и жена его Нюся были сейчас живы и сами эти деньги тратили.

Михаил Агурский
*ПРИ РАССКАЗА**

ДУХОПИСЬ

Историки духописи по праву считают моментом её рождения день, когда мало кому известный Поль Сиба выставил в салоне независимых «Шануа» хрустальную вазу с жидкостью, обладавшей привлекательным запахом весенних полевых цветов. Как это нередко бывает, работа Сиба, имевшая, впрочем, название «Букет из Обиньи-сюр-Нэр», была встречена критикой холодным молчанием. Но те, кто легкомысленно расценил работу Сиба как экстравагантную выходку, несомненно, ошибались.

«Вот уже шесть тысяч лет искусство с упорством, достойным лучшего применения, занимается нелепым самоограничением, включив в сферу своего действия лишь два человеческих чувства: зрение и слух», — обосновывал свои эстетические принципы Сиба.

«Но ныне вполне очевидно, что, сосредоточившись лишь на них, искусство уже исчерпало свои возможности. Несомненно, надо искать новые средства эмоционального восприятия».

Через год в салоне «Шануа» было экспонировано уже одиннадцать произведений нового направления в искусстве. Сам Сиба представил две работы: «Ривьера» и «После грозы». Особо следует отметить последнее произведение, полное свежести оживающей природы, благоухания трав и бодрящего аромата воздуха.

На сей раз эти, а также другие подобные произведения были в центре внимания. Новое направление получило название «духопись».

Впоследствии Сиба не раз возражал против такого термина. Во-первых, стремление походить на изделия парфюмерной промышленности было чуждо новому искусству; во-вторых, созвучие со словом «живопись» не отвечало самой сути жанра. Однако возражения уже были бесполезны. Газеты и журналы пестрили заголовками: «Эстетическая ценность духописи», «Выдающийся духописец» и т. д.

Через три года после того, как Сиба впервые выступил в салоне «Шануа», насчитывалось по крайней мере 60-70 духописцев в разных странах.

Следует особо выделить Збигнева Лещинского и Кнута Иогансена.

Вскоре, однако, духопись начала претерпевать изменения. Группа духописцев во главе с Игнацио де Тома устроила в салоне «Монтелимар», враждебном салону «Шануа», отдельную выставку, основав тем самым течение дивизионистов.

В манифесте группы говорилось:

«Мы выступаем против затхлой рутины и косности “ароматизма”». (Под “ароматизмом” имелось в виду направление Поля Сиба.)

* Публикация Семёна Гринберга.

Дивизионист стремится к полной гармонии путем разделения аромата на его составляющие. Разделять – это значит обеспечить преимущество силы аромата и гармонии посредством:

1. Ароматической смеси запахов исключительно чистых.
2. Отделения разных элементов (запах локальный, запах на фоне основного аромата, взаимодействие запахов и т. д.).
3. Равновесия элементов и их пропорций (по законам контраста, ослабления и усиления).
4. Посредством выбора силы элементарного запаха, пропорционального размеру помещения.

Метод, изложенный в этих четырех параграфах, управляет запахом дивизионистов, многие из которых сверх того применяют законы более таинственные, подчиняющие себе запахи и устанавливающие гармонию и красоту порядка».

Практически метод дивизионизма выглядел следующим образом.

Работа выставлялась не в отдельной вазе, а в группе фужеров, каждый из которых, будучи наполнен соответствующей жидкостью, источал элементарный запах.

Дивизионизм долгое время не признавался официальной критикой. Многие из дивизионистов, продавая свои произведения за бесценок, умерли в неизвестности.

Особенно трагически сложилась судьба Рене Пио, чьи произведения спустя какое-нибудь десятилетие ценились весьма высоко. Лишь за два года до смерти, когда Пио был прикован к постели неизлечимой болезнью, началось его признание. Его работы были приняты в лучшие музеи мира. Во все, кроме Лувра, ибо в Лувр запрещено принимать работы художника до истечения трех лет со дня его смерти. (Слово «художник» здесь рассматривается широко, как понятие, включающее деятелей всех видов искусства.)

Дивизионизм процветал более восьми лет, когда на смену ему пришло новое течение духописи.

Основатель гиперароматизма Фон-Низер писал: «Почему я должен рабски копировать природу? Разве, основываясь на данных современной науки и на своем эмоциональном восприятии, я не могу создавать собственное мироощущение, выражая его средствами моего искусства?»

Программной работой Фон-Низера был «Ночной Мулен Руж». Он добился в этом произведении особой остроты запаха и выразительности путём добавления ничтожного количества этилизотиоцианата (этилового горчичного масла). Выставлялся Фон-Низер, как и ароматисты, в вазах: он был противником дивизионизма.

Фон-Низер подчинил своему влиянию духопись почти на 12 лет. Среди других гиперароматистов следует отметить Уильяма Брэдли («Обречённые», «Персидский ковер» и др.) и Шарля Вуйяра («Аристид Бриан», «Пуанкаре» и др.).

Когда гиперароматизм утратил свое первоначальное значение, ему на смену выступил неoarоматизм. Сущность этого течения в духописи заключалась в возвращении к ароматизму Поля Сиба, правда, с некоторыми оговорками.

Выдающимся духописцем-неoarоматистом был Эжен Лялив («Письмо из Африки» и др.).

Неoarоматисты также выставлялись в вазах.

Однако уже тогда обнаружились проявления в духописи наиболее крайних тенденций, впоследствии оформившихся в так называемый контрароматизм.

«...Пусть мещане нюхают беспрепятственно свою ароматную водицу, которую услужливо поставляют им господа Тома и Лялив. Задача истинного духописца показать человеку мир его жизни – мир страданий и скорби, извлечь на дневной свет тайники человеческого сознания», – писал Седжвик Ньюмен.

На очередной выставке духописцев Ньюмен выступил с работой из хлорной извести, аммиака, сероводорода, нашатырного спирта, фосфорного ангидрида, разлитых в отдельные восемь фужеров.

Это произведение, носившее название «Фундамент», вызвало подлинную бурю. Многие встали на защиту автора, объявив «Фундамент» подлинным откровением. Другие обрушились на Ньюмена с раздраженными нападками.

У Ньюмена, как в прошлом у Сиба, де Тома, Лялива, было много последователей. Вскоре даже такие отталкивающие запахи, как запах сероводорода, стали банальными и расценивались как проявление бездарности.

Катастрофа наступила через два года.

Духописец-контрароматист Жюль Мютуа выставил на очередной выставке 3 фужера, в которые, как полагают, сознательно был введен фосфористый водород, пахнущий обычно гнилой рыбой и сильно ядовитый.

Присутствовавшие на вернисаже, уже выходя из помещения, почувствовали себя несколько неуверенно. Ощущалось подергивание в конечностях, наблюдалось расширение зрачков. Через несколько дней 346 человек, посетивших вернисаж, скончались в мучениях.

При патологоанатомическом вскрытии было констатировано полнокровие и кровоизлияние в мозг, в дыхательных путях, легких, печени, жировое перерождение внутренних органов, то есть все признаки отравления фосфористым водородом.

В день похорон разъяренная толпа забросала камнями мастерские контрароматистов. Были убиты Ньюмен, Мютуа и девять других крупных духописцев. Ненависть перекинулась на всю духопись.

Слово «духописец» стало бранным. Парламент после бурных дебатов специальным декретом запретил занятие духописью как, опасное для благополучия и жизни населения. Под страхом крупного штрафа и тюремного заключения от двух до трех лет.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ

История человечества – свидетельница возвышения и падения многих народов. Едва ли есть страна, которая в какой-либо исторический период не была бы вершительницей судеб окружающего мира. Взглянув на карту Европы, можно вспомнить, что Португалия, например, сыграла выдающуюся роль, способствовав открытию многих стран Африки, Азии и Америки. Испания в течение нескольких столетий диктовала свою волю многим народам Европы и участвовала в великих географических открытиях. Роль Франции

и Италии в истории Европы и мира хорошо известна. Можно вспомнить и Ирландию, которая в VIII–IX веках распространяла просвещение в Европе, дав ряд выдающихся философов, например, Дунса Скота. Небольшая Венгрия в течение сотен лет навредила ужас, производя опустошительные набеги на соседние страны, Швеция почти полтора столетия господствовала в Северной, Центральной и Восточной Европе и пыталась, правда, безуспешно, завоевать Россию.

И в Азии почти все страны в свое время приобретали величие и со временем теряли его. Достаточно назвать Монголию, Персию, Турцию, Армению, Грузию, Аравию, Японию и современный Китай.

Причины возвышения и падения стран и народов подчас недоступны человеческому пониманию и всегда являлись предметом всевозможных догадок. И в наше время есть страны и народы, не сказавшие пока своего слова. Однако общий характер всемирного развития убедительно свидетельствует, что рано или поздно они выскажутся и оставят в истории свой, разумеется, яркий след.

Для тех, кто усомнится в этом, на наш взгляд, неопровержимом утверждении, укажем на пример недавнего необычайного возвышения Гренландии (ныне Нунатаки).

Гренландия (Нунатака) первоначально была открыта норманнами-исландцами в конце X века. В 982 или 983 г. некто Эрик Рыжий, изгнанный из Исландии за убийство, бежал в Гренландию и провёл три года на ее западном берегу. Вернувшись в Исландию, он распустил слух, будто нашёл страну, богатую растительностью, и стал завлекать туда колонистов. Год спустя в Гренландию отправилось 25 судов, из которых до цели добралась только половина. Тем не менее гренландская колония была основана, правда, вскоре разделилась на восточную и западную, между которыми осталась пустынная, незаселенная часть берега. Сношения между Гренландией и Европой продолжались до начала XV века. Полагают, что к этому времени колонисты либо вымерли, либо были перебиты туземцами-эскимосами. Но возможно, они смешались с аборигенами, в пользу чего говорит то обстоятельство, что датчане во время новой колонизации Гренландии встречали среди эскимосов особей с признаками европейского типа.

Действительное открытие Гренландии английскими моряками Фробишером, Дэвисом, Гудсоном и Баффином последовало не ранее конца XVI – начала XVII века. По их следам направились позже и датчане, основавшие в 1721 году после многих неудачных попыток колонию Годхоб. К концу XIX – началу XX века Гренландия стала частью Дании. К тому времени, по переписи 1888 года, там проживал 10221 человек, из них 300 датчан. Они занимали полосу берега шириной от несколько десятков до более чем 150 километров, в то время как остальная поверхность Гренландии была покрыта сплошной ледяной корой.

Невероятный технический прогресс XX века видоизменил облик заброшенной страны. Пароходные рейсы и реактивные авиалинии связали Гренландию с Англией, Исландией, Канадой и Данией. Отстраивались города, развивалась промышленность. Численность населения возрастала и к 60-м годам XX века достигла (по переписи 1959 года) 99865 человек. Причём многие гренландцы

получали высшее образование в Оксфорде, Копенгагене, Бостоне, Монреале.

Под влиянием охватившего весь мир стремления к независимости в Гренландии тоже зародилось националистическое движение, ставившее себе целью отделение от Дании. Это движение, присвоившее себе имя «Нунатака», то есть «скала» по-эскимосски, постепенно собрало вокруг себя все коренное население. Возникли кровавые столкновения между гренландцами датского и эскимосского происхождения. К 1981 году упорная борьба закончилась победой эскимосов. Датское правительство признало независимость Гренландии и эвакуировало датских гренландцев. Новая страна вступила в Организацию Объединенных Наций под именем Нунатака.

Народ Нунатаки сознавал свое кровное родство с коренным населением Канады и Соединенных Штатов, и потому вскоре образовалось новое международное движение – панэскимосизм. Если в 60-х годах XX века Канаду волновала распря только между лицами английского и французского происхождения и никому в голову еще не приходило обсуждать чаяния эскимосов, то в 80-х годах положение резко изменилось. В 1983 году глава правительства и вождь Нунатаки Христоф Аулатлевик направил ноту правительству Канады, в которой категорически потребовал возвращения Нунатаке Баффиновой земли. Положение стало напряженным, однако силы Канады и Нунатаки были слишком неравны. Канадская армия, многочисленная и отлично вооруженная, могла бы легко завладеть всей Нунатакой, чему мешало лишь мировое общественное мнение.

Никто не мог предполагать тогда неожиданного поворота событий, вызванного замечательными изобретениями нунатакского инженера, выпускника Массачусетского технологического института Фредерика Уманака. Первым из этих изобретений было, как известно, создание конхоидального ружья, вызвавшее полный переворот в военном деле. Ось ствола, согласно этому изобретению, имела вид кривой, именуемой в математике конхоидой, или улиткой Паскаля.¹ Конхоидальное ружье давало возможность пехоте вести огонь по противнику с помощью перископических прицелов, не высываясь из глубоких окопов. Таким образом, потери живой силы были практически исключены. Идея изобретения была заимствована Фредериком Уманакой из широко распространенного среди народов разных стран фольклорного образа так называемого кривого ружья. Как и многие другие сказочные образы, в результате технического прогресса кривое ружье воплотилось в реальность в виде конхоидального ружья Уманаки. Это выдающееся изобретение убедительно показало, что технический прогресс перестал быть исключительным достоянием нескольких высокоразвитых стран – США, Англии, Японии и Советского Союза.

Появление конхоидального ружья сразу изменило соотношение сил между Нунатакой и Канадой. 24 июля 1984 года армия Нунатаки

¹ Общеизвестное уравнение конхоиды в декартовых координатах представляет собой $(x^2 + y^2 - ax)^2 = b^2(x^2 + y^2)$. Как полагают, в качестве рабочей части кривой конхоидального ружья выбран участок с координатами от $x = -0,5$; $y = 0$; до $x = 0$; $y = +5$.

вторглась на территорию Канады. Скоростные землеройные машины быстро проделывали ходы к неприятельским позициям, а нунатакские солдаты, вооруженные конхоидальным оружием, молниеносно продвигались к позициям врага. Канадская армия бежала в панике, в то время как коренное эскимосское население с ликованием встречало долгожданных освободителей и толпами вступало в ряды нунатакской армии.

Проведя победоносную кампанию за 18 дней и потеряв всего семь человек убитыми, в том числе одного унтер-офицера, именем которого назван бывший Гудзонов залив, нунатакская армия заняла Монреаль, Квебек, Оттаву, Ванкувер, Виннипег. Десятки и сотни тысяч беженцев устремились на юг в Соединенные Штаты. Армия США была приведена в боевую готовность, хотя в Вашингтоне были уверены, что нунатакская армия не посмеет развязать военные действия против США, зная о ее гигантской ракетно-ядерной мощи.

Тем временем специалисты по вооружению в наиболее развитых странах мира пытались раскрыть секрет конхоидального оружия. Удалось установить, что ствол ружья Фредерика Уманаки обрабатывался вначале обычным способом, а затем выгибался по конхоиде на трубогибочном станке с программным управлением. Однако дальнейшие опыты зашли в тупик. Ружья, изготовленные таким образом, при испытании разрывались на части. Повидимому, Уманака открыл поправочный коэффициент к конхоиде, который улучшал её баллистические свойства. Все эксперименты крупнейших специалистов по оружию, в числе которых были такие светила, как Джонатан Кароз и Ганс Юрген Крайкебом, окончились безрезультатно.

16 апреля 1985 года нунатакские войска неожиданно пересекли границу США в районе Великих Озер. После краткого совещания в Белом Доме президент решил нанести ответный атомный удар. «Я отдаю себе полный отчёт, что этот шаг может вызвать нежелательную реакцию во всем мире, но речь идет о судьбах нашего народа», – заявил президент, выступая по радио и телевидению.

Около ракетной установки с атомной боеголовкой собрались военные. Ожидалась последняя команда. Внезапно вой летящего снаряда прорезал воздух. Раздался взрыв, к счастью, никого не задевший. И тут произошло нечто удивительное. Все попрятавшиеся было люди непреодолимым образом начали устремляться к центру взрыва, увлекаемые какой-то таинственной могучей силой. Одновременно к центру взрыва были увлечены металлические части ракетной установки. После чего и люди, и металлические предметы вместе с неким черным ядром, оставшимся от разорвавшегося снаряда, поднялись в воздух и исчезли с поразительной быстротой. На месте остался лишь специальный представитель президента, почему-то не захваченный странной притягивающей силой. Ракетная установка была приведена в негодность.

А в это время нунатакские войска приближались к Чикаго. Страну охватила паника. Президент отдал приказ повторить атомный выстрел, и снова прилетевший таинственный снаряд своим сохранившимся ядром увлек за собой всех военных и уничтожил ракетную установку.

Моральное сопротивление Соединенных Штатов было подавлено. Небольшая нунатакская армия занимала один за другим северные города страны. В местах, где отдельные отряды американской армии пытались обороняться, они сокрушались нунатакцами, вооруженными конхоидальными ружьями, и обращались в бегство.

Таинственное нунатакское оружие, поразившее обе ракетные установки и фактически сломившее сопротивление США, было вторым замечательным изобретением Фредерика Уманаки.

Известно, что в Нунатаке запасы железной руды весьма ограничены. Поэтому еще перед началом первой конхоидальной кампании против Канады вождь Нунатаки, знаменитый Христоф Аулатлевик, поставил перед учеными страны задачу всемерной экономии стали. И упорному Фредерику Уманеке удалось выполнить эту задачу, создав огнестрельное оружие, действующее по принципу бумеранга.²

Уманака поместил в метательный снаряд мощный электрический аккумулятор, который заряжался в полете вращающимся пропеллером. Всё электрооборудование было заключено в высокопрочную оболочку. Полагают, что материал оболочки был получен Уманакой добавлением в титановый сплав одного из редкоземельных элементов, по-видимому, иттрия.

По замыслу изобретателя, электромагнитный бумеранг предназначался, помимо поражения живой силы врага, для собирания своих же собственных осколков, разбросанных на поле боя.

При взрыве энергия, накопленная в аккумуляторе, передавалась электромагниту, который притягивал любые ферромагнитные предметы. Первое же испытание показало, что к ядру бумеранга притягивались и осколки, попавшие в людей, и вообще всё железное. Мощные электромагнитные бумеранги притягивали человека, если, например, на его поясе была железная пряжка. Ядро с электрооборудованием при разрыве снаряда оставалось невредимым и в силу особенностей бумеранга возвращалось обратно.

Первое же боевое крещение электромагнитного бумеранга, поразившего ракетную установку США, показало его блестящие качества. Весь расчет ракетной установки был взят в плен. Единственный штатский, не притянутый к бумерангу, не имел на себе ремня с металлической пряжкой.

Электромагнитный бумеранг Уманаки тотчас возбудил всеобщее негодование. Его стали называть кровавым, так как при обратном полете он оставлял за собой следы крови от ран, нанесенных притянутым к нему людям.

Нельзя, конечно, признать эти нападки справедливыми. *À la guerre comme à la guerre*. Жители США, чье правительство намеревалось дважды, хотя и безуспешно, произвести атомные выстрелы по нунатакцам, лицемерно сокрушались по поводу электромагнитного бумеранга. Следует заметить, что нунатакцы после возвращения бумерангов и, разумеется, разрядки аккумуляторов быстро оказывали врачебную помощь военнопленным.

² Бумеранг – древнее национальное оружие австралийских туземцев. После бросания и попадания в цель оно возвращается обратно к метателю.

Вскоре американское командование изъяло из снаряжения солдат ферромагнитные предметы, так что количество жертв резко снизилось. Кроме того, сами солдаты при виде бумеранга быстро освобождались от всяческого железа и таким образом спасались.

Позже нунатакцам удалось с помощью электромагнитного бумеранга захватить в плен даже государственного секретаря США Уильяма Роджерса. Прямо в автомобиле с шофером и охраной он был доставлен в ставку командования нунатакской армии, откуда и был произведен пленивший госсекретаря запуск бумеранга.

Нунатака стала успешно применять холостые электромагнитные бумеранги в целях экспроприации ферромагнитных предметов. Начался систематический обстрел рудников, металлургических комбинатов, машиностроительных заводов. Огромное количество железной руды, слитков металла и дорогостоящего оборудования переправлялось электромагнитными бумерангами на занятую нунатакцами территорию. Американцы пытались использовать против бумерангов ракеты «земля – воздух», но безуспешно, ибо сильное магнитное поле сбивало их с курса.

Между тем нунатакская армия продолжала наступление. Бои шли уже в районе Питтсбурга и Филадельфии. Американцы отчаянно сопротивлялись, но не могли ничего противопоставить конхоидальному оружию и электромагнитным бумерангам.

В это время произошло событие, вызвавшее перелом в ходе войны. На полигоне возле Скорсбисунна (Восточная Нунатака) проходили испытания нового сверхмощного электромагнитного бумеранга, который должен был экспроприировать целиком ракетную установку. На испытаниях наряду с Фредериком Уманакой, генеральным конструктором Нунатаки, присутствовал вождь нунатакского народа Христоф Аулатлевик и другие руководящие деятели правительства. Они расположились на наблюдательном пункте по неосторожности недалеко от стенда со всяческими ремонтными инструментами.

Когда сверхмощный бумеранг возвращался после удачного выстрела, влача за собой огромную модель ракетной установки, на полигоне произошла трагедия. Инструменты, находившиеся на стенде, устремились к бумерангу по силовым магнитным линиям, к величайшему несчастью, проходившим через пространство, занимаемое руководителями Нунатаки. Фредерик Уманака был разрезан пополам ножовкой. На теле Христофа Аулатлевика впоследствии было обнаружено семь сквозных отверстий, проделанных сверлами разных размеров. Три члена кабинета министров Нунатаки, в том числе министр обороны и главнокомандующий войсками, были убиты наповал в результате попадания в их головы молотка, зубила и ручных тисков. Остальные присутствовавшие, за исключением министра пищевой промышленности, получили серьезные ранения.

Воспользовавшись происшедшим в Нунатаке замешательством, американские войска немедленно перешли в наступление на всех фронтах от Атлантического до Тихого океана. В оккупированной Канаде вспыхнуло восстание. Нунатакские войска начали безостановочно отступать. Большое количество конхоидального оружия и установок для запуска бумерангов попало в руки американцев и канадцев. Не владея еще секретом производства конхоидального оружия

и электромагнитных бумерангов, американцы и канадцы научились успешно их применять.

Отсутствие власти и моральный упадок в Нунатаке довершили дело. Через 44 дня после трагической гибели нунатакского правительства Соединенная американско-канадская армия высадила десант в Эгерисменне и захватила столицу Нунатаки Готхоб. Нунатака капитулировала. На всей её территории были созданы военно-полевые суды. Приверженцы Аулатлевика расстреливались без рассмотрения апелляции. Оккупационный режим действовал в течение двадцати пяти лет...

До сих пор многие нунатакцы тайно совершают опасное путешествие в Скорсбисунн – склонить голову у места гибели Аулатлевика и Уманаки (могилы их в Готхобе были уничтожены оккупантами) и принести клятву возродить былое величие своей родины.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ

Гертруда Скуг стала третьей женой Юстаса Мальмквиста, когда ему исполнилось 36 лет. Ради нее он оставил Анну-Марию, свою вторую жену, дочь известного коммерсанта. Гертруда Скуг, чемпионка Швеции по конькобежному спорту, была популярной женщиной и могла рассчитывать на любую партию, но предпочла ученого Мальмквиста многим знатым юношам из старинных семейств.

Женщины находились под обаянием Мальмквиста, несмотря на то что упорная научная работа преждевременно старила его.

«Дорогой Юстас, – писала ему Гертруда ещё до женитьбы, – всю свою молодость я провела среди мужчин, которые смотрели на меня с восхищением. К чему излишняя скромность? Ты можешь догадаться, у меня было достаточно возможностей узнать мужчин все-сторонне... Но когда я увидела тебя, я поняла, что впервые в жизни вижу настоящего мужчину. Моими друзьями были здоровые, жизнерадостные люди, интересы которых ограничивались развлечениями и спортом. Но ты совершенно не походишь на них. Тебя волнует совсем другое, чуждое и непонятное этим людям, и вместе с тем ты выглядишь таким же здоровым мужчиной, как и все мои друзья. Твое здоровье одухотворено разумом ученого...»

Юстас Мальмквист действительно был крупным ученым, известным далеко за пределами Швеции и работавшим в области подшипников качения в знаменитой на весь мир фирме СКФ («Свенска Кугеллагер Фабрик»). Будучи автором большого количества научных работ, он создал принципиально новое объяснение многим загадочным явлениям в поведении как шариковых, так и роликовых подшипников. Именно его работы создали мировую славу СКФ.

Ради Юстаса Гертруда Скуг замкнулась в хлопотах у домашнего очага. Прошло пять лет, и она стала матерью двоих детей. (От первых двух жён у Мальмквиста было ещё трое детей, воспитывавшихся в лучших пансионатах Стокгольма.)

Оставив спорт, Гертруда незаметно потеряла и свое бывшее очарование. Поглощенная домашним, она не понимала, что такому человеку, как Мальмквист, необходим не только уют, но и поддержка в его интеллектуальной деятельности. Проведя юность в соревнова-

ниях и тренировках, она во многом отстала от своих интеллигентных сверстниц. Постепенно отсутствие духовного взаимопонимания между Гертрудой и Мальмквистом увеличилось. Юстас потерял интерес к дому и стал проводить вечера в рабочем кабинете фирмы.

Однажды ему позвонили из редакции газеты «Свенска Дагбладет» с просьбой дать интервью о своих работах. Мальмквист назначил время и был приятно удивлён, когда в кабинет явилась молодая элегантная женщина. Во время разговора Юстас ощутил неизъяснимую симпатию к журналистке. Её открытое и умное лицо напомнило Юстасу его безрадостную семейную жизнь. Невольно сравнивал он журналистку с Гертрудой и понимал, насколько Сельма Хагберг, так звали журналистку, выше по умственному развитию и вообще интересней его жены. Сельма, сама того не ведая, подтолкнула то, что, по сути, давно уже назревало. Мальмквист решил порвать с Гертрудой и вскоре обвенчался с Сельмой, зажив новой жизнью, о которой давно мечтал.

Первым делом Сельма убедила его совершить путешествие. Мир по-новому предстал перед Юстасом. Колизей и Капри, египетские пирамиды и русские просторы открылись ему, и эту широту и многообразие жизни дала ему Сельма.

Во время путешествия Мальмквист обдумал новые идеи в области применения подшипников. Он понял, каким образом следует учитывать в них динамические нагрузки, и это позволило, наконец, построить стройную и ясную теорию сепараторов. Вернувшись в Швецию, Мальмквист начал упорно работать над математическим описанием своих идей. Сельма же перешла в международный отдел «Свенска Дагбладет» и оказалась весьма успешным обозревателем. Она стала вхожей на правительственные и дипломатические приемы, где Юстас не появлялся из-за своей исключительной занятости. Вскоре Сельма совершила поездку в Грецию и Турцию и принялась анализировать причины кипрского кризиса. Она не замечала, что Мальмквист уже тяготился вынужденным одиночеством, и это, разумеется, не могло не привести к взаимному охлаждению.

Незадолго до этого в лабораторию Мальмквиста приняли молодого инженера Веронику Хермансон. Вероника по-женски, интуитивно ощутила, что семейная жизнь Мальмквиста неблагополучна. Совместные опыты над подшипниками невольно сблизили её с Юстасом. Она видела, как неохотно он возвращается домой, была свидетельницей его сухих отрывочных разговоров с женой по телефону. Молодая и неопытная, Вероника в своих грёзах представляла себя на месте жены Мальмквиста и думала, какой лаской и теплотой окружила бы она этого замечательного человека...

Свой пятый брак Юстас Мальмквист не афишировал даже среди друзей. Он был выше мнения окружающих и не считался с пустыми условностями. Детей Сельмы он тоже устроил в один из лучших пансионатов Гётеборга...

Когда Мальмквисту исполнилось 53 года, ему пришлось перенести тяжелое внутреннее потрясение. Неустанная научная работа сказалась на его здоровье. Все чаще и чаще его стали охватывать приступы апатии и равнодушия. К несчастью, юная Каролина Вестербю, седьмая жена, которую он нежно любил, не смогла

отнестись к нему достаточно чутко. Она скучала возле мужа. Ей хотелось шума, веселья, она требовала от мужа большего, чем он мог дать её молодости... Наконец, произошла роковая развязка. Каролина оставила Юстаса и вышла замуж за известного киноартиста Хильдинга Эльвдалема...

Потрясенный Мальмквист, не в силах продолжать научные занятия, отправился в Италию. Равнодушно переезжал он с места на место, не обращая внимания на окружающие красоты и достопримечательности. В свои 53 года Мальмквист выглядел на 65-70 лет.

Однажды по дороге в Южный Тироль Мальмквист услышал рассказ об одном из любопытнейших явлений природы – ветре «фен», губительно действовавшем на всё живое. Когда с гор начинал дуть этот ветер, люди теряли сознание, животные погибали. Поневоле Юстас заинтересовался удивительным ветром.

Будучи известен и уважаем, Мальмквист пригласил группу сотрудников Миланского университета сделать анализ воздуха во время действия «фена». В ветре был обнаружен высокий процент положительных ионов...

Вернувшись в Швецию, Мальмквист, несмотря на недомогание, занялся изучением совершенно новых для него областей науки. Его интересы сосредоточились на проблеме старения. За два года Юстас проштудировал столько научных дисциплин, что мог бы померяться знаниями с физиками, физиологами, медицинскими работниками. В нем созрело твердое убеждение, что основным фактором, влияющим на длительность человеческой жизни, является число получаемых человеком отрицательных ионов.

Мальмквист экспериментально показал, что животное, помещённое в воздух, насыщенный положительными ионами, погибает. Напротив, отрицательные ионы оказывали на организм животного благотворное действие.

Из своего открытия Мальмквист сделал ряд серьезных выводов. Прежде всего он указал на вредность ношения обуви. Речь шла о современной обуви, изолирующей человека от земли – самого большого природного источника отрицательных ионов. Видимо, именно длительная изоляция от земли и сыграла решающую роль во всеобщем ухудшении здоровья человечества.

«Лучшие умы всегда волновала проблема физического здоровья человечества, – писал Мальмквист. – За свою коллективную победу над природой люди расплачиваются всё увеличивающейся физической слабостью каждого отдельного индивидуума. Всякая искусственная гальванизация, вроде утренней гимнастики, спорта и т. п., не может ни в какой мере принести сколько-нибудь действительный результат. Остается лишь пожалеть о титанических усилиях, сделанных в этом направлении».

Мальмквист решил немедленно устранить вредное влияние обуви, вначале хотя бы для себя. Он заказал специальную обувь с приклепанной к подошве металлической пластиной, от которой к ступне шел медный стержень. Это, по мысли Мальмквиста, должно было обеспечить контакт тела с поверхностью земли. Одновременно он предложил синтетический токопроводящий материал для носков. Правда, такая конструкция обуви имела смысл лишь в сельских условиях, поскольку использование токопроводящих

элементов обуви на городских асфальто-каменных покрытиях не обеспечивало должного контакта с поверхностью земли, а об удалении таких покрытий, разумеется, не могло пока идти речи.

Радикальным способом оздоровления на селе Мальмквист считал хождение босиком и поэтому настойчиво добивался повышения цен на обувь, рекомендуя свою специальную ионную обувь лишь для больных и престарелых. Для города же он предложил систему физического закаливания путем соприкосновения с заземленной металлической пластиной. Он рекомендовал такие пластины установить в каждой квартире, чтоб по мере усталости каждый мог получить соответствующую порцию ионов из несметного земного резервуара.

Отдельно ставился вопрос о лицах, почувствовавших утомление на улице. Для них, как и для других желающих, он предлагал установить специальные автоматы, где за умеренную плату любой горожанин путём касания заземленного проводника мог получить нужное количество отрицательных ионов. Мальмквист разработал таблицу необходимого количества ионов для лиц разного возраста и разных профессий.

Вскоре вокруг плана Мальмквиста сосредоточилась вся общественная жизнь Швеции, а затем и других стран. В городах стали появляться первые ионные уличные автоматы. В квартирах оборудовали ионные антенны. Сам Юстас, к которому вновь вернулись молодость и здоровье, руководил этими работами. Его личная жизнь вновь стала счастливой. Он нашел себе верную спутницу в Луизе-Августе Эстерманзунд, видном биофизике, которая с самого начала увлеклась открытиями Мальмквиста. А Шведская Королевская академия наук при очередном обсуждении единогласно присудила Юстасу Мальмквисту Нобелевскую премию.

Однако, как часто случается, и великое открытие Мальмквиста было использовано во вред человечеству, в чём, разумеется, нельзя винить ни Мальмквиста, ни многих других ученых, открытия которых в конце концов попали в плохие руки. В этом и заключается одна из трагических сторон человеческой истории.

А произошло следующее. Лишенная поддержки великих держав, Южно-Африканская республика усиленно вооружалась собственными средствами. Её лидеры давно грозили соседним государствам неким необыкновенным оружием, однако заявления эти многие считали обычным дипломатическим запугиванием. Тем не менее обстановка на юге Африки накалялась, и однажды телеграф и радио передали сообщение о начале войны между Соединенными силами африканских государств и ЮАР.

В первые же дни африканские войска столкнулись с ужасным и бесчеловечным оружием, которое действительно готовили в Йоханнесбурге. Южно-Африканская республика развязала ионную войну. Мощные компрессоры направляли на поле боя скопления положительных ионов. Африканцы гибли десятками тысяч...

Потрясённый Юстас Мальмквист поспешил в Лусаку на помощь африканцам. Под его руководством в Замбии, Малави, Руанде и Бурунди было налажено производство концентраторов отрицательных ионов. Африканские солдаты получили токопроводящую обувь, а на средства, собранные в радикальных кругах Западной

Европы, была закуплена в США большая партия электростатических генераторов отрицательных ионов, нейтрализующих вредное действие ионов положительных.

Через год после сражения при Махалапье в Ботсване в военных действиях наступил решительный перелом, африканские войска вступили на территорию ЮАР, и белые колонизаторы покинули африканскую землю.

Радость победы была омрачена памятью о десятках и сотнях тысяч жертв преступной ионной войны, и во многих странах раздалось требование о запрещении ионного оружия наряду с атомным и водородным.

Тем временем Мальмквист вернулся в Европу, где ему была присуждена Нобелевская премия мира. Это был единственный случай, когда один и тот же человек удостоивался Нобелевской премии и за научные, и за политические достижения.

Окруженный славой, Мальмквист уединился в своем имении в Иен-Чеддинге вместе с Луизой-Августой.

Как-то во время вечернего отдыха к нему явился посетитель по весьма важному, как он сказал, делу. Войдя в комнату, незнакомец неожиданно достал из кармана закупоренный сосуд, открыл его и бросил в Мальмквиста. Мальмквист потерял сознание и через несколько минут скончался. Прибывшая на место преступления полиция установила, что смерть учёного наступила в результате ионного поражения. Вскоре убийцу задержали. Им оказался выходец из бывшей Южно-Африканской республики Питер Вагенаар...

Скорбь и негодование охватили человечество. Манифестации протеста прокатились по Европе, Африке и Азии. При единодушном одобрении африканцев Кейптаун был переименован в Мальмквист. В Швеции его именем назвали политехнический институт в Упсале.

Правда, светлую память Мальмквиста попытались омрачить злонамеренные лица, использовавшие в своих целях некоторые обстоятельства, возникшие вокруг наследства, оставленного его шестнадцати детям. Это не поколебало, однако, высокого морального авторитета Юстаса.

Результаты открытий Мальмквиста продолжают сказываться и в наше время. Известны случаи необыкновенного долголетия вследствие регулярной отрицательной ионизации. Так, житель Гватемалы Дионисьо Рамирес, отказавшийся от ношения обуви в сельской местности, а в городах постоянно пользующийся ионными автоматами, живет уже 212 лет, тогда как во времена открытия Мальмквиста ему было всего 84 года и он, по единодушному признанию врачей, был близок к смерти из-за истощения нервной системы и разнообразных сердечно-сосудистых заболеваний.

Таблица ионных нормативов Мальмквиста изучается ныне во всех курсах санитарии и гигиены, а во многих странах введена законным порядком для охраны здоровья многочисленных граждан.

Благодарное человечество никогда не вычеркнет из своей памяти светлые черты Юстаса Мальмквиста, давшего миру то, чего не смогли дать целые поколения философов и политиков, а жизнь Мальмквиста лишний раз доказывает, что наука и нравственная чистота неотделимы друг от друга.

Михаил Торелик

НАИНОВЕЙШИЙ ПЛУТАРХ

GLORIA MUNDI ЯРКО СИЯЕТ СЕГОДНЯ – ГДЕ ОНА ЗАВТРА?

Река времен уносит в своём течении не только дела людей, но даже и имена их: Михаил Самуилович Агурский (1934-1991) известен ныне главным образом специалистам и участникам тех батальи, в которых некогда участвовал, – по понятным причинам круг их редет.

В диссидентской и сионистской среде и в русской алии 70-х обрелась масса ярких людей, сплошь солисты – Михаил Агурский был среди самых заметных. Большой оригинал, начиная с внешности: лицо его украшали обширные рыжие бакенбарды, в своём роде единственный в Москве, вид литературного героя с дислокацией не здесь и не сейчас – Диккенса? Честертон? – вспомнить, кто именно. Человек открытый, дружелюбный, с чувством юмора, с интеллектуальным и культурным любопытством, с интересом к новому, с несвойственной времени толерантностью, всегда готовый к диалогу, легко находил общий язык с людьми самой разной идеологической и политической направленности. Инакомыслие было разнообразно, цвели сто цветов, народ боевой, главным образом, советского манихейского закала, вдохновлены открывшейся ослепительной истиной, порой единственное, что объединяло – общая нелюбовь к советской власти. Впрочем, находились таковые, что почитали и советскую власть превосходной, только вот мелочь – заменить жидо-масонский марксизм русским православием, сейчас общее место, в 60-х звучало вполне пророчески, короче, прежде чем объединиться, надобно нам решительно размежеваться. Михаил Агурский умудрялся со всеми сохранять добрые отношения: с Сахаровым и с Солженицыным, в сборнике которого «Из-под глыб» участвовал, с ортодоксальными иудеями, с русскими националистами, с православными, это при том, что принадлежал к сионистскому кругу; проводы его (1975) походили на карнавал: «все» побывали тут. На самом деле узок был круг этих революционеров, иное дело в Израиле – в Израиле Агурский представлен был много шире: из ведущих публицистов, в колонках русскоязычных газет, взят в радио, взят в телевизор, узнаваем, присматривал место в Кнессете, для «русского» тех времён, в отличие от времён нынешних, проект сверхамбициозный.

Михаил Агурский много чего написал. Многочисленные научные и публицистические статьи самого разнообразного содержания, ряд книг, наиболее известная – «Идеология национал-большевизма» (есть переводы на иврит, английский и итальянский) – вариант диссертации, защищённой им в Сорбонне. Собственно говоря, именно Михаил Агурский реанимировал термин «национал-большевизм», к моменту публикации его книги совершенно позабытый, ныне же благодаря ему куда как популярный. Михаил Агурский написал книгу воспоминаний

«Пепел Клааса»¹, не вошедшие в неё главы печатались как раз в «Иерусалимском журнале»² – это уже посмертные публикации.

ТАНЕЦ ИЕРОГЛИФОВ

Рассказы, которые вы только что прочли, взяты из архива Михаила Агурского, они не датированы. Можно предположить (см. ниже), что они написаны в самом начале 60-х. Автору около тридцати. Человек, представляющий себе тогдашний контекст советской литературы, состояние умов, интересов, эстетических пристрастий, должен прийти в полное недоумение: не вписывается абсолютно, откуда что взялось, инопланетные тексты, ничего такого, что можно было бы назвать духом времени, какое, милые, у нас тысячелетие на дворе, совершеннейшая оригинальность. Синявский говорил в своё время об эстетических разногласиях с советской властью. Парадоксальным образом потому, что был на советскую власть ориентирован. Здесь и разногласий нет: какие разногласия, советская власть как бы вообще не предусмотрена, как бы и нет её, Советский Союз упоминается однократно, через запятую, к слову пришлось, с отстранённостью, не предполагающей особого интереса («Краткая история Северной войны»). И это написал совсем молодой человек, без литературного опыта, выпускник «Станкина» – одного из самых заштатных тогда технических вузов. Невозможно! Не перевод ли? Но с какой стати могло прийти в голову такое переводить?

Между тем Михаил Агурский на оригинальность не претендовал. Более того, не претендовал на авторство. На последнем листке машинописной рукописи, хранившейся в архиве Агурского, его рукой сделана ремарка:

Эти рассказы, написанные совместно Д'Алем или Раковым (не помню), Данишлом Андреевым и акад. Париным.

Стало быть, не он?

По отдельности упомянутые им авторы много чего написали – *совместно* только одно сочинение: «Новейший Плутарх»³. Книга эта первый и, кажется, единственный раз издавалась в 1991 году (по странному совпадению, год смерти Михаила Агурского) тиражом, который представляется сегодня фантастическим: 65 000 экземпляров. Много званных. Читателя своего (во всяком случае, предполагаемого тиражом) книга не нашла, что, в сущности, неудивительно, поскольку адресована была заведомо узкому кругу, да и время стояло для подобных сочинений самое неподходящее. «Новейший Плутарх» продавался за бесценок – покупателей не находилось.

¹ Михаил Агурский. Пепел Клааса. Иерусалим: URA, 1996. – 415 с. В последующих ссылках – «Пепел Клааса».

² Михаил Агурский. Эпизоды воспоминаний // Иерусалимский журнал. №№ 2–5. В последующих ссылках – «Эпизоды воспоминаний».

³ Андреев Д. Л., Парин В. В., Раков Л. Л. Новейший Плутарх: Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех времён и народов. М.: Моск. Рабочий, 1990. – 304 с. В последующих ссылках – «Новейший Плутарх».

«Новейший Плутарх» представляет собой 44 биографии самых разнообразных «знаменитых деятелей» всех времён и народов в алфавитном порядке: от Агафонова Ф. А., художника-баталиста, до Ящеркина П. Л., изобретателя. Полководец, писатель, рыцарь, биохимик, артист, опричник, стоматолог, воздухоплаватель, основатель секты и т. д. – оксюморонные сочетания, нормальный (на самом деле умышленный) энциклопедический винегрет. Забавные жизнеописания, с юмором, свободой, игрой с культурой.

Я сказал, что издание «Новейшего Плутарха» в 1991 году было первым и, по-видимому, единственным. На самом деле это не совсем так. Изданию перестроечных времён всё-таки предшествовало ещё одно – несколько уступавшее в тираже.

Из воспоминаний вдовы Василия Парина – Нины Дмитриевны Париной: ««Новейший Плутарх», пародия на “объективные” энциклопедические жизнеописания, был написан во Владимирском центре по инициативе Льва Львовича Ракова, в работе над ним приняли участие Василий Васильевич и Даниил Леонидович Андреев. Лев Львович на свободе отредактировал этот труд, проиллюстрировал его и переплёл. Было “издано” три экземпляра, каждый автор получил по одному. На экземпляре Василия Васильевича Лев Львович написал:

“Дорогому другу Василию Васильевичу этот памятник нашего совместного творчества, на память о тех горьких днях, которые мы провели вместе. А всё же, как ни странно, эти дни бывали и прекрасными, когда мы подчас ухитрялись жить в подлинном «мире идей», владея всем, что нам угодно было вообразить.

Л. Раков 20.VI.55”».⁴

Нина Парина утверждает, что Лев Раков проиллюстрировал сочинение уже на свободе. Из воспоминаний вдовы Даниила Андреева, Аллы Александровны Андреевой, можно понять и так, что «Лёвушка» делал иллюстрации в тюрьме – украшал свой тюремный досуг. Правда, она пишет, что рисовал он кофейной гущей.⁵ Откуда у арестантов кофейная гуща?

Михаил Агурский, которого я ещё процитирую, называет истории «Новейшего Плутарха» *юмористическими биографиями*. Ну да, они действительно пронизаны улыбкой, полны юмора, но всё-таки «юмористическими» в общепринятом словоупотреблении никак не являются. Нина Парина говорит о «Новейшем Плутархе» как о «пародии на “объективные” энциклопедические жизнеописания». И это, конечно, тоже есть, но только в десятую очередь. В первую же – то, о чём написал в посвящении Лев Раков: «ухитрялись жить в подлинном “мире идей”, владея всем, что нам угодно было вообразить».

Михаил Агурский прочёл «Новейшего Плутарха», по-видимому, вскоре после того, как книга была «издана» – во всяком случае, он

⁴ Н. Д. Парина. Вместо послесловия. В: «Новейший Плутарх», с 302. В последующих ссылках – «Вместо послесловия».

⁵ Андреева А. А. Плавание к Небесному Кремлю. М.: Ред. журн. «Урания», 1998. – 228 с. : ил., портр. С. 221. В последующих ссылках – «Плавание к Небесному Кремлю». Алла Александровна Андреева (1915–2005) – художник.

пишет о ней в связи с событиями 1956 года. С другой стороны, он упоминает уже вышедшего на свободу Даниила Андреева. Таким образом, этот эпизод может быть датирован не ранее 1957 года и не позднее 1959, когда Даниил Андреев умер. Однако разговор об Андрееве имел место всё-таки после прочтения книги.

Из воспоминаний Михаила Агурского:

Рукопись называлась «Новейший Плутарх» и состояла из пятидесяти юмористических биографий вымышленных людей. Там действовал опричник Данила Хрипунов-Иголкин, отличавшийся тем, что целый пир просидел на игле, тем самым заслужив милость царя Ивана Грозного. Был там Цхонг, первый президент республики Карджакапта, политическая программа которого состояла в хождении босиком, освобождении домашних животных и строительстве в столице храмов всех религий, кроме протестантских <...>.

Василий Васильевич написал, в частности, биографию одного злосчастливого биохимика, который без должной проверки давал неграм средство для депигментации. Средство это охотно покупали негры-богачи, несмотря на протесты коммунистов, которые хотели решить расовый вопрос другими способами. Через пять лет все депигментированные негры стали зеленеть из-за непредвиденных последствий лекарства. Злополучный биохимик ничего не мог сделать и скрылся от клиентов. Тогда они образовали «Лигу зеленых мстителей» и стали искать биохимика по всем углам планеты. Ему осталось скрыться в Антарктике. Еще через пять лет бывшие зеленые негры покраснели, а потом вернулись в исходное состояние.⁶

Уточнения:

...биографию одного злосчастливого биохимика – речь идёт о рассказе «Лигейро Эстебан – биохимик», написанном Василием Париным совместно со Львом Раковым.

...храмов всех религий, кроме протестантских – это не совсем так. Цхонг действительно не благоволил к протестантизму, полагая его «двоюродным братом рационализма и материализма», «отказывал лютеранству в покровительстве, которым пользовались представители всех прочих религий», однако же, вопреки сказанному Михаилом Агурским, «отменил старый закон, полностью запрещающий строить в пределах Карджапакты кирхи и проводить в них службы».

Ещё о Цхонге. Новелла написана Львом Раковым. Из воспоминаний Аллы Андреевой: «Кстати, в книге есть <...> новелла “Цхонг Иоанн Менелик Конфуций – общественный деятель – первый президент республики Карджакапта”, в которой юмористически выводится сам Даниил. В ней есть два рисунка: портрет Даниила, скорее карикатура, но очень ласковая, и еще некая, можно сказать, карикатура на “Розу Мира” – город, где стоят впритык храмы всех конфессий. Я думаю, больше Даниила над этим никто не смеялся, ему вообще было свойственно чувство юмора. И Лёвушкина новелла его приводила в полный восторг».⁷

⁶ «Пепел Клааса», с. 204.

⁷ «Плавание к Небесному Кремлю», с. 221.

Портрет Даниила, о котором говорит Алла Андреева, конечно, не карикатура, а дружеский шарж, где у легендарного Цхонга лицо Даниила Андреева, сходство передано с большой точностью. Между «храмами всех конфессий» высится президентский дворец – обобщённый образ сталинской высотки. Если рисунки делались после выхода на свободу, Лев Раков мог видеть некоторые из них уже построенными, до тюрьмы он мог видеть проекты. И есть ещё один (третий) рисунок, о котором Алла Андреева не упоминает: Цхонг в полный рост в специально сочинённой для него Львом Раковым одежде – развлечение вполне в раковском духе (см. ниже).

ПЛУТАРХИ ВЛАДИМИРСКОГО ЦЕНТРАЛА

Даниил Леонидович Андреев (1906–1959), Василий Васильевич Парин (1903–1971), Лев Львович Раков (1908 или 1904; наверное, всё-таки 1904–1970) – почти ровесники, из интеллигентных семей, успевшие подышать досоветским воздухом. Три этих несомненно замечательных человека при обычном (в западном понимании) течении жизни, скорей всего, никогда бы не встретились, а если бы случайно и пересеклись, возможно, нисколько друг другом не заинтересовались.

Советская власть озаботилась свести их и предоставить неограниченное время, чтобы они могли узнать и оценить друг друга и вступить в самые тесные дружеские и творческие отношения, предаваться размышлениям и вести нескончаемые разговоры из трёх углов, – «академическая» камера Владимирского централа (Владимирской тюрьмы № 2), избранные узники, среди прочих Василий Шульгин посетил, стала местом дружеских духовных пиров, на что определённо рассчитана не была.

Все трое получили по 25 лет – высшая мера наказания в СССР на момент их осуждения – и находились вместе с 1950-го (когда туда попал последним из них Лев Раков) до 53-го (когда первым из них вышел на свободу Василий Парин). Никого из троих тюрьма духовно не сломила – физически разрушила всех. Из воспоминаний Нины Париной:

«29 октября 1953 года Василий Васильевич вернулся. Точнее, его привезли в нашу коммунальную квартиру на обычной “Победе”, и я увидела глубокого старика с длинной седой бородой, тусклыми глазами, почти без зубов, ему было 50 лет».⁸

Василий Парин и Лев Рыков сумели физически отчасти восстановиться и прожили ещё одну, послетюремную жизнь с новыми творческими и социальными достижениями. Даниил Андреев умер вскоре после освобождения.

Даниил Андреев

Даниил Андреев – мистик-визионер, поэт, писатель, художник – автор «Розы мира». Наименее из всех троих совместимый с советской жизнью. Во время войны призван по состоянию здоровья нестроевым. Служил в похоронной команде, был санитаром, художником–

⁸ «Вместо послесловия», с. 303.

оформителем. Участвовал в прорыве ленинградской блокады, вошёл в Ленинград по льду Ладожского озера. Демобилизован после войны инвалидом. Арестован в 47-м. Обвинён в создании антисоветской группы, антисоветской агитации и террористических намерениях.

Всё написанное Даниилом Андреевым до ареста сожжено в лубянских печах. Рукописи не горят?

В тюрьме, помимо «Новейшего Плутарха», занимался интенсивной литературной работой. Пережил в тюрьме несколько мистических видений.

Все сочинения Даниила Андреева глубоко серьёзны. Кроме «Новейшего Плутарха». Открылись в душе какие-то неведомые шлюзы.

В 1954 году Даниил Андреев пишет заявление на имя Маленкова, тогдашнего Председателя Совета Министров СССР: «Не убедившись еще в существовании в нашей стране подлинных, гарантированных демократических свобод, я и сейчас не могу встать на позицию полного и безоговорочного принятия советского строя».⁹

После семи лет заточения «не убедился ещё». Вполне безумный (с точки зрения пресловутого здравого смысла) акт: смесь безоглядной смелости, честности, внутренней свободы, моральной ответственности и совершеннейшего простодушия.

Андреев освобождён и реабилитирован последним из плутархов – в 57-м. Умер через полгода после завершения «Розы мира». Завершил главный свой труд и умер. Ни одно из его сочинений не было опубликовано при жизни.

Василий Парин

Из воспоминаний Михаила Агурского:

Василий Васильевич был молодым ученым и администратором, молниеносно поднимавшимся по лестнице советской иерархии. Обаятельный русак из потомственной пермской профессуры, он был замминистра здравоохранения и академиком – секретарем Академии медицинских наук. В 1947 году он поехал в США с официальным визитом советских деятелей здравоохранения. В Москве долго обсуждалось, какие достижения советской медицины он должен продемонстрировать в Америке. Вопреки желанию Парина, было решено объявить, что советские ученые Клюева и Роскин изобрели средство лечения рака, хотя на самом деле ими, как и во всем мире, велись лишь поисковые исследования. В программе его поездки сообщение об этом открытии занимало центральное место.

В США Парин решил еще раз проконсультироваться с находившимся в Нью-Йорке Молотовым, ибо на сердце у него, видимо, скребли кошки. Молотов одобрил его программу, и «средство лечения рака» перекочевало на страницы американской печати, хотя вряд ли кто-либо принял его всерьез.

Вскоре после возвращения в Москву Парин был вызван в Кремль. Его привели на заседание политбюро, где уже находилась Клюева.

⁹ Цитируется по статье о Данииле Андрееве в Википедии.

Неожиданно один из присутствующих (говорят, это был Збарский) обвинил Парина в том, что тот сознательно передал в США секретное средство лечения рака! Изумленный Парин посмотрел было на присутствующего Молотова, который успел вернуться из Америки, но тот отвел глаза.

Сталин обратился к Ключевой:

– Что вы думаете о Парыне?

– Я Парину верю, – мужественно ответила Ключева.

– А я Парыну нэ вэрю.

Парину дали знак, чтобы он покинул заседание, и уже за дверью его взяли под стражу, однако дали возможность проститься с семьей, после чего без суда и следствия отправили на 25 лет во Владимирскую тюрьму.

Дело Василия Васильевича было использовано для раздувания дикой газетной свистопляски и стало поводом для издания знаменитого указа об усилении ответственности за разглашение государственных тайн, согласно которому в число таких тайн включались даже сведения о землетрясениях и наводнениях. Это же дело явилось поводом для Александра Штейна написать пьесу «Суд чести», тут же экранизированную. В этой пьесе Парин был представлен как злодей, крадущий секреты советской медицины по заданию ЦРУ, а Ключева изображена в виде наивного ученого, ошибочно считавшего, что больные всюду одинаковы. Секретарь партбюро, разоблачавший злодея, заявлял: «Нет! Больные у нас и у них – не одно и то же!»

Впоследствии тот же сюжет был использован Солженицыным в «Круге первом».¹⁰

Несколько мелких и необязательных замечаний.

Обаятельный русак... – очень характерный для воспоминаний Михаила Агурского пассаж. Взгляд автора фиксирует национальность человека совершенно независимо от повествовательной необходимости. По всему тексту. Надо, не надо – интересно само по себе, безотносительно интересно. Необходимость не в эпизоде – в голове автора. Его национальная озабоченность сосредоточена не на одних только евреях, типичный феномен, размноженный в анекдотах (еврейских, разумеется), – нет, он как бы ни к селу ни к городу почти автоматически отмечает, не может не отметить: русский (русак), армянин, грузин, белорус и так далее – Михаилу Агурскому это само по себе важно, откуда человек взялся, с какой грядки.

Тем не менее как раз в данном случае национальность значение имеет. Процесс над Париним, получивший громкое пропагандистское звучание – о нём знали «все», впрочем, «все» даже и без кавычек, – стал по существу увертюрой кампании по борьбе с космополитизмом. Русский человек Василий Парин стал первой жертвой большого политического, социального и культурного процесса, в существенной мере, а в памяти неспециалистов и полностью антиеврейского. Удивительно, что вовлечённый Михаил Агурский не обращает на это внимания.

¹⁰ «Пепел Клааса», с. 102–103.

...из потомственной пермской профессуры – Василий Парин родился и вырос в Казани, отец его был приват-доцент Казанского университета.

Василий Парин был не только секретарём Академии медицинских наук (АМН) – он был одним из её создателей (1944). Впоследствии, уже после отсидки, он становится ещё и академиком Академии Наук СССР (1966). Должность, которую занимал Василий Парин в высшей точке своей административной карьеры, указана неточно, Агурский запямятовал: не замминистра, а замнаркома – министров тогда ещё в политическом заводе не было.

Роскин – Иосиф Григорьевич Роскин (1892–1964) – цитолог, протозоолог, один из основателей Всероссийского общества протозоологов, заведовал кафедрой гистологии в МГУ, создал при ней лабораторию биологии раковой клетки. Автор концепции биотерапии рака.

Клюева – Нина Георгиевна Клюева (1898–1971) – инфекционист, заведовала сектором в Институте эпидемиологии и микробиологии Академии медицинских наук. Клюева занималась доводкой препарата круцин (другое название «КР» – аббревиатура фамилий авторов) до клинических испытаний.

Збарский, Борис Ильич (1885–1954) – академик АМН с момента её создания, биофизик, директор лаборатории при мавзолее Ленина, бальзамировал тело Ленина и Димитрова, был близок к высшему партийному руководству. Борис Збарский возглавлял лабораторию биохимии рака при АМН, что и объясняет его участие в этой истории. Мне не удалось найти подтверждения присутствия его на заседании политбюро в Кремле, о чём говорит Михаил Агурский, но на суде чести (см. ниже) он выступал и сказал всё, что от него требовалось. Позднее и он был арестован, хотя и не по делу «КР».

Парину дали знак, чтобы он покинул заседание, и уже за дверью его взяли под стражу, однако дали возможность проститься с семьей. – Так думал не один только Михаил Агурский, это мнение можно найти и у других мемуаристов, но арестовали Василия Парина не в Кремле, а после возвращения домой, о чём пишет в своих воспоминаниях Нина Парина.¹¹ Он был уверен в предстоящем аресте, но не думал, что это произойдёт столь оперативно: в тот момент, когда вошли лубянские гости, собирался готовиться к завтрашней лекции в мединституте.

...после чего без суда и следствия отправили на 25 лет во Владимирскую тюрьму. – Михаил Агурский ошибается: и следствие, длившееся больше года, и суд были; кроме того, Василий Парин был приговорён поначалу к заключению не в тюрьме, а в лагере.

Из воспоминаний Надежды Париной:

«Получив 25 лет Норильска, он был отправлен к месту заключения вместе с уголовниками. По дороге, в Куйбышеве, один из его спутников швырнул в него камнем и рассёк бровь; этот шрам так навсегда и остался на лице Василия Васильевича свидетелем тяжёлой поры. В Красноярске заключённых вели на пристань в сопровожде-

¹¹ «Вместо послесловия», с. 295.

нии овчарок. Василий Васильевич, который всю жизнь любил животных и особенно собак, с тех пор видеть не мог немецких овчарок. Там же, в Красноярске, перед самой “погрузкой” на баржу вдруг пришло распоряжение вернуть Василия Васильевича, в обычном вагоне он поехал назад по только что пройденному маршруту». ¹²

Суд чести. – Василий Парин был арестован 17 февраля 1947 года, а 28 марта вышло постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б) «О Судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах» – совместное сочинение Сталина и Жданова. Целью постановления было создание института общественного уничтожения «пресмыкающихся перед границей». Идея была унижить и смертельно напугать, но не сажать – пусть трепещут. И для общего народного назидания. Первым и наиболее громким, своего рода модельным судом чести как раз и был суд над Клюевой и Роскиным, который состоялся в переполненном клубе Совета Министров – в «Доме на набережной», там, где сейчас находится театр Эстрады. Сажать Клюеву и Роскина не входило в планы Сталина: он верил в перспективность их работы.

Василий Парин был среди плутархов единственным профессионально негуманитарным человеком, но включился в предложенную игру с охотой и блеском.

Лев Раков

Лев Раков – историк, искусствовед, поэт, писатель, драматург, деятель культуры – единственный из троих, для кого это был повторный арест, повторное следствие, повторный кошмар, – у него был уже опыт выживания. В первый раз был арестован в 1938 году. До ареста был учёным секретарём Эрмитажа, читал лекции по античной истории в Ленинградском университете и Педагогическом институте им. Герцена.

Обвинение – терроризм. Непосредственной причиной ареста стала устроенная Львом Раковым в Эрмитаже выставка «Военное прошлое русского народа» (он был большим любителем и знатоком русской военной формы) – его обвинили в пропаганде белогвардейской формы. Рассказ Льва Ракова в «Новейшем Плутархе» «Хозенкант аф Х. – историк культуры» с подзаголовком «Датский историк культуры, основоположник новой научной дисциплины “Сравнительная история одежды” (Kleidungskunde)» – самопародия.

Лев Раков провёл год в одиночной камере. Был близок к безумию, самоубийству. Спасался стихами. Поэтом себя не считал – был слишком тонок, чуток к поэзии, образован, критичен к себе. Стихи, написанные в одиночке (они сохранились), наполнены болью и трагизмом. После расстрела Ежова освобождён. Директор Эрмитажа академик Иосиф Орбели хлопотал о его освобождении.

Ушёл на фронт ополченцем – завершил войну полковником. При повторном аресте пристёгнут к «Ленинградскому делу». Точнее, со Льва Ракова оно и началось. Фактически ему вменялось создание Му-

¹² Там же, с. 298.

зея обороны Ленинграда, выросшего из выставки «Героическая оборона Ленинграда», открытой им же в 1943 году. Клеветническая фальсификация обороны Ленинграда. Музей был разгромлен. До ареста Лев Раков был также директором Публичной библиотеки.

Кроме совместной работы с сокамерниками над «Новейшим Плутархом» написал в тюрьме цикл рассказов.

Лев Раков был красивым, высокообразованным, располагающим к себе человеком, производил впечатление на всех, с кем встречался. Михаил Кузмин в посвящённых юному Льву Ракову строках пророчит ему счастье и славу – об этом чуть позже. Клементина Черчилль (жена Уинстона Черчила), которую Лев Раков водил по Музею обороны Ленинграда в марте 1945 года, была им очарована.

Вот забавный эпизод, связанный с Клементиной Черчилль, – вполне в духе «Новейшего Плутарха»:

«Был я на квартире у Л. Л. Ракова, обедали. Лев Львович только что возвратился и рассказывал о том, как он водил по Музею приехавшую в Ленинград г-жу Клементину Черчилль, на которую увиденное произвело глубокое впечатление. Понравился ей, по видимому, и майор Раков – стройный, элегантный (на нем прекрасно сидела военная форма, как, впрочем, и всякая одежда), интеллигентный. Когда он проводил г-жу Черчилль до машины, она, прощаясь, похвалила его серую форменную каракулевую шапку. Обо всем этом рассказывалось за обедом – жене и мне. Вдруг телефонный звонок. Лев Львович берет трубку и несколько меняется в лице.

– Хорошо, сейчас буду, – слышим мы.

Обращаясь к нам, Лев Львович поясняет:

– Звонят из Большого дома. Спрашивают: вы сегодня водили по музею г-жу Черчилль? Да, отвечаю. Немедленно зайдите к нам. Пропуск спущен.

Все это было неприятно, настроение испортилось. В голове мысли: что это там случилось?.. Никто не любил ходить в Большой дом...

Лев Львович ушел. Мы остались, волнуемся. Проходит немного более получаса – Лев Львович возвращается. Рассказывает:

– Прихожу. Пропуск ждет. Захожу, раздеваюсь. Поднимаюсь на нужный этаж. Захожу в комнату. Там несколько человек. “Вы разделись?” – спрашивают. – Напрасно. Дайте номерок”. Даю. Посылают кого-то, приносят мою шинель, шапку. “Вы в этой шапке водили г-жу Черчилль?” – “Да, в этой”. – “Оставьте ее нам – возьмите другую. Вечерком вернем. По этому образцу приказано сделать другую, точно такую же, и подарить г-же Черчилль. Она вечером уезжает...”¹³

Замечательная история и вполне раковская: про форменную одежду. Есть, правда, в ней одна странность. «Серая форменная каракулевая шапка», которую вспоминает раковский приятель, была стандартной офицерской папахой, другой быть не могло. Чтобы сделать такую же, не требовалось никаких образцов. Да и зачем делать? – на склад послать. Или это была такая гебешная шутка? Или шутка самого Льва Ракова? В 45-м? С Большим домом?

¹³ Рабинович М. Б. Воспоминания долгой жизни / Фонд регион. развития С.-Петербурга, Европ. ун-т С.-Петербурга. – СПб.: Европейский дом, 1996. С. 235.

Примкнувший к ним плутарх Д. Аль

Называя имя «Д'Аль», Агурский ошибается. Ошибается и вдова Парина, называя того же человека А. Алем.¹⁴ Речь идёт об авторе, подписывавшемся, в частности, псевдонимом Д. Аль (игра с фамилией знаменитого лексикографа)¹⁵, – Данииле Натановиче Альшице (1919), человеке чрезвычайно разностороннем: историке, источниковеде, драматурге, прозаике, сатирике – во всём талантливом, во всём успешном. Д. Аль написал вместе со Львом Раковым сатирические пьесы «Что скажут завтра?» (1962) и «Опаснее врага» (1962), имевшие большой общественный резонанс, в связи с чем Нина Парина его и упоминает (но не как одного из авторов книги). Как и владимирские плутархи, Д. Аль провёл долгие годы в узах – с 1949 по 1955, – но не во Владимирской тюрьме, а в Каргопольлаге. Обвинение вменяло ему антисоветскую агитацию: «будто бы под видом диссертации о редактировании Иваном Грозным летописи, посвященной началу его царствования, он написал пародию на редактирование И. В. Сталиным Краткого курса истории ВКП(б)».¹⁶

В издании «Новейшего Плутарха» Д. Аль среди авторов не значится. Владимир Новиков в предисловии, Надежда Парина в послесловии его среди таковых не упоминают. Агурский в своих мемуарах – тоже. Почему в таком случае возникает его имя?

Алла Андреева в своих воспоминаниях утверждает, что рассказ «Хрипунов О. Д. – деятель опричнины», столь поразивший воображение Михаила Агурского, был написан не её мужем, а именно Д. Алем.¹⁷ Он был специалистом по Ивану Грозному – так что по теме. И стилистически отличается. Михаил Агурский мог слышать от Аллы Андреевой краем уха об участии Д. Аля в «Новейшем Плутархе», но не знать, в чём именно оно заключалось. Д. Аль был в дружеских отношениях со Львом Раковым, а через него и с Даниилом Андреевым.

Почему тогда три экземпляра? Впрочем, Нина Парина могла и ошибаться. А Василий Парин – значит, и он не знал? Как мог не знать? Вместе в тюрьме писали, не мог не обратить внимания на невесту откуда взявшегося удалого опричника: уж больно хорошо!

Ларчик открывается просто. Семён Резник, видевший экземпляр, принадлежавший Василию Парину, говорит: «В оглавлении то ли сам Раков, то ли Василий Васильевич проставил инициалы авторов отдельных воображаемых биографий».¹⁸ То есть житие опричника не было в оглавлении оригинала подписано Даниилом Андреевым – там стояли инициалы «Д. А.». Ошибка возникла в издании 91-го года из-за омонимии. Того же мнения придерживается Алла Андреева.¹⁹

¹⁴ «Вместо послесловия», с. 298. Возможно, это ошибка не Париной, а редактора.

¹⁵ Михаил Агурский мог по рассеянности ошибиться, поскольку у всех на слуху, точнее, на глазах (на каждой второй эстрадной пластинке 30–50-х) был похожим образом устроенный псевдоним поэта-песенника: Д'Актиль – с апострофом.

¹⁶ Сайт Музея и общественного центра Андрея Сахарова. Воспоминания о Гулаге и их авторы. Альшиц Даниил Натанович.

¹⁷ «Плавание к Небесному Кремлю».

¹⁸ Семён Резник. Академик Парин и «дело КР» // Семь искусств, 2011. № 7.

¹⁹ «Плавание к Небесному Кремлю», с. 221.

Guest stars

Из воспоминаний Михаила Агурского:

Парин, Андреев и Раков пригласили участвовать в сборнике guest stars. Араб, сын имама Дальнего Востока из Харбина, написал историю о китайском губернаторе Гонконга, который во время опиумной войны задержал на целый день захват города англичанами исполнением крайне воинственного танца иероглифов. Задержка произошла потому, что английский адмирал очень удивился при виде танцующего губернатора.

*Пленный японский адмирал написал замысловатую историю странствующего японского актера, а пленный немецкий генерал-полковник – историю герцога, имевшую скрытую антитоталитарную направленность.*²⁰

Михаил Агурский пишет о 50 рассказах «Новейшего Плутарха» – между тем в издании 91-го года их 44. Разумеется, мог и округлить. С другой стороны, нет уверенности, что два издания должны непременно совпадать. Михаил Агурский пишет о приглашённых *guest stars* – иностранных насельниках тюремного замка, временно деливших с плутархами одну камеру, пересказывает их истории. Может быть, отсутствующие шесть историй и были историями *guest stars*? Или они не входили в базовый корпус и были, так сказать, устной Торой? Но ведь он прямо говорит: их пригласили участвовать, и они написали.

Владимир Новиков в своём предисловии и Нина Парина в послесловии к «Новейшему Плутарху» об участии *guest stars* не упоминают. Алле Андреевой до поры до времени об историях *guest stars* вообще не было ничего известно – она узнала об их существовании от Михаила Агурского. Неужели муж не рассказывал? «От Михаила Агурского знаю, что что-то было написано японцем и что-то немцем. Кому их новеллы приписали – не знаю, но не Даниилу».²¹

Итак, она уверена, что рассказы, сочинённые иностранцами, с самого начала входили в рукописный корпус «Новейшего Плутарха», но только подписаны они Львом Раковым и (или) Василием Паринным. И действительно, две новеллы: *замысловатая* – о японском актёре («Нисики-Коодзи Кикумаро – артист, художник и политический деятель») – и *со скрытой антитоталитарной направленностью* – о герцоге («Альте-Торре А.-Л.-М. – герцог, государственный деятель») – подписаны Львом Раковым. Насчёт направленности дело спорное, но герцог определённо тот самый. Кстати, если уж про японского артиста сочинил японец, то, должно быть, он же сочинил и про Тачибана Иосихидэ – «выдающегося полководца и политического деятеля эпохи японского феодализма». Вещь с богатой японской фактурой. Вопреки мнению Аллы Андреевой, подписано Даниилом Андреевым. Им же подписано жизнеописание с танцем иероглифов («Гё Нан Джён – политический и военный деятель»), сочинённое, согласно Михаилу Агурскому, карнавальным сыном харбинского имама – сам просится в персонажи «Новейшего Плутарха».

Всё-таки непонятно: какой смысл подменять авторство?

²⁰ «Пепел Клааса», с. 205.

²¹ «Плавание к Небесному Кремлю», с.221.

В качестве предположения, на котором не смею настаивать: чтобы написать так, как это написано, требовалось, помимо наличия многих других талантов, ещё и умение владеть русским литературным языком. Может быть, это перевод или литературная обработка устных рассказов? Подписал не тот, кто сочинил, а тот, кто, собственно, написал? Всё равно непонятно.

О личностях *guest stars*. Во всяком случае – о кандидатах на эту роль.

Из воспоминаний Петра Прокофьевича Курочкина, попавшего в «академическую» камеру за уголовное преступление, когда ему было шестнадцать лет:

«Еще с нами был японец, дипломат Куродо Сан, очень культурный человек, упорный. Французский язык одолел за 3–4 месяца самостоятельно, русский знал хорошо, хотя говорил с акцентом.

Павел Александрович Кутепов, сын известного белого генерала Кутепова. Он жил в эмиграции, окончил ККК (Кадетский корпус князя Константина) в Югославии, служил еще до войны в немецкой армии в чине лейтенанта, но на фронте не был. Он рассказывал, что, будучи немецким офицером, из патриотических соображений связался с советской разведкой, но после войны его арестовали за «связь с немцами». <...>

Вообще, у нас был в камере целый интернационал.

Так, Зея Рахим был арабом. Я был с ним в хороших отношениях, а Василий Васильевич – в плохих. Он предостерегал меня от дружбы с Рахимом. Потом я узнал нехорошее о нем, и наши отношения разладились. Взяли его в Манчжурии, он то ли скот продавал японцам, то ли шпионил на японскую разведку. Хорошо знал японский, русский, арабский языки, все быстро схватывал, у него было умное, интеллигентное лицо.

Еще был немец, офицер, сын генерала Кейтеля. Очень неприятный, высокомерный человек. Он с гонором относился к русским. Кейтель повздорил с Кутеповым, кажется, выясняли, кто из них родовитее, дошли до взаимных оскорблений, я вмешался, наругил немцу. Потом его убрали от нас, чтобы не было более подобных эксцессов.

Еще раньше, по рассказам Василия Васильевича, в камере был немец Крумрайт, его обвинили в уничтожении в Австрии 10 тысяч евреев. Он этим ужасно возмущался, писал жалобы, требовал пересмотра дела. Он говорил, что его обвинили несправедливо, ибо он уничтожил 6–8 тысяч евреев, но никак не десять. Василий Васильевич рассказывал об этом с возмущением: ведь все равно он матерый преступник, 10 тысяч он убил или только 8, а туда же – подавай ему справедливость.

Я, Парин, Александров²², Раков и Андреев держались вместе: это была наша группа».²³

Нина Воронель в воспоминаниях с большой живостью рассказывает о знакомстве с Зеёй Рахимом (1922?–?) вскоре после выхода его из тюремного замка:

«Приезжаю я однажды в Переделкино, а Корнея Ивановича нет дома. Экономка Маша проводит меня в гостиную со словами: «Велел ждать», – и оставляет в обществе красивого молодого человека,

²² Владимир Александрович Александров – искусствовед, сокамерник плутархов.

²³ Семён Резник. Академик Парин и «дело КР» // Семь искусств, 2011. № 7 (20).

листающего книжку, заполненную иероглифами. Естественно, между нами завязывается беседа, и незнакомец сообщает мне, что он приехал, чтобы возвратить К. И. его книжку, переведенную на японский язык, которую он брал почитать.

Дальше между нами происходит быстрый диалог, больше подходящий для театральной сцены, чем для реальной жизни, – не следует забывать, что год тогда стоял то ли 1956, то ли 1957 и заграница казалась мне досужей выдумкой изобретательного ума.

Я: А где вы выучили японский язык?

Он: В университете, в Токио.

Я: А как вы попали в Токио?

Он: Сел в самолет в Лондоне и прилетел в Токио.

Я: А как вы попали в Лондон?

Он: Сел в самолет в Женеве и прилетел в Лондон.

Я: А как вы попали в Женеву?

Он: Сел в самолет в Александрии и прилетел в Женеву.

Я: А как вы попали в Александрию?

Он: В Александрии я родился.

Токио, Лондон, Женева, Александрия – ну и набор! Значит, все эти города существуют и в некоторых из них можно даже родиться! Но тогда возникает главный вопрос:

Я: А как вы попали сюда?

Он: Из Владимирской тюрьмы.

Я: А как вы попали во Владимирскую тюрьму?

Он: Меня привезли туда из Мукдена.

Я: А как вы попали в Мукден?

Он: У меня там до войны был бизнес – 24 текстильных фабрики и банк.

Я: Да кто вы такой, черт побери?

Он: Вы хотите узнать мое имя? Меня зовут Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири.

Я: (задохнувшись) Еще раз, простите?

Он: (с невозмутимой улыбкой) Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири.

Ну и имечко! Мы потом назвали этим именем нашего щенка, но пришлось сократить его до простого Харуна – слишком уж получалось непроизносимо. Я сразу решила, что человека с такой биографией упускать нельзя, тем более что он, закончив свои дела с К. И., не торопился уходить, а дождался, пока я закончила свои, и мы вместе отправились в Москву. По дороге он объяснил мне, откуда у него такой отличный русский: много лет он провел в одной камере со знаменитым ныне, а тогда старательно вычеркнутым из народной памяти поэтом Даниилом Андреевым, сыном Леонида Андреева, и тот старательно его обучал, чтобы иметь собеседника.

Я, затаив дыхание, слушала его рассказ, сопровождавшийся чтением стихов Даниила Андреева, а он, истолковавши мое внимание по-своему, пригласил меня назавтра в ресторан “Националь”.

Стыдно признаться, но я была настолько наивна – а по другой версии, настолько хитра, – что пришла на это свидание в сопровож-

дении мужа и еще одного приятеля, которым все уши прожужжала удивительным новым знакомым. Увидев меня в такой компании, Харун на миг задохнулся от возмущения, но тут же взял себя в руки, и мы провели отличный вечер, хоть заплатил за всю ораву Саша, а Харун по-джентльменски дал огромные чаевые оторопевшему гардеробщику.

В результате мы с ним подружились <...>». ²⁴

Из воспоминаний Аллы Андреевой мы знаем, что Даниил Андреев относился к своему молодому сокамернику как к сыну, но тот «оказался потом чистейшим авантюристом» ²⁵, тем горше было разочарование, прав оказался недоверчивый и проницательный Василий Парин.

В компании Нины Воронель к арабскому принцу со временем стали возникать кой-какие вопросы, при случае заглянули в паспорт, не ставя об этом в известность его владельца. Обнаружилось, что в паспорте Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири значится Зеёй Рахимом, татарин, но он объяснил это тем, что власти озабочены изменить ему имя и биографию.

Литературный русский язык Харуна-Рахима не был совершенным, он это сознавал и в переводах с японского считал за благо кооперироваться с людьми, хорошо пишущими по-русски, из компании Нины Воронель в частности. Придумать истории он мог, написать – по-видимому, нет, во всяком случае, написать так, как написано.

Зея Рахим, надо полагать, и был тем самым *сыном имама*. И возможно, сочинителем не только танца иероглифов, но и японских новелл, рассказчиком которых наряду с ним мог быть и упомянутый Петром Курочкиным Куродо Сан.

Из жизни «академической» камеры

Пара эпизодов из жизни «академической» камеры, рассказанных в воспоминаниях Аллы Андреевой:

«Как-то во Владимирскую тюрьму привезли уголовников и часть из них посадили в ту самую “академическую” камеру. Можно себе представить, что это были за уголовники, получившие тюрьму, а не лагерь.

Нам ведь в лагере всегда говорили, что любой убийца, бандит, грабитель, проститутка – люди, а мы, политические, нет. Так вот, тех уголовников, севших за что-то очень серьезное, и привели в камеру к Даниилу, Парину и Ракову. Те встретили вновь прибывших очень дружелюбно и просто и скоро стали проводить с ними занятия. Василий Васильевич читал им лекции по физиологии; Лев Львович – лекции по русской истории, особенно по истории обожаемого им русского военного костюма; Владимир Александрович ²⁶ – историю искусств; а Даниил сочинил специальное пособие по стихосложению и

²⁴ Нина Воронель. Жизнь моя, иль ты приснилась мне // 22. № 124.

²⁵ «Плавание к Небесному Кремлю», с. 224.

²⁶ Владимир Александрович Александров – см. выше.

учил уголовников писать стихи. Помню, как Даниил, показывая мне эту тетрадочку уже на воле, смеясь, говорил:

– Знаешь, здесь абсолютно всё, что должен знать поэт. То есть все, чему человека можно научить. Остальное от Бога: или есть, или нет – научить этому невозможно. Отношения с теми уголовниками сложились вполне доброжелательные».²⁷

Однажды каким-то чудом залетела бабочка. Не могла выбраться: «намордники» совершенно её дезориентировали. Даниил Андреев поймал и выпустил на свободу. За что заработал три дня карцера. Преступление и наказание вызвали всплеск творческой активности тюремных насельников. Вот несколько избранных образцов:

Плен, о богиня, воспой Даниила жреца Аполлона,
Львиного рва он герой, но жертвою стал Махаона.

[Данилиада. (Гомер?) перевод П-ча]

И вот ещё:

И за одно прикосновенье
Ты трое суток просидел...
О человек! Ты поседел,
Но мудрость всё не в поле зренья:
Внутри тюрьмы ты сесть сумел!

Л. Р.

И вот ещё:

«Бойтесь первых движений души», – Талейран заповедал;
«Не тянися за розой, дитя», – поучал нас забытый поэт.
Так, пожелав наслаждений, мечтая о юношах, девах,
Некто вдруг узрел себя пассивною жертвой любви.

Л. Р., В. П.

То была поэзия, а вот ещё проза:

ВСЕ ВО БЛАГОВРЕМЕНИИ....

Некто, будучи однажды удостоен присутствия пред лицом могучего владыки, узрел на полу мравия и, будучи нрава доброго, подобрал оного и завернул в плат свой, мысля вернуть вышереченного мравия родным стихиям по выходе из палаца.

Владыка же, сочтя оный поступок за неуважение к своей персоне, разгневался зело и рек телохранителям своим: «Понеже гость наш так привержен любви к мравиям, совлеките с него ризы его и, наложив узы на руки и ноги, посадите на обиталище мравиев!» И бысть по сему.

Варсег Паринян, XVI век.²⁸

Вполне в духе «Новейшего Плутарха».

²⁷ «Плавание к Небесному Кремлю», с. 220, 221.

²⁸ Примечания к произведениям Даниила Андреева. В: Андреев Д. Л. Собрание сочинений. Т. 3, кн. 2. – М.: Редакция журн. «Уrania», 1997. – С. 523-525.

«НОВЕЙШИЙ ПЛУТАРХ»: НАЗВАНИЕ И ЖАНР – ОТКУДА ЧТО ВЗЯЛОСЬ?

Казалось бы, вопрос бессмысленный: и то и другое – очевидным образом литературная игра с жизнеописаниями Плутарха. Тем более что, по свидетельству одного лубянского сокамерника, «во время следствия Д. А. много читал и, в частности, прочел около двухсот жизнеописаний известной серии, изданной Павленковым, и, читая эти книги, “делал довольно едкие... саркастические замечания по поводу персонажей прочитанных им биографий” (см. “Калининградская правда”. 24 мая 1994)»²⁹. Ускользал из уз в мир, недоступный палачам, – библиотека была отменная, составленная из конфискованных книг многих поколений сидельцев.

Всё это действительно так, однако же не во-первых, а во-вторых. А во-первых – вот что: идею «Новейшего Плутарха» и Даниил Андреев, подивившийся, должно быть, совпадением со своим недавним лубянским чтением, и Василий Парин приняли от Льва Ракова. Название «Новейший Плутарх» – игровая аллюзия на отчасти осуществлённую серию исторических биографий Михаила Кузмина «Новый Плутарх», а уж на самого Плутарха – опосредованно, через Кузмина.³⁰ Отчасти осуществлённую – поскольку обширные планы реализовались главным образом в воображении поэта³¹, а книжка вышла, кажется, только одна: с биографией графа Калиостро.³² Вообще, идея серии занимательных биографий принадлежала Валерию Брюсову – это он Михаилу Кузмину присоветовал.

Плутарх «новейший», помимо всего прочего, потому, что «новый» был уже. «Новейший Плутарх» связан с «Новым» не только названием, но и подходом к жизнеописаниям: стилизацией, литературной и культурной игрой. Правда, «Новый Плутарх» живописал жизнь реальных исторических персонажей – в «Новейшем» литература делает ещё один шаг в освобождении от жизненного диктата и пускается в свободное плавание.

Лев Раков – «основатель» «Новейшего Плутарха», его редактор, иллюстратор, автор названия, как бы принятого из рук Михаила Кузмина, – входил в ближайший круг поэта. Они познакомились в 23-м. Михаил Кузмин был юным Раковым увлечён, посвятил ему сборник стихов «Новый Гуль» (1924) – на самом деле своего рода поэму. Их дружба продолжалась до смерти поэта. Лев Раков занимался организацией похорон.

В «Новом Гуле» Михаил Кузмин апплицирует знаменитый в своё время фильм Фрица Ланга, шедевр немецкого экспрессионизма «Доктор Мабузе, игрок» (1922) на собственную жизнь. Гуль – герой

²⁹ Там же, с. 523.

³⁰ Удивительно, но автор предисловия Владимир Новиков вообще не упоминает этой важной для понимания «Новейшего Плутарха» литературной взаимосвязи.

³¹ В планах были биографии Екатерины Сиенской, Антиноя, Казановы, Аделины Патти, Жюль де Реца, Ходовецкого.

³² Новый Плутарх. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. Петербург: Странствующий энтузиаст, 1919.

фильма, жертва демонического доктора-гипнотизёра.³³ Новый Гуль – новый Плутарх.

Вот вступление к поэме:

Американец юный Гуль
Убит был доктором Мабузо:
Он так похож... Не потому ль
О нем заговорила муза?
Ведь я совсем и позабыл,
Каким он на экране был!

Предчувствий тесное кольцо
Моей душою овладело...
Ах, это нежное лицо,
И эта жажда жизни смелой,
И этот рот, и этот взор,
Где спит теперь мой приговор!

Всё узнаю... вот он сидит
(Иль это Вы сидите?) в ложе.
Мабузо издали глядит...
Схватились за голову... Боже!
Влюбленность, встречи, казино...
Но выстрел предreshен давно.

Конечно, Вы судьбе другой
Обречены. Любовь и слава!
У жизни пестрой и живой
Испив пленительной отравы,
Направить верно паруса
Под золотые небеса.

Но так же пристально следит
За Вами взгляд, упрям и пылок.
Не бойтесь: он не повредит,
Не заболит у Вас затылок.
То караулит звездочет,
Каким путем звезда течет.

март 1924

Он так похож на Потомуль.

Михаил Кузмин, звездочёт, вершитель и исправитель судеб, не отдал прекрасного юношу убийце, напророчил новому Гулю – вдохновлявшему его Льву Ракову – иную судьбу. Без доктора Мабузо с

³³ В 33 году Фриц Ланг ещё раз вывел ужасного доктора на экран: «Завешание доктора Мабузе». Гитлер был уже у власти, фильм запретили, после чего Геббельс вызвал режиссёра и предложил ему возглавить германскую киноиндустрию: «Фюрер видел ваши фильмы „Нибелунги“ и „Метрополис“ и сказал: вот человек, способный создать национал-социалистическое кино!..» Цитирую по Википедии. Режиссёр предпочёл предложенной ему чести эмиграцию. Знал ли Геббельс, что Фриц Ланг галахический еврей?

его пристальным взглядом не обошлось: Льву Ракову выпали взлёты и падения, трагическая судьба, порой отчаяние. Война, два десятка миллионов повыбито, ополченцы полегли почти что полностью, два ареста, два приговора, предполагавших высшую меру, – не достался пуле, не сгинул в застенке.

ПСЕВДОЭПИГРАФ

Всё-таки кто написал три рассказа: плутархи или Михаил Агурский? Что это: истории, почему-то не вошедшие в книгу и сохранившиеся как архивный раритет раннего самиздата, или литературная мистификация?

На самом деле вопроса нет. В мемуарах, написанных много позже, когда идея мистификации себя исчерпала, Михаил Агурский прямо говорит о собственном авторстве «Истории духописи». ³⁴ Правка рукописи, по которой готовилась журнальная публикация, сделана его рукой. Друзьям Михаила Агурского тех лет авторство всех трёх рассказов было хорошо известно.

Так что перед нами своего рода псевдоэпиграф. Замечательный, надо сказать, своей прекрасной, бескорыстной бессмысленностью. Игра для двух с половиною человек. Псевдоэпиграфы непременно предполагают знаменитого псевдоавтора. Чтoб вся ойкумена знала. Иначе какой смысл? Пушкин в «Песнях западных славян» играет с почитаемым литературным брендом – кто знал в конце пятидесятых «Новейшего Плутарха»? Кто знает сегодня?

Впрочем, в узком кругу и сейчас знают, и тогда знали, конечно. Почётней быть твердым наизусть и списываться тайно и украдкой. Анна Ахматова упоминает Льва Ракова в «Энума Элиш» (1963?) как автора биографии вымышленного ею героя.

На узкий круг Михаил Агурский первоначально и рассчитывал.

Действительно, и по форме, и по содержанию, по крайней мере на первый взгляд, рассказы вполне себе вписываются в корпус «Новейшего Плутарха». Но если посмотреть более внимательно, различия есть, конечно.

Прежде всего названия: в «Новейшем Плутархе» истории названы, как это заведено в энциклопедиях, именами героев – у Михаила Агурского это не так. Только одна из трёх новелл биографическая: «Жизнь, отданная науке», её название легко привести в соответствие со стандартом «Новейшего Плутарха» – в двух других одним героем дело не ограничивается.

Хотя «Новейший Плутарх» труд совместный, но для каждого рассказа всё-таки в оглавлении указывается конкретный автор. Порой два (кооперация Льва Ракова и Василия Парина), но никогда три. Впрочем, аргумент этот не абсолютный: Михаил Агурский мог «забыть», кто именно был автором, потому и назвал всех. И, что более существенно, навязывая однозначное авторство, он в своей игре, пожалуй, зашёл бы чересчур далеко.

³⁴ «Пепел Клааса», с. 240.

Кстати, и я об этом говорил уже, авторы указаны в «Новейшем Плутархе» только в оглавлении – в самом корпусе каждая история анонимна, и это правильно: книга читается не как сборник разных авторов, а как единое целое. Рассказы из «Новейшего Плутарха» Даниила Андреева вошли в четвёртый том его собрания сочинений, но это вопреки мнению Аллы Андреевой, которая не могла воспринимать их отдельно, в отрыве от книги.³⁵

В рассказах Агурского есть ориентация на «Новейшего Плутарха», есть игра, предполагающая узнавание. В «Жизни, отданной науке» босохождение – прямая аллюзия на житие Цхонга. Цхонг же заимствовал благородную страсть, доведшую его, впрочем, до гибели, напрямую от Даниила Андреева: тот даже зимой выходил на тюремные прогулки босым – изумлённые стражи не препятствовали. И в гроб себя завещал положить босым – не знаю, была ли его воля исполнена.

В «Краткой истории Северной войны» есть сноска с учёным пасажем:

*Общеизвестное уравнение конхоиды в декартовых координатах представляет собой $(x^{**2}+y^{**2} - ax)^{**2}=b^{**2}(x^{**2}+y^{**2})$. Как полагают, в качестве рабочей части кривой конхоидального ружья выбран участок с координатами от $x = -0.5$, $y=0$ до $x=0$, $y=5$.*

Сноска вполне себе параллельна столь же учёным рассуждениям в написанной Париным и Раковым биографии «Ящеркин П. Л. – изобретатель-самоучка», завершающей «Новейшего Плутарха»:

«Соотношение массы магнита (M1) и массы притягиваемых им тел (M2) должно быть достаточно велико; числитель в выражении M1/M2 должен превосходить знаменатель по крайней мере в несколько сот раз. Кроме того, сила притяжения магнита, убывающая, согласно законам распределения энергии поля, как известно, пропорционально квадрату радиуса (R**2), и будет эффективной лишь в достаточно ограниченной сфере».

Идею магнитного оружия эскимосский гений Фредерик Уманака очевидным образом почерпнул у ещё более гениального русского самородка Порфирия Лукича Ящеркина.

Как и «Новейшем Плутархе», герои разных новелл Михаила Агурского разнонациональны: французы, эскимосы, швед.

Но есть нечто, что роднит эти истории с «Новейшим Плутархом» больше, чем отдельные литературные пересечения: они наполнены свободой, игрой с культурой, с историей, что, повторюсь, вовсе не характерно для времени, когда они были написаны.

МЕСТО В ЖИЗНИ. ДАТИРОВКА РАССКАЗОВ

Один из рассказов («Духопись») возникает в «Пепле Клааса» среди событий 56–57-го годов. Впрочем, Михаил Агурский не давал ведь клятвы располагать события в строго хронологическом порядке. Мог, если считал непринципиальным, отступить, мог и запомнить.

³⁵ «Плавание к Небесному Кремлю», с. 221.

Если говорить о содержании, «Духопись» отражает опыт пребывания автора в кругу художников-нонконформистов, разговоров и размышлений о современном искусстве. На страницах его мемуаров возникают Юра Васильев, Евгений и Лев Кропивницкие, Олег Прокофьев, Оскар Рабин, Вася Ситников, Володя Слепян (первый встреченный в жизни абстракционист), Роберт Фальк и другие. Конец 50-х – начало 60-х.

Михаил Агурский комментирует «Духопись»:

*С этим я, конечно, не мог попасть в официальную литературу и, как многие другие, стал искать окольные пути, которые превратили их в окололитературных халтурщиков. Сколько живых трупов я видел на Западе и в Израиле, куда эти люди бежали, спасая остаток сломанной жизни. К счастью, я в этом не преуспел.*³⁶

В 1960 году Агурский делает попытку поступить во ВГИК.

*Во ВГИКе <...> нужно было написать сценарий и сделать критический анализ показанного на экзамене фильма. Заранее решив не писать на идеологическую тему, я написал сценарий мультипликационного фильма об игрушечном тигре, волшебным образом ставшим большим. Изодранные экзаменаторы поняли уловку. Рецензию мне, однако, пришлось писать на фильм, который не давал мне схитрить, а именно на новое кино «Коммунист». Пришлось кривить душой. Но это именно то, что мне пришлось бы делать всю мою жизнь, если бы меня все же приняли во ВГИК.*³⁷

Содержательно тот же комментарий, что и к «Духописи». То есть к этому времени новелла могла быть написана.

Кстати, «Духопись» оказалась пророческой: я читал, что на Западе много позже, чем рассказ был написан, действительно возникло такое обонятельное искусство. К сожалению, не могу сослаться. Если только сообщение об этом само не было мистификацией.

В «Северной войне» возникают шарикоподшипники, наследие «Станкина», и станки с программным управлением – тема ЭНИМСа³⁸, куда Агурский попал в 60-м, значит, написал не раньше. В историко-софских рассуждениях «Северной войны» можно увидеть влияние «Повести об Антихристе». Собрание сочинений Соловьёва Агурский приобрёл в букинистическом в 62-м – до этого читал только «Оправдание добра».³⁹ *Панэскимосизм* – имя очевидным образом дико и ласкает слух автора. В рассказе чувствуется влияние не только Владимира Соловьёва, но и его оппонента – Константина Леонтьева, которому Михаил Агурский отдавал предпочтение. Константина Леонтьева Михаил Агурский открыл для себя в том же 62-м.

Упоминание Дунса Скота в «Краткой истории Северной войны» в 56-м едва ли было возможно. Просто невозможно.

³⁶ «Пепел Клааса», с. 240–241.

³⁷ Там же, с. 268.

³⁸ ЭНИМС – Экспериментальный научно-исследовательский институт металлообрабатывающих станков – головной институт отрасли.

³⁹ «Эпизоды воспоминаний», 2, с. 212.

Ирония по поводу мученика науки, с лёгкостью меняющего жён, как образце для подражания («Жизнь, отданная науке») – по всей видимости, проявление нравственного ригоризма автора после его духовного кризиса – 60-й год.

Семён Гринберг, друг Михаила Агурского, в разговоре со мной определил время через пространство: «Духопись» была прочитана автором в квартире на Монетчиковом переулке, где Семён Гринберг жил с 60-го по 66-й год. Он же вспоминает жизненные обстоятельства, из коих следует, что уже в 60-м компания читала и обсуждала и Соловьёва, и Леонтьева.

Конечно, точность памяти относительна, но это ведь касается не только Семёна Гринберга, но и Михаила Агурского. Так что всё более-менее сходится на 60-м. Некоторое косвенное соображение: рассказы определённо написаны в период увлечения «Новейшим Плутархом» – вскоре после того, как Михаил Агурский прочёл, а прочёл он, напомним, между 56-м и 59-м годом. На самом деле, 60-й или 62-й – не принципиально. Начало 60-х. Автору около тридцати.

ШКОЛЬНЫЙ ПРИЯТЕЛЬ

Естественный вопрос, каким образом Михаил Агурский получил доступ к книге, существовавшей в трёх экземплярах? Причём авторы, социально от него бесконечно далёкие, вовсе не были заинтересованы в доступе к ней посторонних лиц.

После войны семья Михаила Агурского возвращается в Москву. Кроме отца, для которого как для бывшего заключённого Москва закрыта. Жильё их занято, возратить его нет возможности. Мальчика берут к себе родственники: дядя Израиль и тётя Рива. У них комната в коммунальной квартире на Полянке. Мать и сёстры живут в других местах.

Из воспоминаний Михаила Агурского:

Моя школа № 12 обслуживала детей Дома правительства на улице Серафимовича, где обустроился второй эшелон элиты, в частности многие министры, сотрудники ЦК и Совета Министров. Здесь же жили и редкие старые большевики, оставленные после чисток в назидательных целях, и ряд случайных людей, вроде семей погибших героев Советского Союза. Моя школа находилась в Старомонетном переулке возле Малого Каменного моста, недалеко от Третьяковской галереи. <...> Наша школа также обслуживала Дом писателей, находившийся прямо напротив Третьяковки.

Я оказался в этой школе, во-первых, потому что Израиль жил поблизости, а во-вторых, по протекции Ривы, которая знала дирекцию школы. В том, что я туда попал, сказывались и остатки быстрой таявшего советского демократизма, так что в нашей школе, наряду с детьми министров, сотрудников аппарата, писателей, ученых, артистов, училось много обычных детей, в том числе из самых низов общества. Так, на одном полюсе были сын Кагановича, сын зампреда Совета Министров Тевосяна, племянник Сталина, сыновья замминистров КГБ и МВД, сын Лысенко и т. д. На другом –

дети арестованных и расстрелянных, а также дети из нищих семей. Славка Цинклер, отец которого погиб на войне, поразил даже меня, уже видавшего виды. Мои наволодарские валенки, в которых я чуть не замерз, были парадной одеждой по сравнению с его валенками. Их подошвы были протерты, и Славка вынужден был ходить зимой по снегу почти босой.

Дети привилегированных родителей держали себя свысока. Дети же крупных чинов КГБ и МВД вообще образовали особую группу. Все же к окончанию школы официальные рамки становились менее жесткими, поскольку большинство учеников из низших слоев уже отсеялось, но отсеялись также дети и ответственных сотрудников КГБ и МВД, не будучи в состоянии преодолеть премудрости школьной учебы. Кроме того, долгие годы совместной учебы не могли не сблизить оставшихся. Так что какая-то интеграция все же была, и лично я в значительной мере оказался ее продуктом. Правда, общаться мне приходилось лишь с семьями высокопоставленной интеллигенции – семьи правительственного аппарата оставались для меня почти закрытыми. <...>⁴⁰

Одним из лучших учеников нашего класса был Коля Парин. <...> Когда Василий Васильевич с женой Ниной Дмитриевной были в США, Евгения Израилевна Каплинская, наш завуч, взяла над Колей личное покровительство. Когда стало известно об аресте Парина, никто из учителей не изменил отношения к Коле, Евгения Израилевна всячески старалась подчеркнуть благожелательность по отношению к своему подопечному.

Коля до конца школы оставался любимцем учителей, и они постарались сделать все, чтобы тот получил золотую медаль, которую он безусловно заслужил, но которой лишить его было проще пареной репы.⁴¹

Правда, золотая медаль, дававшая право на поступление без экзаменов, не помогла талантливому мальчику поступить в МГУ, наглухо закрытый в те времена для евреев и детей врагов народа.

Дружеские отношения связывали Михаила Агурского с одноклассником и его семьей и после окончания школы. Он был вхож в дом Париных. Из рук Василия Парина получил экземпляр «Новейшего Плутарха» с дарственной надписью Льва Ракова. В «Пепле Клааса» есть фотография из семейного альбома: на даче Париных – Михаил Агурский с лопатой, рядом Василий Парин.

ВЫШЕЛ ВОН

Это внешняя событийная канва. Ну, оказались в одной школе, в одном классе. Случайность. А могли бы и не оказаться. Ну, подружился с одноклассником, так уж само вышло. Правда, друзей все-таки выбирают. И потом, чтобы получить «Новейшего Плутарха», надо было заинтересовать Василия Парина, заслужить его доверие.

⁴⁰ «Пепел Клааса», с. 80–81.

⁴¹ Там же, с. 102–103.

На самом деле Коля Парин с семьёй – частный случай общей тенденции. Юность и молодость Михаила Агурского наполнена встречами с самыми разнообразными замечательными людьми. Была бы не семья Париных, был бы кто-то другой. Каждая отдельная встреча сама по себе случайна – но не все же вместе. На ловца и зверь бежит. Сознание определяет бытие, формирует духовную жизненную среду, в которой малопомалу вероятность таких встреч возрастает почти до неизбежности.

Мальчик из нищей семьи, без духовных и интеллектуальных авторитетов, без поощряющего и стимулирующего руководства взрослых (как это было, например, в семье Париных). Совершенно советский. Работая после окончания школы на заводе, был секретарём комсомольской организации, не из карьеристских соображений, естественное проявление общественной позиции, искренне (со стыдом вспоминает) агитировал рабочих подписываться на государственный заём.

Но какая страсть к культуре, к свободе, к правде. Страсть к новым идеям. К людям, которые были их носителями. Жить не по лжи задолго до знаменитой декларации. Создаётся поле взаимного притяжения. Создаётся определённый круг. Мальчик, затем молодой человек стремительно преодолевает советское, вообще выходит из его сферы, в отличие от того же Синявского, перестаёт себя с ним соотносить.

Новое время: оттепель, переоценка советским обществом ценностей, брожение умов, уровень свободы возрастает. Но ведь тут общий вектор какой: от Сталина к Ленину. Для него это уже нерелевантно. Идолы и символы молодой интеллигентной России: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский – объекты презрительной насмешки в компании Михаила Агурского. Мемуары Эренбурга – знаковая книга оттепели – вызывает раздражение. Юные умы волнуют иные авторы, иные книги, иные идеи. Менее чем за десять лет проделал огромный путь. Открыл для себя мир большой культуры, сам стал её носителем, звеном, через которое она воспроизводится и передаётся, щёлкал себе в компании плутархов орешки.

Сын на ножки поднялся. В дно головкой уперся. Понатужился немножко: «Как бы здесь на двор окошко нам проделать?» – молвил он. Вышиб дно и вышел вон. Сначала внутренне, а затем и внешне – покинув СССР в 1975 году.

АЛЛА АНДРЕЕВА

Случайность-неслучайность новых встреч с большой выразительностью иллюстрируется знакомством Михаила Агурского с вдовой Даниила Андреева. Михаил Агурский читает рукопись «Новейшего Плутарха», полученную из рук Василия Парина:

В ряде биографий меня удивила религиозная тенденция, хотя и замаскированная иронией. Она исходила от Даниила Андреева, пародией на которого была биография Цхонга, написанная Раковым. Перу Андреева принадлежали биографии создателей сект, один из которых основал секту «акселерантов», которые должны были как можно скорее кончить самоубийством, чтобы перейти в лучший мир.

Я очень заинтересовался Даниилом Андреевым, сразу предположив, что рассказы «Новейшего Плутарха» вовсе не единственное, что он

написал. Василий Васильевич отнесся к моей просьбе свести меня с Андреевым без энтузиазма. По его словам, Андреев был болен, а жена его враждебно относилась к попыткам установить с ним контакт...⁴²

Тем не менее знакомство с Аллой Андреевой всё же состоялось – правда, уже после смерти её мужа. Причём без помощи Василия Парина – совершенно случайно весной 60-го года на Новодевичьем кладбище.

Медленно обходя ряды могил с именами, ставшими достоянием русской истории и культуры, я вдруг заметил надгробие:

«Д. Л. АНДРЕЕВ – 1958».

На могиле хлопотала высокая стройная женщина с живым лицом.

– Простите, это Даниил Леонидович Андреев? – спросил я.

– Да!

– Автор «Новейшего Плутарха»?

– Даа! – недоверчиво и изумленно протянула женщина. – А вы откуда знаете?

– От Василия Васильевича Парина.

– Аа! – облегченно вздохнула она. – Я вдова Андреева.

Как странно складывалась моя жизнь! Вот она уже таинственно связана с посмертными судьбами Розанова⁴³ и Леонида Андреева, в творчестве которых еврейская тема занимала центральное место.

Я обратился к Алле Александровне с вопросом, с которым уже безуспешно обращался к Василию Васильевичу:

– А нет ли у вас других произведений Даниила Леонидовича?

Василий Васильевич по каким-то причинам не хотел связывать меня с Андреевым, пока тот был жив.

– Есть, – не очень охотно ответила Алла Александровна, но все-таки пригласила в гости и обещала кое-что показать. Алла Александровна была художницей, дочкой профессора. Она просидела в Потье по делу мужа и похоронила его вскоре после освобождения. Я видел Даниила Андреева только на фотографии – у него было одно из самых замечательных лиц, которые я когда-либо встречал. После войны он написал роман «Спутники» – о русской интеллигенции начала века, где были представлены большевики, эсеры, монархисты. Все они встречаются в 38-м году в тюрьме.

Этот роман Андреев прочел вслух друзьям. Их всех посадили, причем сам он оказался в лучшем положении, попав во Владимирскую тюрьму. Роман конфисковали.

Не без колебаний достала Алла Александровна рукопись, которую разрешила прочесть только у себя. Это была новая книга Андреева «Роза мира».⁴⁴

Далее Михаил Агурский рассказывает, какое впечатление произвела на него «Роза мира», как новы и неожиданны были идеи Даниила Андреева. И то дело – 60-й год.

⁴² Там же, с. 204.

⁴³ Соседкой Михаила Агурского в коммунальной квартире была Татьяна Васильевна Розанова, дочь писателя, открывшая молодому человеку новые для него культурные горизонты.

⁴⁴ «Пепел Клааса», с. 310–311.

«Д. Л. АНДРЕЕВ – 1958» – Михаила Агурского подвела память: Даниил Андреев умер в 1959 году. Когда писал воспоминания, время было доинтернетное, да и не стал бы он проверять.

После войны он написал роман «Спутники» – речь идёт о романе «Странники ночи». Даниил Андреев начал писать роман до войны и так и не довёл до конца – арест не дал завершить работу. Рукопись была сотрудниками МГБ изъята и уничтожена – судьба всех его доарестных рукописей.

Нечаянное знакомство с Аллой Андреевой переросло в дружеские отношения и продолжилось до смерти Михаила Агурского. В 1989 году, в первый приезд Михаила Агурского из Израиля в Россию, Алла Андреева представляла его на выступлении в МГУ.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ РУБЛЬ

Из воспоминаний Нины Париной:

«С Владимирским централом связана одна история, происшедшая в самом конце 60-х годов. Василию Васильевичу давно хотелось съездить во Владимир, ещё раз увидеть то здание, где он провёл шесть долгих лет. Вместе с двумя сыновьями мы поехали на машине во Владимир, любовались соборами, а потом стали искать тюрьму – и нашли, потому что Василий Васильевич помнил, что рядом с тюрьмой было кладбище, в окна доносился иногда колокольный звон и звуки похорон, в тёплое время пели птицы. Мы ходили по кладбищу, смотрели на забор из колючей проволоки, за ней вырисовывались стены “казённого дома”. Недалеко от него Василий Васильевич нашёл бумажный рубль. С грустной иронической улыбкой он сказал: “Это мне компенсация за те годы”. Этот рубль с надписью Василия Васильевича: “Владимир. 9 октября 1967 года. Найдено у стен монастыря”, – до сих пор лежит у меня под стеклом на письменном столе».⁴⁵

Все плутархи, кроме долгожителя Д. Аля, давно покинули этот мир. Михаил Агурский двадцать с лишним лет как на Шаулевой Горке. Сохранился ли в семье Париных переплетённый в кожаный коричневый переплёт машинописный экземпляр «Новейшего Плутарха» с надписью Льва Ракова? Сохранился ли рубль с мемориальной надписью? Да и сами эти не виданные нынешними поколениями охряного цвета бумажные рубли стали нумизматическим раритетом. Я нюхаю гравюры, оформленные золотом, исходит листик бурый осенним ароматом, он охрой прелой дышит, слегка коричневат, рубель целковый, рыжик, карбованец манат. Унесены ветрами времени, истончились, спиритуализировались, от их вульгарной материальности не осталось и следа, кажутся вымышленными объектами новейших плутархов и обретаются ныне разве что на небесах Даниила Андреева.

⁴⁵ «Вместо послесловия», с. 302–303.

Лев Беринский

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ЖИЗНИ

ДЕЛИР

Где отблеск твой, лучистый холм Синай,
гранёный, кристаллический, как призма?
Отныне, от сего числа и присно
в глазах двоись и множься и сияй!

Зеркальным срезом к Богу накрён
и к северу – к моей тоске бескрайней,
два зора сфокусируй, двух изгнаний
скрести сигнал – прозрачно вспыхнет склон,

и в нём, в голографической игре
возникнет – как в стеклянной пирамиде –
не мёртвый фараон при мёртвой свите,
но ангел в им беременной Горе.

Весенний Ангел Скорби – странный плод,
двоящийся в порожнем странном лоне, –
он будет мною крут, как вор в законе,
и грустен Богом, длящим свой полёт
(как в катапульте) на господнем троне.

Веено, 1990

ОДИНОЧЕСТВО

I

Ступеней не было. Была
ввысь уводящая поверхность,
разрезав ночи непомерность,
она светилась добела.

Как под мостом, всплывала мгла
и погасали искры. Смерклось.
Вселенная во мрак поверглась,
исчезли тени и тела.

Я увидал его лицо.
На той вершине всё кончалось,

лишь надо лбом его качалось
палящее полукольцо.

Я был внизу. На самом дне.
Он подал знак: взойди ко мне.

II

Я шёл в сиянье, как впотьмах,
и пело всё во мне и ныло,
и стал, где велено мне было, –
всего лишь в нескольких шагах.

Сгущался свет, струясь в ногах.

И вдруг, как рябью, дно покрыло,
и подо мною всё проплыло –
всей жизни блеск, и боль, и страх.

И я воззвал, как воет зверь:
– Тройною скорбью я помечен
в моём обличье человечьем...

Он распахнул себя, как дверь,
и указал вовнутрь: войди...

– Иду. Прости меня... Прости...

III

И я успел увидеть: свет
переплавлялся тихо в пламя,
и контур мой, извне оплавя,
обрисовал как полый след,

как раковину: шум планет
плескал во мне и пел о славе
и обо всём, что я оставил
внизу на миллионы лет.

Отныне до скончания дней
порожней памятью моей
он обречён болеть и помнить.

А мне – подобным стать нулю,
и кем проснуться, если сплю,
и чем земной мой день заполнить?

Икша, 1969

СТАНИСЛАВ, САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ В МИРЕ

Станислав, почитав перед сном из «Исхода», лежит – и цветные виденья встают у него пред глазами: многоглавые толпы, старцы, женщины с грудью открытой, и младенцами на руках, и песком на губах; тут же воинский стан, палатки, лязг оружия, ополченцы и авангард регулярного войска, стрелы готовят, и луки, и щиты перед битвой кровавой с врагом, выходящим из песков, пищевые сосуды с верхом полны песка, песок в кувшинах и чапельниках, глаза и носы у малюток – золотые отверстинки; куклы из тряпья в золотинках песка...

Из шатра выходит старик и пускается в путь по сыпучке к ущелью с нависшей скалой, осмотревшись, клюкой от крестца замахнувшись и обеими вскинув руками, дробит каменюгу (что там дальше про воду, вы знаете сами).

Станислав подремал и глаза открывает: пред ним гурьбы, сброд, лохматня, оборвашки-абрашки, в лёжку подышают в песках с голодухи, ни рукой уже пошевелить, ни ногой и не пробуют – и как разом посыплется с неба крупа, три горы, лян, как снег намело, прям как в сказке, манки белый пухляк, малышне бы – да где ж тут – салазки...

Станислав скрежетнул зубатурой... Но цветной этот сон не отпускает, опять перед ним расстилает обжигающую пустыню: летят и летят, и с небес на барханы кувырк – прямичком в сковородки! – и поджариваются птицы, никак перепёлки, только много увесистей, этакий редкостный вид, что живет в эмпиреях и на землю слетает спасать от голодной смерти мальцов, их отцов, их мать.

Станиславу обрыдла вся эта история... Прихлопнул кирпич и зажмурился... Слышно: капля за каплицей – с высей лазорево-розовый винный капёж, струйки, струи, потоки в разлив заплескавшего шнапса хлещут, пенятся, пена поднялась, красноватый туман повисает, и в этом чаду к небесам в испареньях потоп жадно тянутся ядоносные травы; набухают, как тесто, холмы на дрожжах фермиоловых; вокруг деревьев фиолетовых блещут лужи мадеры, стала жёлтою речка, долина под завязку этилом полна, аж под кромку обрыва, над которым стоят – ловят дух алкогольный и лижут окроплённые камни – собаки и лошади; поодаль в низине тянут по ветру клюв на бугре шизовидные куры, и уже хоровод, алолицые люди, как в том китче скульптуры,

тяжеленные, пляшут на пашне (у меня умыкнувши Светлану),
корчат рожи, ногú задирают, рот распахивают и хлещут,
и – упоённые до положения риз –
в лёжку, сидя и стоямя возносят Станиславу «Осанну» –
сокрушителю Бога,

его восславляя

и его розовый катаклизм.

Москва, 1986 (авторский перевод с идиша – март 2011)

В НАЧАЛЕ

Лэх лэхá...¹ А лох Ему:

– А хули,

и уйдём, и выживем, поправ
жизнью смерть в болотистой лохани
средиземных камышей и трав.

Заболочь шести цивилизаций...

И начнём с *Бзрейшис²* – *бен вз-бат³*,
прихватив от белой сотни наций
рюмку под *Chartreuse* and русский мат.

Иерусалим, 1991

ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ РАФ⁴

Море небесной лазури. Безмолвно и солнечно.

Мира опоры, лучи золотеют, дрожа.

В горнюю высь, огибая плывущее облачко,
птиц облетая, тихо всплывает душа.

Детство и грёзы внизу остаются, и милые
игры и люди, прекрасных сует суета.

Ангелы в даях надмирных, как снег белокрылые,
в рай и бессмертие ей отворяют врата.

Светлые души юниц убиенных и отроков
чудо-цветами встречают её у ворот.

Где-то внизу, под обрывом вселенского рокота
тихо земля наша млеком и мёдом течёт.

Бат-Ям, 27 мая 1992

¹ Лэх лэхá (*иврит*) – Уйди себе. («И сказал Господь Аврааму: уйди себе из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего в землю, которую укажу тебе».)

² Бзрейшис (*иврит*, *ашкеназск.*) – «В начале» (первая книга Пятикнижия).

³ бен вз-бат (*иврит*) – сын и дочь.

⁴ Елена Раф – жертва террора, пятнадцатилетняя школьница, зарезанная хамасовцем в Бат-Яме 24 мая 1992 года.

НЭШИКАТ МАВЭТ⁵

У большинства на Земле – у бенгальца ли, финна –
в доме нет пианино.

У бедуина, на стене у румына акасэ –
нет Пикассо.

А в еврейской стране, может, у одного на сто тысяч увидишь
книгу на идиш.

Самое большее – поп-арт и пòц-арт,
в Моцкине вот – забегаловка «Моцарт».

Как я жил-то на вашей планете,
грезя о славе, сквозь сон на рассвете
слушая, не раздастся ль «ура!»
толп под окном, под фанфары и трубы,
и поцелует, склонясь, меня в губы
Тысячеглазый⁶ и скажет: «Пора...»

Кирьят-Моцкин, 2006

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

Кириллу Ковальджи

Только (не с Ботны ль реки?) воробы
вдруг да напомним о детской любви.

Только над Кальчиком верба да клён
видят во сне, как я там ещё юн.

Пальма и кактус в окошках – на Марс,
может, я сослан? Третий намаз,
крик с минарета. В который же раз
Vita nuova, жестокий романс.

О бесприютной судьбине моей
плачут ли пожни смоленских полей...

МОЦИОН

Не журавлиный клин, оплаканно-воспетый, –
а хриплые вороны на лету
мне сбрасывают давних грёз пакеты,
лесов НЗ, просторов маету.

⁵ нэшикат мавэт (*иерит*) – смертный поцелуй; самый милосердный вид смерти, выпадающий праведникам.

⁶ Тысячеглазый – ангел смерти Малэхамовэс.

Мне воробей, спасатель мой, во рту
соломинку с другого берега Леты
прихватит с-под стрехи, где дачка Светы
в том подмосковном чудится саду.

Зарянки глуповатой голосок
вдруг объяснит, что было невдомёк
при жизни той, проползшая крапива
меж кактусов цветущих уведёт
вспять к детству или – в блажь: с чужих высот
смерть призывать неторопливо, терпеливо...

* * *

Что б вовремя присесть бы на дорожку? –
да не в каталку ж на десяток лет,
где станешь оплывать, за ложкой ложку
в жиру топить свой по уши скелет –

а в том саду над Прой, в беседке жалкой
под звёздным вязом, где ты тихо мог
с красавицей, противной недавалкой,
коль не прилечь – присесть на посошок.

* * *

Не знаю, что там впереди,
мне не дан дар слепого ведства,
меня, Шехина, отведи
обратной топ-топ-тропкой в детство
и в оторопь – распознавать
сей мир, фигуры и расцветки:
злат-месяц – в щель да под кровать,
а утром птица лает с ветки.

* * *

Как важно, друг, на что ты взглянешь
вокруг себя в последний раз
пред тем, как вовсе перестанешь
смотреть и жить, в недобрый час
пускаясь в путь по всем небесным
или подпочвенным кругам
ядрёным или бестелесным
вселенским геном – по рукам,
как говорится, и ногам

спелёнут весь незрячим, тесным
небытием, – но с повсеместным
преджизни зудом пополам.

Как важно, что́ в последнем взоре
запечатлелось, словно знак
в топографическом просторе
незабытья, во всём узоре
за-бытия, что вяжет мрак –
тем узелком, что нитью вскоре
распустится...

А-мэйлэх море⁷
и станет, видимо, мой знак.

Акко, 2010

ИЗ ПОЭМЫ «ДВАДЦАТИЛЕТИЕ»

Пролог

Матвей Натанович Каган,
а проще – Мотке Коган,
сказавши хцос⁸, налил в стакан
себе, и перед Богом
сел во дворе – со стороны
с Ним обозреть, не споря,
свой путь – и маленькой страны
одно большое горе.

Конечно, да, арабский мир...
Конечно, бунт в Ликуде...
Но главный враг у нас – вэй'з мир!⁹ –
конечно, наши люди.
Не наши – в смысле из Бендер
и Вильны, а морока
с цветными – вейсэх вус ын вэр¹⁰ –
из Азии, Марокко.

И даже, может, не они –
а эти, харедимы,¹¹
мессию ждут... считают дни...

⁷ Ям а-мэйлэх (*иврит*) – Солёное море; в русской топонимике – Мёртвое море.

⁸ хцос (*иврит, ашкеназс.*) – полуночная молитва.

⁹ вэй'з мир (*идиш;*) – горе мне!

¹⁰ вейсэх вус ын вэр (*идиш*) – кто их разберёт.

¹¹ харедимы (*искаж. иврит; правильно – «харедим»*) – ультраортодоксы.

Пути ведь, сколь их ни тяни –
а неисповедимы...

Опять же, наши богачи...
Подрядчики... Чинуши...
Петля все туже... Хоть пищи...

Еврейские ли души?..

Еврейские! Так было встарь,
ещё при Еремии,
ещё – когда им русский царь
открыл «кагал» в России,
ещё – когда аристократь
в румынских Каушанах –
а-мицвэ!¹² – за день лей по пять,
да, бабушку мою и мать
впрягала к празднику стирать
кальсон завалы сраных.

А наш драгунский генерал! –
косноречив, но выпрен,
я знал его – нет, он не брал
Ерусалим – «подготовлял»
террор в Израиле, «взглавлял»
учебный комплекс «Выстрел»...

И там, и тут – один компот,
пей и давись... И каждый прёт...
И каждый точит зуб и нож...
И каждый врёт... И всюду ложь...

О Родина! Бурьян и страх –
мой двор табакарейский
всегда со мной на всех путях
судьбы моей еврейской.

В березняках – бурьян и страх.
Булонский лес – бурьян и страх.
Бахайский сад – бурьян и страх
за маму и за сына....

...Уже светает в небесах,
и жизнь – не жизнь, а полный крах,
душа вопит, как дикий птах
на ветке апельсина.

Акко, 2011

¹² мицвэ, а-мицвэ (*иврит, ашкеназск.*) – заповедь, богоугодное дело; в обиходной речи – добрый поступок, благодеяние.

Елена Минкина

*ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА
«ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА»*

ПЕЧАЛЬ МИНУВШИХ ДНЕЙ

Я ждала тебя, мальчик! Я была уверена, что ты придешь. Хотя еще в пятнадцатом году я поклялась твоей бабушке, поклялась своим и ее здоровьем, что никогда никому не расскажу эту давнишнюю историю. Но ты же понимаешь, чего стоит сегодня мое здоровье, в девяносто один год, хе-хе! Да и раньше я не очень задумывалась, признаться. Тем более твоя бабушка этими клятвами хотела сберечь покой маленькой Раечки, твоей мамы, а о тебе вовсе не было речи, и не могло быть, так что за мое здоровье можно не волноваться!

Кстати, ты знаешь, почему Шула назвала дочку Раечкой? В память о моей маме! Правда, ее звали Рахель, но мы ведь знаем, что память остается даже в одной букве. И даже без буквы, только в сердце. Потому что одна моя мама жалела и оправдывала Шулу в то страшное лето, и она даже настаивала, чтобы мы поддержали ее и поехали во Францию.

Считалось, что мы закадычные подруги, Шула, Нюля и я, но я скажу тебе, мальчик, это звучит слишком красиво для нас с Нюлей. Потому что твоя бабушка была потрясающей девочкой – высокая, решительная, отчаянная, она не боялась даже учителя математики! Она запросто могла переплыть речку или прошагать пешком десять километров! Это именно она дружила с кем-то или не дружила, а мы с Нюлей, как две козы, ходили следом в немом обожании и только и могли, что повторять ее слова и соглашаться с ее решениями.

Шула нас тоже любила, конечно, но больше всего она любила Лию, свою старшую сестру. Красавицу и прекрасную пианистку Лию, которой восторгались все взрослые и которая на самом деле была ничуть не лучше и не краше самой Шулы. По крайней мере мы с Нюлей были в этом уверены.

Так вот, моя мама поддержала нашу идею о поездке во Францию. А через две недели она умерла от горячки, в три дня, никто не успел ничего понять. Поэтому ее слова прозвучали как завещание для моего отца, и он согласился меня отпустить. А с Нюлей было еще проще, такая тихоня ни в ком не вызывала беспокойства, тем более она уже считалась невестой Наума Козна, одного из самых уважаемых и богатых женихов нашего города.

Да, мы все были из обеспеченных семей. Благополучные, хорошо воспитанные еврейские девочки, достойные дети своих уважаемых родителей. Такие прекрасные подружки! Мы даже фотографировались всегда вместе – твоя бабушка в центре, а мы с Нюлей по бокам.

Откуда такое имя? Ты прав, это вовсе не имя, это ласковое прозвище для маленькой тихой девочки. Хана – Ханеле, или просто Нюля. Она действительно была порядочной плаксой. Думаю, со временем ее переименовали в Анну, но этого нам не пришлось узнать. Нет, никто не думал обижать или дразнить. Смешно даже подумать, ее все обожали! Потому что Нюля была похожа на ангела. Маленького тихого ангела с огромными серыми глазами в золотую крапинку. И такие же крапинки виднелись на носу и щеках, по-русски их называли веснушками. Думаю, каждому мужчине хотелось взять ее на ручки и покачать, как ребенка. Или хотя бы крепко взять за руку и увести за собой как можно дальше.

Ты знаешь, мальчик, почему моя судьба сложилась именно так? Почему я осталась жить в нашем городке, в маленьком домике покойной тетки и никогда не завела своей семьи? Люди думали, что не повезло, тем более родители рано умерли и новая власть отобрала наш красивый большой дом. Или не хватило решимости. Или не попался порядочный мужчина. И никто не знал, что я не искала ни мужчин, ни любви с ними. Я исчерпала всю свою любовь еще в детстве и юности. Потому что любить больше, чем я любила Шулу и Нюлю, просто невозможно.

Так вот, когда начались все несчастья – сначала смерть Лии, потом переезд Шулы в Сорбонну и, наконец, это ужасное известие про ее крещение, – Цирельсоны просто с ума посходили. Они устроили шиву по живой дочери! Хотя не думаю, что ее мама всерьез готова была похоронить Шулу, пусть бы она хоть крестилась, хоть постриглась в монахини, тут больше сказался авторитет дяди, великого ребе Цирельсона. Наверняка хотели оправдаться перед родственниками и заодно призвать дочь к смирению. Стоило ей только вернуться и покаяться, и все похороны отменялись! Но нужно было знать Шулу! Больше никогда, ты слышишь, никогда в жизни она не общалась с родными. Правда, почти все они потом погибли при фашистах, но это уже другая история.

Я не помню, кто из нас двоих первый решил поехать и поддержать Шулу, но в глубине души мы обе надеялись вернуть ее домой. Конечно, ни от меня, ни тем более от Нюли не ожидалось такой храбрости, но мы все-таки поехали и даже ни разу не заблудились и не отстали от поезда, хотя без Шулиного руководства и опеки это было почти невозможно. Нас грела мысль, что мы должны лишь доехать до нужной станции, а уж там попадем в надежные Шулины руки и все опасности закончатся.

Все так и получилась. Шула встречала нас на вокзале, огромном роскошном вокзале огромного прекрасного города, но мы так волновались, что ничего не замечали, тем более она приехала вместе со своим женихом Дмитрием Ивановичем Катениным. Они стояли прямо напротив вагона, помню, я все боялась растерять чемоданы и коробки со шляпами и послала Нюлю вперед, а сама осталась ждать носильщика, хотя умирала от любопытства взглянуть на Шулиного избранника. По молодости и глупости я представляла серьезного солидного профессора, обязательно высокого красавца и почему-то с пышными усами, а перед нами оказался худенький молодой человек, почти мальчик, ростом не выше Шулы, в аккуратной студенческой курточке и галстук бантом. Когда я

подошла, он стоял у самого перрона и смотрел на Нюлю! Кажется, он вовсе меня не заметил, только молча растерянно смотрел на Нюлю, только на Нюлю, и мне вдруг стало страшно и захотелось убежать. Самое ужасное, что и Шула заметила его застывший взгляд, и сама Нюля вспыхнула и чуть не расплакалась, но тут, наконец, подошел носильщик, мы все засуетились, начались объяснения и восклицания.

К нашему с Нюлей молчаливому ужасу оказалось, что Шула уже живет со своим Дмитрием в одной квартире, живет как с мужем, что при нашем воспитании просто в голове не укладывалось, но мы дружно сделали вид, что ничего другого не ожидали. Для нас она сняла милую чистенькую меблированную комнатку по соседству, чтобы мы все могли почаще видаться, вместе завтракать, и ужинать, и гулять по бульвару. И вот так мы каждый день завтракали, и ужинали, и гуляли, и это было настоящей пыткой, потому что только слепой мог не заметить, как немеет и бледнеет Дмитрий при одном только взгляде на Нюлю и как Нюля трепещет и буквально умирает от этого взгляда. Нет, мы старательно болтали, старательно любовались на здания и скульптуры, все эти площади и арки, но поверь, мальчик, ни одна из нас ничего не видела и не воспринимала. Вечером мы с Нюлей молча ложились каждая в свою кровать, делали вид, что спим, но сердце мое разрывалось от ее беззвучных рыданий. Никто не знал, что творилось на душе у Шулы, она как ни в чем не бывало продолжала ходить на занятия и в библиотеку, за ужином обсуждала с нами парижские фасоны и выставки, и нужно было дружить с детства, вместе расти, играть, плакать и радоваться, чтобы заметить полное окончательное отчаяние в ее незамутненном взоре. Однажды, это был уже пятый или шестой день нашего визита, Шула не пришла на ужин, сказавшись занятой в лаборатории. Дмитрий, как и в прежние дни, ждал на бульваре, мы выбрали миленькую кондитерскую, заказали пирожные и горячий шоколад, стоял прекрасный теплый вечер, ветер шевелил листья платанов, и мне хотелось умереть, немедленно умереть, прямо в эту минуту, только бы не видеть их растерянных и прекрасных лиц, их муки и счастья. Даже если бы они лежали нагими в постели, не могло быть большей близости, чем в том кафе, за столиком, в присутствии десятков чужих людей. Мне даже не пришлось притворяться и врать про головную боль, потому что голова моя буквально раскалывалась, я только пробормотала какие-то извинения и почти бегом умчалась в нашу нарядную ненавистную комнату. Нюля вернулась через пару часов, почти не дыша постелила постель, но она зря так боялась, у меня не было сил ее судить. У меня вообще ни на что не было сил, хотя я прекрасно понимала, что нужно сейчас же встать, взять ее за руку и увезти. Увезти навсегда из этого города, из этой чужой жизни и чужой любви, которую она так неожиданно для всех растоптала своей прекрасной тоненькой ножкой. Но я не смогла, понимаешь, мальчик, я не смогла. Потому что любила их обоих. И не в силах была предать ни одну, ни другую.

На следующее утро Шула уехала. Очень рано, ни с кем не простившись. Потом, месяца через два, она написала мне длинное ласковое письмо, утешала и уверяла, что прекрасно справляется,

рада вернуться на родину и уже нашла хорошую и уважаемую работу в аптеке. А еще через полгода родилась Раечка, твоя мама. Конечно, к тому времени я уже давно вернулась домой, в наш теплый родной город. Лучше не рассказывать про встречу с родителями Нюли, но меня больше ничто не могло огорчить или напугать. Ее близких утешало только, что она не крестилась и не нужно устраивать очередную шиву. Нюля тоже писала мне из Парижа, они оформили гражданский брак, Дмитрий Катенин успешно защитил докторскую и остался преподавать в Сорбонне, у них родилась дочка. Они еще дали ей какое-то громкое красивое имя – Клара или Вера. Кира? Может быть, и Кира, к сожалению, те письма не сохранились. Про маленькую Раечку они ничего не знали, Шула под страхом смерти запретила мне даже упоминать о ее существовании. Уже шла война, вскоре началась революция, и след их затерялся навсегда.

А помнишь, как вы приезжали с бабушкой ко мне на лето? Вот были счастливые дни! Ты обожал клубнику и музыку. Такой маленький мальчик и так слушал музыку! Только клубника и могла тебя отвлечь. Мы с Шулой по очереди ее собирали, в четыре руки кормили тебя и все время хохотали! И никогда не вспоминали прошлого, никогда!

Не плачь, мальчик, твоя бабушка была самой прекрасной, мужественной и великодушной женщиной на всем белом свете. И она обожала тебя! Именно ты стал ее самой большой надеждой и любовью. Честно говоря, она немного огорчалась из-за Раечки, была разочарована ее ранним браком и нежеланием учиться. Хотя твоя мама росла хорошей доброй девочкой. Но Шула всегда слишком высоко ставила планку, сказывался характер Цирельсонов.

Удивительно, как ты похож на всех сразу! Но больше всех, конечно, на мою любимую Шулу – и рост, и волосы, и даже этот прекрасный породистый еврейский нос! Только глаза от Катенина. У него был такой же мягкий и пронзительный взгляд.

Боже, как хорошо, что ты приехал наконец! Наверное, я и живу так долго, потому что невозможно молча унести в могилу эту немыслимую историю.

НЕ ВСЯКОГО ПОЛЮБИТ СЧАСТЬЕ

Нет, сама Дуся Булыгина никогда и не мечтала на учительницу выучиться, она семилетку-то с трудом дотянула, Варвара Васильевна из жалости по математике тройку поставила. Ничего Дусе не давалось – ни дроби, ни прочие формулы, даже таблицу умножения только на пять хорошо помнила: пять на пять – двадцать пять, а на семь и на восемь – ни в какую!

– Нарожают детей от алкоголиков, а ты потом мучайся, долби им теоремы, – это Варвара Васильевна учительнице русского языка жаловалась, она не думала, конечно, что Дуся слышит.

Права она была, Варвара Васильевна, что тут говорить! Хотя все мужики в деревне пили, но все-таки не до угару и смертного

бою, как ее родитель, все-таки дверей в хате не ломали и по морозу жену да детей не гоняли. Сестренка младшая, та еще хуже училась, она и читать не могла, буквы у нее в глазах путались. А может, подросла бы и поумнела, кто знает, не пришлось ей подрасти. Главное, не понять, что его так злило – хоть трезвого, хоть пьяного, все на маму орал – то щи пустые сварила, а где ж ей мясо было взять, то на рыбалку не собрала. А какая у них в Кылтово рыбалка! Бедность одна, даль несусветная. До Княжпогоста, ближайшей станции, шестьдесят километров ходу. Правда, места их были знамениты когда-то монастырем, говорят, чудесный крест там хранился и людей исцелял, да монастырь закрыли еще до Дусино-го рождения, сразу после революции: Монахинь разослали по тюрьмам, в домах и церквях детская колония стала жить, назвали детским городком, это Дуся уже сама помнила, но в тридцатом году и городок закрыли, переделали в лагерную зону, Севжеллаг. Ходили слухи, что свезли туда много заключенных, что есть среди них люди безвинные и образованные, никто этого понять не мог и не пытался даже.

Одно ясно, не будь этого лагеря и лазарета при нем, не жить Дусе на белом свете.

Самого пожара Дуся не помнила, родитель в тот свой последний раз так напился, что до дому не дошел, чуть у крыльца не замерз, да мама подобрала на свою беду и в хату затащила. Они с сестренкой сразу спать легли, подальше от греха, а отец, видно, согреться никак не мог, вот и стал среди ночи угли разгребать. Дуся проснулась от страшного жара и боли в голове, огонь по волосам полыхнул. Как была, вылетела на мороз, лицом в снег, и вдруг поняла, что сестренка в доме осталась. Вроде назад побежала или только хотела побежать? Крыша уже провалилась, огонь всюду полыхал, ни мамы, ни сестренки ...

Добрые люди в лагерьный лазарет ее отнесли, прямо в руки к Станиславу Гавриловичу. Он поляк был, сам из заключенных, но освободился и работал главврачом в лазарете. Хоть других врачей там и не было, только две сестры да аптекарша, но он во всех бумагах про себя писал – главврач Северного Железнодорожного лагеря, может, для солидности. Один бог знает, как он Дусю выхаживал, чем мазал сгоревшие руки и лицо, но выжила она. Только волосы совсем не росли, пучки какие-то на голове, и руки страшные, пальцы плохо распрямлялись, но все ж живая! Станислав Гаврилыч ее при лазарете и оставил, санитаркой. А звал он Дусю Погореловой, вроде для смеху, но получалось уважительно и ласково. Что говорить, святой был человек, жалел как родную, полы мыть не велел вовсе – не с твоими руками ведра таскать, – а нашел ей работу чистую и душевную, за малыми детками ходить, лучше не пожелаешь!

Дуся хорошо помнила, как Кира появилась, Станислав Гаврилович сам и привел ее прямо к Дусе в подсобку. Сразу было видно, что из образованных. И красавица, глаз не оторвать, хоть маленького росточку, и стриженная, как все заключенные.

– Вот, – говорит, – Погореловна, принимай помощницу, это Кира Дмитриевна Катенина, дочь прекрасного врача и большого ученого. Случилось мне с ее отцом работать в Средней Азии, и погиб

этот замечательный врач ради жизни других людей. А благодарные люди в ответ дочку его красавицу арестовали – да в тюрьму!

– Не нужно, дорогой, не говорите так. Папа работал для людей, это правда, а тут нелюди вмешались...

Удивительно, что она зла в душе не хранила! И другие такие же встречались, благородные. Но жизнь их все равно не щадила, уж Дуся насмотрелась.

Кира Дмитриевна была на сносях, сразу заметно, ничего удивительного, случалось и раньше, что в их лазарете женщины-заключенные рожали. Станислав Гаврилович даже маленький детдом организовал для таких младенцев, как раз Дуся там и смотрела за малышами, а матери к ним прибегали после работы.

Киру Дмитриевну главврач определил Дусе в помощницы, выхлопотал ей до родов такое разрешение. Какое хорошее выпало время! На пару они быстро управлялись, укладывали деток, а потом сидели у огонька, пили кипяток, Кира Дмитриевна истории разные рассказывала, все больше из книжек. Но иногда вдруг принималась вспоминать про родителей и сестренку, про сказочный французский город Париж, где вместо домов – прекрасные дворцы, а на самой большой площади построена огромная башня из железа. Говорила она чудно, как будто не по-русски, слова переиначивала, сразу и не разберешь, но Дуся быстро привыкла. И песни пела непонятные, французские, даже пыталась Дусю учить, но куда Дусе слова эти чужие запомнить! Сколько в школе учила иностранный язык, немецкий, ничего в голове не осталось. Да и не хотела она на фашистском языке разговаривать, еще чего! Да, война с немцами уже началась тогда, но в лагерной жизни мало что менялось, только все голоднее становилось.

Разрешилась Кира Дмитриевна в апреле, долго промучилась, но девочку родила хорошую, здоровенькую и спокойную. Только назвала странно – Валерия. Никак Дуся привыкнуть не могла, у них в поселке еще до войны механизатор был, из городских, Валерка Зотов. Разве можно девочку мужским именем называть? Но спросить постеснялась, конечно, а девочку про себя звала Вале́й – так красивее получалось и ласковее. Киру Дмитриевну вскоре после родов опять в зону отправили, на лесоповал, она только к ночи к девочке выбиралась чуть живая, но даже Станислав Гаврилович ничем не мог помочь. А потом и вовсе беда случилась. Как-то вечером пришел Станислав Гаврилович весь белый, плотно закрыл дверь в детскую:

– Перемены у нас, Погореловна! Лазарет расширяют, а детский дом переводят. Решили объединенный детдом в другом лагере открыть, там народу больше. И наших младенцев к ним повезут.

У Дуси аж сердце зашлось.

– А как же матери? Кто их пустит в другой лагерь? Они что, во все детей своих не увидят?

– Что ты мне душу рвешь?! – так страшно закричал, Дуся было окончательно сомлела, но Станислав Гаврилыч тут же обнял ее, как маленькую, к груди прижал.

– Ты вот что, Погореловна, голубушка. Ты спокойно меня послушай. Давай сделаем доброе дело хотя бы для одной матери. Ты Киру девочку к себе заberi. Вроде как твоя дочка, никто не

хватится! А сама в санитарках останешься, в лазарете работы много. И комната за тобой, никто не тронет! Прошу тебя...

Он ее просил! Да она только и мечтала хоть как-то Кире Дмитриевне помочь! Да разве ей трудно девочку взять, да еще ее любимую голубушку Валечку. В тот же день перетасили вещички какие-никакие, кровать сложили из ящиков. Кира вся тряслась, но не плакала, только все Дусю обнимала да руки ей норовила целовать. Ее-то руки погорелые!

А детдом вскоре перевели. Все правдой оказалось. Но самое страшное, что и Станислава Гавриловича перевели. Куда, почему – так Дуся и не узнала. Приехал другой врач, грузин, Арсен Иванович. Может, и неплохой человек, но для Дуси совсем чужой, ничего тут не поделаешь.

Девочка росла чудесная! Такая умница и болтушка, пером не описать! Главное, Кира Дмитриевна с ней на своем французском языке говорила. Непонятно, но так красиво, как птички чирикали вдвоем, Дуся слушала и любовалась. И как такая маленькая девочка все запоминала? А с Дусей девочка на нормальном русском языке разговаривала, никогда не путалась, вот что удивительно! И звала она их обеих мамами, вот смеху-то – мама Кира и мама Дуся!

К этому времени война закончилась, строгостей стало меньше, Кира Дмитриевна почти каждый вечер забежала – сидела в обнимку со своей доченькой, слова ей разные шептала, песенки свои французские пела. Для Дуси она сплела из ниток сказочной красоты скатерть, все норовила по хозяйству помогать, то Дусины рабочие халаты постирать, то картошку почистить. Только морока одна и неудобство получалось – Дуся давно научилась своими горелыми руками любую работу выполнять, хоть стирку, хоть шитье, это вам не математику учить! Кира Дмитриевна все мечтала, как она освободится и поедут они втроем к Кириной маме, станут жить в большом красивом доме. Может, и сестренка уцелела, вот обрадуется! Была у нее фотография – две похожие девочки сидят в обнимку, на них чудные платья, шляпки, светлые длинные шарфы. Дуся таких нарядов и не видала никогда. На обратной стороне было что-то написано по-иностранному и стояли цифры – 1932. Кира Дмитриевна эту карточку просила хранить среди самых важных документов. Да Дуся и сама понимала, что это ей единственная память из прошлой жизни.

Нет, не мучилась она, даже не успела понять. Так люди рассказывали. Все бревна сразу рухнули, вроде крепление оказалось слабое. Дуся смотреть не пошла, не от страха, покойников она не видалась. Но такая тоска напала – ни закричать, ни дыхнуть. Не хотела она Киру Дмитриевну изуродованную и раздавленную в памяти хранить.

Валечка ничего, конечно, не понимала, ей пятый годок шел. Играла в свои камушки. И вдруг напал на Дусю ужасный ужас – вдруг хватятся, вдруг узнают да заберут девочку!! Сама не помнила, как собрала главные вещи – карточку Кирину, книжки, что от Станислава Гавриловича остались, одежонку. Девочку закутала в Кирину скатерть. Господь пожалел, к ночи уже добрались до станции, мужик один подвез с полдороги. В Княжпогосте и осели.

От греха Дуся решила никому не открываться. Одна старуха им угол сдала, почти без денег, хорошая попалась старуха. Дуся устроилась убирать в местную школу, документы новые оформила, вроде как погорельцы они с дочкой. И притворяться особенно не пришлось, только глянули в сельсовете на руки ее да голову облезлую, ничего больше не спросили. Девочку Дуся записала Валентиной Петровной Булыгиной, чтобы не путаться, она ж сама была Евдокия Петровна. Так и выжили.

Главное, Валечка ее первой отличницей стала, первой на всю школу! Ну просто все учителя хвалили – и по математике, и по русскому, и по немецкому, и даже по рисованию. И как хорошо, что Дуся тогда именно в школу убираться пошла, весь день девочка на глазах, не голодная, и не обидит никто.

А недавно сам директор вызвал Дусю к себе в кабинет и стал говорить на «вы», хотя сроду ее никто так не называл.

– Евдокия Петровна, вы же знаете, что у нас только восьмилетка. А Валя заканчивает отличницей по всем предметам, ей нужно учиться дальше. Что вы думаете, например, по поводу педагогического училища? Есть хорошее училище в Архангельске, студентам полагается общежитие. Мы можем хлопотать о стипендии.

Сердце забилося от радости, аж из груди выпрыгивает, но Дуся собралась с силами и ответила достойно:

– А что ж! Можно и в учительницы. Такую девочку в любом городе возьмут. Еще спасибо скажут!

Вот так и выучилась ее девочка, стала учительницей младших классов, самой главной, с нее у деток вся жизнь начинается! Даже песня такая есть, «учительница первая моя», Дуся, сколько ни слушает, каждый раз плачет почему-то.

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Борис Крутиер

ПО СЕГОДНЯШНИМ ЦЕНАМ

Пока клоун не заплачет, публика не рассмеётся.

Каждый берёт от жизни то, что до него не успели взять другие.

Фемида, бля, комедия!

Гений – это талант, не знающий чувства меры.

Всё, что власть обещала народу, народу ещё предстоит выполнить.

Жить по совести ещё труднее, чем на одну зарплату.

Не спеши ругать прошлое, пока не поживёшь в будущем.

Тотальная коррупция: годы и те берут.

Договориться с дураком можно только на его условиях.

Робкие любят правду издалека.

Чувство долга растёт, когда не с кем его разделить.

Чем сильнее кипит возмущенный разум, тем быстрее испаряется здравый смысл.

Чем выше обстоятельства, тем удобнее на них всё сваливать.

Очередь создает иллюзию, что всё ещё впереди.

Плохому певцу мешает хорошая акустика.

Жизнь – это комната смеха с четырьмя стенами плача.

В цепочке доказательств эволюции обезьяны человек – самое слабое звено.

Ничто так не портит оппозицию, как власть.

Нет такого безвыходного положения, в которое бы мы не могли найти вход.

Чужим умом Россию не понять, а своим – крыша едет.

Как мало человеку надо для счастья и как много помимо него.

Сколько передовых идей родилось от задних мыслей.

Ничто так не способствует превращению оазисов в пустыни, как строительство пирамид.

Реалист верит только тем сказкам, которые сочиняет сам.

Не затыкайте ему рот! Пусть все знают, что ему нечего сказать.

Место для подвига часто оказывается у парашу.

Человек рождён для счастья, как слон для балета.

Прижизненное издание мемуаров грозит потерей друзей на этом свете, посмертное – на том...

Нигде так часто герои не умирают от любви, как в любовных романах.

Если рабам дать волю, век свободы не видать.

Яркие женщины, как звёзды, гаснут так быстро, что не успеваешь загадать желание.

Не дай бог оказаться на пути рождённого ползаты! Затопчет...

Чем меньше женщину мы любим, тем больше у неё остаётся времени на личную жизнь.

Бросить жить гораздо легче, если сначала бросить пить и курить.

На красивых женятся мужчины, лишённые воображения.

За вчерашние грехи расплачиваться приходится по сегодняшним ценам.

Если ты мыслишь, то на что ты тогда существуешь?

Мудрость – это умение вовремя прикинуться дураком, чтобы не выглядеть идиотом.

Жизненный опыт помогает планировать ошибки заранее.

Личное дело перестаёт быть личным, как только его прономерируют.

«Быть или не быть?» – это проблема, «Будь что будет!» – решение.

Пошли дурака за бутылкой, так он только одну и принесёт.

Иван Милых

МЫ ЖИЗНЬ ВКУШАЕМ НЕ БЕЗ БОЛИ

НУДИСТИКА

На пляжах нежатся счастливчики
у прибрежной полосы:
одни снимают прям щас лифчики,
другие – сняли уж трусы.

А третьи – сняли то и это,
ведь им никто не запретит.
Пейзаж – пригожий для поэта,
но, право, это мне претит.

ПОД КАРА-ДАГОМ

Напрягаясь с каждым шагом,
мы бежали под Кара-Дагом.
Вдруг подумалось: чё бежим?
Может, ляжем и полежим?

И легли, и лежмя лежали,
и касалась ты тихо мя...
Меж ветвей облака бежали.
И бежали они – бегмя!

«МИЛЫЙ ДРУГ»

Сжимая тело круассана,
читал я книгу про Жужу.
Гляжу: красotka Мопассана
пчелой порхает по пляжу.

Я встал. Уже без круассана.
И к ней вальяжно подхожу:
«О кто вы?» А она: «Оксана!»
«Но почему же не Жужу?»

«Та я... оце... осьо... отута...»
Мне стало ясно, как ежу:
то – не Жужу! И потому-то
заткнулся я и не жужу...

ВОСХОЖДЕНИЕ

Я дошёл до Кучук-Енишара¹
и котомку вознёс на спине.
Если что-нибудь мне и мешало,
то осталось это при мне.

ЯПОНСКИЕ АКВАРЕЛИ

(Из Максимилиана)

На террасах у Тамары
мы порхали в прошлый раз.
Я промолвил: «Утамаро
мог бы сделать вас анфас!»

«Фас? – спросили вы. – Иди же,
укуси-ка, покусай!»
Так я понял, что вам ближе
Кацусика Хокусай.

ПОБРОДИТЬ БЫ В ТУМАНЕ С ТОБОЮ

Первый мужской романс

Побродить бы в тумане с тобою, мой друг!
Ну а лучше, чтоб не был туман.
Просто б – нежность и грусть разливались вокруг,
как про это писал нам Т. Манн.

Побродить бы в тумане с тобою, мой друг...
Да, пусть всё-таки будет туман!
Чтобы нас в ароматы упрятал урюк,
чтоб абрек не набросил аркан.

Чтобы кто-то из урок не тронул курок,
как Темрюк, не воздел нас на крюк,
утаимся, мой друг, в наш туманный мирок!
Наш урок – не кирдык и каюк.

СЕДИНА В БОРОДУ

Была б у женщины седая борода...
Вот это б да!

¹ Коктебельский пригорок, на котором похоронен М. Волошин.

Я ДОЛЖНА ПОНЯТЬ ТВОИ УРОКИ

Второй женский романс

О заре проснись и на заре же
задрожу, как тополиный лист:
ты меня когда-нибудь зарежешь
под осенний свист.

А пока ты думаешь, мочить ли
иль живой натешиться вполне...
Знаю, мой рачительный мучитель, –
это ты учительствуешь мне.

Я должна понять твои уроки,
я должна окрепнуть до зари,
чтоб уйти, когда настанут сроки
и не попросить: «Со мной умри...»

ПУЩЕ, ЧАЩЕ И ВАЩЕ

Пуще прежнего и пуще...
Может, встретиться нам в пуще?
Может, встретиться нам в чаще?
И ваще – встречаться чаще?

ПО УЛИЦЕ ХОДИЛ

Смотрела ты погоду на Gismeteo
и куталась теплее в одеяло:
и снег, и дождь, и тучи, мол, несметные.
А глянул я – и солнце воссияло.
«Но как же так?!» – спросила ты взыскующе.
А так, мой друг!
Ведь днями и ночами
ты в одеяло куталась тоскующе,
а я – ходил свл...
лсвл...
с влюбленными очами!

САРКОЗИ И БРУНИ

Как Саркози ты ни брани,
он выбрал все-таки Бруни.
– Рази меня, – сказал, – рази!
...Я сразу понял Саркози.

* * *

Со срачицы² своей следы губной помады
ни всуе, ни вотще я не хочу стереть.
Остались оне, свидетельства улады,
как памятка на мне – вообще, отныне, впредь.

О, срачица моя!.. Пусть, белизну теряя,
со мной она влачит отмеренные дни!
В разлуке, топ аті, забуду ли тебя я –
чьи очертанья губ на срачице видны!

Опять кричала в ночь, пророча, надрываясь,
неясыть (а порой – почти что неясыть)...
Но сладок мне удел – не мучаясь, не каюсь,
на срачице своей твой знак любви носить.

НА БЕРЛИН!

Когда ты поедешь в Берлин,
в берлогу Европы, один,
то знаешь, милоч,
возьми-ка мелок —
напомнить, что мы победим!

Когда ты приедешь туда,
пройдись, не бойся труда:
увидишь рейхстаг,
где был русский стяг
и красная, наша звезда!

Всё похрен – рейхстаг, бундестаг...
Там был и пребудет наш стяг!
Ты вновь, как бойцы,
как наши отцы,
«Дошли!» – напиши. Не в напряг?

В РАЗДУМЬЯХ

Я шёл и думал, думал, думал...
А ветер дул, и дул, и дул...
И вдруг такое я придумал,
чего не смог мой друг Федул³.

² Срачица (црк) – сорочка, исподняя одежда (В. Даль).

³ Федул – это друг автора.

Вячеслав Шановалов

ОЧЕРЕДНОЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

ПЕСЕНКА КАНДАГАРСКОГО ДЕДА В ЯПОНСКОЙ КОМАНДИРОВКЕ (С ПРИПЕВАМИ)

Перевод со старшесержантского

сюда где остров сахалин не долетает баргузин
зато допёрли зейбаржанец и грузин
дома на слом борьба со злом и тектонический разлом
и сам себя под ор подъём зовёшь козлом

дурилы не обижайте курилы
вам вилы когда сибирь от москвы полыхнёт
приказы кругом памирокавказы
заразы и каждый вор и проглот

венки сынок владивосток вот радиации исток
в груди лимонника листок и стронций бел
а дальше шайка фукусим но ими я не укусим
залп град калаш макар максим вот мой удел

японцы айда лишенцы в чеченцы
червонцы и всем народам шахидский прикид
россия стакан о чем ни спроси я
мессия без виз зашит вечный жид

трянуло блять а наплевать под одеялом благодать
хоть тыщу лет проголодать придется нам
восходит день бежит олень дорожке женщины женьшень
хрен на часах торчит как пень и сам ты хам

далёко алеет бомба востока
дум стоко что ты земля хоть волком завой
всё злее всё горячее и круглее
та гея что греки звали землёй

я тут в месяце таммуз духовной жаждою томлюсь
меня не душит здешний груз иди всё нах
мир мглой томим мне скучно с ним где вечен и невыразим
всех шестикрылых хиросим дымится прах

не званы вот-вот придут океаны
барханы дрожат от бурь закипевших вдали
за нами ещё вернётся цунами
и нас утащит туда откуда пришли

КАИНОВА ПЕЧАТЬ

Камень с межзвёздных окраин замер в витринном окне.
Сторож ворчит ему: «Каин!» – эхо молчит в тишине.
Шрамы вселенских окалин, зла обожжённая плоть.
Камня по имени Каин запросто – не расколоть.
Хаоса старый подранок щерится: вы – это мы! –
царственный братский подарок братоубийственной тьмы.
Не покорён, неприкаян, памятный пламень и лёд,
камень по имени Каин, Взрыва Большого оплот.

А на стекле, как над бездной – рюмки, бутылка и хлеб,
некий пунктир бестелесный – дорог, мгновенен, нелеп:
нас уже завтра не будет – призрачен радостный кров,
горсть лихорадочных судеб и муравьиных миров.
Неугасимая сила, непререкаемость зла
свергла тебя, уронила, нас ли к тебе вознесла? –
выпей, воробышек, с нами, вечности бедная тварь! –
мы постигаем и сами муки вселенской букварь,
неощутимое бремя, бесчеловечную высь
там, где пространство и время в схватке смертельной слились.
Смертная доля благая повелевает молчать,
молча на нас налагая каинову печать.

КОГДА-ТО ЮБИЛЕЙНОЕ

Сакский крым. Домики немецкие.
Братья Grimm. Сёстры Каменецкие.
Белый бант. Школьницы советские.
Ницше. Кант. Сёстры Каменецкие.
Залпы – пли! – университетские:
Вы-рос-ли сёстры Каменецкие.
Юный строй, корпуса кадетские –
Век-герой, сёстры Каменецкие.
Гулко мчат вёрсты молодецкие –
Дым и чад, сёстры Каменецкие.
За окном – пляски половецкие.
Мир вверх дном, сёстры Каменецкие.
Пой, якут, эпосы ненецкие! –
Пишут труд сёстры Каменецкие.
Гибель! Бред! Головы стрелецкие,
Русский бренд – сёстры Каменецкие.
Век – ушёл. Дни – орехи грецкие:
Щёлк да щёлк, сёстры Каменецкие.

Даль мертва. Кодлы люберецкие.
Брат. Брат-2. Сёстры Каменецкие.

Лёг Бейрут в рельсы павелецкие:
Берег крут, сёстры Каменецкие.

Дух и плоть, дочери неотецкие –
Глянь, Господь: сёстры Каменецкие.

Лей-налей – льются слёзы детские:
Ве-се-лей, сёстры Каменецкие!..

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Дружба опять расправляет крыла,
Всех ублажила и всем дала,
На спор диаспор, без паспортов,
Между кебабов и квёлых тортов
Хитрые сошлись дураки,
Саксаулы чресла чешут свои,
Спецслужбы бодрствуют до зари,
Но им не погасить огня
На юбилее у Рудаки,
На юбилее у Навои,
На юбилее у Кашгари,
На юбилее у меня.
Облака летят, на короткой ноге
С действующими президентами СНГ,
В глазах у осадков сухой вопрос:
Не надо НАТО – на шо с нами ШОС?
(Укр. вариант: на що з нами Щорс?!.)
Идёт по улице, делая крюк,
В тюбетейке с перцем старый урюк,
Над урюком – истории гнётся лоза,
У урюка печально мудры глаза,
А в глазах мечта – повидать шурави
По те же чресла в шуравской крови,
В сутолоке ихних горных рек,
Где люди похожи на мурашей,
Под сладкую дробную песнь калашей
Об том же мечтает любой абрек,
Дедушка ножичком шорк да шорк,
Премию пропил писатель Торк,
Капает дождь, на Руси не форси,
Едешь в такси – не трепись на фарси,
Не обольщайся, надо – солги,
Ибо мы лжём, отдавая долги,

Зря фотографии не храни,
Старшему брату мозги не долби –
Иншалла, день ангела аль-Фараби,
За ним ещё, блин, юбилей Бируни,
Низами, Лахути, захоти – Саади,
Только сзади
С пушкой
Не подходи...

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

...не сдадим Гибралтара!

А. Цветков

1

измученный беглец забвенные года
костёр из пыльных книг казахская столица
российской зауми растерянные лица
культурных мук страда смертельных рек вода
хранитель – но чего? – в аркадах растворён
в витринных заревах в потустороннем блеске
в изломах скорбной бронзы в оглумлённой фреске
в смешенье летописей в толчее времён
в надтреснутой тоске палаческий топор
недрогнувшей руки хранит посыл железный
кипчакской конницы ваятель бестелесный
пахан аланских гор созвавший беломор
сквозь численник эпох он в сонме эвридик
где на щеках орфей беспамятного взора
с ветхозаветных пор вор ждущий приговора
блаженно к роднику познания приник

2

Юрий Домбровский шестьдесят девятый год
и оттепели крах и культу обрезанье
за черепом своим приходит обезьяна
но позабыла путь и плюс куда ведёт
музей обрубок тьмы где Азия и Русь
в имперской тесноте и сытости консервной
сошлись на точке под названьем город Верный
а он и впрямь был верным в этом поклянусь
печальный таракан районный геродот
поскребыш-палимпсест британний и италлий
где взора слепота и теснота деталей
тоннель в чужую боль рот-фронт пророеет крот

3

что прячется во тьме кто плачет там во мгле
 что значит там в окне мгновенье силуэта
 чей зайчик солнечный столь жданного ответа
 улыбка на холсте и фрукты на столе
 полёт высоких волн небес бездонных твердь
 неузнанного зла незрячая гримаса
 забытый возглас сна расколотая ваза
 и полевых цветов задержанная смерть
 Домбровский водку пьёт а как её не пить
 свершилась конференция литературоведов
 и Эткинд с Жовтисом неплотно пообедав
 столетье ленина стараются забыть

4

глагола охранять с глаголом сохранить
 уже не породнить и несогласных вешать
 инопланетных сфер возвышенная нежить
 нам свыше разум дан чтоб прошлое забыть
 вот поезд пролетел качнулся колосок
 душа взлетела к выси звон прощальный долог
 хранитель где зеркал неведомых осколок
 поймавший луч звезды стучащейся в висок

ФОТОГРАФИЯ НА ПУТЕВОДИТЕЛЕ ПО ИЕРУСАЛИМУ

...В премежах жребия земного.

А. Пушкин

Горит восток зарёю ближний – и Шестидневная война,
 как и предсказывал Всевышний, иных пьянит силъ ней вина.
 Честолюбивого итога здесь ожидали, видит Бог,
 отбросив гога и магога за их невидимый порог.
 Как некогда во время оно – от крови скользкая тропа.
 Под стенами Иерихона счастливая поет труба.
 Осыпанная пеплом слава. Полудержавный властелин,
 столь триединый величаво, звучит: Наркис, Даян, Рабин.
 Мир пахнет порохом и кровью, как в День творения Шестой,
 оборотясь к средневековью и встав в грядущем на постой.
 Сии птенцы гнезда Сиона в премежах жребия земного
 идут, сомненьем не греша,
 полки ряды свои сомкнули, в их юношеском карауле
 мягчеет древняя душа.
 Смоковницей и виноградом сочтут века. А в остальном –
 все тот же плач, всегда он рядом:
 – Авессалом! Авессалом!..

Но нет, победы миги сладки, мир на коротком поводке
и гордо стиснуты перчатки в мошедаяновской руке,
вновь древней распри юный возглас,
и снова, словно на века,
реанимированный возраст гордыни, Бога, языка.
И, древнею лозой обвита, как в День творения Шестой
горит, горит звезда Давида
над Соломоновой звездой.

ИЗ ХАИМА НАХМАНА БЯЛИКА

Ничего на свете не имею –
На свету времён один стою,
И не имею, и печаль свою
Сердцу близкому открыть не смею.

Никому я ничего не должен –
Искоркой лишь малою согрет.
Молот бед, о, как ты неумолчен! –
Сердце не из камня, молот бед!

Но когда скала от муки треснет,
Вскрикнет в бездне каменной судьба,
Слабый голос долетит сюда –
И родится жизнь, и свет воскреснет...

КИРГИЗСКИЙ ДИСКУРС. 2010

дитя человечье бездомная лёгкая серна
пересекает шоссе пугает луну вспугнута псами
юность бежит и рвётся бедное сердце
путь завершает земной да вы помните сами
дитя человечье под хоровод звездопада
в свете фар творит истерзанный танец
на жаркой дороге что целую ночь остывала
в серебряных слепках копыт без остатка истаяв
о вот она возвращается с гор молодая элита
и бентли шумят парусами над пыльной волною
к болотам на севере молча стекает долина
кремнистый путь горит и плавится под луною
дитя человечье как одиноко и слепо
предчувствие давит на грудь и велит ты гори там
и существительное по имени небо
впотьмах откликается керосиновым метеоритом
дитя человечье нас ждут в небесном аиле
забвенное имя и прошлого стылые стога

голодные злые борзые опять затравили
дорогу и пешеходов и дом и ждущие окна
предчувствую ужас провижу сестёр на кружале
детей пригвождённых вилами к стенам
лицо гражданской войны роддомы где нас рожали
чумную зарю над Ошом Джал-Алабадом Узгеном
павшие толпы в нелепом смертном поклоне
неубранных тел неотпетых непогребённых
ребёнка в оранжевом платье на мёртвом балконе
распятые деревья и тоже над каждым ребёнок
вот площадь иуда сыт по горло осиною
от зверя разит перегаром дрожа обнажилась держава
толпа полыхает со всей пренатальной силой
тужится вспомнить по имени лоно пожара
смерд копоть и смерть столетия спасаются бегством
реченья черты и надежды вливаются в реку
уже на дунганском уйгурском турецком узбекском
заплакал поток убегающий к новому веку
расхристанный ропот беженцы и границы
безглазые лики жилищ гром в бронхах подонков
что было в нас вложено в памяти не сохранится
убежище предков умрёт в экскрементах потомков
кентавры суккубы сатиры из частной отары
и мелкие бесы из позднего скучного мифа
всё позже сольётся в невнятные мемуары
в немыслимом танце отродья скуластого скифа
дрекольё и факелы над собой воздымая
на грязную плоть водружая гранатомёты
вновь пересекают вселенную месяца мая
тени дождя о брат мой клыкастый ты кто за кого ты
и вслед за весною спалившей себя до травинки
смеясь волоча автомат с лицом гамадрила
бредёт мертвоглазая осень по наркотропинке
в крови дотлевают холодный оргазм эфедрина
ночь зимняя сказка дней безымянная смена
полёт гуманизма приторный сон шелкопряда
и снова дитя человечье бездомная серна
и бредит луна и под небом узор винограда

ОЧЕРЕДНОЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Ледник, отступая, птясь и оглядываясь назад,
оставляет за собою память о Ледниковом
Периоде. Среди прочего, это они –
глазастые валуны на склонах, глядящие на закат
глазами памятников, ещё не затронутых Словом,
а также катящиеся, дробящиеся, размывающиеся дни.

Человек – мгновенье бабочки на вечности цветка,
но и он, подобно Леднику, оставляет за собою
эпоху длиною в геологический срез.

Нахлынет мутный, как весенняя река,
Дар – способность почуять тропу к водопою
и исчислить шизоидные алгоритмы небес.

Дар, отступая, покидая тело и душу Икс,
оставляет за собою память о голосе Бога:
так на дне души наркомана – страх утратить иглу.
Поэтому многократно описанный Стикс
с Хароном, etc – не столько последняя дорога,
сколько тропа к водопою, ведущая, впрочем, во мглу.

Остаются камни воспоминаний, сухой песок
событий и прах всего сущего. Что ещё? – разве
что сожаленье о Даре, ломка, ответ огня
веры, любви, надежды и др. – мгновенный бросок,
крик «Отец мой!», растворяющийся в пространстве
плач ребенка: «На кого Ты оставил меня?»

Мы творим ледниковый период, как заповедал нам Дар.
Мы творим свои подобья из подручного материала,
в пределах отпущенного срока, без смысла и без числа
содеенного. Если бы Господь не был так стар,
вселенная на Шестой День не много бы потеряла
при наличии Его возвышенного ремесла.

На кой же чёрт наплодил Ты, Господи, малых сих,
наделал – из праха, из ребра, а после изгнал из рая?! –
подумал ли Ты о том, что хватка-то у них – Твоя,
что высечет вещую руну на кровавом кострище псих,
в календаре обозначит пришествие месяца Мая
и миг летящий затвердит на скале бытия.

В чём же мы виноваты? В том ли, что пытались творить –
и наплодили тварей, то бишь ублюдков, то бишь подобий,
своих ли, Божьих – поди разбери...

Что же поделать, коли Дедалу не суждено парить,
а Икару – морить минотавров в лабиринтах надгробий,
как же быть нам, Боже, при свете новой зари?

И вот Тебе всё надоело, и Ты решил завязать.
Ладно, спасибо, Создатель, за эксперимент рисковый,
за небо, над нашей судьбою разверзшееся давно.
Ты нас научил говорить – но есть ли нам что сказать? –
над изморозью родниковой висит эффект парниковый –
Новый,
Ледниковый! –
взамен всего, что было дано.

ХОЛМ ПАМЯТИ

Влад Соколовский

В ЭТОЙ РОВНОЙ ПУСТЫНЕ

МАРТОВСКИЙ СПЛИН

Мой ангел смерти, вписанный в трамвай,
Сложил крыла под заднее сиденье
И прикорнул на ситцевом плече
Своей очаровательной соседки.
Он, словно птица в бело-синей клетке,
Сидит на жёрдочке пластмассового стула –
Живое воплощение караула,
Вместившего в себя и ад, и рай.

Весь город сдался мартовским дождям,
Залиты улицы, и чавкают штиблеты
В грязи коричневой с асфальтом пополам,
И девушка в колготках Golden Lady
Несётся вдаль в своем кабриолете.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

Принципы стихосложения оставляют следы на бумаге.
Но не видеть мне звёзд озарения, как увидел их Тихо Браге.
«Тихо, браги, – скажу, – мне налейте за Джордано Бруно,
что мазан елеем,
Потому что костры уже выются и над Джорджией, и над Брунеем».
Уже где-то сопит соперник, разводя втихаря спиртягу,
Потому что он, как Коперник, ощущает к напиткам тягу.
Ну а мы споём по-английски нашу старую добрую «Аббу»
И увижу тебя я так близко, как не виделся Сириус Хабблу.
Космонавты большого полета, хоть не Армстронги и не Гречки,
Только тоже летать охота, и начнём танцевать от печки.
И начнём кружиться, как звёзды, по эклиптикам и орбитам.
Астрономы любви. Как всё просто – от надиров снова к зенитам.
Ну не вечер – урок астрономии.

Никаких последствий для жизни –
Центробежность и центростремительность
смертный бой ведут в организме.
Только утром с большого похмелья
погляжусь я в карманное зеркальце –
И воскликнется галилеево: «Почему же вокруг всё вертится?»

ИЗ «КАРАКАЛПАКСКОГО ЦИКЛА»

4.

Султану Текишу

В этой ровной пустыне шириною на тысячу лет,
В чёрно-белом песке, что хрустит под ногами, как корка,
Вплоть до самого неба стоит твой кривой минарет.
Рядом твой мавзолей с голубою лазурью – хрустальная горка.

В эту странную землю захочешь – и не попадёшь.
Здесь дорогу песок занесёт, а на самой границе –
Некто в синем мундире под лозунгом «Врёшь – не пройдёшь!»,
И ведь выше его только вечно свободные птицы.

Я лежу на спине, отменив восемь с лишним веков.
Облака всё текут, и к Востоку торопится Запад.
Минарет их впитает, кирпич его из облаков,
На солёном песке я украдкой пишу слово *пахад*¹.

Это страх перед будущим прошлым, которого, в сущности, нет,
Это ад одиночества имени Акутагавы.
Это мой ежедневный закат без надежд на рассвет,
Ощущение себя бесконечно безумным, влюблённым и старым.

Я – твой город, Текиш. Ты отстроил меня у земли.
Я – плотина из глины и досок, что рушат монголы.
Я – река, я сношу этот город, и бьются в осевшей пыли
Сотни тысяч любовей, миллионы сердец безглагольных.

Что осталось, Текиш? Что останется после меня?
Да и нужно ли снова и снова гадать и не ведать значенья?
Надо жизнию смерть попирасть, и ещё до скончания дня
Я любовь оживлю. И, наверно, начнётся Спасение.

5.

Вновь ухожу из обжитого мира
В песок, буран, заносы и пургу.
Прощай, моя уютная квартира.
Я оставаться больше не могу.

Оставлю дома груз воспоминаний,
Скарб, нажитый таким большим трудом.
Рука болит от многих расставаний,
Мала планета, но далёк Твой дом.

Мой брат Харон, свези меня туда,
Где есть автобус в сторону Нукуса.

¹ Пахад (*иврит*) – страх.

Трут задницу газетою «Постада»
Там два вполне оформленных шулбуса².

Когда же Цербер в список занесёт
Прописку, пол и прочие приметы,
Автобус по пустыне поползёт
По берегам великой Аму-Леты.

Остатки хорезмийских крепостей
Меня не остановят в том походе.
Для них готова куча новостей
О том, что я уже почти свободен

От мыслей, от историй, от чудес,
От невообразимых карнавалов,
Поскольку пусто без Тебя окрест
И мира без Тебя мне мало, мало.

В Куня-Ургенче заберусь на минарет,
Хотя попасть туда и невозможно.
С него увижу твой остывший след
И полечу к нему неосторожно.

Судьба, ату, ищи тот след, вперёд!
Ведь твой хозяин глуп и слеп, безумец.
Земля и небо водят хоровод.
Пусты кафе и тротуары улиц.

Оставь, Судьба, не надо, не ищи.
Наш мир так мал. А встреча нереальна.
Тебе от дома я отдам ключи.
А сам уйду в песок дождём случайным.

* * *

но есть город в горах из двух сотен домов
в нём всего пять мощёных улиц
но зато там в достатке котов и дворов
сверху в реку глядит он сутулясь

там зарю на рассвете петух пропоёт
там черешню клевать будет майна
и жужукнет как муха большой вертолёт
к горизонту взлётев вертикально

² Шулбусы – в мифах монгольских народов и саяно-алтайских тюрков злые духи, демоны.

МИРАЖ

Я – мещанин тринадцатого класса,
Живу на третьей линии песков,
Где корабли пустыни, сдавши кассу,
Швартуются у саксаула снов.
Закат шальной окровавил округу:
Песок, колодец, глинобитный дом.
Лишь едкий дым костра приветом другу
Взлетает вверх в сознании моём.
Под чёрной тканью скрыв черты лица,
Выходит девушка, чтоб напоить верблюдов.
Темнеет. Диск Луны, и звёзды без конца,
И призрачное звяканье посуды.
Откуда-то кузнечик верещит.
В костре стреляют ветки, и, печален,
По беззаконию вдруг ветер загудит.
Посёлок пуст и даже нереален.
Как будто в мире больше нет жилья.
И нет людей, лишь пустота забвенья.
Планета охладевшая, ничья,
Назад отсчитывает все семь дней творенья.
Светает. Пеплом поросли дрова,
И караван-баши зовёт в дорогу.
Уходит за барханы караван.
Вслед машет девушка – пустынный ангел Бога.
С её уходом всё затихнет вновь.
Песок по крыши занесёт посёлок.
Лишь под песком бушует злая кровь,
Предвидя караван – пути осколок.

КОГДА ЕДЕТ КРИШНА (С ИСПАНСКОГО)

Когда в темноте Вселенной
С тобой мы найдём друг друга,
Подумай о том, что будет,
Если ветер подует с юга...
Если ветер подует с юга,
Будут жаркими поцелуи,
Нас охватит пустыня страсти,
И всё медленно и ненасытно...
Но начнётся песчаная буря,
Занесёт нас, закроет, закрутит,
И уже никогда не найдут нас,
Мы исчезнем в песке безвременья,
Если ветер подует с юга...

Когда в темноте Вселенной
Наши ветви сольются в дерево,
Подумай о том, что будет,
Если ветер подует с севера...

Если ветер подует с севера,
То снежинки закружатся в танце,
Нас обнимет сумрак мороза,
И всё медленно и печально...
Но начнутся снежные вихри,
Занесёт нас, закроет, закрутит,
И уже никогда не найдут нас,
Мы исчезнем в буране снега,
Если ветер подует с севера...

Когда в темноте Вселенной
Ничто не станет преградой нам,
Подумай о том, что будет,
Если ветер подует с запада...

Если ветер подует с запада,
Задрожат пожелтевшие листья,
Нас пьянит пряность позднего парка,
И всё медленно и спокойно...
Но начнутся вдруг листопады,
Занесёт нас, закроет, закрутит,
И уже никогда не найдут нас,
Мы исчезнем в листве забвенья,
Если ветер подует с запада...

Когда в темноте Вселенной
Любовь не станет жестока,
Подумай о том, что будет,
Если ветер подует с востока...

Если ветер подует с востока,
Зацветут шиповник и вишня,
Нас напоит их пьяный запах,
И всё медленно и свободно...
Но начнётся цветение тополя,
Занесёт нас, закроет, закрутит,
И уже никогда не найдут нас,
Мы исчезнем в пуху тополином,
Если ветер подует с востока...

Когда в темноте Вселенной
Мы с тобой, может быть, столкнёмся,
Ни о чём, прошу, ты не думай,
Подойди и спроси: «Ты танцуешь?»

Публикация Вадима Муратханова

Евгений Абдуллаев

*«КОГДА МЫ СТАНЕМ
ТИХИМ БЕЛЫМ ЭХОМ...»*

Не мной замечено: стихи недавно ушедшего поэта – палимпсест; когда читаешь, начинается проступать второй, провидческий – в отношении своей судьбы – смысл. Особенно если поэт был твоим другом.

*Когда мы станем тихим белым эхом,
И этот мир засыплет чёрным смехом,
И синий кот уснёт в слепой ночи,
Я упаду на жёлтые преданья
На старом окровавленном диване
И в топку памяти подброшу кирпичи.*

Он одним из первых среди нас стал этим тихим белым эхом. «Нас» – ташкентских ребят-очкариков, где-то начала семидесятых рождения, где-то конца восьмидесятых поступления в университет – не уточняю какой, поскольку университет тогда в Ташкенте был только один. Ташкентский. Государственный. Имени. ТашГУ, одним словом. Был одним из учившихся в нем как раз в недолгий период свободы между застоём и отстоем. Ну и бардака – тоже. Потому что – какая же свобода без бардака?

Но пока не буду подбрасывать в топку памяти кирпичи. Еще не остыла боль, а писать воспоминания нужно, когда все осядет, когда промоются все детали. Пока – только о Владе как поэте.

Впервые столкнулся с его стихами курсе на третьем. Достал из почтового ящика конверт; даже не помню, что значилось как обратный адрес. Вскрыл. Конверт был набит стихами. Эпиграф был из Гребенщикова: «Не целовался я с тобой ни разу, / мой омерзительный безногий друг». Дальше шли такого же рода стихи – веселый талантливый стеб. Путём умозаключений вывел, что к делу причастна девушка, с которой тогда дружил, – незадолго до того она как раз уточняла мой домашний адрес. Во время ее допроса и всплыли фамилии – Каплан и Соколовский. Студенты ПММ – факультета прикладной математики и механики. Главный акын – Соколовский. Тогда же видел его где-то мельком – стройный, носатый, ироничный.

Конверт со стихами не сохранился. Влада – позже, когда сдружись, – не спрашивал об этой проделке. Да и сам он писал уже другие стихи. О тех, прежних стихах можно судить лишь по текстам вроде «Астрономической лирической»:

Принципы стихосложения оставляют следы на бумаге.

Но не видеть мне звёзд озарения, как увидел их Тихо Браге.

*«Тихо, браги, – скажу, – мне налейте за Джордано Бруно, что мазан елеем,
Потому что костры уже вьются и над Джорджией, и над Брунеем».*

*Уже где-то сопит соперник, разводя втихаря спиртягу,
Потому что он, как Коперник, ощущает к напиткам тягу.
Ну а мы споём по-английски нашу старую добрую «Аббу»,
И увижу тебя я так близко, как не виделся Сириус Хабблу...*

Потом были две-три случайные встречи в транспорте, разговоры об общих знакомых, о Диме Каплане. О стихах – а оба в это время писали, но втуне, не публикуясь, – ни слова. Вообще, говорить в 90-е о своих литературных занятиях было как-то даже дурным тоном. Нужно было выживать, работать, «чего-то делать». Литература к разряду этого «чего-то» не относилась. Эти годы заставляли нас быть не тем, чем мы должны были быть. Это закаляло, но это же и убивало. Нет яда сильнее внутреннего яда нерожденных стихов.

В начале 2001-го пришло письмо от Вадима Муратханова: он, Санджар Янышев и я делали второй, но по сути – первый «взрослый» альманах «Малый шелковый путь». Делали своеобразно – Санджар из Москвы, Вадим из Ташкента, я тогда из Йокогамы. Вадим ведал ташкентской частью, отыскивал все, что осталась в Ташкенте талантливого и стихотворческого. Он мне и прислал тексты Влада, заметив, что «вы, кажется, знакомы».

Тогда, во втором выпуске «Малого шелкового пути», и состоялся, если не ошибаюсь, дебют Влада. «Султану Текишу» из «Каракалпакского цикла». «Когда едет Кришна».

И небольшой стих про «город в горах»:

*Там зарю на рассвете петух пропоёт
Там черешню клевать будет майна
И жужжукнет как муха большой вертолёт
К горизонту взлетев вертикально.*

По работе Влад много ездил по Узбекистану, словно открывая его для себя. В ту пору, в начале «нулевых», и была написана большая и, на мой взгляд, лучшая часть его стихов. Ироничная игра с цитатами и аллюзиями отходила на второй план, проступала «почва и судьба».

В те же годы я стал получать от него замечательные «травелоги» – очерки о его разнообразных путешествиях. Легкие, сжатые, ироничные – это был уже другой Влад, обещавший в ближайшем будущем Соколовского-прозаика. Приходили и его переводы с иврита: из Леи Аялон, Савьон Либрехт, Аарона Мегеда...

К моменту моего возвращения в Ташкент в 2003-м Влад уже переехал в Иерусалим. Как оказалось, окончательно. Семья, учеба, работа – все успевал, все получалось, жаль, что только стихов становилось меньше.

Перечитываю его письма. Письма человека, заваленного, слегка придавленного работой. «Прости, пожалуйста, у меня были жуткие две недели. Я в середине месяца был в Москве пять дней, отбирал народ на свою программу, замерз, неделю не был на работе, там все накопилось, теперь началась самая активная фаза – визы / билеты / программа / стипендии – во всех странах СНГ все по-разному, для Хена писал левак с обзором ситуации в Средней Азии, надо было на

этой неделе сдавать, а тут еще малой простыл, зуб у него лезет – недосып хронический – в результате дома думал, что успею ответить тебе на работе, а на работе ничего не успевал и надеялся ответить дома, а дома даже к компу не подойти. Так что вот».

В другом письме: «У нас работа заела все – я же должен выполнять в одиночку и организационные, и идеологические функции, а еще вести у них один курс, который тоже надо готовить, а еще в среду у меня зачем-то доклад на конференции в университете Бар-Илан о Чехове и Шолом-Алейхеме, а к докторату я уже пару месяцев как ничего не читаю, просто книжку не открываю, а малой круглосуточно висит виснем на Инке, и поэтому она едва успевает готовить, а вся уборка и покупка на мне, а еще когда я прихожу домой, то малой сразу вешается на меня, чтоб Инка успела хоть чуть-чуть пожить своей жизнью, а пт-сб я просто валяюсь трупиком и смотрю тупо скачанную киношку, ибо ни на что не способен, а тут еще отгремел Инкин 30-ник со всеми гостями и прочими сопутствующими, а еще весна и хандра, плюс понимание, что меня за такое раздолбайство турнут из доктората, и правильно сделают, а ко всему было бы неплохо еще добавить уроки вождения, к которым я страшно боюсь приступить, а время не ждет, так что весело. Это я не жалуюсь, это я факты перечисляю. А так все хорошо – солнышко, цветет все, временами заезжают друзья и вывозят нас то туда, то сюда, а малой растет, и у него уже 3 зуба, и он пробует делать 2-3 шага, но садится на попу, а когда он улыбается – это такой кайф. В общем, жизнь».

«Сто пятьдесят чужих стихов на мониторе...» – так называлось стихотворение, которое Влад прочел на последнем, шестом Ташкентском фестивале поэзии в октябре 2009-го, в свой последний ташкентский приезд. Прочел с легкой грустью – хотя Влад, казалось, вообще не умел грустить, не его это был жанр. Ну, легкая национальная печалинка во взгляде, а так – удивительно светлое, деятельное отношение к жизни, ко всему...

Ну вот, я опять срываюсь на воспоминания, хотя обещал о стихах.

Стихов стало меньше – но это было естественно; наступало – и у него, и у нас всех – время, когда «года к суровой прозе клонят». Он стал больше выступать как прозаик – не менее интересный, чем поэт, и, возможно, обещавший большего. Впрочем, нужно все собрать. Все, что осталось. Собрать, прочитать, по возможности – издать.

Как писала Лидия Гинзбург: «Смерть неимоверно повышает долю историчности в нашем переживании человеческой судьбы. Человек, которого мы плохо видим оттого, что стоим с ним рядом, вдруг, в некоторый неуследимо короткий момент, резко отодвигается и занимает место среди исторических, ретроспективно обозримых явлений: как все отдаленные предметы, он, в отличие от близких, виден уже не по частям, а сразу в системе».

Завершаю этой цитатой, поскольку сам найти слова для завершения не могу. Еще не отболело.

Вахид Мураббиханов

ЧЕЛОВЕК ПЕСКА

Принято считать, что поэту, для того чтобы состояться, необходимы талант и судьба. С талантом Владу Соколовскому повезло. Молодым человеком, пишущим в стол и мало уверенным в своем даре, он появился на пороге центрального в Узбекистане литературного издания. Встретил его авторитетный, по республиканским меркам, редактор. Почитал стихи и популярно объяснил начинающему автору, что не стоит тратить время на то, к чему нет призвания.

Через несколько лет ситуация изменилась. Ташкент покинули многие эмигрировавшие на север, запад и юг писатели, на его литературной карте стали появляться новые имена. Начиная с 2001 года Соколовский участвует в Ташкентских открытых фестивалях поэзии, становится автором альманаха «Малый шелковый путь». Новые редакторы оценили его поэзию: она оказалась удивительно созвучна и времени, и месту.

«Обостренное чувство прошлого, индивидуальной истории, поэтизация детства, стремление если не обратить время вспять, то по крайней мере осмыслить утраченное» – эти черты, отмеченные в манифесте объединения «Ташкентская поэтическая школа», в полной мере относятся к Соколовскому. Он был типичным поэтом «поколения тридцатилетних», выросшим на периферии империи. Смешанные чувства к своей-чужой земле находили выход в иронии. Некоторые его тексты, посвященные малой родине, звучат неожиданно жестко. Но иронизировать поэту приходилось и над собой, слишком глубоко ушедшим корнями в кызылкумский песок:

*Я – мещанин тринадцатого класса,
Живу на третьей линии песков...*

В пейзаже стихотворений Соколовского много пустыни. В ней исчезают приметы человека и отменяется история. На гребне бархана с одинаковым успехом могут возникнуть силуэт верблюда, колонист в пробковом шлеме, двурогий Искандер или библейский пророк. Места здесь хватает для всех времен и их обитателей, включая лирического героя. В «Каракалпакском цикле» – лучшем, на мой взгляд, из всего, написанного Соколовским, – эта архетипическая власть вневременного явлена наиболее полно:

*В этой ровной пустыне шириною на тысячи лет,
В чёрно-белом песке, что хрустит под ногами, как корка...*

В 2002 году Влад переехал в Иерусалим, где его ожидало то же, что и в Ташкенте, пограничное существование в пространстве соседствующих культур и языков.

И тот же незарастающий разлом между своим и чужим.

После репатриации поэт не покинул литературную орбиту Ташкента и вплоть до конца 2000-х активно участвовал в ташкентских литературных проектах.

Он успел проявить себя не только как автор ярких стихов, но и как оригинальный эссеист и переводчик. Его великолепное эссе об «Ильхоме», безусловно, украсило подарочное издание, приуроченное к двадцатипятилетию театра. Об «Ильхоме» писали многие, но ни один журналист и критик не признался в любви к нему так, как это сделал Соколовский.

Если профессиональный литератор не нащупал зерно завязывающегося в подсознании стихотворения, у него может родиться милая, ни к чему не обязывающая безделушка. Но талантливый неопит не может позволить себе «выехать» на мастерстве: он вынужден писать лишь тогда, когда пишется. Вероятно, к лучшему, что Влад Соколовский так и не стал профессиональным поэтом в полном смысле слова. Именно этот его благородный непрофессионализм, свобода от окололитературных игр и салонного цинизма «тусовки» помогли ему сохранить чистоту дара, оставить после себя ряд блестящих текстов, где его дыхание попадает в размер разбегающейся перед ним речи.

И наверное, не столь уж сурова к поэту судьба, если написанное им переживает его короткий век.

ИМЕНА

Евгений АБДУЛЛАЕВ (Сухбат АФЛАТУНИ) родился в 1971 году в Намангане. Окончил философский факультет ТашГУ. Один из основателей творческого объединения «Ташкентская поэтическая школа» и альманаха «Малый шелковый путь». Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат премии журнала «Октябрь» (2004, 2006), «Русской премии» (2005, за «Ташкентский роман»), премии «Триумф» (2006), премии журнала «Вопросы литературы» (2009), премии «Anthologia» (2010). Живет в Ташкенте. В «ИЖ» опубликованы подборка стихов **С. А.** «В другое лето» (№ 22) и эссе об А. Файнберге «Прощание с Прекрасной Горой» (№ 31).

Михаил (Мэлиб) АГУРСКИЙ (1933, Москва – 1991, там же). Защитил диссертацию в области технической кибернетики (1959). Репатриировался в 1975 году, жил в Иерусалиме, где и похоронен. С 1983-го – профессор славистики Иерусалимского университета. Автор книг «Идеология национал-большевизма» (YMCA-Press, Paris, 1980), «The Third Rome» (Westview Press, USA, 1987), «Горький. Из литературного наследия» (в соавторстве с М. Шкловской, изд-во Еврейского университета, Иерусалим, 1986), «Пепел Клааса» (URA Publishers, Иерусалим, 1996). В «ИЖ» (№№ 2–4) опубликованы его «Эпизоды воспоминаний».

Натан АЛЬТЕРМАН (1910, Варшава – 1970, Тель-Авив). Репатриировался вместе с семьей в 1925 году. Обучался агрономии во Франции. С 1934 года вел недельную колонку актуальных событий в газетах «Давар» и «Гаарец». Наряду с Авраамом Шленским и Леей Гольдберг принадлежал к литературному кружку «Яхдав». Первую книгу стихов опубликовал в 1938 году. С 1943 года печатал знаменитую стихотворную «Седьмую колонку» в газете «Давар». Автор восьми книг стихов и нескольких пьес, поставленных в тель-авивском «Камерном Театре». Перевел на иврит и на идиш многие произведения английской, французской и русской классики. Лауреат Премии Бялика (1957) и Премии Израиля (1968). В «ИЖ» переводы из **Н. А.** публиковались в №№ 11 и 28.

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске, жила в Москве. Окончила филфак МГПИ. Репатриировалась в 1990 году. Автор книг для детей, поэтических сборников, книги-альбома об отце – художнике Меире Аксельроде (1993), «Двор на Баррикадной» (воспоминания письма, стихи, 2008). Стихи и переводы (с идиша и др.) включены в антологии. Лауреат (1995) премии СРПИ (Союза русскоязычных писателей Израиля). Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов «Сон о танцевальном классе» (№ 3), «Кофе под "Хронику дня"» (№ 10), «Между пальмой и липой» (№ 16), «А что же осталось» (№ 34); рецензии на книги Ю. Шаркова (№ 5), Я. Хромченко (№ 7), М. Вейцмана (№ 26); эссе об А. Белоусове «Власть одиночества» и переводы его стихов (№ 17); переводы из Л. Гольдберг (№ 18); фрагменты книги «Двор на Баррикадной» (№ 24–25). В «Библиотеке ИЖ» вышла книга **Е. А.** и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне» (2000).

Светлана АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД родилась и выросла в Алма-Ате. Окончила филфак КазГУ. С 1979 года жила в Москве. Репатриировалась в 1991 году. Автор семи книг стихов и двух пьес в стихах, которые шли на сценах театров СССР. Переводила с казахско-

го, польского, иврита. Стихи включены в несколько антологий. Лауреат премии им. Давида Самойлова (2009) СРПИ. Живет в Ашдоде. В «ИЖ» № 38 опубликовано эссе **С. А.-Ш.** об Алле Айзеншарф.

Лев БЕРИНСКИЙ родился в 1939 году в Каушанах (Бессарабия, ныне Молдова). Окончил факультет иностранных языков Смоленского пединститута, Литинститут им. А. М. Горького и Высшие Литературные курсы (Москва). Репатриировался в 1991 году. Пишет на идише и русском, перевел с идиша произведения Марка Шагала, Ицхака Башевиса-Зингера и многих других авторов. Переводил также с немецкого и румынского. Книга избранных стихов и поэм (на русском языке) «На путях вавилонских» вышла в 2009 году. Живет в Акко. В «ИЖ» № 33 опубликована поэма **Л. Б.** «Тюльпан багряный».

Алла БОССАРТ родилась и живет в Москве. Окончила журфак МГУ. Автор пяти книг прозы: романов, повестей, рассказов. Стихи пишет давно, но публиковать их начала в прошлом году. С 2011 года живет также в Иерусалиме. В «ИЖ» № 38 опубликована подборка стихотворений **А. Б.** «Паситесь, мирные коровы».

Юлия ВИНЕР родилась в 1935 году в Москве. По образованию сценарист (ВГИК). Работала в документальном кино. Репатриировалась в 1971 году. Автор романа «Красный Адамант» и книги стихов «О Деньгах, о Старости, о Смерти и пр.». Стихи, переводы и проза публикуются в литературной периодике Израиля и России. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликована повесть **Ю. В.** «Смерть в доме творчества» (№ 29).

Михаил ГОРЕЛИК родился (1946) и живет в Москве. Окончил МЭСИ (1970). Его статьи и эссе публикуются в литературной периодике России, Израиля и других стран. В «Новом мире» (№ 8, 2000) напечатан его обзор первых номеров «ИЖ». Автор книги «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем» (2006). В «ИЖ» опубликованы рецензии **М. Г.** на книгу Нины Воронель (№ 4), на «Российскую еврейскую энциклопедию» (№ 7); статья «В поисках дома» о мемуарах М. Агурского (№ 5).

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979-84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **И. Г.** «И вышло всё, как если бы спросили» (№ 1), «Из Пятого иерусалимского дневника» (№ 11), «Гарики из Атлантиды» (№ 13), «Блаженство пьесы этой краткой» (№ 22), «Харон уже строит паромы» (№ 23), «Разговор ангела-хранителя с лирическим героем...» (№ 24-25), «Не думал, что кому зачтётся» (№ 27), «Свобода – странный институт» (№ 29), «Меня хранили три некрупных бога» (№ 31), «Из Восьмого дневника» (№ 36), «Высоким духом не томим» (№ 38); эссе «Текст к рисункам» (№ 4), «Блики эпохи» (№ 12); главы из книг прозы (№№ 8, 20-21, 33). В «Библиотеке ИЖ» вышли «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2003), «Вечерний звон» (2005), «Седьмой дневник» (2010).

Марк ЗАЙЧИК родился в 1947 году. Жил в Ленинграде. Репатриировался в 1973 году. Автор нескольких книг прозы. Живет в Раанане.

В «ИЖ» опубликованы рассказы **М. З.** «Долг Карабаса» и «Навык и память» (№ 2), заметки «Министр Перес и писатель Солженицын» и интервью с Иосифом Бродским (№ 9), повести «В нашем регионе» (№ 10) и «Жизнь прекрасна» (№ 34).

Игорь ИРТЕНЬЕВ родился в 1947 году в Москве. Окончил Ленинградский институт киноинженеров (1972), Высшие театральные курсы (1989). Работал на телевидении, в газетах. Был президентом Московского клуба «Поэзия» (с 1986), главным редактором журнала «Магазин Жванецкого» (1993–2003). Автор шестнадцати поэтических книг. Лауреат нескольких литературных премий.

Репатриировался в 2011 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» стихи **И. И.** публиковались в №№ 33 и 38.

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор многочисленных рассказов, повестей и романов о жизни литовского еврейства, пьес и сценариев художественных фильмов. За романы «Слезы и молитвы дураков» и «И нет рабам рая» удостоен Национальной премии Литвы. Книги переведены на многие языки. Репатриировался в 1993 году. Живет в Бат-Яме. Лауреат премии СРПИ.

В «ИЖ» опубликованы глава из романа «Шелест срубленных деревьев» (№ 1); главы из повести «Огонь и воды» (№ 4); повести «Вера Ильинична» (№ 13), «Жак Меламед, вдовец» (№ 17); главы из романа «Очарование сатаны» (№№ 22, 23); рецензии на книги Э. Люксембурга (№ 1), Е. Аксельрод (№ 6); эссе «Дымок “Ноблеса”» (№ 11), «Смерть не ставит запятых» (№ 18), «Штрихи к автопортрету» (№ 27); рассказ «Горе луковое» (№ 30). В «Библиотеке ИЖ» вышли книги **Г. К.** «Лики во тьме» (2002) и «Облако по имени Литва» (2011).

Юлий КИМ родился в 1936 году в Москве. Автор более пятисот песен, десятков пьес, сценариев и книг. Лауреат российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2000). В 1998 году переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме, а в последнее время – и в Москве.

В «ИЖ» опубликованы заметки **Ю. К.** о Веничке Ерофееве (№ 7), подборки стихов и песен «Из иерусалимской тетради» (№ 1), «Я всё время шёл к тебе» (№ 6), «Любовь на все лады» (№ 11), «Тема любви» (№14-15), «Читающие Тору» (№ 31), эссе о Михаиле Щербакове и повесть «Однажды Михайлов с Ковалем» (№ 17), зонги из рок-оперы «Время складывать камни» (№ 24-25) и спектакля «Голый король» (№ 37), «Рассказы из Иерусалимской тетради» (№ 28), поздравления Ю. Ряшенцеву и И. Губерману (№ 38); повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга (стихи, проза и пьесы) с одноименным названием издана в 2000 году в «Библиотеке ИЖ».

Борис КРУТИЕР родился в 1940 году в Одессе. Окончил Хабаровский мединститут. Работал кардиологом и иглотерапевтом. Автор нескольких сборников афоризмов, составитель антологии «Парадоксальные мысли отечественных афористов» (2009). Живет в Москве.

В «ИЖ» опубликованы подборки **Б. К.** «Новые крутые афоризмы» (№ 24-25), «Правда всегда побеждает...» (№27), «Тем больше выбор выражений» (№ 33), «Когда идеи овладевают массами (№ 36), слова прощания с Павлом Хмарой «Плыл по небу самолет» (№ 37).

Светлана МЕНДЕЛЕВА родилась в 1961 году в Москве. Окончила Московский Нефтяной Институт (МИНХ и ГП). Репатрировалась в 1991 году. Автор книги стихов «Дорога домой» (2004). Записала (вместе с А. Менделевым и В. Гуткиным) авторские CD «Там лучше, где мы есть» (2000), «Дорога домой» (2002), «На дереве моем...» (2003), «Кофе с молоком» (2004), «Мозаика» (2006), «Втроем» (2008). Живёт в Петах-Тикве.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений **С. М.** «Самолётная перспектива» (№ 33) и «Хайку-Лейку» (№ 35).

Иван МИЛЫХ родился (1966) в Керчи. После кратковременной репатриации в г. Каганович-Каширский закончил Керченский морской технологический институт (ныне КГМТУ). Занимал полосы в севастопольском филиале «Литературной газеты» и региональных альманахах, победил в конкурсе басен «Пушкинское кольцо-2009» (Черкассы). В 2009 и 2010 гг. украсил собой лонг-листы Волошинского конкурса. Живет в Джанкое (Крым), работает на станции юных техников юным техником.

Елена МИНКИНА (Тайчер) родилась и выросла в Москве. Окончила 1-й Московский медицинский институт. Репатрировалась в 1991 году. Автор книг «Пройдет сто лет...» (2000) и «..все, что Ты дал мне» (2004), «Женщина на заданную тему» (2011). Живет в Кирьят-Тивоне. Работает врачом.

В «ИЖ» опубликованы рассказ **Е. М.** «Старик» (№ 35) и эссе о Марке Азове «Что наша жизнь?» (№ 39).

Вадим МУРАТХАНОВ родился в 1974 году во Фрунзе (ныне Бишкек). В 1996 году окончил факультет зарубежной филологии ТашГУ. Один из основателей альманаха «Малый шелковый путь» и Ташкентского открытого фестиваля поэзии. Заведующий отделом поэзии журнала «Новая Юность» и ответственный секретарь журнала «Интерпоэзия». Автор пяти книг стихов и сборника избранной поэзии и прозы. С 2006 года живет в Подмоскowie.

Григорий ПЕВЗNER родился в Харькове в 1956 году. Окончил Ленинградский Педиатрический институт. Автор книги стихов «Зелёный медведь» (2006). В 2010 году в его переводе вышла книга «Стёпа-растрёпа» – русская версия известной детской книги Гофмана. С 1992 года живёт в Марбурге (Германия).

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **Г. П.** «Будни и выходные» (№ 26) и «За рамкой кадра» (№ 39), его посвящение Д. Сухареву (№ 35), заметки об А. Дулове (№ 38).

Влад СОКОЛОВСКИЙ (1971, Ташкент – 2011, Иерусалим). Окончил факультет прикладной математики и механики ТашГУ (1992). Работал программистом, преподавал иврит, был координатором учебных программ Открытого университета Израиля в Узбекистане. Репатрировался в 2002 году. Окончил Иерусалимский университет по специальности «Еврейское образование» и аспирантуру при кафедре «Идишская литература». Преподавал и работал экскурсоводом. Стихи и эссе **В. С.** публиковались в журналах «Звезда Востока», «Книголюб» (Казахстан), альманахах «Ма-

лый шелковый путь» и «Ark», в книге «Неизвестный известный «Ильхом»» (2003); переводы – в «Антологии ивритской поэзии» (Ташкент, 2003). Участвовал в I, II и VI Ташкентских открытых фестивалях поэзии (2001, 2002, 2008). Принадлежал к литературному кругу «Ташкентской поэтической школы». Лауреат VI Фестиваля молодых литераторов Израиля (2005) в номинации «Проза».

Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров) родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сборников, в т. ч. «Много чего» (2008). Один из основоположников жанра современной авторской песни. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000), российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2001), премии «Венец» Союза писателей Москвы (2005). В «ИЖ» опубликованы его эссе «Последний день Юрия Визбора» (№ 3), «Формула сплава» (№ 11), «Переделкинские посиделки» (№ 13), «Я была вам хорошим товарищем» (№ 19), «Прощание с Межировым» (№ 30), «Влажным взором» (№ 39, о поэзии Б. Рыжего), подборка стихов «Слова, запасенные впрок» (№ 7), беседы «Другой имеет право быть другим» (№ 11, с Татьяной Бек), «Поговорим о поэзии» (№ 23, с Сергеем Трухановым), «Диалог о Киме» (№ 24-25, с Юрием Ряшенцевым); проза «Венок сонетов» (№ 14-15), «Юрий Визбор навсегда» (№ 26), статья «Экспертиза» (№ 35). В 2001 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов и песен **Д. С.** «Холмы».

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и семи книг прозы, вышедших в московских издательствах. Лауреат премии им. Марка Алданова (2009). Живет в поселении Бейт-Арье. В «ИЖ» опубликованы эссе **А. Т.** «Сумерки идеологий» (№ 14-15), «Пятая звезда» (№ 33), «Делай, что должно...» (№ 36); глава из романа «Гиршуни» (№ 29); романы «Протоколы Сионских Мудрецов» (№ 16), «Иона» (№ 19), «Пепел» (№ 22, 23; финальная шестерка «Русского Букера», 2007), «Записки кукловода» (№ 27), «Летит, летит ракета» (№ 30) «Дор» (№ 31), «В поисках утраченного героя» (№ 36); повесть «Дом» (№ 24-25), переводы стихов Натана Альтермана, Рахели, Цви Прейгерзона (№ 28, 33, 36).

Вячеслав ШАПОВАЛОВ родился (1947) и живет во Фрунзе. Окончил филфак Киргизского государственного университета (1971). Доктор филологии, профессор. Автор двенадцати книг стихов, нескольких десятков книг переводов (из тюркской и европейской поэзии), научных работ в области теории перевода. Народный поэт Киргизской Республики. Лауреат многих премий, в том числе – Государственной премии КР.

СОДЕРЖАНИЕ

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

ЮЛИЙ КИМ. Моя жизнь в искусстве кино. <i>Главы из будущей книги</i>	3
ЮЛИЙ КИМ. Пища духовная. <i>Выпавший фрагмент</i>	25
АЛЛА БОССАРТ, ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ, ИГОРЬ ГУБЕРМАН, ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ, СВЕТЛАНА МЕНДЕЛЕВА, ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР, ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Поздравляем с Днем рожденья!	28

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. Местечковый романс. <i>Повесть</i>	33
СВЕТЛАНА АКСЁНОВА-ШТЕЙНГРУД. Боль становится словом. <i>Стихи</i>	142
МАРК ЗАЙЧИК. Два рассказа	147

ЛЪВИНЫЕ ВОРОТА

ИГОРЬ ГУБЕРМАН. А утром просыпаешься пророком. <i>Гарики</i>	163
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. С натуры. <i>Стихи</i>	173

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

НАТАН АЛЬТЕРМАН. Поэма о казнях египетских. <i>Перевёл с иврита Алекс Тарн</i>	179
АЛЕКС ТАРН. Ответственность и надежда. <i>Послесловие переводчика</i>	189
ЮЛИЯ ВИНЕР. Былое и выдумки	193
МИХАИЛ АГУРСКИЙ. Три рассказа	232
МИХАИЛ ГОРЕЛИК. Наиновейший Плутарх. <i>Послесловие</i>	245

УЛИЦА ГАЛИЛЕИ

ЛЕВ БЕРИНСКИЙ. Хождение за три жизни. <i>Стихи</i>	271
ЕЛЕНА МИНКИНА. Главы из романа «Эффект Ребиндера»	279

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

БОРИС КРУТИЕР. По сегодняшним ценам. <i>Афоризмы</i>	287
ИВАН МИЛЫХ. Мы жизнь вкушаем не без боли. <i>Стихи</i>	289

БУХАРСКИЙ КВАРТАЛ

ВЯЧЕСЛАВ ШАПОВАЛОВ. Очередной ледниковый период. <i>Стихи</i>	293
---	-----

ХОЛМ ПАМЯТИ

ВЛАД СОКОЛОВСКИЙ. В этой ровной пустыне. <i>Стихи. Публикация Вадима Муратханова</i>	301
ЕВГЕНИЙ АБДУЛЛАЕВ. «Когда мы станем тихим белым эхом»	306
ВАДИМ МУРАТХАНОВ. Человек песка	309

ИМЕНА

Авторы и персонажи	311
--------------------	-----

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычным (*не заказным*) письмом свои координаты
и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

***Jerusalem Literary Review,
P. O. Box 32297, Jerusalem 91322***

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 160 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.

В других странах – \$18 США, включая пересылку

(Справки по тел. 972-72-9960302; E-mail: olvic1@012.net.il)

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва),
Михаила Басина (Реховот), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила
Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую
(Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим),
Татьяну Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея
Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана
(Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон),
Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира
Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-
Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Ольгу
Качанову (Алма-Ата), Леонида Кациса (Москва), Дмитрия
Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра
(Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника
(Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Безр-Шева),
Якова Лившица (Иерусалим), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину
Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-
Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-
Еуда), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа),
Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва
Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена
Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Иерусалим), Ирину
Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана
(Безр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона
(Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Шуламит Шалит (Тель-
Авив) Наума Шаца (Иерусалим), Дмитрия Шварца (Текоа), Михаила
Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)

за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2011 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,
«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;

Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;

Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,
«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»; Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),
«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯАЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;

НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спустия три года»;

Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»; Евгений МИНИН «Погоня за ветром»;

CD «ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ». *Песни Александра ДОВА, Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Игоря ГУБЕРМАНА, Владимира ДРУКА, Юрия КАМИНСКОГО,
Феликса КРИВИНА, Ицхокаса МЕРАСА, Михаила ФЕЛЬДМАНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net/index.html

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского,
Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток,
Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова,
Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила
Липкина, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря,
Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль,
Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой,
Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

JUBILEE QUARTER

YULI KIM. My life in the art of cinema. *Chapters from the new book*

YULI KIM. Immaterial food. *A missing fragment*

ALLA BOSSART, IGOR BYALSKY, IGOR GUBERMAN,
IGOR IRTENEV, SVETLANA MENDELEVA, GRIGORY PEVSNER,
DMITRY SUKHAREV. Many happy returns!

JAFFA GATE

GRIGORY KANOVICH. A *shtetl* romance. *Novelette*

SVETLANA AKSYENOVA-STEINGRUD. Pain becomes audible. *Poems*

MARC ZAICHIK. Two short stories

LION GATE

IGOR GUBERMAN. Waking up as a prophet. *Garriks*

ELENA AXELROD. From life. *Poems*

MOUNT SCOPUS

NATAN ALTERMAN. The Plagues of Egypt.

Translated from Hebrew by Alex Tarn

ALEX TARN. Responsibility and hope. *Translator's afterword*

YULIA WINER. Past and fables

MICHAEL AGURSKY. Three short stories

MICHAEL GORELIK. The most contemporary Plutarch

GALILEE STREET

LEV BERINSKY. The journey beyond three lives. *Poems*

ELENA MINKINA. Rebender's effect. *Chapters from the novel*

RUSSIAN COMPOUND

BORIS KRUTIER. The current prices. *Aphorisms*

IVAN MILYKH. Life is a painful process. *Poems*

BUKHARA QUARTER

VYACHESLAV SHAPOVALOV. Just another ice age. *Poems*

MEMORY HILL

VLAD SOKOLOVSKY. In this flat desert. *Poems*

EVGENY ABDULLAEV. "When we are nothing but a quiet white echo..."

VADIM MURATKHANOV. A man of sand

NAMES

Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 40, 2011

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet versions: antho.net/jr/ & magazines.russ.ru/ier/

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

Phone: 972-2-9960302, 972-54-4745322, 972-2-5361947

© 2011 Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

תוכן העניינים:

קריית היובל

יולי קים. חיי באמנות הקולנוע – פרקים מספר עתידי
יולי קים. מזון רוחני – פרגמנט שנשמט
אלה בוסרט, איגור ביאלסקי, איגור גוברמו, איגור אירטנייב,
סבטלנה מנדלבה, גריגורי פבזנר, דמיטרי סוחרב – ברכות ליום ההולדת!

שער יפו

גריגורי קנוביץ'. רומנסה עיירתית – סיפור
סבטלנה אקסיונובה-שטייגרוד. כאב נהפך למילה – שירים
מרק זייצ'יק. שני סיפורים

שער האריות

איגור גוברמן. ובוקר התעוררתי נביא – גריקים
ילנה אקסלרוד. מהטבה – שירים

הר הצופים

נתן אלתרמן. שירי מכות מצרים
מעברית – אלכס טארן
אלכס טארן. אחראיות ותקווה – אחרית דבר מאת המתרגם
יוליה ווינר. עבר ובדיות
מיכאיל אגורסקי. שלושה סיפורים
מיכאיל גורליק. פלוטארכוס החדש ביותר – אחרית דבר

הר הגליל

לב ברנסקי. הליכה אל מעבר לחיים – שירים
ילנה מינקינה. פרקים מרומן "תוצא של רבינדר"

מגרש הרוסים

בוריס קרוטייר. במחירים של היום – אפוריזמים
איוון מיליך. לא בלי כאב טעמנו מחיינו – שירים

שכונת הבוכרים

וויאצ'סלב שפובלוב. תקופת הקרח הבאה בתור – שירים

הר הזיכרון

וולאד סוקולובסקי. במדבר הישר הזה – שירים
יבגני אבדולאייב. כשה נהייה להד שסט לבן
וודיס מורטכנוב. איש החול

שמות

דמויות ויוצרים

העמותה לקליטת עליה בחיפה
רח"ל. ל. פרץ 2 חיפה 33041
כפרית
9878

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת: איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה
תמיכה לוגיסטית וטכנית: אולגה אקסיוטינה, דניאל בורשטיין,
בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי, ויקטור גופמן, גריגורי גורדין,
וולדימיר פופוב, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסיה



קרן רוסקי, מיר



מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2011 כל הזכויות שמורות למחברים

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322

טל. 02-5361947, 0544-745322, 02-9960302

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

